

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА –
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ**

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК
2013–2014**

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

**Москва
2014**

ББК 60.5
С 69

Серия
«Теория и история социологии»
Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел социологии и социальной психологии

Кафедра общей социологии НИУ–ВШЭ

Редакционная коллегия:

Н.Е. Покровский – д-р социол. наук, главный редактор;
Д.В. Ефременко – д-р полит. наук, зам. главного редактора;
А.Б. Гофман – д-р социол. наук; *В.Г. Николаев* – канд. социол. наук; *О.А. Симонова* – канд. социол. наук; *Е.В. Якимова* – канд. филос. наук; *О.Н. Яницкий* – д-р филос. наук

Социологический ежегодник, 2013–2014: Сб. науч. тр. /
С 69 РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ–ВШЭ; Ред. Н.Е. Покровский, Ред.-сост. Д.В. Ефременко. – М., 2014. – (Сер.: Теория и история социологии). – 388 с.
ISBN 978-5-248-00734-9

В статьях, обзорах и рефератах рассматриваются проблемы социальной теории, эмпирических социологических исследований, истории социологии. Обсуждаются актуальные тенденции и перспективы развития социологии как научной дисциплины в России и зарубежных странах.

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Sociological yearbook, 2013–2014 / RAS. INION, HSE; Ed. by N. Pokrovsky, D. Efremenko. – Moscow: 2014.

In the articles, reviews and abstracts submitted to your attention under analysis are issues of social theory, empirical sociological studies, history of sociology. The contributions discuss the actual tendencies and perspectives of sociological science in Russia and abroad.

Intended for sociologists and philosophers, university lecturers, post- and graduate students.

ББК 60.5

ISBN 978-5-248-00734-9

© ИНИОН РАН, 2014
© Кафедра общей социологии НИУ–ВШЭ

СОДЕРЖАНИЕ **CONTENTS**

Н.Е. Покровский. Пространство социологии и диагноз текущей современности. Предисловие	
N.E. Pokrovsky. Space of sociology and diagnosis for liquid modernity. Foreword	7

I. СОЦИОЛОГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ **Sociology and global processes**

Статьи ***Articles***

Н.Е. Покровский, У.Г. Николаева. Парадоксальная глобализация: Вперед к прошлому или назад к будущему?	
N.E. Pokrovsky, U.G. Nikolaeva. Paradoxical globalization: <i>Forward to the past</i> or back to the future?	9
О.Н. Яницкий. Изменение климата и социологическая наука	
O.N. Yanitsky. Climate change and sociological science	38
О.Н. Яницкий. Концепция экокатастрофы	
O.N. Yanitsky. Concept of eco-disaster	52

Рефераты ***Summaries***

Валлерстайн И. Структурный кризис в мир-системе: Куда мы идем?	
Wallerstein I. Structural crisis in the world-system: Where do we go from here?	71
Кастельс М., Караса Ж., Кардозу Г. Культуры экономического кризиса: Введение	
Castells M., Saraça J., Cardoso G. The cultures of the economic crisis: An introduction	78

II. СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ

Sociology of professions

Статьи

Articles

- Р.Н. Абрамов. Классификация исследовательских направлений в изучении занятий и профессий
R.N. Abramov. Classification of research directions in occupations and professions studies 83
- М. Сакс. Социология профессий – развивающееся направление исследований
M. Saks. The sociology of professions: A developing field of study. (In English) 105
- В.А. Аникин, Р.А. Соловьев. Трудоспособные на паперти: Феномен люмпенизации рабочей силы в России
V.A. Anikin, R.A. Soloviev. The employable at the church porch: Phenomenon of labour force lumpenization in Russia..... 114

Рефераты

Summaries

- Эветтс Дж. Новый тип профессионализма: Проблемы и возможности
Evetts J. A new professionalism? Challenges and opportunities 129
- Стренглмен Т. Кризис трудовой идентичности? Переосмысление проблемы привязанностей и утрат, сопряженных с работой
Strangleman T. Work identity in crisis? Rethinking the problem of attachment and loss at work 134

III. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ, МОРАЛИ И АЛЬТРУИЗМА

Studies of social solidarity, morality and altruism

Статьи

Articles

- В. Джеффрис. В поисках «Реальной утопии»: Определение границ поля исследований альтруизма, морали и социальной солидарности
V. Jeffries. In search of a «real utopia»: Formulating the field of altruism, morality and social solidarity. (In English) 139
- О.А. Симонова. Социология эмоций и социология морали: Моральные эмоции в современном обществе
O.A. Simonova. Sociology of emotions and sociology of morality: Moral emotions in contemporary society 148

М.А. Козлова. Культурные модели моральных суждений и оценок, транслируемые учебниками для начальной школы, и их трансформация в постсоветский период	
M.A. Kozlova. Cultural models of moral judgments and assessments, transmitted by student's books for primary school, and their transformation in the post-Soviet period	188
Л.М. Баскин. Социобиология: Конфликт парадигм	
L.M. Baskin. Sociobiology: Conflict of paradigms	218
А.Ю. Долгов. Изучение альтруизма в России в начале XX в.: Социобиологический аспект	
A.Yu. Dolgov. Russian altruism studies in the early XX century: Sociobiological aspect	231

Социологическая классика
Sociology classics

Парсонс Т. Вклад Дюркгейма в теорию социальных систем. (Перевод с англ.)	
Parsons T. Durkheim's contribution to the theory of integration of social systems. (Translation from English)	239

Рефераты
Summaries

Николс Л.Т. Обновление социологии: Интегральная наука, солидарность и милосердие: Президентское обращение к Северо-Центральной социологической ассоциации	
Nichols L.T. Renewing sociology: Integral science, solidarity and loving kindness: North Central sociological association presidential address	269
Столкновение культур, солидарность и социальные представления. (Сводный реферат)	
Cultural encounters, solidarity and social representations. (Joint summary)	275

IV. ОБЩЕСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ
Society and реформирование науки

Статьи
Articles

Д.В. Ефременко. Глас эксперта, вопиющего в пустыне: Реформа РАН и ее последствия в оценках представителей российского научного сообщества	
D.V. Efremenko. The voice of the expert in the wilderness: Reform of the Russian Academy of Sciences and its outcomes as estimated by the Russian scientific community	291

В.В. Клочков, С.М. Рождественская. Социально-экономические аспекты внедрения наукометрии и конкурентных начал в российской фундаментальной науке	
V.V. Klochkov, S.M. Rozhdestvenskaya. Social-economic aspects of the implementation of scientometrics and competitive principles in Russian fundamental science	312
Е.А. Володарская. Реформа Российской академии наук как предмет науковедческого анализа	
E.A. Volodarskaya. <i>Reform of the Russian Academy of Sciences</i> as an object of analysis in science studies	325
М.В. Загидулина. «Макдоналдизация» экспертного знания в России: Преимущества и риски	
M.V. Zagidullina. «McDonaldization» of expertise in Russia: Advantages and risks	347

Рефераты

Summaries

Наука и общество: От информации к участию. (Сводный реферат)	
Science and society: From information to participation. (Joint summary)	361
Бьелса Э., Касельяс А., Вергер А. Возвращение домой как переезд в чужое место: Анализ перспектив вернувшихся социальных исследователей	
Bielsa E., Casellas A., Verger A. Homecoming as displacement: An analysis from the perspective of returning social scientists	368
Аннотации статей и ключевые слова	
Abstracts and keywords	374
Сведения об авторах	
About the contributors	386

Н.Е. Покровский
ПРОСТРАНСТВО СОЦИОЛОГИИ
И ДИАГНОЗ ТЕКУЧЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ
Предисловие

Социология – живой организм. Она рождается как симбиоз различных наук и общественных интересов, развивается, занимает, а подчас и завоевывает свое законное пространство в обществе. Будучи живым организмом (пусть и в метафорическом смысле), социология болеет, испытывает кризисы, притом жесточайшие, но при этом в итоге выздоравливает и обретает новые видоизмененные формы.

Каков сегодняшний диагноз социологии образца 2014 г. в стране и мире?

В «мировом масштабе» социология испытывает немалые трудности. Под воздействием дальнейшей корпоративизации университетов в Европе и Северной Америке, превращения университетов в субъекты преимущественно экономической политики и менеджериального регулирования социология вынужденно сдает свои академические позиции. Во многих случаях она теряет студентов и факультеты и, желая при этом сохраниться, мимикрирует под различного рода программы по международному бизнесу, маркетинг, «паблик рилейшнз», «джи ар» и прочие гибриды. Притом от социологии ожидают разработки почти исключительно «полезного знания» (*useful knowledge*, термин Роберта Линда, 1939)¹, т.е. прикладных и хорошо реализуемых на внешних рынках методик и интеллектуальных продуктов прямого действия.

На фоне ослабления академических позиций социологии в ее традиционных локализациях резко пошла вверх социология в странах Латинской Америки, Азии и Африки. Правда, этот новый вариант социологического дискурса преимущественно сконцентрирован на политической повестке дня: неокOLONиализм, социальная справедливость, инклюзия /

¹ Lynd R.S. Knowledge for what? The place of social science in American culture. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 1939.

экслюзия, миграция и пр. В этой сетке координат, имеющей явно выраженный активистский и политический контекст, академические и фундаментальные темы в социологии уходят на дальний план либо вообще не разрабатываются. Одновременно делаются попытки провозгласить социологию чуть ли не социальным движением за установление справедливости в мире и сконцентрировать ее на программе борьбы «бедного Юга» против «гегемонии Севера». Благодаря усилиям исполкома Международной социологической ассоциации созыва 2010–2014 гг. установка на социологию политической ангажированности стала ведущей, и эта тенденция, во многом повторяющая контуры общемировых трендов, по всей видимости, сохранится надолго.

Российская социология далеко не в полной мере подключена к указанным выше процессам. У нее по-прежнему, как и многие десятилетия тому назад, во многом отдельная жизнь и своя повестка дня. Но и здесь мы наблюдаем довольно динамичную картину. Представляется, что пространство социологии в России не расширяется, а по многим признакам и сокращается. Заявляющие о себе в России процессы «ручного управления» социальными системами естественным образом вытесняют социологический анализ или, если сказать осторожнее, не способствуют росту престижа социологического знания. Сжимается поле социологии и в российских университетах; ее преподавание теперь уже не является обязательным, а лишь возможным. Немалые трудности испытывает научная социология и в условиях тенденций идеологизации общественной жизни. Будучи по определению открытой, критичной и гуманистичной дисциплиной, социология не может встраиваться в системы универсальных истин, какими бы они ни были. Научность была и остается основой ее жизнедеятельности.

А кто сказал, что для социологии все и всегда должно быть легко? Жизнь науки, в науке и для науки – «это не мостовая Невского проспекта». Прежде говорили так. В новом варианте и с новым смыслом повторим это и сегодня.

Очередной выпуск «Социологического ежегодника» предлагает читателям самые разнообразные социологические компоненты современной картины мира. Задача нашего издания состоит в том, чтобы детализировать эту картину и сделать ее более рельефной.

СТАТЬИ

Н.Е. Покровский, У.Г. Николаева

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ВПЕРЕД К ПРОШЛОМУ ИЛИ НАЗАД К БУДУЩЕМУ?

Социология и другие социальные науки дают обществу систему ориентации в пространстве общественных отношений и историческом времени. По всей видимости, это их главная задача и *raison d'être* в этом мире. Каждая новая стадия социального развития отражается в теоретических концептах, с определенным временным лагом создающих автопортрет эпохи, своего рода интеллектуальный *selfie* «на память». Социальная теория, как правило, не всегда в состоянии предвосхитить ход событий большого масштаба. Нередко требуется значительная временная дистанция для того, чтобы новое социальное явление «проявилось», раскрыло себя в своих наиболее значимых параметрах.

Именно так произошло с глобализацией: самые смелые прогнозы футурологов середины 1970-х годов не могли охватить всей сложности развернувшихся глобальных социальных изменений рубежа тысячелетий. Более того, каждый новый виток событий менял угол зрения, предлагал новую перспективу для интерпретации потока технико-экономических и социокультурных трансформаций. Только сейчас, в середине второго десятилетия нового века, ученые осознали в полной мере противоречивость того, что изначально представало как неизбежный, безальтернативный восходящий вектор мирового экономического развития.

Теория глобализации в течение последних 30 лет почти безраздельно господствует в социологии и смежных социальных науках¹. Понятие «глобализация» прочно вошло в современный не только научный, но и обывденный язык. Сегодня по своей значимости и теоретической нагруженности это понятие-концепт давно уже заняло место в одном ряду с та-

¹ Современная литература по глобализации безбрежна. Между тем основные представления о глобализации и многочисленные теории представлены в пятитомной «Энциклопедии глобализации», изданной под редакцией Джорджа Ритцера [The Wiley-Blackwell encyclopedia... 2012].

кими понятиями, как «цивилизация», «прогресс», «современность», «эпоха», «постсовременность», «модернизация». Однако при всей обманчивой доступности понятие «глобализация» нередко используется для обозначения совершенно различных, часто несхожих явлений, а его смысл оказывается в наши дни еще менее ясным, нежели в начале 1990-х годов.

Кажущаяся универсальность того или иного концепта, как это давно известно методологам науки, таит в себе известную проблематичность: чем шире распространяется в междисциплинарном поле новое понятие, тем сложнее вычленив эссенциальные характеристики явления, им обозначаемого. Напрашиваются вопросы: а существует ли глобализация вообще, не есть ли она общее метафорическое имя для совершенно различных процессов? Или иначе: не «удваиваем ли мы сущности», не придумываем ли дубликаты для обозначения процессов и явлений, существовавших в мире с давних пор? Такие вопросы нередко задают себе как противники концепции глобализации, так и те, кто принимает ее как неизбежность.

Основу общепринятых представлений о глобализации составляют рассуждения об объединяющейся и интегрирующейся в единое целое человеческой цивилизации, преодолевающей ранее существовавшие границы культур, государств, технологических форм. Мир в результате глобализации становится компактным, доступным, прозрачно-просматриваемым, а части его – тесно взаимосвязанными, причем это касается экономики, технологий, политики, экологии, нравственности и всех иных сфер жизни современного человечества. Высказывание «The world is so small!» («Мир такой маленький!») точно выражает саму суть подобных умонастроений. К концу 80-х годов XX в. развитие технологий достигло стадии, когда дальнейший рост ведущих мировых экономик мог осуществляться эффективно только вне рамок прежних национальных рынков. Это, в свою очередь, повлекло за собой перенастройку всех уровней – больших и малых – социальных систем и подсистем, что и произошло в конечном итоге и утвердилось под названием «глобализация»¹. Начался отчет новой исторической эпохи.

Между тем с научной точки зрения вопрос о смысле глобализации, ее характере и значении далеко не столь однозначен. По сути дела, существует много (или, по крайней мере, несколько) «глобализаций», скрывающихся за одним термином.

¹ В литературе нет единого мнения о том, кто именно предложил термин «глобализация». Чаще всего ссылаются на экономиста Т. Левитта, который в 1983 г. в достаточно специальной экономической статье анализировал слияние мировых рынков как результат деятельности транснациональных корпораций и в связи с этим чисто метафорически упомянул «глобализацию». Т. Левитт не мог и предполагать, сколь значимым и долго живущим окажется его метафора [Levitt, 1983]. Нередко термин «глобализация» связывают с именем Маршалла Маклюэна, который еще в 60-е годы XX в. предложил понятие «глобальная деревня» и высказал мысль о том, что средства массовой коммуникации превращают мир в своего рода глобальную деревню, где все коммуницируют со всеми [McLuhan, 1962].

Анализ определений, предложенных обильной современной социолого-экономической литературой на эту тему, показывает, что главной трудностью для большинства авторов, пишущих на тему глобализации, оказывается трудность именно методологическая: реальная сложность феномена не поддается теоретическому осмыслению старыми средствами. Глобализация – и в самом деле качественно новый процесс, который, правда, имеет аналоги в истории¹, но уникален и потому с трудом постижим в своей новизне. Глобализация всюду, где бы ни происходила, вызывает к жизни новые процессы, не вписывающиеся в традиционные объяснительные схемы, наделяет дополнительными смыслами, казалось бы, простые факты повседневности.

Бросающаяся в глаза яркость новых социокультурных проявлений глобализации отнесила на второй и третий планы целый ряд явлений, которые глобализацией были инициированы, однако не вписывались в картину «постиндустриального» бесконфликтного общества, своеобразного «рая» эпохи «конца истории» (в терминах Френсиса Фукуямы²). Конец 80-х – начало 90-х годов XX в. были отмечены почти всеобщим оптимизмом в отношении будущего единого мирового сообщества, вставшего, как казалось тогда, на единственно возможный и магистральный путь экономического и социально-политического либерализма, снимавшего все дальнейшие противоречия мировой системы и таким образом в зародыше упразднявшего основные конфликты³.

Однако дальнейший ход глобализации продемонстрировал гораздо более сложную картину социальных изменений в мире и в отдельных обществах. Широкий модернизационный, линейно-восходящий тренд оказался отнюдь не единственным, как казалось ранним теоретикам «конца истории» и глобализации. Как выяснилось, беспрецедентные возможности роста материального производства в рамках глобальной рыночной экономики не привели к ожидаемым социальным эффектам. Как было подчеркнуто в докладе «Справедливая глобализация: Создание возможностей для всех» (2004) учрежденной МОТ Всемирной комиссии по социальным ас-

¹ Немало историков и социологов видят в мировых империях прошлого, например в Персидской империи, империи Александра Македонского и др., аналоги современной глобализации. См., например, известную работу американского историка Пола Кеннеди: [Kennedy, 1987].

² В статье американского политолога [Fukuyama, 1989–1990] была представлена теоретическая модель мира победившего капитализма и либерализма, которые, после распада советской системы и опираясь на глобализационные тренды, охватывают весь мир. Несмотря на изначальный утопизм и немалую умозрительность, концепция «конца истории» прекрасно выразила умонастроенность многих ведущих социальных теоретиков того времени, что вскоре и выразилось в необычайном росте популярности теории глобализации. Критику концепции «конца истории», в частности, см. в: [Малахов, 1994].

³ Проходивший в Билефельде (Германия) в 1994 г. под общим девизом «Оспариваемые границы и меняющиеся солидарности» XIII Всемирный социологический конгресс фактически превратился в своего рода съезд сторонников победившей теории глобализации.

пектам глобализации, «современные процессы глобализации ведут к весьма неоднородным результатам как внутри стран, так и между ними. Создается богатство, но при этом слишком многие страны и народы не могут воспользоваться его преимуществами... Многие из них находятся в тисках неформальной экономики и лишены каких-либо формальных прав или же проживают в беднейших странах, прозябающих и практически исключенных из глобальной экономики» [Справедливая глобализация... 2004, с. XI]. Не только прежняя экономическая периферия оказалась в проигрыше, но даже в экономически благополучных странах «некоторые работники и общины также испытывают на себе отрицательные последствия глобализации, и при этом осознание такого неравенства еще более усиливается благодаря революции в глобальных коммуникационных системах» [там же]. Не случайно в 2008 г. МОТ была принята Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации¹, призывающая экономически развитые страны и международное сообщество обратить особое внимание на негативные социальные эффекты глобализации.

Действительно, как показали социологические и экономические исследования, реальное бытие современной глобальной экономики и современного общества несет на себе следы не только прогрессивного развития и триумфа технологий, но и реанимации прежних – *архаических* – социальных и экономических отношений, структур, тех социально-экономических моделей, которые существовали в докапиталистическую (и даже первобытную) эпоху, но которые не заявляли о себе в полную силу долгое время².

В этом смысле новая система настройки мировой экономики и социальных систем подразумевает не только поступательное движение технологий, но весьма турбулентные последствия этого движения³. Происходит своего рода «перемешивание» уровней социальной структуры общества, динамичная «циркуляция» социальных страт и групп. Активный и наступательный модерн и постмодерн сочетаются с одновременным извлечением из багажа истории традиционалистских и даже архаических явлений, казалось бы, давно ушедших в область культурной археологии. Понятие глобализации используется не строго, и даже в работах, специально посвященных анализу явления глобализации, это центральное понятие зачастую применяется не аналитически, а метафорически, подчас сам термин «глобализация» тривиализируется, вульгаризируется и теряет строго ограниченные терминологические черты.

¹ Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf

² См. об этом: [Николаева, 2005 с, 2005 d].

³ Отрезвляющий анализ турбулентных глобализационных процессов дается в книге английского социолога Денниса Смита: [Smith, 2006].

Характер и способ использования в современной научной литературе понятия «глобализация» может стать самостоятельным предметом исследования, причем такое исследование могло бы дать, как можно предположить *a priori*, большой материал не только для размышления, но и для выводов, затрагивающих как позитивное знание об обществе и механизмах его функционирования, так и методологию исследования общественных процессов. Однако в рамках данной статьи ограничимся характерными примерами того, как понятие глобализации используется в междисциплинарных контекстах, выделив при этом самые общие подходы и исследовательские стратегии. Основные из этих подходов сложились еще в 1990-е – начале 2000-х годов, т.е. в то время, когда мировые экономические процессы продемонстрировали новое качество, получившее новое обозначение, – время, когда и возникший термин «глобализация» обрел серьезный научный статус. Прошедшие десятилетия внесли, однако, в первоначально оптимистические прогнозы развития формирующейся глобальной социально-экономической системы существенные коррективы: мировой экономический кризис, расцвет теневой и криминальной экономики в 1990-е годы в России и многих других странах, неоднозначность политических результатов так называемой «Арабской весны» и т.д. – все это поставило перед мировым сообществом и одновременно перед учеными-обществоведами множество новых вопросов, требующих «ревизии» прежних концептуальных схем осмысления социальной реальности.

Концептуальное разнообразие подходов к глобализации

Прежде всего, необходимо отметить объективные проявления общемировых тенденций, получивших отражение в концепциях глобализации.

Глобализация как линейный процесс. «Линейные» представления о глобализации подразумевают расширение, углубление, увеличение интенсивности мировых *интеграционных процессов* без радикального изменения их внутреннего содержания и качества. Согласно этому подходу, мир экстенсивно («линейно») наращивает современные его особенности и тем самым преодолевает противоречия, связанные с разобщенностью человечества. В этом смысле практически все глобальное априорно несет положительные черты – в экономике, политике, культуре, информатике / коммуникациях, защите окружающей среды.

Наиболее общий подход, на который опираются большинство социологов и экономистов, акцентирует внимание на экономико-технологической основе глобализации – появлении и развитии компьютерных информационных технологий, приведших к мощному развитию средств коммуникации. В отечественной социолого-экономической мысли такой подход был сформулирован сравнительно давно. В качестве примера приведем определение, которое дали экономисты О.В. Братимов, Ю.М. Горский, М.Г. Делягин и А.А. Коваленко в коллективной монографии «Практика глобализации: Игры и правила новой эпохи»: «Информационные

технологии являются материальным воплощением и непосредственным двигателем процесса глобализации – разрушения административных барьеров между странами, планетарного объединения региональных финансовых рынков, приобретения финансовыми потоками, конкуренцией, информацией и технологиями всеобщего, мирового характера» [Практика глобализации... 2000, с. 133–134]. Продолжая эту мысль, авторы пишут, что «важнейшей чертой глобализации является формирование единого в масштабах всего мира не просто финансового или информационного рынка, но финансово-информационного пространства, в котором во все большей степени осуществляется не только коммерческая, но и вся деятельность человечества как таковая» [там же]. Редактор коллективной монографии М.Г. Делягин в своей уже персональной монографии «Мировой кризис: Общая теория глобализации» [Делягин, 2003, с. 47–49] дает определение глобализации в том же ключе: «“Коммуникационный бум”, сблизивший человечество и превративший его... в единое целое, породил понятие “глобализации”» [там же, с. 47–48], глобализация же – «это процесс формирования и последующего развития единого общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий» [там же, с. 51]¹.

В терминах развития информационных технологий и «постиндустриализма» определение глобализации дает В.А. Медведев в книге «Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее России» [Медведев, 2003]. По мнению В.А. Медведева, «глобализация является не чем иным, как проявлением современной постиндустриальной трансформации экономики и общества в отношениях между странами мира» [там же, с. 360], в которой важнейшими моментами являются информационные и коммуникационные технологии. Также принимает «информационную теорию» глобализации академик Н.А. Симония, связывая глобализацию с интернационализацией и подчеркивая, что современная глобализация – это «новый этап интернационализации, главная черта которой есть скачкообразное развитие информационных технологий» [Симония, 2001, с. 25].

Для многих авторов глобализация – синоним планетарной целостности современных экономических процессов. Так, Мануэль Кастельс предпочитает вместо термина «глобализация» использовать понятие «глобальная экономика», что, правда, не меняет сути дела: «В целом можно определить глобальную экономику как экономику, чьи основные компоненты обладают институциональной, организационной и технологической способностью действовать как общность (целостность) в реальном времени или в избранном времени в планетарном масштабе» [Кастельс, 2001, с. 64].

¹ Анализу противоречий и негативных эффектов глобализации для стран, существенно отстающих в своем экономическом развитии от лидеров мировой экономики, посвящены более поздние работы М.Г. Делягина: [Делягин, Шеянов, 2009] и др.

Одновременно с этим макросоциологическим уровнем глобализация характеризуется и микроуровнями. Они получили терминологическое оформление в концепте «*клеточная глобализация*» (Н.Е. Покровский)¹. Подразумевается, что в «клетках» общества (структурах повседневности, простых практиках, локальностях различного рода) также идут глобализационные процессы, в общем и целом конгруэнтные большим орбитам макроизменений. Притом эти микропроцессы демонстрируют большую внутреннюю сложность, насыщенность новым ценностным контентом. В них заключен большой потенциал социальных изменений всех уровней. Иными словами, глобализация изменяет общества и «сверху» и «снизу», и трудно сказать, какой из этих уровней доминирующий, более важный. Они взаимосвязаны, взаимообусловлены, рядоположены [Pokrovsky, 2001; Покровский, 2003, 2004, 2005 б].

При рассмотрении семантического кластера и ореола понятия «глобализация» отметим наличие нескольких синонимических рядов при использовании этого понятия. В целом ряде работ по современной экономике наряду с понятием «глобализация» используются понятия «интернационализация», «интеграция», «локализация», причем в одних случаях они употребляются как синонимы, в других – как противопоставляемые друг другу сущности. В частности, английский социолог Лесли Склэр, к идеям которого мы будем еще не раз обращаться в этом тексте, подчеркивает, что важно проводить четкое разграничение между *интернационализацией* и *глобальностью*, считая основой интернационального «существование даже изменяющейся системы наций-государств», в то время как основа глобального – появление процессов и систем социальных отношений, «не базирующихся на системе наций-государств» [Sklair, 1999, p. 142]. Социологи и экономисты Поль Херст и Грэм Томсон в концептуальном разделе, пытаясь определить явление глобализации, также противопоставляют «международную экономику» (*international economy*) – ту, в которой принципиальной целостностью являются национальные экономики, и «глобальную экономику» – «особый идеальный тип, отличающийся от международной экономики», который может развиваться по контрасту с ней. По мнению этих авторов, в такой глобальной системе «определенные национальные экономики включены и встроены в систему международного процесса»; в международной экономике, наоборот, «процессы определяются на уровне национальных экономик, все еще доминирующих, и международный феномен является результатом (*outcome*), который возникает от четкого и дифференцированного проявления национальных экономик» [Hirst, Thomson, 1996, p. 8–10]².

¹ Близкое по смыслу понятие предложил Ульрих Бек – *globalization from within* («глобализация изнутри»).

² Третье издание этой книги вышло в 2009 г.; к коллективу соавторов присоединился Саймон Бромли [Hirst, Thomson, Bromley, 2009].

Приведем пример того, как еще на относительно ранней стадии определяли глобализацию и локализацию аналитики Всемирного банка в Докладе о мировом развитии на 1999/2000 г. (Entering the 21st century): «Глобализация, которая отражает прогрессивную интеграцию мировой экономики, предполагает, что национальные правительства будут взаимодействовать с международными партнерами, чтобы наилучшим образом управлять изменениями, влияющими на торговлю, финансовые потоки и глобальную окружающую среду. Локализация же отражает растущее желание людей участвовать в делах правительства и проявляет себя в утверждении региональной самобытности. Локализация генерирует политический плюрализм и самоопределение в мире. Одним из ее проявлений является увеличение количества стран в мире, которое подпрыгнуло вверх после того, как только регионы добились своей независимости» [Entering the 21st century, 2000, p. 2, 8]. Авторы указанного Доклада помимо терминов «глобализация» и «локализация» используют также гибридный термин – «глокализация», который расшифровывают как взаимосвязанный процесс глобализации и локализации.

Политически заостренное понимание глобализации предлагает российско-канадский политолог О.А. Арин (псевдоним Р.Ш. Алиева). В книге «Мир без России» [Арин О.А. (Алиев Р.Ш.), 2002] автор выдвигает свою систему логических сопряжений понятий «глобализация», «интернационализация», «интеграция». По его мнению, «формирование мирового рынка со второй половины XIX века породило явление экономической интернационализации, которая, проходя определенные циклы и фазы... продолжает развиваться и в настоящее время. Как явление *экономическая интернационализация* является объективным процессом интенсивного взаимодействия субъектов и акторов мировой экономики в сфере торговли, капитала и финансов. По мере своего развития *интернационализация* породила два новых явления: поначалу *региональную интеграцию* (со второй половины XX века), а затем – *глобализацию* (начиная с 90-х годов XX века)». Последние два новых явления, по мнению О.А. Арина, «отрицают интернационализацию (хотя и вызваны ею), и в то же время они антагонистичны по отношению друг к другу», при этом «разрешением данного противоречия может стать новое явление – *глобальная интеграция*, или, иначе говоря, единое мировое хозяйство, которое явится отрицанием и глобализации, и региональной интеграции» [там же, с. 293–294].

Стремясь применить марксистский диалектический метод, О.А. Арин поясняет, что «на предварительной стадии в пользу глобализации “работает” локализация, которая действует против интеграции», и что «все эти явления: интернационализация, интеграция, локализация и глобализация – некоторое историческое время будут сосуществовать одновременно во “взаимной борьбе” с разной степенью проявления. Причем глобализация вместе с локализацией – это всего лишь зародышевые формы новых явлений в мировой экономике. Ныне ее главными проявлениями

выступают именно интернационализация и региональная интеграция» [Арин О.А. (Алиев Р.Ш.), 2002, с. 294]. Сущностные различия интернационализации и глобальной интеграции О.А. Арин видит в том, что «глобальная интеграция, или единое мировое хозяйство, предполагает и единое мировое правительство, в то время как при интернационализации, интеграции и глобализации национальные правительства сохраняют свою силу, хотя роль их в каждом из трех явлений неодинакова. Наибольшее значение они имеют при интеграционных процессах, наименьшее – при процессах глобализации» [там же, с. 345–346]. Как левый марксист, О.А. Арин определяет экономическую глобализацию как «процесс контроля и управления всех видов экономической деятельности в мировом масштабе в интересах стран Запада» [там же, с. 348]. Близких взглядов, как мы покажем ниже, придерживаются многие сторонники мир-системного подхода и теории зависимого развития.

Одним из важнейших проявлений глобализации стало мощное развитие *транснациональных корпораций (ТНК)*. Наиболее часто используемым примером, свидетельствующим о возникновении глобальной реальности, являются транснациональные корпорации, получившие даже наименование «stateless corporations» (т.е. корпораций вне государственных рамок). Подобные корпорации, по сути, утратили национальную идентичность и, охватывая целые континенты, стали явлением глобального масштаба. Считается, что ни одна крупная экономическая инициатива в современных условиях не может реализоваться исключительно в рамках одного национального государства и даже государства как такового.

Подобный абсолютистский взгляд на ТНК нередко приводит к постулированию неизбежности возникновения глобальных социально-экономических сил, фактически управляемых ТНК. В связи с этим отмечаются три тенденции: а) рост обобществления национальных экономик посредством «глобализации капитала и производства»; б) новое мировое разделение труда, приобретающее все более и более наднациональный характер; в) радикальная глобализация средств массовой информации и форм потребления.

Во многих случаях отдельные ТНК владеют капиталом, превышающим совокупный национальный продукт стран, к которым эти ТНК формально «приписаны». Это получило наименование «экономического гигантизма», сочетающегося с концепцией «глобальной экспансии» (*global reach*), когда ТНК извлекают основной объем прибыли из источников, находящихся за пределами страны приписки. Стремительное распространение инфокоммуникаций служит еще одним примером рассматриваемых тенденций. Телевизионные каналы вещания покрывают огромные заселенные территории. При этом само вещание сосредоточено в руках немногих компаний, также принадлежащих к числу ТНК.

Характеризуя значение ТНК в процессах интеграции и глобализации, О.А. Арин подчеркивает, что «основными экономическими акторами

при интеграции являются национальные экономики и региональные ТНК, в то время как в экономических пространствах интернационализации значение ТНК выше, чем национальных компаний, а в глобализированных пространствах – на первое место выходят межнациональные компании, многонациональные предприятия и межнациональные банки (МНК, МНП, МНЕ)» [Арин О.А. (Алиев Р.Ш.), 2002, с. 294].

Можно сказать, что в оценке результатов экономической глобализации сталкиваются два полярных направления, две позиции, за которыми стоят различные теоретические школы экономистов. *Первая позиция* (ее многие называют либеральной) покоится на идеях так называемой Манчестерской школы, отцами-основателями которой считают Д. Рикардо, И. Бентама, Р. Кобдена. *Вторая позиция* связана с мир-системным подходом и теориями зависимости и периферийного капитализма (И. Валлерстайн, Р. Пребиш, Дж. Арриги, Л. Склэр, Р. Гиссингер, Н.П. Гледич, У. Уагар и др.). Если либеральная школа утверждает, что усиление зависимости от глобальной экономики той или иной страны полуавтоматически ведет к экономическому росту, переходу к более высокому уровню благосостояния, стабилизации и развитию демократии, то сторонники теорий зависимости делают прямо противоположные выводы о том, что высокая степень экономической зависимости от внешних рынков усиливает неравенство, ведет к внутренним конфликтам¹.

Неоднозначность последствий глобализации не только для стран «третьего мира», но и непосредственно для стран «первого мира» все сильнее привлекают внимание специалистов. Анализируя эффекты глобализации, многие исследователи, даже либерального толка, вынуждены признать тенденцию усиления деструктивных влияний в странах Центра и воссоздания анклавов «третьего мира» внутри самого капиталистического «ядра». Так, либерально настроенные исследователи начинают все определеннее говорить о вторжении стандартов «третьего мира» в жизнь самих американцев, подчеркивая, что не менее 6% жителей США находятся в условиях, схожих с условиями беднейших стран мира. Герд Юнне (Амстердам) еще в середине 1990-х годов, т.е. еще до всякого мирового экономического кризиса, говоря о том, что в США в ближайшем будущем 30% населения будет жить за чертой бедности и в состоянии неграмотности, считал необходимым передвинуть границу между Севером и Югом, перенести границу между Мексикой и Латинской Америкой на территорию самих Соединенных Штатов [Junne, 1995, p. 17].

Глобальные риски. Явления экстенсивного роста глобальной экономики развиваются на фоне существования и даже обострения общемировых проблем, также приобретающих глобальный характер. К их числу относят, прежде всего: а) неконтролируемый рост населения; б) отсталость социально-экономического и культурного развития многих стран; в) про-

¹ См. подробное изложение точек зрения этих и близких к ним по взглядам авторов в работе: [Gissinger, Gleditsch, 1999].

блемы образования (продолжающееся абсолютное увеличение численности неграмотных); г) неконтролируемый рост городов; д) отставание развития систем здравоохранения и выход из-под контроля ряда болезней, имеющих массовый характер; е) нерешенность продовольственной проблемы; ж) сокращение невозобновляемых природных ресурсов; з) сохранение военной угрозы; и) обострение постоянной угрозы мирового терроризма.

Все указанные проблемы уже давно переросли рамки отдельных стран и превратились в *общецивилизационные*. Притом процессы экстенсивного роста экономики, основанной на ТНК, самым непосредственным и часто причудливым образом переплетаются с перечисленными глобальными проблемами, в одних случаях способствуя их решению, а других – усугубляя их остроту.

Обсуждаемая модель «линейной глобализации» чаще всего используется в популярных средствах массовой информации и таким образом глубоко внедряется в массовое сознание, порождая своего рода мифы глобализации, идеологию глобализации и даже своеобразную мондиалистскую религию, основанную на культе планетарных начал современного мира и едином человечестве.

Альтернативы линейного подхода. Линейно-технооптимистический подход имеет ряд уязвимых мест. Можно ли предполагать, что при столь крупномасштабных изменениях, объективно происходящих в мире, сами общества останутся более или менее неизменными, а равно и устройство жизни этих обществ не претерпит столь же радикальных изменений, включая личностный уровень, уровень повседневности и другие подсистемы? Иными словами, глобализационные процессы, по всей видимости, должны вносить серьезные изменения во все социальные структуры и институты. Мировое сообщество входит (фактически полностью вошло) в принципиально новый мир, и в этом мире многое, если не все, обладает чертами явной или скрытой до времени новизны. Это не что иное, как комплексные изменения основных и частных параметров социальной системы.

В связи с этим и схожими доводами современная социальная теория предлагает ряд концепций, которые отвергают линейную схему рассмотрения мировой реальности, отходят от экономического редукционизма и упрощения, одновременно акцентируя внимание на достаточно *новых качественных характеристиках* этой реальности и ее социологической интерпретации. Имеется в виду четыре такие концептуальные модели, а именно: «миросистемная» модель, модель глобальной культуры, концепция глобального сообщества («глоболокализм») и модель глобальной системы.

«Миросистемная» модель И. Валлерстайна. Известный американский социолог И. Валлерстайн на протяжении последних как минимум 30 лет отстаивает теорию, которая по определению должна носить глобальный характер (хотя сам Валлерстайн уклоняется от использования

этого термина). В первую очередь, имеется в виду экономическая мировая система (по И. Валлерстайну – «капиталистическая мир-экономика»). Американский социолог указывает на наличие в мировом разделении труда стран, принадлежащих к трем различным «кругам»: а) экономическое «ядро» мировой системы, б) «полупериферия» и в) полная «периферия». Причем сочетание этих трех зон мировой экономики находится в движении и перемещается в геополитическом пространстве. В мировой политике теория И. Валлерстайна выделяет в качестве главного фактора борьбу сверхдержав за мировое господство, а в области культуры делает упор на взаимодавление «культурных цивилизаций» и их стремлении занять господствующее положение [Wallerstein 1995; Валлерстайн, 1997, 1999, 2001, 2003 а, 2003 б].

Примечательно, что, несмотря на свой «миросистемный» радикализм, подход И. Валлерстайна не порывает с концепцией национальных государств, предлагая лишь соответствующим образом объединять их в три указанные выше зоны. Так или иначе, границы между государствами или «зонами» остаются.

Обозначая в качестве основополагающей в процессах глобализации дихотомию *Центра* и *Периферии*, следующий логический шаг делают сторонники теорий периферийного капитализма и зависимого развития – Р. Пребиш, Т. Дус-Сантус, Дж. Арриги, Л. Склар, Р. Гиссингер, Н.П. Глэдич, У. Уагар и др. Глобализация, по их мнению, только закрепляет неравенство между Центром и Периферией, вскрывая границы ранее закрытых экономик и распространяя модель зависимого развития на новые и новые территории. Завершающий такой ход мысли шаг в понимании глобализации в русле теорий мир-системного подхода и теорий экономической зависимости делает известный отечественный историк Ю.И. Семенов: по его мнению, процесс интернационализации, по сути, трансформирующийся в процесс формирования всемирного исторического пространства и завершившийся к началу XX в., во второй половине столетия сменился качественно новым процессом *глобализации* – процессом превращения всемирной системы социоисторических организмов, развивавшихся в последние два столетия хоть и под влиянием Запада, но в целом независимо, в один мировой социально-исторический организм. И проявлением этого процесса, по мнению Ю.И. Семенова, выступает разрушение системы национальных капиталистических рынков, сращивание экономик всех стран под воздействием ТНК и транснациональных финансовых структур, ослабление влияния национальных государств зависимых стран на экономику и социальные процессы в своих странах [Семенов, 2003, с. 509–568]¹. Вывод, который следует из концепции Ю.И. Семенова, таков: человечество вступает в новую эпоху – эпоху качественно иных форм организации производства, в которых классовое деление пролегает теперь не между

¹ Новое издание этой известной книги предприняло издательство «Академический проект» в 2013 г.

группами людей в пределах одного общества, одного социального организма – а между государствами, превращающимися в своеобразные мега-классы. Но из этого также следует, что глобализация порождает новые линии протестного сознания (в том числе и «ложного»), новые формы массовых движений¹.

Концепция глобальной культуры на протяжении последних более чем десяти лет разрабатывается на страницах журнала-альманаха «Теория, культура и общество» (*Theory, culture and society*), редактируемого М. Фезерстоуном [Global culture, 1992]. Главные направления разработки предлагаемого подхода (модели) – это конsumerизм как явление глобальной культуры, мировой туризм, мировые культуры и религии, культура постмодернизма. Центральный вопрос, рассматриваемый представителями этой школы социологической глобалистики, касается проблемы самоидентификации личности в условиях нарастания транснациональных тенденций в культуре. Что испытывает индивид в ситуации превращения его национальной культуры в часть глобального мирового целого? Отсюда такие специфические темы, как американизация мировой популярной культуры, «макдональдизация» и др. В рамках этой социологической модели преобладающая роль в глобальных процессах отводится именно культуре. Причем представители этой школы, признавая развитие транснациональных культурных процессов, между тем отказываются безоговорочно стать на позиции «глобального оптимизма» (по принципу «чем больше глобального – тем лучше»). Напротив, они считают, что тотальное распространение телевидения и других средств коммуникаций не приводит к тому, что М. Маклюэн назвал «глобальной деревней» [McLuhan, Fiore, 1968] – аналогом современного глобального сообщества, основанного на идентичных культурных образах (icons) и потерявшего свое местное, национальное начало. По мнению сторонников концепции «глобальной культуры», происходит перемешивание национальных культур при сохранении их собственных «слоев», словно в коллоидном химическом растворе (перемешивание без «химического» взаимодействия между субстанциями). Причем в этом смещении культур устанавливаются определенные пропорции равновесия, препятствующие дальнейшему нивелированию или гомогенизации. В этом смысле миру не грозит тотальная американизация культуры, ибо проникновение массовой культуры США будет на том или ином уровне остановлено потенциалом национальной культуры, а на пограничье двух культурных слоев начнется активный процесс диффузии. Кроме того, данная теория использует понятие «гиперреальность» (постмодернистский термин, обозначающий новое качественное состояние культуры, испытывавшей процесс диффузии). Это будет культура, лишенная внутренней

¹ См. об эволюции понимания протестного сознания и движения: [Кагарлицкий, 2007, 2010; Завалько, 2005].

системности и центров опоры. Возобладают фрагментированные сегменты, хаотично сочетающиеся (или не сочетающиеся) друг с другом¹.

В рамках указанного подхода утвердилось понятие «глоболокализм». Это лексическое новообразование сформировалось и обрело сторонников на XII Всемирном социологическом конгрессе в Мадриде (1990). Социологи, использующие данный термин (прежде всего, Р. Робертсон, М. Арчер, Н. Смелзер и др.), при рассмотрении глобальных процессов подчеркивают важнейшие изменения, происходящие в локальных, т.е. местных сообществах, малых культурах и субкультурах, территориально локализованных и обладающих пусть относительной, но все же оседлостью. Это, в свою очередь, приводит к установлению важнейших «локально-глобальных связей» («*local-global nexus*»).

Идея состоит в том, что территориальные общности обретают в контексте глобальных тенденций совершенно новые качества. И потому известная формула «*To think globally but act locally*» (*Мыслить глобально, но действовать локально*) в теоретико-социологическом смысле становится вполне адекватной.

Концепции глобального общества. Несколько теоретико-методологических подходов (моделей), принадлежащих данной ориентации в глобалистике, в большей степени делают акцент на международных отношениях, чем на социологии как таковой. Тем не менее их значение для социологического миропонимания также весьма существенно.

Исходной точкой построения подобных моделей служит утверждение, что как бы мир ни глобализировался, он все же состоит из отдельных государств и, соответственно, самостоятельных культур. Однако эти национально-государственные образования в процессе взаимодействия выработывают некую транснациональную систему взаимосвязей и взаимоотношений. Таким образом, рассмотрение глобального мира с позиций (индивидуальных) перспектив отдельных государств не дает адекватной картины. Это всего лишь игра, напоминающая столкновение бильярдных шаров. Ставится задача разработки модели мирового сообщества как целого. Для этого требуется заменить, «снять» абсолютизацию национальных государств как «единицы» взаимодействия и встать на позицию системного анализа мирового сообщества. Данная теория редко оперирует экономическими и культурными факторами. Она целиком погружена в государственно-политические вопросы.

В том же ряду и позиция, сторонники которой стремятся заменить «государственническую» точку зрения на миро-системную, акцентируя внимание на переходе «к новой системе отношений», сфокусированных на международных организациях как прообразе будущего сообщества. В целом эта идея соответствует уже ставшей классической концепции «переходного общества», выдвинутой Р. Ароном [Арон, 1984; Арон, 1993 а,

¹ См.: [Heider, 2009; Виртуализация межвузовских научных коммуникаций, 2010].

1993 б;] в его теории «переходных отношений», и соответствующая ей модель глобализации не обладает чертами завершенности и внутренней логической полноты. Она лишь указывает на необходимость уделять первостепенное внимание неправительственным организациям, международным общественным движениям, особенно в тех случаях, когда они берут на себя полномочия создавать новые надгосударственные объединения. Все это имеет прямое отношение к общесоциологической и политологической концепции гражданского общества, рассмотренного в качестве глобальной реальности.

Принципиально новую концепцию глобального общества предложили авторы шумевшего сборника «Современность и ее будущее» [Modernity and its futures, 1992], изданного в 1992 г. в Англии. Главная цель его авторов – внедрить понятие глобализации в контекст теории постмодернизма. Поскольку категория «modernity» (иными словами, образ современного индустриального общества) канонически утвердилась, возникают вопросы: что происходит с «современным» обществом в процессе его глобализации? Разрушаются ли при этом такие феномены, как капитализм, национальные государства, или они усиливаются?

Отвечая на эти вопросы, Э. Гидденс в книге «Ускользающий мир: Как глобализация меняет нашу жизнь» [Giddens, 1999]¹ проводит теоретический анализ понятий социального времени и социального пространства, прошедших «обработку» глобализацией. Согласно его выводам, в ходе глобализации имеет место как компрессия пространственно-временных параметров социума, так и их «разнесение» (distanciation). В своем анализе modernity Э. Гидденс определяет глобализацию, используя четыре параметра: а) система национальных государств; б) мировой военный порядок; в) международное разделение труда; г) возникновение мировой капиталистической экономики. Все это, по мысли Э. Гидденса, стало следствиями трансформирующейся «современности», переходящей в «постсовременность». Причем постсовременность (прежде всего, глобальная) возникает в результате взаимодействия объективных (линейных) глобальных тенденций и локализованных феноменов повседневности. Именно на рубеже этого взаимодействия и возникает постмодерн с его характерными культурными гибридами. Таким образом, в теории Э. Гидденса упор делается на объективно-субъективные феноменах; проблемы социального сознания, по сути, ставятся во главу угла.

Модель глобальной системы. Данный теоретический подход, предложенный Л. Склэром [Sklair, 1991, 2007], выдвигает понятие «транснациональные практики» (transnational practices), которые охватывают области, существенно более широкие, чем сфера международных отношений на уровне национальных государств. С одной стороны, глобальная система Л. Склэра реалистически признает значимость национальных госу-

¹ В русском переводе: [Гидденс, 2004].

дарств, но с другой – предлагает перенести фокус внимания на «транснациональные практики», отличительной чертой которых признается наличие международных (не национальных) акторов и прозрачности границ.

Транснациональные практики последовательно пронизывают экономические, политические и культурные институты обществ, причем доминирующим фактором оказываются глобальные свободные рынки и либеральные экономические отношения, т.е. то, что принято называть «капитализмом». В каждой из указанных сфер, пронизанных транснациональными практиками, доминируют конкретные социальные институты: ТНК формируют транснациональные практики в области экономики; в политической сфере преобладает «транснациональный капиталистический класс»; культурно-идеологические транснациональные практики определяются глобальным консумеризмом (идеологией потребительства) и т.д. По мысли Л. Склэра, модель глобальной системы не противоречит другим глобалистским моделям, ибо показывает, как институты национальных государств, не теряя своей (внутренней) идентичности, превращаются в истинно глобальные. Происходит нечто сравнимое с подрывом национальных институтов изнутри: внешне они продолжают оставаться традиционно национальными, будучи по сути уже глобальными. Это можно проследить на таких примерах, как взаимоотношения руководства ТНК и их местных представителей в разных странах, «глобализация» национальных бюрократов и бюрократических институтов, приверженных глобальному рынку, местных политиков и интеллектуалов и, наконец, возникновение глобализировавшихся консумеристских элит.

Согласно анализу Л. Склэра, существует один класс – транснациональный капиталистический класс, – который и принимает все решения, касающиеся общемировых проблем. В отдельно взятой стране этот класс представлен в «местной» ТНК. Что касается теории культуры и идеологии консумеризма, то она приходит на место прежней концепции «культурного и информационного империализма».

Особенностью современного *глобального консумеризма* следует считать, по Л. Склэру, экспансию «транснациональных практик», прогрессирующих образцов потребления, не подразумевающих наличия средств их достижения. Это своеобразная религия потребительства, в которой бог – производитель товаров и услуг в принципе не достижим для верующего в потребление.

Американизация, по сути, представляет собой конкретизацию глобализации с включенными элементами американской национальной культуры. Причем особенности американизации в области культуры состоят в следующем: иррационализация рациональных матриц (доведение до абсурда рациональных элементов культуры), приоритет количественных характеристик (коммерциализация), готовность к употреблению («оперантность»), полностью гарантированное качество на определенном уровне, упакованность в яркие символические формы, виртуализация культурных

образов (создание виртуальной реальности, в которой разворачивается культурный феномен) [Покровский, 2000; Виртуализация межуниверситетских и научных коммуникаций, 2010].

Многие рассмотренные подходы к пониманию и истолкованию процессов глобализации имеют сходные черты, что лишний раз подчеркивает общую тенденцию социального теоретизирования данной области. Все эти концепции или модели осмысления феномена глобального пространства достаточно открыты для критики. Однако знаменательно, что их сторонники, признавая наличие противоречий в своих построениях, ни при каких обстоятельствах не отказываются от главных тезисов. Подобная иррациональная убежденность и позволяет утверждать, что в области теории глобализации мы имеем дело с определенным *конструированием социальной реальности*.

Концепция порождающих технологий

Смысл разнообразных конструкций можно хорошо представить себе на примере концепции «Обществ, основанных на знании» («knowledge societies»), разработанной немецко-канадским социологом Нико Штером [Stehr, 1994, 2008; Grundmann, Stehr, 2012], из которой вытекает, что не только бизнес и политики, но и сообщества ученых оказывают существенное воздействие на трансформационные процессы в глобальном масштабе.

Теория Н. Штера имеет немалую историю, связанную с именами Р. Лэйна, П. Дракера, Д. Белла, Р. Арона и др. Действительно, в современных обществах научное знание представляет собой не только способ мысленного освоения социальной реальности, но и средство ее практического творения. При этом сообщества ученых исполняют функции не только экспертов, но и «демиургов» самого действия (на что, как правило, претендуют лишь политики и представители корпоративного бизнеса). Это утверждение основывается на признании следующих положений:

- научное знание все больше проникает во все сферы жизни, оказывая на них существенное влияние;
- усиливается давление (в рамках гражданского общества) научно образованного населения на политические институты;
- возникают новые области экспертного знания и провоцируемые им последующие социально-институциональные изменения;
- сферы социального конфликта перемещаются с поля непосредственных социально-политическо-экономических интересов в область столкновения научных концепций развития, изменений, трансформаций, включая глобализацию;
- возрастает хрупкость современных организаций, основанных на применении научного знания.

Расширение зон применения научного знания в современном обществе вовсе не ведет к линейной траектории социальных изменений, показывает Н. Штер. Напротив, в обществе конкурируют различные научные

концепции, каждая из которых обладает определенным созидательным потенциалом, оказывающим зримое воздействие на формирование социальной реальности. В этом смысле ни глобальное сообщество в целом, ни отдельные сообщества не имеют заданного и единого направления своей эволюции. Достаточно обоснованная социальная теория, делает вывод Н. Штер, обладает потенциальной способностью изменить социальную реальность, стимулируя практики «порождающих технологий».

Принцип «ЕСРС»

Известный американский социолог-теоретик неовеберовского направления Джордж Ритцер предложил новое измерение в исследовании культурных процессов в эпоху глобализации. В рамках концепции Дж. Ритцера, получившей известность под названием «макдоналдизация» [Ritzer, 1998; Ритцер, 2011], приобрела немалую известность метафора крайнего рационализма в деловых отношениях и производстве: эффективность, просчитываемость, предсказуемость, контроль (в английской аббревиации – ЕСРС). Джордж Ритцер формулирует рационалистическую модель американизации деловых взаимоотношений в лапидарной схеме:

- *Efficiency* – эффективность, прежде всего экономическая, оптимизация выгоды;
- *Calculability* – просчитываемость в рамках простых или сложных количественных моделей;
- *Predictability* – предсказуемость, «ожидаемость»;
- *Control through nonhuman technologies* – контроль над поведением со стороны дегуманизированных технологий и технологических процессов [Ritzer, 1998].

Условно назовем это «*принципом ЕСРС*» подобно парсоновскому принципу AGIL. Данная модель разработана Дж. Ритцером с опорой на методические постулаты М. Вебера и К. Маннгейма. При этом происходит создание как бы новой рациональной системы, которая выступает в виде антипода старой системы рациональности, связанной с традиционной культурой. Наверное, нет смысла уподоблять принципы «макдоналдизации», предложенные Ритцером, классической веберовской модели протестантской этики. И тем не менее аналогии неизбежно возникают.

Вебер фактически «открыл» (наряду с Марксом) капитализм, т.е. показал смысл и логику всего происходившего в рыночном обществе. Нечто подобное осуществляет и современный американский социолог, расколдовывая загадочную сложность американизированной цивилизации, осуществляющей свою поступательную экспансию. Оказывается, вся эта сложность в большей или меньшей степени укладывается в четыре принципа. (Кстати сказать, у Вебера их было не больше.) Можно спорить по поводу того, насколько принципы Дж. Ритцера универсальны и описыва-

ют ли они все современные общества¹, но несомненен значительный вклад американского социолога в понимание современных культурных практик, инициированных глобализацией.

Мир XXI в. рисовался многим социологам и журналистам таинственным и неизведанным, дарующим перспективы, которых был лишен век уходящий. По сути, новое столетие, эпоха «посткапитализма» предстает обыденной и даже вульгарной, но *внутренне целостной*. И в этой исторической целостности заключается ее неизбежность. Постмодернистский хаос фрагментарных осколков смыслов и логических схем обретает несколько примитивную упорядоченность, навязывающую себя всем современным сообществам под названием глобализации. Попытаться избежать ее также бессмысленно, как в свое время было бессмысленно избежать капитализма (даже если его и называли социализмом). Однако понимать закономерности глобальных трендов – означает обрести определенную степень свободы в несвободном мире.

Основные черты глобализации

Каковы же общие свойства большинства представленных выше глобалистских моделей с точки зрения содержащихся в них социальных конструкций-матриц?

Всеохватность и комплексность изменений. Прежде всего теория глобализации подчеркивает: акцент должен быть сделан не на рассмотрении отдельных «траекторий» социальных изменений в тех или иных сферах, а на анализе взаимодействия этих изменений друг с другом, на их переплетении и взаимополагании. Это подразумевает усиление внимания к пространственно-географическим параметрам социальных изменений, их глобальной всеохватности.

Противопоставление глобального и локального в области культуры, рассмотрение тесной связи макро- и микроуровней происходящих изменений. Важной особенностью глобализации становится то, что она проникает в самые глубины социальных структур, превращая их в носителей новых смыслов. Это касается таких «локальных» ценностей, как традиции, обычаи, привычки, практики местных сообществ и др. Короче говоря, новые глобальные реалии радикально видоизменяют даже наиболее консервативные и устойчивые структуры социального сознания и поведения. При этом процесс отказа от «старого» идет быстро, решительно, зримо, а всякое «новое» обладает, по мнению теоретиков глобализма, заведомым преимуществом, поскольку оно «глобальное». Из этого в принципе следует, что именно *глобальное приобретает статус высшей нормативной ценности*. Социальным институтам локального уровня отныне уже нет необходимости преодолевать все «ступени» вертикальной иерархии, дабы

¹ Идеи «макдоналдизации», выдвинутые Дж. Ритцером в начале 1990-х годов, получили продолжение и развитие в его более поздних работах: [Ritzer, 2004, 2007].

выйти на общемировой уровень. Семья, малые группы, местные организации, локальные движения и институты глобализируются прямым и непосредственным образом именно на своем уровне, демонстрируя новые формы участия в глобальных процессах.

Множественность культурных гибридов. Теории глобализации радикально изменяют наше представление о культуре, которая прежде рассматривалась по преимуществу как нечто либо наследуемое, либо спускаемое «сверху» и «распространяемое». В новых условиях культура становится результирующей бурного процесса «конфликтности». Это приводит к возникновению разнообразных глобальных и локальных «социокультурных гибридов», с присущими им весьма коротким периодом полураспада, нестабильностью, несоответствием традиционному контексту.

Примордиальные феномены и гражданское общество. В этом контексте своеобразный поворот получает и проблематика гражданского общества. Процесс интернализации ценностей и ценностных ориентаций приводит к тому, что регулятивно-нормативная функция общества существенно видоизменяется, а прежде подавлявшиеся гражданским обществом и не социализировавшиеся примордиальные (примитивные, свойственные первобытности) феномены, близкие по своему характеру к фрейдовскому *Id* и мидовскому *I*, проявляющие себя, например, в этничности (т.е. этническом происхождении, расе, как и поле), занимают все более важное положение в глобализируемых процессах и институтах. Мозаичный набор социальных «типов» и моделей, отсутствие единых принципов рационализации, свобода обращения с примордиальными феноменами – все это создает *глобалистско-постмодернистскую* картину социального мира.

Новая концепция рациональности. Глобальные процессы заставляют изменять и прежнюю концепцию рациональности, сформировавшуюся в рамках «современного общества» по контрасту с «постсовременным». Поскольку глобализация представляет собой нормативно-теоретическую парадигму, она предлагает образцы новой рациональности. Рациональность в глобальном смысле понимается, прежде всего, как свобода самовыражения многообразия, что и находит свое частное проявление в теории мультикультурализма, т.е. в признании доминирования принципа полной мозаичности культурной «карты» той или иной региональной или профессиональной группы [Albrow, 1997; Global culture... 1992; Global modernities, 1995; Robertson, 1992; Stehr, 1994; Tiryakian, 1997; Wallerstein, 1995; Waters, 2002].

Противоречивая глобализация на российской почве

Что же происходит в России в XXI в.? В течение первых двух десятилетий внешне казалось, что новое состояние российского общества более или менее сбалансировано и по существу поддерживается структурами мировой глобализации. По умолчанию предполагалось, что Россия вклю-

чилась в систему догоняющего развития, или модернизации, и будет наращивать свое движение по этому маршруту¹. Казалось, весь мир развивается по схожим схемам, но со своими вариациями. Большинству исследователей представлялось, что Россия в этом смысле не исключение, а лишь *инвариант* общего состояния мирового сообщества.

Социальная реальность продемонстрировала большую сложность, нежели представлялось экономистам и социологам в 1990-е и начале 2000-х годов. С одной стороны, в ней активно реализуют себя большинство глобалистических тенденций в их яркой «гибридной» форме. Но с другой стороны, активизируются процессы реанимации традиционалистских, до-советских и даже докапиталистических экономических и социальных отношений. Парадокс российской современности – в одновременном сосуществовании ультрасовременных и архаичных социальных моделей и практик.

Весьма примечательно, что культурные глобализационные гибриды, описанные выше, получили в России конца 1990-х годов немалое распространение. Культурные гибриды реализуют себя и в социально-экономической жизни, соединяясь в симбиотические образования с архаическими моделями социального экономического взаимодействия.

В современной российской экономике – насыщенной новейшей техникой и инфокоммуникациями – параллельно присутствуют многочисленные некапиталистические элементы, различные формы архаических экономических отношений, ведущих свое происхождение из первобытных и предклассовых стадий, что ставит под сомнение капиталистический характер российского общества и экономики². Среди возрождающихся архаических форм экономического взаимодействия – дарообмен, блат и услугиообмен, милитарное (силовое) присвоение, кабальничество и рабство, престижная экономика и многие другие, не просто присутствующие в современной России, но и образующие своеобразный общественный уклад. Некоторые из этих архаических структур присутствуют в экономике в качестве маргинальных, «пережиточных» явлений, но многие подобные модели стали активно влиять на экономическую жизнь не только России, но и самых, казалось бы, «прогрессивных» обществ. Глобализация словно высвечивается изнутри парадоксами архаики. Именно на принципах архаической экономики, как выясняется, строятся модели теневой, коррупционной, нелегальной и неформальной экономической деятельности, о всплеске которой в последние десятилетия так активно говорят исследователи³.

¹ См. ранний анализ pro et contra теории модернизации постсоветской России: [Федотова, 1997; Федотова, Колпаков, Федотова, 2008].

² См. работы: [Косалс, 2006; Тимофеев, 2000; Радыгин, 2004; Шляпентох, 2008].

³ Следует отметить: [Волков, 2002; Организованная преступность... 1996; Гуров, 1995; Клямкин, Тимофеев, 2000 а, 2000 б; Кошелев, 1999; Потемкин, 2000; Тимофеев, 1998, 2000; Galeotti, 1996; Frisby, 1998].

Исследованиям архаических форм экономики «не повезло» в том смысле, что их не рассматривали в качестве «своих» ни экономисты, ни историки, ни культурные антропологи. Растворенность собственно экономических действий в море иной – культурной, ритуальной, религиозной, церемониальной, повседневной и бытовой – практики долгое время не позволяла этнологам вычленив экономическую этнологию в качестве особой субдисциплины. Лишь в начале и середине XX в. начались систематические и целенаправленные полевые исследования социально-экономических отношений у народов, которые все еще продолжали оставаться на стадии доклассового общества (Д. Гудфеллоу, Р. Ферс, М. Херцковиц, Б. Малиновский, М. Мосс, К. Поляны¹, Дж. Дальтон и М. Салинз, М. Гудель и др.) В отечественной экономико-этнологической мысли наибольший вклад в исследование докапиталистических форм экономики предпринято Ю.И. Семеновым, чье теоретическое исследование экономической основы первобытного общества, а также азиатского способа производства (политаризма, в терминах ученого) открыло новую страницу в экономико-исторических исследованиях внеэкономического принуждения².

Таким образом, лишь во второй половине XX в. в результате большой работы, проделанной в области экономической этнологии и экономической истории, стало очевидным и доказанным наличие особого рода экономических систем, которые, оставаясь экономическими, не выглядят и не являются системами рыночной экономики. Открытие же в науке универсального распространения в истории такой разновидности раннеклассовых систем, как *политарная*³, привело к существенному изменению представлений и о советском обществе как об обществе социалистическом, а о постсоветском обществе – как об обществе, осуществляющем переход от социализма к капитализму.

Неклассические, некапиталистические формы экономики, проявляющие себя в современных социальных и экономических практиках, стали начиная с 1950–1960-х годов предметом заинтересованного внимания зарубежных экономистов и социологов в силу широкого распространения в экономиках молодых развивающихся стран, а также в странах постсоветских, «транзитивных». При этом выяснилось, что корни и природа не-

¹ Все большую известность труды и деятельность К. Поляны (1886–1964) получают в России, хотя и гораздо медленнее, чем это предполагает значение фигуры исследователя. В 2004 г. общественность отмечала 40 лет со дня смерти этого выдающегося антрополога и историка экономики, а также 60 лет с момента выхода в свет его самой известной книги «Великая трансформация» (пер. на рус. яз.: [Поляны, 2002]).

² Подробнее о многообразии этих ранних экономических отношений см. в работах Ю.И. Семенова: [Семенов, 1993, 2011, 2014].

³ *Политаризм, политарное общество* – термин, введенный Ю.И. Семеновым для обозначения так называемого азиатского способа производства и азиатского типа общества, базирующегося на общеклассовой частной собственности государственного аппарата на средства производства (землю в архаических обществах) и личности непосредственных производителей («государственное рабство»).

формальной экономики вырастают из архаических производственно-экономических отношений и чаще всего реализуются также в системе этих отношений [Николаева, 2005 а, 2005 b, 2005 d].

Не случайно таким популярным направлением в последние годы стала область изучения «экономики блага». «Благообмен», как показали в свое время ряд исследователей¹, строится особым образом: по каналам неформальных (персонально-ориентированных) 상호обменных связей движется поток ценностей, товаров, услуг, денег. Неформальная теневая «экономика блага» составила основу теневой экономики постсоветского времени: старые и новые 상호обменные связи стали каналами приватизации, персонализации корпоративной государственной собственности. Специфической особенностью поздней советской, перестроечной и постперестроечной экономики стало резкое возрастание экономической роли родственно-семейных и дружественных связей, активное использование этих связей для решения частных экономических задач. При этом удивительным образом обнаружилось сходство социально-экономических процессов, протекавших в постсоветских государствах и в странах, давно «строющих» развитый капитализм (странах Латинской Америки и др.). «Десять лет назад, – констатирует экономист Эрнандо де Сото, – мало кто рискнул бы даже намекнуть на сходство между странами Варшавского блока и Латинской Америкой. Но сегодня они кажутся почти близнецами: мощная теневая экономика, вопиющее неравенство, вездесущие мафии, политическая нестабильность, бегство капитала и пренебрежение законом» [Сото, 2001, с. 211].

Многогранную картину социальных процессов в странах, которые вошли в этап глобализации, рисует М.Г. Делягин в книге «Мировой кризис: Общая теория глобализации» [Делягин, 2003]. По мнению М.Г. Делягина, в России проявилась «атомизация общества, брошенного государством, до уровня отдельной семьи, а то и отдельной личности». В таком обществе, в котором расширяется социальный и нравственный вакуум, «распадаются межчеловеческие связи, которые, собственно, и образовывали это общество», «человек начинает жить в одиночку, в социальной системе, где, кроме него, устойчивы только властные структуры» [там же, гл. 15.1]. В результате этих процессов, пишет М.Г. Делягин, возникает эффект потери социальной и культурной идентичности, эффект кризиса самоидентификации, при которой человек перестает ощущать свою идентичность с обществом [там же]. Общество в таких условиях скатывается к архаике, локализации, фрагментации, «феодализации» [Шляпентох, 2008].

¹ См. подробнее: [Клямкин, Тимофеев, 2000 а; Саттер, 2004; Леденева, 1997, 1999; Ledeneva, 1998, 2001, 2006].

Заключение: Парадоксальная глобализация

Ко второму десятилетию XXI в. глобализация вышла на новый уровень. Линейные схемы поступательного развития, «смерти истории», прежде доминировавшие в социальной теории, высветились внутренней парадоксальностью, сочетанием, казалось бы, несочетаемого, реанимацией феноменов давно ушедшего прошлого. Во весь голос заявила о себе девизная гибридная культура, претендующая на роль базовой.

В этих условиях прежние ценности культуры российского общества (в мегаполисах и больших городах это особо заметно) явно оттесняются на обочину и превращаются в субкультурные анклав, не связанные друг с другом. Там они, возможно, не исчезнут окончательно, а станут основой различных субкультур, своего рода постмодернистской экзотикой, зоопарком доглобализационного периода. Соответственно, будут существовать и замкнутые сообщества (группы), их поддерживающие (по аналогии с «монастырской парадигмой» Т. Розака). Экономические процессы глобализации будут своеобразно преломляться в культурных и повседневных практиках.

Теснейшая взаимосвязь и даже взаимопроникновение новейших капиталистических и докапиталистических экономических отношений в развивающихся и трансформирующихся обществах – важнейший признак периферийного капитализма, проявляющего свои черты в эпоху глобализации по-новому. Распространенный в свое время в экономической и социологической науке тезис, согласно которому глобализация, распространяясь виширь, «расчищает» от прежних напластований экономическое и социальное пространство, на котором автоматически бурно будут произрастать современные капиталистические отношения, не подтвердился. Как показывают исследования, в периферийных странах капиталистический способ производства и докапиталистические способы производства оказываются *не в антагонистических, а в симбиотических отношениях*: капиталистические отношения, проникая в эти страны, не вытесняют, а втягивают, вбирают в себя докапиталистические отношения, а докапиталистические отношения в этих странах трансформируются и интегрируются в капитализм. Поэтому совмещение, сочленение (articulation) капиталистических и докапиталистических отношений принадлежит к числу тех особенностей периферийного капитализма, которые отличают его от капитализма метрополии, от капитализма Центра (от ортокапитализма, в терминах Ю.И. Семенова). Все это делает особенно ценным знание о механизмах и закономерностях функционирования докапиталистических экономических систем, элементы которых продолжают воспроизводиться в современных экономических системах, существующих уже в условиях единого мирового экономического пространства, в условиях глобализации. Таким образом, выясняется, что современная экономика включает в качестве своих составных частей чуть ли не все исторически существовавшие экономиче-

ские структуры прошлого, которые современные теоретики чаще всего не воспринимают как экономические.

Возникает необходимость консервации традиционных культурных ценностей и архивирования культурного наследия, но не только в виде создания разного рода депозитариев памятников и документов культуры (хотя и их тоже), а прежде всего в качестве «хранилищ» живых ценностей, в том числе и в их деятельностных вариантах. Этому могут служить различные микрообщественные организации, группы, движения и т.д., которые создают свои сети взаимного общения, хотя и не находящиеся на авансцене трансформирующегося социума.

В отечественной литературе не обсуждалась идея особого «испытательного» и экспериментального характера современной российской культуры под углом зрения глобалистских подходов. Мы же считаем правомерным такой подход (хотя бы как гипотезы), позволяющий по-иному оценить происходящее в России в области культуры, в частности в контексте общемировых трендов. Под таким углом зрения Россия предстает не как отсталая и почти «варварская» периферия высококультурного Запада, но как социум, в котором имеет место предвосхищающее развитие глобальных тенденций, сколь бы настораживающими они ни были.

Список литературы

1. *Арин О.А. (Алиев Р.Ш.)* Мир без России. – М.: Эксмо, 2002. – 480 с.
2. *Арон Р.* Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст, 1993 а. – 303 с.
3. *Арон Р.* Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс-Универс, 1993 б. – 608 с.
4. *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Под общей ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.
5. *Валлерстайн И.* Глобализация или переходная эпоха: Глобальный взгляд на долгосрочное развитие мировой системы. – М.: Красные холмы, 1999. – 127 с.
6. *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира: Социология XXI века / Под ред. В.Л. Изомцева. – М.: Логос, 2003 а. – 368 с.
7. *Валлерстайн И.* После либерализма / Под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – М.: Эдиториал УРСС, 2003 б. – 256 с.
8. *Валлерстайн И.* Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // СоцИс. – М., 1997. – № 1. – С. 8–21.
9. Виртуализация межвузовских и научных коммуникаций: Методы, структура, сообщества / Под общ. ред. Н.Е. Покровского. – М.: СоПСо, 2010. – 156 с.
10. *Волков В.В.* Силовое предпринимательство. – СПб.; М.: ЕУСПБ: Летний сад, 2002. – 282 с.
11. *Гидденс Э.* Ускользающий мир: Как глобализация меняет нашу жизнь. – М.: Весь мир, 2004. – 120 с.
12. *Гуров А.И.* Красная мафия. – М.: Самоцвет: МИКО «Коммерческий вестник», 1995. – 352 с.
13. *Делягин М.Г.* Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 47–49.
14. *Делягин М.Г., Шелянов В.В.* Мир наизнанку: Чем закончится экономический кризис для России? – М.: ИД «Коммерсантъ»: Эксмо, 2009. – 352 с.

15. *Завалько Г.А.* Понятие «революция» в философии и общественных науках: Проблемы, идеи, концепции. – М.: КомКнига, 2005. – 320 с. – (Размышляя о марксизме).
16. *Казарлицкий Б.Ю.* От империй – к империализму. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 680 с.
17. *Казарлицкий Б.Ю.* Политология революции. – М.: Алгоритм, 2007. – 576 с. – (Левый марш).
18. *Кастельс М.* Глобальный капитализм и новая экономика: Значение для России // Постиндустриальный мир и Россия: Сб. ст. / Отв. ред.: В.Г. Хорос, В.А. Красильщиков. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 64–83.
19. *Клямкин И.М., Тимофеев Л.М.* Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. – М.: РГГУ, 2000 а. – 595 с.
20. *Клямкин И.М., Тимофеев Л.М.* Теневой образ жизни: Социологический автопортрет постсоветского общества. – М.: РГГУ, Центр по изучению нелегальной экономической деятельности, 2000 б. – 67 с.
21. *Косале Л.* Клановый капитализм в России // Неприкосновенный запас. – М., 2006. – № 6. – С. 179–199.
22. *Кошелев М.И.* Беспредел: Философско-трансдисциплинарный очерк. – М.: Горизонт, 1999. – 111 с.
23. *Леденева А.В.* Блат и рынок: Трансформация блата в постсоветском обществе // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. – М.: Логос, 1999. – С. 111–124.
24. *Леденева А.В.* Неформальная сфера и блат: Гражданское общество или (пост) советская корпоративность // Pro et Contra. – М., 1997. – Т. 2, № 4. – С. 113–124.
25. *Малахов В.С.* Еще раз о конце истории // Вопросы философии. – М., 1994. – № 7–8. – С. 48–50.
26. *Медведев В.А.* Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее России. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 440 с.
27. *Николаева У.Г.* За кулисами: Современная неформальная экономика и архаические экономические отношения: Вопросы теории // Российское предпринимательство. – М., 2005 а. – № 9. – С. 49–54.
28. *Николаева У.Г.* Неформальная экономика и актуализация архаических отношений: Теоретико-методологический анализ // Предпринимательство. – М., 2005 б. – № 4. – С. 88–188.
29. *Николаева У.Г.* Экономическая архаика и современность. – М.: Дашков и К, 2005 с. – 224 с.
30. *Николаева У.Г.* Vita nuova архаических экономических отношений: Загадки современной российской неформальной экономики. – М.: Дашков и К, 2005 d. – 175 с.
31. Организованная преступность в России: Теория и реальность // Труды Санкт-Петербургского филиала Института социологии Российской академии наук: Материалы текущих исследований / Под ред. Я.И. Гилинского. – СПб.: СПб ФИС РАН, 1996. – Вып. 4. – 96 с.
32. *Покровский Н.Е.* В зеркале глобализации // Отечественные записки. – М., 2003. – № 1. – С. 51–65.
33. *Покровский Н.Е.* Глобализационные процессы и возможный сценарий их воздействия на российское общество // Социальные трансформации в России: Теории, практики, сравнительный анализ. – М.: Флинта: МПСИ, 2005 а. – С. 504–527.
34. *Покровский Н.Е.* Неизбежность странного мира: Включение России в глобальное общество // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2000. – Т. 3, № 3. – С. 21–31.
35. *Покровский Н.Е.* Тенденции клеточной глобализации в сельских сообществах современной России: Теоретические и прикладные аспекты // Современный российский Север: От клеточной глобализации к очаговой социальной структуре. – М.: СоПСО, 2005 б. – С. 19–25.

36. *Поланы К.* Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени / Под общей ред. С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002. – 320 с. – (Pax Britannica).
37. *Потемкин А.П.* Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытие: Россия. Порог XXI века. Экономика. – М.: Инфра-М, 2000. – 592 с.
38. Практика глобализации: Игры и правила новой эпохи / Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 342 с.
39. *Радыгин А.Д.* Россия в 2000–2004 годах: На пути к государственному капитализму? // Вопросы экономики. – М., 2004. – № 4. – С. 42–65.
40. *Ритцер Дж.* Макдоналдизация общества 5. – М.: Практикс, 2011. – 592 с.
41. *Саттер Д.* Тьма на рассвете: Возникновение криминального государства в России. – М.: ОГИ, 2004. – 336 с.
42. *Семенов Ю.И.* Политарный («азиатский») способ производства: Сущность и место в истории человечества и России: Философско-исторические очерки. – М.: Либроком, 2011. – 376 с.
43. *Семенов Ю.И.* Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). – М.: КРАСАНД, 2014. – 717 с.
44. *Семенов Ю.И.* Философия истории: Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. – М.: Современные тетради, 2003. – 776 с.
45. *Семенов Ю.И.* Экономическая этнология: Первобытное и раннее предклассовое общество. – М.: ИЭА РАН, 1993. – Кн. 1, ч. 1–3. – XXV, 710 с. – (Материалы к серии «Народы и культуры»; вып. 20: Экономическая этнология).
46. *Симонова Н.А.* Глобализация и неравномерность мирового развития // Постиндустриальный мир и Россия / Отв. ред. В.Г. Хорос, В.А. Красильщиков. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 25–36.
47. *Сото Э. де.* Загадка капитала: Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 272 с.
48. Справедливая глобализация: Создание возможностей для всех: Доклад Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации. – Женева: Международное бюро труда, 2004. – 171 с.
49. *Тимофеев Л.М.* Институциональная коррупция: Очерки теории. – М.: РГГУ, 2000. – 364 с.
50. *Тимофеев Л.М.* Наркобизнес: Начальная теория экономической отрасли. – М.: РГГУ, 1998. – 112 с.
51. *Федотова В.Г.* Модернизация «другой» Европы. – М.: ИФ РАН, 1997. – 255 с.
52. *Федотова В.Г., Колтаков В.А., Федотова Н.Н.* Глобальный капитализм: Три великие трансформации: Социально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества. – М.: Культурная революция, 2008. – 607 с.
53. *Шляпентох В.Э.* Современная Россия как феодальное общество: Новый ракурс постсоветской эры. – М.: Столица-Принт, 2008. – 368 с.
54. *Albrow M.* The global age: State and society beyond modernity. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1997. – IX, 246 p.
55. *Aron R.* La paix et la guerre entre les Nations. – P.: Calmann-Levy, 1984. – XXXVII, 794 p.
56. Entering the 21st century: World development report, 1999/2000 / Ed. by Y. Shaid. – N.Y.: Oxford univ. press, 2000. – IX, 300 p.
57. *Frisby T.* The rise of organized crime in Russia: Its roots and social signification // Europe–Asia studies. – Abingdon, 1998. – Vol. 50, N 1. – P. 27–49.
58. *Fukuyama F.* The end of history? – Wash.: National interest, 1989–1990. – 49 p.
59. *Galeotti M.* Mafiya: Organized crime in Russia. – Coulsdon: Jane's information group, 1996. – 22 p. – (Jane's intelligence rev.; spec. report N 10).

60. *Giddens A.* Runaway world: How globalization is reshaping our lives. – L.: Profile books, 1999. – XIII, 104 p.
61. *Gissinger R., Gleditsch N.P.* Globalization and conflict: Welfare, distribution, and political unrest // *J. of world-systems research.* – Santa Cruz (CA), 1999. – Vol. 5, N 2. – P. 327–365.
62. *Global culture: Nationalism, globalization and modernity* / Ed. by M. Featherstone. – L.: SAGE, 1992. – 411 p. – (Theory, culture a. society; spec. iss.).
63. *Global modernities* / Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. – L.; Thousand Oaks (CA): SAGE, 1995. – IX, 292 p.
64. *Grundmann R., Stehr N.* The power of scientific knowledge: From research to public policy. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2012. – 221 p.
65. *Heider D.* Living virtually: Researching new worlds. – N.Y.: Peter Lang, 2009. – XI, 296 p.
66. *Hirst P., Thomson G.* Globalization in question: The international economy and the possibilities of governance. – Cambridge; Malden (MA): Polity, 1996. – XVIII, 318 p.
67. *Hirst P., Thomson G., Bromley S.* Globalization in question. – 3rd ed. – Cambridge; Malden (MA): Polity, 2009. – XVII, 289 p.
68. *Jumne G.* Global cooperation or rival trade blocs? // *J. of world-systems research.* – Santa Cruz (CA), 1995. – Vol. 1, N 9. – P. 1–21.
69. *Kennedy P.* The rise and fall of great powers. – N.Y.: Random house, 1987. – XXV, 677 p.
70. *Ledeneva A.V.* How Russia really works: The informal practices that shaped post-Soviet politics and business. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 2006. – XII, 270 p.
71. *Ledeneva A.V.* Russia's economy of favours: Blat, networking and informal exchange. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1998. – XIII, 235 p.
72. *Ledeneva A.V.* Unwritten rules: How Russia really works. – L.: Centre for European reform, 2001. – 48 p.
73. *Levitt T.* The globalization of markets // *Harvard business rev.* – Boston (MA), 1983. – Vol. 92, N 3. – P. 92–102.
74. *McLuhan M.* The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1962. – II, 294 p.
75. *McLuhan M., Fiore Q., Agel J.* War and peace in the global village. – N.Y.: Bantam books, 1968. – 190 p.
76. *Modernity and its futures: Understanding modern societies* / Ed. by T. McGrew, S. Hall, D. Held. – Cambridge: Polity, 1992. – Bk. 4. – VIII, 391 p.
77. *Pokrovsky N.E.* Globalization and conflict: Pitirim Sorokin and post-modernity // *Return of Pitirim Sorokin* / Ed. by S. Kravchenko, N. Pokrovsky. – Moscow: International Kondratieff foundation, 2001. – P. 238–250.
78. *Ritzer G.* The globalization of nothing. – Thousand Oaks (CA): Pine Forge, 2004. – XVII, 258 p.
79. *Ritzer G.* The globalization of nothing 2. – Thousand Oaks (CA): Pine Forge, 2007. – XI, 249 p.
80. *Ritzer G.* The McDonaldisation thesis: Explorations and extensions. – L.; Thousand Oaks (CA): SAGE, 1998. – VIII, 212 p.
81. *Robertson R.* Glocalization: Social theory and global culture. – L.: SAGE, 1992. – 224 p.
82. *Sklair L.* A sociology of the global system. – L.: Johns Hopkins univ. press, 1991. – XII, 269 p.
83. *Sklair L.* Competing conceptions of globalization // *J. of world-system research.* – Santa Cruz (CA), 1999. – Vol. 5, N 2. – P. 143–163.
84. *Sklair L.* The sociology of progress. – Abingdon: Routledge, 2007. – XVI, 271 p.
85. *Smith D.* Globalization: The hidden agenda. – Cambridge: Polity, 2006. – X, 271 p.
86. *Stehr N.* Knowledge societies. – L.; Thousand Oaks (CA): SAGE, 1994. – XII, 291 p.
87. *Stehr N.* Moral markets: How knowledge and affluence change consumers and producers. – Boulder (CO): Paradigm, 2008. – XVIII, 269 p.

88. The Wiley-Blackwell encyclopedia of globalization: Vol. 1–5 / Ed. by G. Ritzer. – Chichester; Malden (MA): Wiley Blackwell, 2012. – LVI, 2582 p.
89. *Tiryakian E.* The wild cards of modernity // *Daedalus*. – Cambridge (MA), 1997. – Vol. 126, N 2. – P. 147–182.
90. *Wallerstein I.* Unthinking social sciences: The limits of nineteenth-century paradigms. – Cambridge: Polity, 1995. – VIII, 286 p.
91. *Waters M.* Globalization. – L.: Routledge, 2002. – XIX, 247 p.

О.Н. Яницкий
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА

Ключевые характеристики состояния мир-системы

В 1920-х годах выдающийся русский ученый-геохимик, академик В.И. Вернадский разработал концепцию биосферы, а также утверждал, что человечество стало мощной геологической силой [Вернадский, 1980]. Концепция биосферы рассматривается мной как ключевая «парадигма» для изучения климатических изменений и их воздействия на все, что живет на нашей планете.

Сегодня мировая система в целом, включая Россию, представляет собой весьма неустойчивое и конфликтное образование в преддверии мирового экономического кризиса. Число и масштаб социальных конфликтов и малых войн возрастает. Мир снова входит в состояние «холодной войны», которая отличается от прошлой тем, что противостояние двух «великих держав» сменилось противостоянием множества могущественных «кластеров», состоящих из государств, многократно превосходящих Россию по численности населения. Большинство стейкхолдеров мир рассматривается, прежде всего, как источник дефицитных ресурсов, а не как пространство, пригодное для жизни человека и других живых существ. В моем понимании современный мир представляет собой «общество всеобщего риска» [Яницкий, 1996; Yanitsky 2000], на пространстве которого, включая землю и космос, больше не осталось абсолютно безопасных мест, — есть только места более или менее безопасные, число и конфигурация которых постоянно изменяются.

Надежда на «мир во всем мире» испарилась практически сразу же после окончания Второй мировой войны. Атомное оружие расплодилось по всему миру. Созданы новые виды оружия массового уничтожения. Миротворчество как этический принцип сменилось на «силовое принуждение к миру», т.е. на множество военных контингентов, сдерживающих противоборствующие стороны, а при «необходимости», как это было в Ливии, —

просто вмешательство стран НАТО во внутренний конфликт суверенной страны.

Быстрая индустриализация во многих развивающихся странах, рост народонаселения планеты и его жизненных запросов, переход большинства производств с угля на нефтегазовое топливо, освоение новых нефтяных месторождений в морях и океанах, которые уже не раз оказывались источниками региональных экологических катастроф, наконец, стремление к тотальной автомобилизации всего мира без должной утилизации отходов «общества потребления» – все это способно резко снизить устойчивость биосферы. Сначала в отдельных локусах, потом в регионах и континентах и, в конце концов, – в глобальном масштабе.

В таком предрезисном и напряженном состоянии мир-система естественно реагирует только на сиюминутные экономико-политические вызовы, не заботясь об общей динамике глобальной среды обитания, т.е. биосферы. Актуально только то, что происходит «здесь и сейчас» или ожидается в ближайшем будущем. Отказ США, России и Китая от продления Киотского протокола – лучшее свидетельство такого типа политического мышления. Но это не единственная причина отсутствия внимания со стороны политиков и ученых к проблеме изменения климата.

Во-первых, военные расходы растут практически во всех странах мира. А это означает секвестирование бюджета на науку, увеличение частоты испытаний новых видов аэрокосмического и другого оружия (подводных лодок, военных кораблей, ракет, спутников слежения и наблюдения и т.д.). Все это потом превращается в атмосферный или земной мусор, причем весьма небезопасный, как, например, утилизация подводных лодок, работавших на ядерном топливе.

Во-вторых, забота о снижении выбросов в атмосферу и вообще связь производственной деятельности человека и его растущего потребления оценивались как политическая спекуляция, как стремление западных держав отвлечь Россию от насущных проблем современности, навязав ей к тому же дополнительные расходы. Отсутствие или формальное присутствие высших должностных чинов на конференции в Рио-де-Жанейро (1992) и на всех последующих саммитах по климату служит тому подтверждением. Это, прежде всего, относилось к Китаю, быстрая экономика которого не могла бы развиваться такими темпами, если бы климатические изменения учитывались. Если Россия преодолеет экономический кризис и станет развиваться подобными темпами, то перед ней встанет та же проблема. К тому же концепция «консервативной модернизации», молчаливо одобренная высшим российским руководством, в лучшем случае приведет к некоторой экономии энергоресурсов. Массовая автомобилизация страны (как результат общества потребления) все равно будет давать 70–80% загрязнения атмосферы, воды и почвы.

В-третьих, социальных стимулов к появлению интереса к изменению климата в российском обществе нет. Богатые озабочены только на-

ращиванием своего богатства любимыми, в том числе криминальными, способами. Браконьерство приобрело промышленные масштабы, и никакая охрана с ним справиться не может вследствие своей малочисленности и технической отсталости средств борьбы. Полиция уже вся пересела на импортные быстходные машины, а лесники, дай бог, имеют старенький уазик, да еще с лимитом на бензин. А бедные вынуждены заботиться только о выживании, в частности за счет ресурсов природы.

В-четвертых, для СМИ любая авария, экологическая или техногенная катастрофа – лишь желанный «информационный повод», который только в очередной раз напугает людей, но не даст пищи для размышления. Чтобы заниматься климатическими изменениями всерьез, надо очень много знать, систематически обсуждать эту тему в prime-time с ведущими учеными мирового уровня, а их на ТВ никто не зовет. Да к тому же еще надо уметь объяснить, заинтересовать климатической проблематикой трудящихся или «стугие кошельки». Но в отличие от iPad'ов и других современных IT-гаджетов, которыми легко оперирует 5-летний ребенок, в осознании угрозы всеобщего изменения климата и его последствий мы находимся на уровне традиционного общества («Что Всевышний ниспошлет нам за грехи наши, то и будет»). К тому же растущее количество экологических и техногенных катастроф во всем мире приучает массы людей к отношению к ним как к неизбежным потерям, которые должно компенсировать государство.

Наконец, в-пятых, наука о климатических изменениях стоит очень дорого и требует соответствующего технического оснащения. Средств на такие долгосрочные проекты у общества нет, тем более у социологов. Так что приходится пользоваться тем, что могут нам дать зарубежные ученые. И тут снова возникает вопрос: что представляют собой эти данные – итог научного исследования или же результат политического заказа?

Кто реально заинтересован в борьбе с потеплением климата?

Если США, Китай и Россия отказались от продления действия Киотского протокола и продолжают развивать, прежде всего (если не исключительно), добычу и переработку нефтегазовых и других дефицитных ресурсов, то вряд ли они будут сильно заинтересованы проблемой потепления климата. Что они и продемонстрировали своим формальным участием во всех трех международных конференциях по климату, послав туда второстепенные фигуры, не уполномоченные принимать решения. В 2002–2012 гг. в России был принят ряд документов, касающихся охраны окружающей среды, в том числе и «Экологическая доктрина». Но эти документы не имели характера закона или плана конкретных действий и сроков их исполнения [Распоряжение Правительства РФ № 1225-р... 2002; Распоряжение Правительства РФ № 730-р... 2011; Основы государственной политики... 2012; Распоряжение Правительства РФ № 2552-р... 2012; Распоряжение Правительства РФ № 2593-р... 2012]. Из приведенного пе-

речня документов видны две вещи. Во-первых, власть не торопится с принятием проэкологических решений. Во-вторых, главные решения (если они получают статус закона) отнесены далеко на будущее. Если учесть уже наступивший очередной экономический кризис, период, необходимый для его купирования и восстановления экономического роста, а также сопротивление бизнеса и бюрократической машины, то реальные действия в данной сфере начнутся не ранее, чем через полвека. Если, конечно, не произойдет резкий климатический слом по причинам, которые наука сегодня предсказать не может¹.

Бизнес занял еще более определенную позицию. Он не только вложил основной капитал в добычу, переработку и транспортировку нефтепродуктов, но в отличие от бизнес-структур стран Европейского союза относится весьма индифферентно к развитию альтернативных источников энергии. Государство сегодня фактически является монополистом в данной отрасли.

Глобальные климатические изменения и вообще проблемы ухудшения состояния окружающей среды не являются приоритетными ни для российских политиков, ни для представителей основной массы представителей науки. Ресурсная ориентация правящей партии «Единая Россия» и ее промышленной политики создает угрозу постепенного превращения России в «общество всеобщего риска». В международных альянсах, в которых участвует страна, например в Шанхайской организации сотрудничества, экологические приоритеты также отсутствуют.

Реальную борьбу с грозящей глобальной опасностью ведут только российские и международные гражданские организации и движения, но их усилий для решения проблемы такого масштаба явно недостаточно. Тем не менее тенденция к их глобальной интеграции отчетливо прослеживается. И как раз в отношении бизнеса усилия некоторых международных НКО дают практические результаты.

Нужна ли социология при изменении глобального климата?

Недоверчивые специалисты в области естественных и технических наук говорят, что нет. Тем более, «нет» говорят представители точных наук. Можно, конечно, опросить все население планеты по этому поводу, но что такой опрос общественного мнения даст социологии? Поскольку природные, социальные и политические характеристики стран различны, но в лучшем случае это будет «средняя температура по больнице». Причем, по разным подсчетам, 15–20% респондентов скажут, что они «затрудняются ответить», потому что сама проблема им не понятна. И будут совершенно правы.

¹ И это притом что критическое состояние окружающей среды, особенно в промышленных центрах СССР, было одной из главных причин его распада.

Между тем уже сегодня совершенно очевидно, что даже локальные погодные аномалии (не климат в целом!), такие как наводнения, ураганы, лесные пожары, техногенные катастрофы (особенно такие, как Чернобыль или Фукусима-1), не только сотрясают все общество, но и изменяют его социально-функциональную структуру и сложившийся ранее социальный порядок. Локальные катастрофы Чернобыль и Фукусима дали глобальный социальный эффект. За последние 20 лет локальные войны и этнические конфликты уничтожили примерно одинаковое количество людей и создали столь же сопоставимые по численности потоки вынужденных мигрантов и переселенцев. Если экстраполировать число беженцев, возникшее вследствие войн и этнических конфликтов в Северной Африке в 2010–2014 гг., на весь мир, то мы получим цифру, сопоставимую с беженцами и вынужденными переселенцами после окончания Второй мировой войны. Процесс был болезненный, но постепенный, однако в конечном счете все как-то утряслось, устоялось. Более того, и после Второй мировой войны произошло множество локальных, в том числе ресурсных, войн, революций и военных переворотов, которые перемежались экологическими и техногенными катастрофами.

Значит ли это, что социология в случае глобального изменения климата окажется ненужной? *Нет, ни в коем случае!* Вернемся к характеристике основных параметров самого процесса. Во-первых, что значит глобальный? Это означает, что изменения температурно-влажностного режима будут происходить на всей планете, скорее всего, практически одновременно. Однако, во-вторых, вследствие суточного и годового циклов вращения Земли эти изменения будут происходить в ее разных частях с разной скоростью, например на полюсах и в экваториальном поясе. В-третьих, вследствие различия сред (океан, суша, вечная мерзлота, зона пустынь и т.д.) эффект изменения температурно-влажностного режима также будет неодинаковым. В-четвертых, поскольку вода и суша на планете распределены неодинаково и использование углеводородного топлива также в разных частях планеты различно, то повышение температуры в разных частях света и даже отдельных средах и регионах также может происходить с разной скоростью. Наконец, в-пятых, можно предположить, что повышение температуры будет происходить довольно медленно, и человек и все живое вещество планеты «успеют» к нему адаптироваться. В этом случае социология сможет «сопровождать» этот процесс, т.е. отслеживать изменения в разных частях и средах социума под воздействием медленно изменяющегося температурного режима. А возможно, и давать некоторые прогнозы и рекомендации. Так или иначе, без прогностики, без построения и обсуждения различных сценариев развития событий здесь не обойтись. Вообще, «адаптация» – любимый термин социологов, потому что он соответствует эволюционной парадигме, имплицитно присущей этой науке. Социология не любит изучать войны, революции, акты насилия и иные резкие социальные изменения, потому что она как наука исторически

сформировалась как теория постепенных социальных изменений. Хотя существует литература, доказывающая, что некоторые общества не эволюционируют, а деградируют и разваливаются, социологи не любят их изучать эмпирически, называя этот процесс девиантным поведением или оставляя это дело историкам и археологам, особенно когда с момента краха общества прошло уже несколько столетий. Очень мало найдется социологов, которые подобно военным журналистам ведут себя как инсайдеры событий. Опасная профессия!

Но есть огромное поле действий для социологов, где они подобно врачам должны действовать по принципу «Не навреди!». Это поле тоже достаточно опасно, поскольку, поступая в соответствии с данным принципом, социологи превращаются или в политиков, участников протестных движений, или же в оппонентов власти. Власть (властвующая элита, группы интереса, финансовые структуры, безразлично) не любит, когда ей указывают, чего не следует делать, особенно когда это касается ее главного принципа: обогащения за счет других. Так что мы приходим к интересному выводу: чтобы защитить природу Земли и людей, на ней живущих, *социолог должен стать политиком, политическим активистом*. Более того, такой политический активист должен стать «гражданином мира», поскольку биосфера едина и неделима. Как эту его роль соотносить с его ролью патриота своей страны – вот ключевой вопрос!

Вообще говоря, человечество уже давно нашло ответ: *человек должен следовать принципу творения общего блага*. И конкретно этот принцип уже давно воплощается в жизнь. Когда человек в беде, ранен, раздавлен горем, к нему надо относиться именно как к человеку без роду и племени, к существу, которому нужна срочная помощь. Так действуют наша «скорая помощь», бригады МЧС, «Врачи без границ», «Босоногие врачи» (в Латинской Америке) и множество благотворительных фондов и организаций. Этому же принципу следуют движение альтерглобализма, экологическое и женское движения, тысячи групп волонтеров и добровольцев-спасателей по всему миру.

Для их объединения и солидарных действий социальные технологи создали необходимые инструменты: социальные сети, форумы, сайты, виртуальные объединения профессионалов и множество других форм дистанционного объединения и взаимной поддержки. Поскольку резкое потепление климата планеты неизбежно вызовет хаос и борьбу за место в «спасательной лодке», нужны специально обученные, оснащенные всем необходимым и хорошо вооруженные группы спасателей по образу и подобию МЧС. Как известно, «добро должно быть с кулаками».

Возникает законный вопрос: а каковы же будут функции армии и других силовых структур? В такой критической ситуации, как потепление климата, когда одновременно потребуются согласованные действия вооруженных формирований на разных континентах, я не вижу другого выхода, как организацию их по тому же принципу, что и добровольцы благо-

творительных организаций. Ставки в такой ситуации очень высоки: или взаимопомощь, спасение всех без разбора, т.е. творение общего блага, или взаимное уничтожение, война всех против всех. Наблюдая за общими военными маневрами противоборствующих стран, явно можно заметить сдвиг к объединению в борьбе против общего врага. Сейчас таковым является терроризм, а завтра, может быть, это будет борьба с последствиями климатического коллапса. Какой бы жесткой ни была политическая риторика между лидерами ведущих стран, на деле они все более сближаются при разрешении критических ситуаций. И даже такая, казалось бы, весьма далекая от обсуждаемой проблемы, как унификация вооружения и амуниции рядового солдата, говорит о том же: защищать природу и людей нужно совместными усилиями одинаково обученных и подготовленных людей, будь они солдатами регулярной армии или же волонтерами и добровольными спасателями.

Защита своей малой родины не противоречит действиям в защиту жизни на планете. То есть «местный патриотизм» – не антитеза патриотизму глобальному. Только теперь это уже борьба за сохранение не «мира во всем мире», а самой биосферы планеты Земля. В этом состоит реализация теоретического принципа глокальности. Я бы даже сказал, что само понятие патриотизма приобретает вселенский смысл. Ведь ученые США и России уже не раз размышляли о том, как спасти Землю от столкновения с крупным астероидом или обломком другой планеты. *Наступает эпоха вселенской спасательной практики.* Административные границы государств могут быть сметены волной поднявшегося океана. Но патриотизм локальный или «державный» все больше должен сочетаться с патриотизмом глобальным, суть которого – спасение жизни в нашем общем доме, на планете Земля. В какой-то степени возникает задача огромного «Ноева ковчега». А если человечество к тому времени найдет способ повернуть вспять ход эволюции на нашей планете, тогда, возможно, будут восстановлены и административные границы стран, и ментальный образ «малой родины». Так или иначе, этот образ остается в сердце каждого из нас, какими бы космополитами в практике повседневной жизни мы ни были. Так что поиск разумных форм компромисса между патриотизмом вселенским, глобальным и патриотизмом «державным» – одна из важнейших, но пока не решенных задач социологии и политики.

Несмотря на все сказанное выше, экосоциология как самостоятельная дисциплина до сих пор не институционализована. Это означает, что университеты не имеют факультетов для подготовки профессиональных экосоциологов. В официальном перечне гуманитарных дисциплин, утвержденном Министерством высшего образования РФ, нет такой дисциплины, как «экосоциология». Нет специального журнала по экосоциологии, секции или комитета во Всероссийском обществе социологов и т.д.

Другие общественные науки о проблеме

Проблема изменения климата не является приоритетной для экономических наук. Просмотрев 139 проспектов книг и 158 научных докладов в различных областях экономики за 2007–2009 гг., изданных или готовящихся к изданию Институтом экономики РАН, я обнаружил лишь два доклада известного экономиста, профессора Бориса Порфирьева, непосредственно относящихся к теме статьи [Издания Института экономики... 2009; Порфирьев, 2008, 2010]. Экономист Владислав Иноземцев полагает, что «непрактичность» Киотского протокола состоит в его практической нецелесообразности, особенно для таких экономически развитых стран, как США [Иноземцев, 2002]. Он утверждает, что данный документ не имеет перспектив для практического применения в качестве международного соглашения вообще. Экономист и демограф А. Бялко подчеркивает, что еще до начала глобального потепления начавшаяся массовая миграция на Север из зон, где ощущается острая нехватка воды, уже началась. В качестве примера он приводит миграцию китайцев из зон опустынивания [Бялко, 2002]. По моему мнению, В. Иноземцев и Б. Порфирьев являются ведущими российскими экономистами, которые способны охватить эту глобальную междисциплинарную проблему в ее целостности, потому что они фактически базируются в своих умозаключениях на концепции «общества всеобщего риска», хотя и не называют ее авторов. Наконец, в самое последнее время проблемой глобального потепления заинтересовались представители российской политической науки.

Тем более удивительно, что в российском междисциплинарном журнале «Общественные науки и современность», издающемся Президиумом РАН, нашлись только две работы, так или иначе относящиеся к нашей теме. Больше всего вовлечены в эту тематику географы, но, естественно, на локальном или региональном уровнях. Географы, как оказалось, вообще наиболее восприимчивы к междисциплинарным контактам. Что же касается других гуманитариев, и в частности, из мира искусствоведения, то этой темы для них просто не существует. Более глубоко, но не специально, проблемой воздействия климата на общество, его хозяйство и тип социального поведения занимаются, конечно, историки.

Ступени приближения к решению задачи

Первая ступень – это изучение всей той информации, которая была получена естественными науками о состоянии климата планеты и его динамике за последние 100–150 лет. Это не такая простая задача, поскольку и среди естественников есть разные точки зрения на эту проблему. Из этих исследований ясно одно: климат планеты периодически меняется, и это влияет на все стороны общества, в том числе на психику людей [Чижевский, 1973]. Второй вывод, который мы, историки и социологи, можем сделать, это изменение форм хозяйственной деятельности в зависимости

от периодов потепления или похолодания. Третий – это косвенная зависимость состояния климата в отдельных регионах от типа сельскохозяйственного и промышленного производства и используемого топлива. Четвертый – это зависимость местных особенностей климата от тех усилий, которые предпринимаются обществом для сокращения выброса CO₂ в атмосферу. Наконец, пятый – это возможная зависимость климатических условий при переходе от одного господствующего типа производства к другому (например, от собирательства к земледелию и затем к промышленному производству). Общая историческая тенденция – это накопление побочных отрицательных эффектов (в терминах моей концепции – рисков), которое в конечном счете формирует «общество всеобщего риска».

Как смоделировать ситуацию и прогноз?

Итак, как было сказано, глобальное изменение климата не является приоритетной темой для российских политиков, социологов-глобалистов и особенно для СМИ. Средств и специалистов для этого практически нет. Как в этом случае смоделировать текущую ситуацию и прогноз ее динамики? Мы воспользуемся теорией подобия, разработанной советскими учеными-теплофизиками еще в начале 1950-х годов [Кирпичев, 1953].

Простой пример. Если вы сломали ногу или ошпарили ее кипятком, важно ли для вас, что в этот же момент случилось нечто подобное с другим человеком, находящимся за тысячу километров от вас? Очевидно, что нет. Несколько упрощая, теория подобия говорит, что результаты, полученные при испытании малой модели интересующего вас объекта, с некоторыми оговорками могут быть использованы для создания модели объекта или процесса в натуральную величину. То, что случилось в Крымске или в Приамурье, т.е. экологическая катастрофа в масштабе города или региона, может быть (опять же с некоторыми ограничениями) использована как модель глобальной катастрофы. То есть может быть проведена некоторая операция по генерализации результатов, полученных в локальных условиях.

Почему я говорю «с некоторыми ограничениями»? Когда рушится дом, падает самолет или бушует ураган, то в этот момент для людей, находящихся в эпицентре подобных событий, то, что происходит в десятке километров от них, а тем более где-то далеко, несущественно. Однако сегодня при наличии сетевых технических инструментов (сотовых и радиотелефонов, авиации, систем космической навигации) помощь пострадавшим может быть оказана достаточно быстро, *но все же не в момент свершения катастрофы.*

Наконец, во всем мире давно велось строительство бункеров, позволяющих жить многие годы в случае глобальной атомной войны. Эти высокотехнические сооружения могут быть использованы и для целей спасения части населения при резком изменении климатических условий.

Какие же уроки могут быть извлечены на этих локальных натуральных «моделях»? Во-первых, как известно, такие попытки делались международной группой ученых. Я имею в виду проекты «Биосфера-1» и «Биосфера-2». Оба эти проекта провалились, поскольку ученые, создавшие эти модели в натуре, не смогли обеспечить их автономное существование. Далее, как уже говорилось, население и соответствующие защитные сооружения должны быть заранее подготовлены к возможности возникновения критической ситуации. Значит, бункеры и другие укрытия должны строиться, а военные маневры, виртуальные и натурные игры, воспроизводящие возможную критическую ситуацию, периодически производиться. Такие игры имеют огромное обучающее значение. «Современное образование – культурная, мировоззренческая основа национальной и глобальной безопасности, обеспечивающая долгосрочные интересы общества» [Кавтарадзе, 2009, с. 11]. При наступлении глобальной катастрофы мировоззрение человека, вероятно, будет также глокальным. С одной стороны, небольшие группы населения будут укрываться в защитных сооружениях с временным автономным жизнеобеспечением. С другой стороны, вследствие неравномерности воздействия потепления в различных зонах планеты и численности населения человечество вынуждено будет объединяться против этой угрозы. Как именно – это вопрос открытый, так как существующие средства связи могут быть в этом случае частично или полностью выведены из строя. К тому же для их функционирования опять же нужна энергия. Может быть, наука к тому времени изобретет подземные ГЭС?

Но игра – это не только событие, происходящее «здесь и сейчас». Это длительный процесс подготовки к нему, в процессе которого его потенциальные участники получают разнообразное знание. И главное, понимание того, *где, когда и как быстро* эти знания могут быть применены на практике. Перефразируя того же автора, можно сказать, что человека пугают не столько знания о возможных резких изменениях климата и всей среды его обитания, но «необходимость пересмотра системы взглядов, этических норм взаимоотношений как с людьми, так и с окружающей средой, т.е. мировоззрения» [Кавтарадзе, 2009, с. 13].

Не меньшее значение имеют формы целеполагания, вытекающие из мировоззрения (worldview). Как писал акад. Н.Н. Моисеев, «...концепция устойчивого развития – одно из опаснейших заблуждений современности. Особенно в том виде, в котором оно интерпретируется политиками и экономистами» [Моисеев, 1994, с. 7]. Без изменений (т.е. неустойчивости) нет развития. Развитие осуществляется только через неустойчивость, некоторое неравновесное состояние, которое природа и человек до известной степени компенсируют, а потом мир вновь оказывается в неравновесном состоянии.

Далее, всегда нужно помнить, что «отсроченный риск» гораздо менее страшен, чем актуальный. Психологам хорошо известен феномен психологического блокирования нежелательной для себя информации. С точ-

ки зрения процесса адаптации к катастрофе и ее последствиям существуют три основные подобные теории: дарвиновская, фрейдистская и когнитивная. Дарвиновская, т.е. эволюционная, теория сосредоточена на основополагающих механизмах выживания, которые сформировались в процессе длительной эволюции человеческого общества и до сих пор имеют значение. Фрейдистская теория фокусируется на эмоциональном и подсознательном уровнях реакции на стресс, вызванный катастрофой. Когнитивная теория имеет своим предметом адаптивные механизмы, специфические для достаточно позднего периода филогенеза человечества. Эти процессы соответственно осуществляются на разных уровнях – инстинкты, эмоции, познание, однако могут и «пересекаться» друг с другом.

Дарвинисты и их последователи предполагают, что катастрофа генетически активизирует и направляет механизмы выживания человека. Психоаналитический подход выявляет защитные механизмы, которые позволяют человеку в критической ситуации не потерять голову и принимать более или менее адекватные решения. Когнитивный подход исходит из того, что человек даже в ситуации катастрофы способен мыслить и действовать рационально, т.е. моделировать процесс (всегда на основе имеющейся в его распоряжении информации) о грозящей ему опасности и разрабатывать индивидуальные средства защиты от нее. Соответственно, различна и трактовка адаптации к критической ситуации. Дарвинисты предполагают, что при ее наступлении эта древняя защитная система активируется автоматически. Сторонники фрейдистской теории считают, что в такой ситуации мы адаптируемся посредством отказа от осознания угрозы, потому что это нарушит наш эмоциональный комфорт. Точнее, в данной ситуации мы стремимся снизить негативный эмоциональный эффект от катастрофы. Адепты когнитивного подхода полагают, что человек в критической ситуации способен выбирать между несколькими стратегиями поведения, способными снизить опасность и одновременно понизить уровень эмоционального дискомфорта, т.е. избежать сковывающего его страха и иррациональных беспорядочных действий.

Наконец, еще одна, на первый взгляд, странная, но вполне вероятная версия последствий глобального потепления. Разрушения техногенных структур, а также ураганы могут создать пылевое облако такой плотности, что солнечные лучи не смогут достигать земли. Не исключена также повышенная активность вулканов. И тогда потепление климата сменится его похолоданием.

О роли некоммерческих организаций и их сетей

Большинство даже высокообразованных граждан не осознают, что экологические НКО – это не только просто другой вид организации и производства, но тип производства, *альтернативный капиталистическому*. Да, НКО тоже «зарабатывают», но цели их «производства» – это по большей части умножение *общего блага*, будь то рост числа образованных лю-

дей, их культуры, а главное – *накопление доверия* между ними, столь разрушенного за несколько веков существования капиталистического способа производства. Экологические НКО вовсе не против рынка, но они за такой рынок, который построен на принципе нулевого проигрыша всех (win-win principle).

Приведу только один пример: Лесной попечительский совет (The forest stewardship council) – международная организация, имеющая своей целью рациональное использование воспроизводимых природных ресурсов (в первую очередь лесов, одного из главных регуляторов климата на планете). Для таких организаций характерно особое структурирование: они состоят, как правило, из трех палат – экономической, экологической и социальной, которые имеют равное право голоса при принятии решений относительно сертификации лесной продукции, идущей на международный рынок. Именно поэтому эти экоНКО и их региональные подразделения предпочитают работать, прежде всего, с местным населением, обучая его картированию ресурсов, принадлежащих местному сообществу, организации общественных слушаний, воспитанию гражданских экспертов из собственной среды и т.п. Можно сказать, что до некоторой степени подобные организации продолжают традицию «хождения в народ», зародившуюся еще в XIX в. На основе полевых исследований мною были выделены несколько типов таких ученых-адвокатов: «нейтральный», «осознающий», «вовлеченный», «партнер» и «полностью интегрированный» [Яницкий, 2004].

Еще несколько уроков можно извлечь из локальных катастроф, опираясь на теорию подобия. Наши исследования показали, что в общем и целом реакция на них местного населения носит патерналистский характер. Пострадавшее население полагается на помощь, которую, по его мнению, им должно оказать государство. Но в том-то все и дело, что в случае глобальной катастрофы государственные структуры будут защищать прежде всего себя, а не население. Поэтому в последние годы резко возросла роль волонтерских групп, способных быстро мобилизоваться и оказывать самую разнообразную помощь [Яницкий, 2011].

Такие большие НКО, как Всемирный фонд охраны природы (российское отделение) и Гринпис России, начали интересоваться проблемой изменения климата в начале 2000-х годов. Однако даже они не имели возможности вести мониторинг климатических изменений на планете. Единственное, что они были способны сделать, – попытаться оценить возможные экономические последствия этих изменений, а также провести несколько акций «прямого действия» в наиболее уязвимых регионах Арктики.

Доверие – важнейший индикатор оценки роли спасателей. Измерения, произведенные по 5-балльной шкале, показали, что пострадавшее население более всего доверяет волонтерам и ближайшим соседям (4,3–4,2 балла). Затем – врачам и профессиональным спасателям (3,4–3,5 балла). За ними

идут полицейские, журналисты и бизнесмены (2,9–2,8 балла). И менее всего население доверяет региональной и местной администрации (2,4–2,1 балла) [Костюшев, 2012]. Адаптация к большим (планетарным) катастрофам зависит от величины ресурсов, которыми располагают пострадавшие субъекты. Богатые люди могут мигрировать в места, относительно менее подверженные наступившему потеплению, тогда как бедное население должно спасаться, используя подручные средства. Как показали результаты исследования последствий лесных и торфяных пожаров, богатое население способно адаптироваться к новым условиям, точнее, поскольку возможно воспроизводить прежние условия жизни на новом месте. Однако бедное население, даже если оно минимально будет защищено, испытает чувство утери своей «малой родины» [Yanitsky, 2012].

Выводы

Сегодня властвующая элита мира продолжает рассматривать биосферу не как среду жизни, а как ресурс, необходимый для мирового господства нескольких мощных экономико-политических кластеров.

Если все же верить, что грядущее потепление случится, то политика его предупреждения должна строиться на принципе изоморфизма. Если все процессы в сумме создают потепление, то это означает, что политика его предупреждения также должна иметь глобальный характер. Более того, если процессы глобального социально-экологического метаболизма имеют протяженный во времени характер, то политика предупреждения должна носить также прогностический характер. В любом случае это должна быть win-win политика.

Все это требует не конфронтации, а налаживания политики реального сотрудничества между странами и их кластерами в форме глобальных междисциплинарных экономико-политических и эколого-экономических проектов. Глобальная социальная футурология находится все еще в зачаточном состоянии. Да ее и не может быть, слишком разнятся страны по численности населения, уровню развития и природно-климатическим условиям. Поэтому сегодня главная задача науки – это развитие целостного (системного) взгляда на мир и его динамику. Однако это приведет к серьезному изменению научной этики и структурной организации самой науки. Готовы ли ученые к такой радикальной трансформации в наш «турбулентный век»?

Список литературы

1. *Багиров А.Т.* Изменение климата или климат для изменений? // Россия в глобальной политике. – М., 2010. – 28 февраля. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_14569
2. *Бялко А.В.* Климат и народонаселение: Причинные связи // Природа. – М., 2002. – № 1. – С. 29–32.

3. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии // Труды биогеохимической лаборатории. – М.: Наука, 1980. – Вып. 16. – 226 с.
4. Издания Института экономики РАН: 2007–2009 гг.: Каталог изданий. – М.: ИЭ РАН, 2009. – 74 с.
5. Иноземцев В.Л. Кризис Киотских соглашений и проблема глобального потепления климата // Природа. – М., 2002. – № 1. – С. 20–29.
6. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: Введение в интерактивные методы обучения. – М.: Просвещение, 2009. – 176 с.
7. Кирпичев М.В. Теория подобия. – М.: АН СССР, 1953. – 96 с.
8. Костюшев В.В. Социология бедствия // Новая газета. – М., 2012. – 17 августа. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/politics/54030.html>
9. Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы: Эколого-политологический анализ. – М.: МНЭПУ, 1994. – 46 с.
10. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года // Kremlin.ru. – 30.04.2012. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/15177>
11. Порфирьев Б.Н. Экономика климатических изменений. – М.: Анкил, 2008. – 168 с.
12. Порфирьев Б.Н. Экономические и природные риски: Теория и практика управления. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 110 с. – (Препринт).
13. Распоряжение Правительства РФ № 730-р от 25 апреля 2011 г. «Об утверждении комплексного плана реализации Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года» // Российская газета. – М., 2011. – 3 мая. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2011/05/03/klimat-doktrina-site-dok.html>
14. Распоряжение Президента РФ № 861-рп от 17 декабря 2009 г. «О Климатической доктрине Российской Федерации» // Kremlin.ru. – 17.12.2009. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/6365>
15. Распоряжение Правительства РФ № 1225-р от 31 августа 2002 г. «Об Экологической доктрине Российской Федерации» // Российская газета. – М., 2011. – 18 сентября. – Режим доступа: http://www.rg.ru/official/doc/raspor_rf/1225-p.shtm
16. Распоряжение Правительства РФ № 2552-р от 27 декабря 2012 г. «О государственной программе Российской Федерации “Охрана окружающей среды” на 2012–2020 годы» // Government.ru. – 29.12.2012. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/3350>
17. Распоряжение Правительства РФ № 2593-р от 28 декабря 2012 г. «О государственной программе “Развитие лесного хозяйства” на 2013–2020 годы» // Government.ru. – 28.12.2012. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/3354>
18. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1973. – 349 с.
19. Яницкий О.Н. Диалог науки и общества // Общественные науки и современность. – М., 2004. – № 6. – С. 86–96.
20. Яницкий О.Н. Пожары 2010 г. в России: Экосоциологический анализ // Соц.Ис. – М., 2011. – № 3. – С. 3–12.
21. Яницкий О.Н. Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: ИС РАН, 1996. – 216 с.
22. Yanitsky O. Russian environmentalism: The Yanitsky reader. – Moscow: TAUS, 2010. – 367 p.
23. Yanitsky O. Sustainability and risk: The case of Russia // Innovation: The European j. of social sciences. – Abingdon, 2000. – Vol. 13, N 3. – P. 265–277.
24. Yanitsky O. The 2010 wildfires in Russia // Sociological research. – Armonk (NY), 2012. – Vol. 51, N 2. – P. 57–75.

О.Н. Яницкий
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОКАТАСТРОФЫ¹

Введение

Экокатастрофы – неустрашимый спутник человеческой истории. В России и современном мире в целом такие катастрофы по своей сути являются социальными, с долгим «эхо» в пострадавших природных и человеческих сообществах.

Что социология может дать для изучения экокатастроф? Каков может быть вклад социологии в науку о поддержания устойчивости биосферы и отдельных социобиотехнических систем? Какова роль междисциплинарных исследований этого разрушительного феномена? До сих пор катастрофами этого рода занимались естественно-научные дисциплины, социология и другие гуманитарные науки оставались в стороне. Невнимание социологии к проблеме экокатастроф в Европе, и несколько менее в США, объяснялось «территориальным» или, в более широком смысле, натуралистическим подходом к этой проблеме. «Культура борьбы с катастрофами» как система практических мер, снижающая опасность рисков и природных бедствий, развивалась замедленно, с явным запаздыванием по отношению к реальности. Показательно, что эта культура возникла в Европе в ходе восстановительных работ после Второй мировой войны, и в тот период (возможно, вследствие постоянного дефицита ресурсов) экокатастроф было относительно мало, а их масштаб был незначителен.

Сегодня, когда прошло более полувека, картина изменилась в худшую сторону. Так, интернет-энциклопедия Международной социологической ассоциации (ISA) дает следующее определение: «Катастрофа представляет собой событие, сконцентрированное во времени и пространстве, в котором общество или одна из его частей подвергается физическому удару или социальному разрушению таким образом, что все или наиболее

¹ Статья является сокращенным и обновленным текстом 1-й главы моей книги «Экокатастрофы: Структурно-функциональный анализ» [Яницкий, 2013].

существенные функции общества подвергаются серьезному ущербу» [Lindell, 2011].

Это определение хорошо лишь для частного случая, но оно не годится как общетеоретическое. Дело в том, что вследствие развития капитализма и потребительского общества на основе технократической идеологии экокатастрофы стали возникать чаще, и масштаб их возрос не только в территориальном смысле, но и в смысле многосторонности и длительности поражающего эффекта. Ч. Перроу выдвинул тезис об автodynamике (самопорождении) техногенных катастроф и резонансе ее компонентов [Perrow, 1984]. С теоретической точки зрения феномен резонанса есть катастрофа, порождающая цепь других катастроф. То есть катастрофа, инициируя другие риски и бедствия, становится явлением не одномерным, а *продолжающимся*, если не перманентным. К сожалению, формирующаяся в Северной Америке и в Европе социология катастроф долгое время обращала мало внимания на ткань, структуру социетального функционирования общества в условиях катастрофы и сложную взаимозависимость между по-разному интегрированными и развивающимися системами, такими как «общество», «индустрия» или «социальные акторы», в ходе ее развития. Напротив, эта социология продолжала определять катастрофу в терминах «случаев» или «побочных эффектов» [Dombrowsky, 2001, p. 65].

Как показали многолетние дискуссии по изменению климата планеты, функционирование больших социобиотехнических систем может быть только тогда полностью понято, когда они могут быть смоделированы и их поведение поддается контролю в зависимости от изменения внешних условий [Helm, Schellnhuber, 1998; Dombrowsky, 2001]. Нельзя принять за истину результаты исследования, которые не могут быть воспроизведены. Но экокатастрофа – не лабораторный эксперимент, поэтому в отношении подобных систем такая верификация практически невозможна. Отсюда и постоянные обвинения в адрес ученых-естественников и практиков-ликвидаторов в спекулятивном, политически ориентированном мышлении. Тем не менее ученые и практики продолжают вмешиваться в функционирование этих сложных систем, даже не представляя себе, какой «эффект домино» это вмешательство может породить! Поэтому, заключает Домбровский, может быть, главной и даже единственной причиной катастроф является *близорукость их исследователей* [Dombrowsky, 2001]. Да, это так. Но за этой близорукостью стоит рынок, главной целью которого является купля-продажа с извлечением прибыли, а вовсе не защита людей и природы. В этих условиях фиксирование, документирование и анализ катастроф в большинстве случаев представляются излишними. И поэтому мы не знаем суммарного эффекта воздействия на биосферу выбросов индустрии или автотранспорта, всего того, что мы пренебрежительно называем «отходами».

Длительное время весьма уважаемые специалисты и целые международные организации, такие как Организация Объединенных Наций или Международная организация здравоохранения, по-разному подходили к интересующей нас проблеме. Одни говорили об «устойчивом развитии», другие же требовали наладить «глобальное, экологически ориентированное развитие мира». Одно только оставалось непонятным: как мы можем оценить наше вмешательство в сложную систему, именуемую биосферой, если наши краткосрочные воздействия на нее дают для человека положительный эффект, а долгосрочные – отрицательный? Вероятно, иронизирует Домбровский, нам нужна еще одна планета, на которой есть жизнь и с которой мы бы могли экспериментировать как средневековые алхимики в своих лабораториях. Или лучше даже иметь несколько планет: одну для документирования и анализа катастроф, другую для «проигрывания» ее ответов на наши вмешательства, третью для компаративного анализа и т.д. [Dombrowsky, 2001].

Социология экокатастроф до сих пор развивается в рамках известной парадигмы Э. Дюркгейма: «Социальные факты следует получать и их изучать только на основе познания других социальных фактов». Но не значит ли это, что тем самым мы *отрываем* функционирование социума от его витальной основы – природы? А нельзя ли получить более полную картину функционирования социума, изучив и зафиксировав процессы движения и трансформации вещества, финансовых потоков, людей, информации и энергии? Не станет ли в этом случае наш взгляд на мир более полным и потому более достоверным? Мне сразу же возражат: кто же вам откроет тайну движения финансовых потоков, например? Ведь «деньги любят тишину»!

Верно, далеко не все потоки, обеспечивающие стабильность социобиотехносферы, доступны для всестороннего анализа. Но ведь деньги движутся не просто так. За ними идут потоки людей, информации и других ресурсов. Значит, в принципе функционирование социума можно изучать посредством изучения «химизма» его жизнедеятельности, о чем без малого 100 лет назад говорил В.И. Вернадский. «Своей жизнью, – писал он, – живые организмы (включая человеческие сообщества. – О.Я.) непрерывно вызывают огромные перемещения – миграции химических элементов, отвечающие массам вещества, во много раз превышающим массу самого живого вещества» [Вернадский, 1980, с. 37–38]. Эту способность живых организмов вызывать изменение качества биосферы Вернадский называл «их геохимической функцией». Новое проявление жизни живого вещества отчетливо видно и в нашу эпоху. Это *сила цивилизованного человечества*, по-новому и с необычайной силой меняющая всю планету и проникающая вверх, в стратосферу, вниз, в стратисферу. «Она начинает новую геологическую психозойскую эпоху... Homo sapiens faber резко уже в аспекте геологического времени их усиливает и меняет. Этим он определяет новую геологическую эпоху в истории Земли, небывалый,

биогеохимический фактор» [Вернадский, 1980, с. 53–54]. Это Вернадский сказал в середине 1930-х годов. Но еще раньше, в 1925 г., он ввел понятие «свободная биогеохимическая энергия». Эта энергия связана с тремя основными проявлениями живого вещества в биосфере: «Во-первых, с *единством в ней всего живого вещества*; во-вторых, с непрерывным созданием им в биосфере *свободной энергии, способной производить работу*; и, в-третьих, с *заселением биосферы живым веществом*» [там же, с. 66]. Эти позиции по своей конкретности выходят далеко за пределы общего постулата Ф. Энгельса, говорившего, что «человек живет природой».

Понятно стремление социологии как всякой новой дисциплины «застолбить» свое поле деятельности, «замкнуть» его на себя, как это сделал Дюркгейм. Но это одновременно означало бы, что «социальные факты» не имеют никакой вещественно-энергетической, т.е. *биогеохимической* или информационной составляющей. По сути дела, *социальные факты нематериальны* или, говоря современным языком, *виртуальны*. Родилось целое направление в социологии, полагающее, что она изучает не реальную действительность (не важно какую, «естественную» или сконструированную самим человеком), а лишь его представления о ней.

Однако невозможно отрицать, что в основе всех изучаемых социологом структурно-функциональных процессов лежат непрерывно идущие процессы обмена и трансформации одних составляющих нашу жизнь ресурсов (энергии, веществ, ферментов) в другие. На языке естественных наук эти процессы именуется *социально-экологическим метаболизмом*. Замечу, этот термин употребляли К. Маркс в «Капитале», а также другие представители общественных наук. Отсюда следует (пока в качестве гипотезы) фундаментальный вывод: изучение социально-экологического метаболизма не только в пределах биосферы, но и космоса является ключевым инструментом познания социальной жизни. Звучит, на первый взгляд, непривычно. Но это никакой не органицизм, не редукция социальных процессов к физическому или механическому, а просто более полное понимание структурно-функциональной организации не социума, а *биосоциума*, социально-природного организма. Поэтому экокатастрофы должны рассматриваться и изучаться как производные от жизнедеятельности биосоциума. Вернадский полемизировал с другим великим русским ученым, И.П. Павловым, который ввел понятие «антропогенная эра». Но, говорил Вернадский, Павлов «не учитывал возможности тех *разрушений* духовых и материальных ценностей, которые мы уже сейчас переживаем...» (*курсив мой.* – О.Я.) [там же, с. 217]. «Химизм жизни» – это в равной степени социальный и биогеохимический феномен. Отсюда следует, что причины катастроф и их механизмы порождаются этим «химизмом жизни», главным создателем которых и одновременно их нарушителем является сам человек.

Социологи, в отличие от специалистов-экологов, в том числе гуманитарно-ориентированных, которые всегда занимались социальными проблемами восстановления нарушенных экосистем, этими процессами инте-

ресовались мало. Из российских упомяну, прежде всего, Д.Н. Анучина, Д.Л. Арманда, В.В. Докучаева, В.М. Захарова, Н.Ф. Реймерса, В.Е. Соколова, А.В. Яблокова. А из зарубежных – Р. Дюбо, Б. Уорд, Ф. ди Кастри, Р. Мэрфи, Х. Уайта и, в особенности, Денниса и Донелла Медоузов, Й. Рендерса и У. Бернса и других авторов докладов Римскому клубу. Все они, акцентируя свое внимание на природных, социально-экономических или культурных причинах экологических катастроф, весьма мало интересовались проблемой *реабилитации* нарушенных экосистем. Здесь сказались междисциплинарные и межведомственные барьеры, когда каждая отрасль науки и связанные с ней практики занималась своим узким делом: почвоведы и экологи – мелиорацией, урбанисты – реконструкцией городов, социологи – социальной динамикой и культурными сдвигами. Впервые в качестве теоретической проблема реабилитации социобиотехнических систем была поставлена О.Н. Яницким [Yanitsky, 1982; Яницкий, 1986] в ходе его участия в программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Однако в годы перестройки и реформ упадок науки и разрушение прежних форм хозяйствования, осложненные чередой катастроф и локальных войн, сделали практически невозможной разработку этой тематики. К тому же предполагалось, что рынок сам решит все трансформационные проблемы в ходе своего развития. Однако полувековая борьба за закрытие Байкальского ЦБК, авария на Саяно-Шушенской ГЭС и пожары лета 2010 г. показали, что проблема реабилитации нарушенных социобиотехнических систем чрезвычайно актуальна для России в теоретическом и практическом отношениях. Фактически речь идет о модернизационно ориентированной реабилитации этих систем.

Основные направления исследований в мировой науке *по данной проблеме* были следующими:

1) глобальные риски и усиление социального неравенства в регионах и местностях [Россия: Риски и опасности... 1998; Риск в социальном пространстве... 2001; Beck, 1995, 2010; Castells, 2000; Keen, 2008];

2) ожидаемые негативные социальные трансформации социобиотехнических систем всех уровней вследствие изменения климата и усиления социального неравенства [Beck, 2010; Archer, 2010; Stern, 2006], которые неизбежно затронут природные экосистемы и человеческие сообщества;

3) экологическая модернизация: общая теория, региональная специфика, практики, перспективы [Яницкий, 2011; Mol, Sonnenfeld, 2000; Social processes... 1992; Rinkevicius, 2000];

4) самоорганизация человеческих сообществ, подвергнутых риску [Cities of Europe, 1991; Social movements... 2003; Edelstein, 1988];

5) коллективные и индивидуальные лидеры предупреждения экокатастроф с тяжелыми социальными последствиями [Edelstein, 1988; Murphy, 2009];

6) изучение социально-экологического метаболизма в теоретическом ракурсе и применительно к городским экосистемам [The ecology of a city... 1981; Fisher-Kowalski, 1997; Fisher-Kowalski, Haberl, 2007];

7) роль информационных технологий в предупреждении катастроф и создании виртуальных сообществ для помощи пострадавшим и реабилитации экосистем [Castells, 1996];

8) роль международных неправительственных организаций в восстановлении природных экосистем и рациональном природопользовании (например, деятельность международной неправительственной организации «The forest stewardship council»);

9) разработка методов «экологической дипломатии» [Susskind, 1994; Susskind, Cruikshank, 1987];

10) создание интернет-платформ для сбора, обработки и сведения информации из разных источников в унифицированные карты информации об экологических катастрофах и необходимой помощи пострадавшим по аналогии с платформой Ушахида¹;

11) экологическое воспитание детей и молодежи [Beck, 1995; The child in the city, 1979; Fuglesang, Chandler, 1986];

12) изучение локального знания, его структуры и факторов формирования для понимания видения катастрофической ситуации «снизу» [Brush, Stabinsky, 1996; Irwin, 2001].

Я особо хотел бы подчеркнуть важность изучения процессов социально-экологического метаболизма, поскольку формы, методы и ресурсы, требуемые для реабилитации, зависят от многосторонних процессов трансформации одних рисков в другие, их накопления и рассеивания в среде и т.д. Как показывает пример аварии на АЭС Фукусима в Японии, эта катастрофа в той или иной степени оказала влияние на весь мир, на его экономику, политику, идеологические предпочтения, миграционные процессы и многое другое [Бойков, 2011].

Понятие катастрофы

Экокатастрофы, если их понимать достаточно широко, как постепенное или внезапное, но в обоих случаях разрушительное воздействие природных катаклизмов или техногенных аварий на человека и среду его обитания, явление, распространенное в новейшей истории [Pegrow, 1984]. Чем больше человек своей деятельностью превращает естественную среду в социобиотехническую систему, тем больше сил и ресурсов требуется на ее поддержание, профилактику, что, однако, не гарантирует человека от аварий и катастроф. Но история знает также катастрофы другого рода, затягивавшиеся на десятки лет, как это было, например, в XVI–XVII вв. на Руси, когда голод и холод сначала демобилизовали население, а потом на-

¹ Подробнее о виртуальном проекте «Российские пожары 2010» см. на сайте: <http://russian-fires.ru/>

чалось Смутное время крестьянских восстаний и бунтов [Ключевский, 2002, с. 7–98; Яницкий, 2007]. Холод, неурожай и последовавший за ним голод были спусковыми крючками Смутного времени!

Как писал об этом периоде русской истории В.О. Ключевский, «тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества... все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на свое обеднение, разорение, на злоупотребления властей... о чем прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века останется господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVI века, будучи уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в руках правительств... XVII век был в нашей истории временем народных мятежей» [Ключевский, 2002, с. 25]. Еще одно принципиальное соображение: «Рекреационный процесс (здесь – процесс обновления, восстановления. – О.Я.) не тождественен ни “возрождению”, ни торжествующему “движению” вперед. К тому же он протекает поэтапно; не случайно после Смуты страна долго содрогалась от внутренних и внешних неурядиц, бунтов, войн, за которыми последовало крепостничество... Рекреационный процесс получает преобладание тогда, когда “человек толпы” соглашается на роль существа, ведомого государством...» [Булдаков, 2007, с. 103, 104]. Понятно, что речь идет о «рекреации вертикальной», которая, восстанавливая относительный социальный порядок, одновременно увеличивает потенциальную опасность возникновения кризисов и катастроф.

Современные экологические катастрофы в США, объединенной Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и т.д. permanently демонстрируют нам уязвимость даже самых «продвинутых» обществ, не говоря уже о бедных и беднейших странах. Уязвимость социобиотехнических систем есть следствие «рациональных» решений и приоритетов рыночной экономики. Не бывает чисто природных катастроф, в которых в конечном счете не обнаружилось бы человек, его интересы и цели. Всякая экокатастрофа есть *социобиотехническая катастрофа* (примеры тому – Чернобыль, Фукусима), поэтому для краткости далее употребляется термин «экокатастрофа».

По моему мнению, мы уже вошли в период *перманентных* малых и больших *экокатастроф*. Более того, если власти не будут обращать внимание на поддержание индустриальных, городских и иных инфраструктур в надлежащем состоянии, то *природа навяжет* им свой ритм реабилитации и вообще – *свой социальный порядок*. Если причины и динамика экономических кризисов и их социальных последствий изучены достаточно хорошо, то процессы комплексной социальной реабилитации населения и его сообществ (вкупе с их социотехнической структурой), пострадавших от экологических катастроф, остаются практически неизученными россий-

ской социологией. Следует отличать экокатастрофу от рискогенной среды обитания (среды повышенной опасности), масштабы которой становятся все больше, но люди постепенно привыкают к ней, и им кажется, что они умеют избегать подстерегающих их опасностей. Сегодня наука уже располагает фактами, когда потенциальный риск превращается в катастрофу. Классический пример – это Асуанская плотина в Египте, давшая первоначально высокий положительный эффект. Однако чем далее, тем более этот эффект перекрывался опустыниванием огромных территорий, ростом бедности, безработицей и т.д. Но есть и более свежие примеры. Когда серия запусков космических ракет и аппаратов заканчивается неудачей, то страховые компании отказываются выплачивать страховку. Получается двойной риск: в космосе пребывают опасные предметы (или они падают на жилые дома и головы людей), а государство несет колоссальные убытки [Филин, 2012].

Специфика экокатастроф состоит в том, что их последствия постепенно сокращают несущую способность (carrying capacity) нарушенных экосистем, и они из поглотителя рисков превращаются в их накопителя и распространителя, а главное, что эти риски, *мигрируя в среде*, изменяются, химически трансформируются, многократно увеличивая свою вредоносную силу. Пожалуй, в подобных случаях мы имеем дело с самым опасным видом экокатастрофы, поскольку убийную силу некоторого нового, например, химического соединения, место и время его выхода на поверхность и распространения на обширные территории очень трудно определить. Это *рассеянная катастрофа*. Так или иначе, общественное сознание сильно отстает от осознания реальной ситуации, в которой находится современное общество. В обществе всеобщего риска, каким оно сегодня является [Yanitsky, 2000], все еще господствует «предиспозиция нормальности». Поэтому актуальной становится задача разработки социологической теории среднего уровня реабилитации нарушенных в результате экологических катастроф региональных социобиотехнических систем с акцентом на выявление роли лидеров и практик экомодернизации – как государственных служб, так и организаций гражданского общества.

Конкретно новизна поставленной задачи заключается в следующем: впервые будут разрабатываться концепция и способы комплексной социальной реабилитации нарушенных социобиотехнических систем регионального масштаба. Это изучение будет междисциплинарным: предполагается исследовать риск-рефлексию и практики социальной реабилитации власти, бизнеса, науки, некоммерческих организаций и населения на всех уровнях российского общества. Будет также изучено взаимодействие природных, социальных и виртуальных сетей в процессе реабилитации названных социальных акторов, причем особое внимание будет уделено структурно-функциональной организации интернет-систем как института и инструмента реабилитации этих систем. Наконец, предполагается исследовать взаимозависимость процессов реабилитации природных, техниче-

ских и человеческих экосистем и изменений в культуре лидеров реабилитации и местного населения.

Эпистемология

Вернемся несколько назад. С точки зрения экосоциологии современный мир представляет собой *экобиосоциотехническую систему*, включающую подобные же системы более низкого ранга (региональные, локальные и др.). Под экобиосоциотехнической системой (далее для краткости экосистемой) я понимаю связь (сеть) жизненно важных центров страны между собой и с окружающим природным и социальным ландшафтом («центр») – это узлы (nodes) или ландшафты (areas), где накапливаются, воспроизводятся, перерабатываются и откуда распространяются по каналам жизненно важные для существования экосистемы ресурсы). Ключевыми словами здесь являются: социально-экологический метаболизм (обмен людьми, веществом, энергией и информацией), территория, ресурсы, сети (networks). Экосистема – это всегда нечто «отдельное», относительно самодостаточное, но встроенное через прямые и обратные ресурсные потоки и метаболические цепи в глобальный мир. Такая экосистема (макросистема) может быть традиционной или современной, стабильной или находящейся в процессе трансформации («переходной»), способной или нет к модернизации и т.д. Но главное в ней – это ее отчужденность, отдельность от окружающего мира и способность воспроизводить себя в этом качестве «отдельности». Такую экосистему обычно отождествляют с государством, но это не так, потому что в действительности она гораздо «шире» государства, а ее людские, финансовые, ресурсные и информационные связи простираются далеко за пределы государственных границ. Конечно, есть качественно различные экосистемы: максимально встроенные, включенные в ресурсные потоки мира, как США или Китай, или же максимально изолированные, как Северная Корея.

Экосистема может быть несимметричной, «однобокой». Так, в европейские ресурсные сети и метаболические цепи мы включаемся одним образом, в азиатские – другим. Экосистема может расширяться мирным путем или путем военной экспансии. Но так или иначе, основными «ядрами» экосистемы являются человек (малая группа), организация (НКО или корпорация), государство. Или же – надгосударственные организации. Основными условиями их существования являются ресурсы – территория, природные богатства и люди как носители знаний и умений и, главное, *сети*, связывающие их воедино. Так в истории человечества было всегда: движимые любопытством, жадной жаждой знаний или наживы, человек или государство протягивали свои «щупальцы» далеко за пределы границ своей страны. Читатель уже заметил, насколько далеко в моем понимании экосистемности я ушел от традиционного ее понимания, развитого основателями Чикагской школы экологии человека в 1920–1940-х годах.

В чем преимущество экосистемного подхода? Социальная и экономическая история, да и современная дипломатия, обычно ограничиваются анализом «отношений» различных субъектов социального действия (господства и подчинения, переговоры и конфликты, принятие международных документов и соглашений, детерминирующих легитимность тех или иных «отношений» (конституций и деклараций и т.д.). Практически при таком реляционном подходе (relational approach) обществоведы строят и классифицируют различные конфигурации отношений этих акторов (графы), тогда как фокусом моего исследовательского интереса являются *реальные процессы обмена веществом, энергией, информацией и людьми*. Нужно исследовать не только процессы обмена, которые возникают в ходе «отношений» между различными коллективными акторами (включая государство и транснациональные корпорации), но также и метаболические процессы, которые осуществляются между ними и природой, биосферой. «Отношения» экономических и социальных акторов все время изучаются и фиксируются (в официальных документах и социологических исследованиях), тогда как метаболические процессы движения и трансформации денег, вещества и энергии, поддерживающие эти отношения, изучены гораздо менее. И это естественно, не только потому, что движение финансовых потоков «любит тишину», но и циркуляция любых ресурсов – знаний, информации, энергии, материалов или людских ресурсов – есть основополагающий капитал любых социальных акторов. Причем я использую понятие актора в расширительном смысле. Мы должны обращать внимание не только на официальные действия государств и правительств, но и на ту роль, которую играют в становлении и разрушении экосистем другие, возможно, менее видимые, но гораздо более действенные акторы. Как справедливо отмечают сторонники акторно-сетевой теории (actor-network theory), акторами могут быть не только люди и организации, но также знания, события и т.д., которые, взаимодействуя, тоже могут производить смыслы (meanings) [White, 2008]. Я не открываю здесь Америки – все это по отдельности изучается, однако мне представляется, что изучение социально-экологического метаболизма как один из методов системного анализа может дать более глубокую и всеобъемлющую картину механики становления глобального мира, чем изучение «отношений».

Следующие эпистемологические принципы должны быть в данном случае приняты во внимание. Во-первых, абсолютно безопасных мест в мире не существует: риск катастрофы стал системным явлением [Regow, 1984]. Как будет показано ниже, мы живем в глобальном обществе, которое я квалифицировал как *общество всеобщего риска* [Яницкий, 1996, 2003]. Поэтому главной задачей глобального сообщества является сегодня не столько дальнейшее накопление материальных и социальных благ, сколько сбережение и защита уже существующего общественного и частного богатства, что наглядно продемонстрировал кризис 2008–2010 гг. Или, говоря более широко, поддержание такого типа социально-экологич-

ческого метаболизма, который бы минимизировал возникновение рисков и катастроф.

Катастрофы, в том числе экологические, – не из ряда вон выходящее событие, не беда или напасть, насланная «высшими силами», – катастрофы встроены в повседневную жизнь, часто являясь ее продолжением или *кумуляцией рисков повседневности*. Или, как пишет английский социолог А. Ирвин, катастрофы «резонируют» с повседневностью, с теми условиями, которые люди создают сами. Возникновение катастроф всегда тесно связано с характером функционирования обществ, в которых они происходят [Irwin, 2001]. Существует и более радикальная точка зрения, согласно которой катастрофы являются просто экстремальным случаем повседневности. Отсюда следует другой эпистемологический постулат: катастрофы неотделимы от контекста, следовательно, и знание о них должно быть *контекстуально чувствительным*. Соответственно, возникает необходимость дать ответ на следующий вопрос: какие встроены в контекст нашей жизни процессы мы должны выявлять и изучать в ходе анализа предпосылок катастрофы, ее самой и последующих восстановительных работ?

Возможности существующих экспертных систем для предупреждения и борьбы с катастрофами всегда ограничены потому, что в ходе катастрофы могут возникать (и постоянно возникают) новые, непредвиденные проблемы. Столкновение исследователя катастроф с непознанным, неучтенным знанием порождает отрасль социологии, которую можно квалифицировать как изучение социального действия в условиях не-знания, «to act in the face of ignoance» [Irwin, 2001]. Отсюда возникает эпистемологическая и одновременно практическая дилемма: на чем базировать теорию катастроф? На представлении о них как о предсказуемой цепи событий, для которой можно строить прогнозы и сценарии, или же на представлении о них как о случайной «сцепке» предсказуемого и неожиданного, непознанного? Что, естественно, потребует соединения сценарного подхода и «ручного управления». Во всяком случае, традиционные концепции менеджмента катастроф должны быть пересмотрены под этим углом зрения.

Катастрофа – всегда системное явление, требующее междисциплинарного подхода. Именно анализ катастроф позволяет выявлять лакуны в нашем представлении о катастрофах (*interdisciplinary knowledge gaps*), возникающие на стыке исследования разнородных процессов, и, соответственно, получать новое междисциплинарное знание, которое невозможно получить иным путем.

Знание о катастрофах должно одновременно получаться и стыковаться «сверху» и «снизу» потому, что всегда существует различие в их восприятии между учеными и экспертами, с одной стороны, и местным населением и его гражданскими экспертами – с другой. Причем это знание касается не только самого процесса катастрофы, но и некоторых базовых представлений, например того, что такое городское или местное сообще-

ство. Хотя в общественном сознании эти понятия широко распространены, но их концептуализации «сверху», от экспертов, и «снизу», с точки зрения населения, существенно различаются. Отсюда тянется цепь практических проблем. Надо ли вовлекать население и волонтеров в восстановительные процессы и что они должны делать в первую очередь? Стремиться ли к восстановлению разрушенной среды обитания или же строить на новом месте и т.д.? И вообще: чей голос здесь решающий? Как подчеркивают западные исследователи, аналитик катастрофы должен помнить, что географические и ментальные карты зоны поражения (риска) практически никогда не совпадают.

В анализе процесса развития катастрофы и ликвидации ее последствий мы должны исходить не только из принципа «колен» (path dependence), но и из принципа сохранения, наращивания и совершенствования прошлого (past development). Я имею в виду, в частности, реабилитационные практики, наработанные русской медициной начиная с середины XIX в., которые мы сегодня во многом снова утерjali. Из этого следует, что предупреждение катастроф и борьба с ними – не организационно-техническая, а социальная и *этическая* задача, заключающаяся в первую очередь в помощи пострадавшим, больным, слабым, обездоленным, а также тем, кто лишился своей привычной среды обитания и жизненных ориентиров.

Наконец, вопрос «Что есть катастрофа?» имеет по крайней мере еще две стороны: играет ли сам тип общественного устройства и соответствующая ему культура (культурные коды и среда) роль «спускового крючка» катастрофы? И какие изменения необходимы в доминирующей сегодня рыночной идеологии и потребительской культуре для того, чтобы уменьшить частоту и масштаб катастрофических событий?

Теперь подробнее о некоторых положениях, изложенных выше. Даже в современных социологических текстах, а также и управленческой практике катастрофа, как правило, трактуется как из ряда вон выходящее событие, имеющее начало и конец. После чего все нерешенные проблемы «сбрасываются» на плечи лечебных, хозяйственных и других бюджетных и коммерческих организаций. К решению этих проблем ни эти организации, ни сами пострадавшие не готовы потому, что они находятся в неизвестной им посткатастрофной среде. Теоретически вопрос о переходе из ситуации мобилизации сил и ресурсов в ситуации катастрофы в «обычную жизнь», когда пострадавшие становятся рядовыми пациентами или просителями помощи, причем чаще всего весьма длительной и разнообразной, остается нерешенным.

Итак, *катастрофа имеет определенное начало, но не имеет конца*. В России 15% территории официально признаны «зонами экологического бедствия». То тут, то там возникают «зоны чрезвычайных ситуаций», причем не только в случае землетрясения или наводнения (например, когда на время вводится режим контртеррористической операции); после заверше-

ния этих операций всегда имеется пострадавшее мирное население. Если же учесть феномен социально-экологического метаболизма, т.е. переноса и одновременно рискогенной трансформации радиоактивных и других загрязняющих среду веществ на огромные расстояния, то указанный процент территорий, непригодных для нормальной жизни, может оказаться много выше.

В более общем виде этот тезис можно сформулировать следующим образом: *катастрофа есть сетевой феномен*, возникающий на почве взаимодействия физических и социальных сил и, соответственно, физических и ментальных «карт» из восприятия индивидом и обществом. Иначе и не может быть: спасательные работы когда-то заканчиваются, а метаболические цепи вещественно-энергетических трансформаций продолжают развиваться. Катастрофа на АЭС «Фукусима» породила цепь взаимодействий и трансформаций по всему миру и во всех возможных средах, часть из которых бумерангом вернулась в Японию.

Далее, ошибочно полагать, что посткатастрофный период – это процесс восстановления прежней жизни и прежнего социального порядка. Более 30 лет назад я высказал гипотезу, что возврата к прежнему состоянию быть не может [Яницкий, 1986]. Это не означает, что пострадавшие обязательно попадут в худшие условия. Но это означает, что даже после полной физической и психологической реабилитации у пострадавших будет совсем иная жизнь. Иными словами, реабилитация совсем не всегда равнозначна полному восстановлению прежней среды или адаптации к новым условиям жизни. Фигурально выражаясь, можно утверждать, что катастрофа – это та же всем известная перестройка, только гораздо *более радикальная и совершаемая в сжатые сроки*. Следуя этой логике, можно с уверенностью утверждать, что в реабилитационный (после катастрофы) период число и степень напряженности социальных конфликтов возрастают. Особенно когда реабилитация после катастрофы производится в режиме «ручного управления», т.е. по мере формирования противоборствующих социальных сил, поступления жалоб от пострадавших или возникновения конфликтов уже в новых, посткатастрофных условиях. Еще более опасны посткатастрофные конфликты, которые могут длиться годами и десятилетиями.

Катастрофа как междисциплинарное понятие: Задачи науки

В литературе часто разделяют катастрофу, определяемую в терминах материальных и людских потерь, и катастрофу как социологическую категорию, определяемую в терминах изменения социальной структуры и социального порядка [What is a disaster? 1998]. Поэтому западные авторы полагают, что правильным с социологической точки зрения будет вопрос не «Что такое катастрофа?», а «Какие структуры и порядок действовали до катастрофы и как они изменились после нее?» [Fisher, 2000, p. 93; Curtis, Aguirre, 1993]. Ключевыми терминами, помимо указанных выше, являются

ся «изменения» и «адаптация». С этими утверждениями нельзя полностью согласиться. Во-первых, адаптация отнюдь не означает реставрации прежнего порядка. Как мы показали ранее на конкретном примере, это вообще практически невозможно [Yanitsky, 1999], что было эмпирически подтверждено позже многолетним изучением социальных и экологических последствий Чернобыльской и других катастроф. Во-вторых, одно дело – адаптация на прежнем месте, т.е. восстановление прежней структуры и функций социальных и природных систем, и совсем другое – адаптация на новом месте и к иным условиям. В-третьих, принципиально важно, что форма и степень адаптации (к новым условиям) зависят от характера и масштаба катастрофы. Фукусима – это одно, лесные пожары – другое, ледяные дожди – третье и т.д. Чтобы «адаптироваться», надо знать характер, степень поражения и формы трансформации (риска), т.е. все те же метабологические процессы, а следовательно, *уметь переводить данные о них на язык социологии и политики*. Отсюда и императив междисциплинарного подхода при анализе катастроф.

Западные социологи, изучающие социальные последствия катастроф, отличают их от последствий несчастных случаев. Но, как давно показал уже упоминавшийся Ч. Перроу, современная техногенная цивилизация постоянно генерирует малые и большие «несчастные случаи», которые, как мы знаем по нашему собственному опыту, периодически накладываются друг на друга [Perrow, 1984]. В практическом плане есть только один признак, который отличает катастрофу от несчастного случая: ее масштаб. Но и здесь то, что квалифицируется обществом как «несчастный случай», для отдельного человека или его семьи есть настоящая катастрофа. Так что понятие «масштаб катастрофы» также относительно. Наконец, «адаптация» к прежнему или новому порядку по определению не раскрывает сути и форм этого процесса, важнейшей стороной которого является *реабилитация* человека, социальных сообществ и экосистем.

Какова же траектория развития «катастрофического общества» или, скажем мягче, общества, сопровождающаяся чередой малых и больших катастроф? З. Бауман написал, что XX век был войной за пространство [Бауман, 2002, 2004], в ходе которой мир разделился на тех, кто живет во времени (т.е. тех, кто способен свободно перемещаться по миру), и тех, кто живет в пространстве (т.е. тех, кто привязан к месту труда или жительства). Но Бауман не сказал главного: что будет результатом этой динамики. А происходит вот что: переоценка всего пригодного для жизни пространства Земли. Уже в конце прошлого века из разных ad hoc комитетов ООН раздавались голоса, что европейская часть России столь загрязнена и к тому же бедна ресурсами, что она никому не нужна, разве что как буфер между «цивилизацией» и «мусорным пространством». Вдумайтесь: средняя Россия, давшая миру великую культуру, науку и искусство, расценивается как «отхожее место»! А вот Сибирь и Дальний Восток, редко заселенные, относительно чистые и чрезвычайно богатые природными

ресурсами, суть лакомый кусок для старых и новых транснациональных гигантов.

И этот процесс уже идет. Логика его такова: сначала богатые захватывают самые лучшие в природном отношении ландшафты, вытесняя «человеческие отходы» (термин Баумана) в самые загрязненные регионы страны. Но поскольку предприятия, принадлежащие «сильным» русским, тоже продолжают загрязнять, замусоривать не только ландшафт, но и все жизненное пространство вокруг их собственных «оазисов благоденствия», эти оазисы начинают сжиматься. Очень скоро эти «сильные» разделятся на две группы: «самых-самых» сильных, которые еще могут убежать в любую точку мира, и просто сильных, которые будут вынуждены остаться на месте, строя в этих сжимающихся оазисах бункеры и саркофаги. В конце концов и они попытаются бежать, бросив эти «зоны экологического бедствия» и живущих в них людей на произвол судьбы. Общий тренд: чем слабее Россия будет становиться (а такой поворот событий нельзя исключить), тем больше у нее будет шансов превратиться в мировую помойку, потому что и наши «новые русские», и транснациональные корпорации продолжают рассматривать Россию не как пространство для жизни, а как «ресурс», в том числе и как территорию, пригодную для свалок. То, что таких помоек на земном шаре уже несколько, а будет еще больше, – слабое для нас утешение.

Новые задачи науки вытекают из изменившейся ситуации. Во-первых, катастрофы становятся не «разовым» событием, а «каскадным», вызывающим длинные цепи изменений в обществе и природе. Во-вторых, риски вызывающие катастрофы, все чаще являются техногенными или эпидемическими. Как эффективно и «окончательно» бороться с последствиями первых, например с радиоактивными отходами АЭС, наука так и не научилась. Вторые или забыты, или, вследствие массовых людских и информационных потоков, из локальных мгновенно превращаются в региональные и даже континентальные (примеры всем известны: коровье бешенство или птичий грипп). В-третьих, и этот момент, пожалуй, самый серьезный, местные сообщества утратили способность к самообеспечению и теперь всецело зависят от глобальных сетей поставок продовольствия, медикаментов, средств защиты и т.д.

Необходимо также учитывать, что современные катастрофы часто имеют не локализуемый, а рассеянный и многосторонний характер, тогда как распространенный в России метод «управления» катастрофами носит, по преимуществу, ручной и точечный (ареальный) характер. Удары стихии или техногенной катастрофы сегодня приходится, как правило, на малоресурсные и малозаселенные территории, пораженные к тому же продолжающейся демодернизацией. Соединение этих условий приводит к усилению выбросов энергии распада (больше разрушений, возникновение локальных «вторичных» катастроф вследствие изношенности коммунальных сетей и структур, больше людей стремятся покинуть пораженную

территорию любой ценой и т.д.). В целом общий тренд состоит в том, что новые риски и катастрофы не заменяют старых, традиционных, но, соединяясь с ними, увеличивают совокупную поражающую силу [Quarantelli, Lagadec, Voin, 2006]. Успешный и эффективный подход к проблеме смягчения катастроф и ликвидации ее последствий может быть результатом *междисциплинарного взаимодействия*, независимо от характера конкретной катастрофы. Это взаимодействие требует, в свою очередь, определенных условий (финансирование, гранты, конференции, сети взаимодействия), а также умения участников этого сообщества переводить свои профессиональные гипотезы и знания на язык других дисциплин.

Выводы

То, о чем шла речь выше, – это не социология, а политика или геополитика. Да, с моей точки зрения, действительная социология, т.е. отражающая и изучающая реальные процессы, есть политика или, в иной терминологии, геополитический активизм. В принципе такая *политика может быть двух родов*. Или это будет политика перманентного перенаправления ресурсных потоков в интересах отдельных собственников, или же это будет политика качественного изменения существующего социально-экологического метаболизма, ключевыми ориентирами которой станут интеллектуальная работа, нацеленная на экономию энергии, вещества и других ресурсов для поддержания социобиотехносферы в устойчивом состоянии. В общем – на умножение общего блага.

Катастрофы вносят в экополитику *обучающий компонент*. Они обучают нас чрезвычайно многому: как быстро и с минимальными потерями эвакуировать пострадавшее население, как развивать системы раннего оповещения, налаживать эффективное взаимодействие между СМИ и населением, развивать навыки координации действий разных организаций и их логистику. Но также обучать и пострадавшее население, исходя из его уровня образования, социального статуса и верований. Вместе с тем обучение заключается в понимании ошибочности некоторых из принимаемых решений, в том, кто способен быть лидером в катастрофических ситуациях, и, наконец, в том огромном новом материале, который должен быть освоен разными науками.

Можно тешить себя изощренными методиками изучения отдельных «случаев» катастроф или конструировать типы личностей, которые подверглись их воздействию, но по гамбургскому, т.е. глобальному, счету такие исследования ничего не стоят без соотнесения их с мировым контекстом. Значит, программирование и переключение потоков денег, вещества, энергии, информации, людей и других ресурсов – существенная сторона процесса поддержания устойчивости социобиотехносферы. Или, если угодно, это можно назвать *политикой социально-экологического метаболизма*.

Список литературы

1. *Бауман З.* Глобализация: Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. – 188 с.
2. *Бауман З.* Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – 390 с.
3. *Бойков А.* Встряса экономики // Наша версия. – М., 2011. – 28 марта. – Режим доступа: http://versia.ru/articles/2011/mar/28/defitsit_energii
4. *Булдаков В.П.* Quo vadis? Кризисы в России: Пути переосмысления. – М.: РОССПЭН, 2007. – 204 с.
5. *Вернадский В.И.* Проблемы биогеохимии // Труды биогеохимической лаборатории. – М.: Наука, 1980. – Вып. 16. – 226 с.
6. *Ключевский В.О.* Русская история: Полный курс лекций в 2-х кн. – М.: ОЛМА-Пресс, 2002. – Кн. 2, лекции XLIV–LXXXVI. – 800 с.
7. Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. – М.: ИС РАН, 2001. – 346 с.
8. Россия: Риски и опасности «переходного» общества: Сб. статей / Под ред. О.Н. Яницкого. – М.: ИС РАН, 1998. – 237 с.
9. Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи: Результати соціологічних досліджень 1986–1995 рр. / Від. ред. В. Ворона, Є. Головаха, Ю. Саєнко. – Харків: Фолио, 1996. – 414 с.
10. *Филин Г.* Космические выплаты: Роскосмос зарабатывал на компенсациях за неудачные запуски? // Наша версия. – М., 2012. – 10 сентября. – Режим доступа: http://versia.ru/articles/2012/sep/10/kosmicheskie_vyplaty
11. *Яницкий Н.Ф.* Экономический кризис в Новгородской области XVI в. (по писцовым книгам). – М.: TAUS, 2007. – 151 с. – (Репринт 1915 г.)
12. *Яницкий О.Н.* Россия: Экологический вызов (общественные движения, наука, политика). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – 428 с.
13. *Яницкий О.Н.* Социология риска. – М.: LVS, 2003. – 192 с.
14. *Яницкий О.Н.* Территориальные общности в экологической структуре города // Проблемы развития социально-демографических групп и социально-территориальных общностей / Под ред. О.С. Пчелинцева, Н.Н. Ноздриной. – М.: ВНИИСИ, 1986. – Вып. 4. – С. 58–75.
15. *Яницкий О.Н.* Экологические катастрофы: Структурно-функциональный анализ. – М.: ИС РАН, 2013. – 258 с. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/publ/Yanitsky_Monografiya_Ekokatastrofy.pdf
16. *Яницкий О.Н.* Экологическое движение в России: Критический анализ. – М.: ИС РАН, 1996. – 216 с.
17. *Яницкий О.Н.* Экомодернизация России: Теория, практика, перспектива. – М.: ИС РАН, 2011. – 215 с.
18. *Archer M.* The current crisis: The silence of the sociologists: The ISA conference report on the final presidential session. – Gothenburg, 2010. – July 20.
19. *Beck U.* Ecological enlightenment: Essays on the politics in the risk society. – Atlantic Highlands (NJ): Humanities press, 1995. – V, 159 p.
20. *Beck U.* Re-mapping inequality and power in an age of climate change: The emergence of «cosmopolitan» risk communities: Lecture at the ISA world congress of sociology. – Gothenburg, 2010. – July 11–17.
21. *Beck U.* Risk society: Toward a new modernity. – L.: SAGE, 1992. – 260 p.
22. *Brush S.B., Stabinsky D.* Valuing local knowledge: Indigenous people and intellectual property rights. – Wash.: Island press, 1996. – XIV, 337 p.
23. *Castells M.* Communication, power and counter-power in the network society // International j. of communication. – N.Y., 2007. – Vol. 1, N 1. – P. 238–266.

24. *Castells M.* Materials for an exploratory theory of the network society // *British j. of sociology*. – Oxford, 2000. – Vol. 51, N 1. – P. 5–24.
25. *Castells M.* The rise of the network society. – Cambridge (MA), 1996. – XVII, 556 p.
26. *Cities of Europe: The public's role in shaping the urban environment* / Ed. by T. Deelstra, O. Yanitsky. – Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenia, 1991. – 391 p.
27. *Curtis R.L., Aguirre B.E.* Collective behavior and social movements. – Boston (MA): Allyn & Bacon, 1993. – XI, 446 p.
28. *Dombrowsky W.* Do we still ask the right questions? Comments on societal dynamics, fallibility and disasters // *International j. of mass emergencies a. disasters*. – Uppsala, 2001. – Vol. 19, N 3. – P. 323–328.
29. *Edelstein M.R.* Contaminated communities: The social and psychological impacts of residential toxic exposure. – Boulder (CO): Westview press, 1988. – XVIII, 217 p.
30. *Fischer-Kowalski M.* Society's metabolism: On the childhood and adolescence of a rising conceptual star // *The international handbook of environmental sociology* / Ed. by M.R. Redclift, G. Woodgate. – Northampton (MA): Elgar, 1997. – P. 119–137.
31. *Fisher F.* Citizens, experts and the environment: The politics of local knowledge. – Durham (NC): Duke univ. press, 2000. – XIV, 336 p.
32. *Fisher-Kowalski M., Haberl H.* Socioecological transitions and global change: Trajectories of social metabolism and land use. – Northampton (MA): Elgar, 2007. – XIV, 263 p.
33. *Fuglesang A., Chandler D.* Participation as process: What we can learn from Grameen bank, Bangladesh. – Oslo: NORAD, 1986. – 234 p.
34. *Irwin A.* Sociology and environment: A critical introduction to society, nature and knowledge. – Malden (MA): Polity, 2001. – XII, 210 p.
35. *Keen D.* Complex emergences. – Cambridge: Polity, 2008. – 293 p.
36. *Lindell M.* Disaster studies. – 2011. – Mode of access: <http://www.isa-sociology.org/publ/sociopedia-isa/sociopedia-isa-list-of-published-entries.htm>
37. *Mol A.P.J., Sonnenfeld D.* Ecological modernization around the world: An introduction // *Ecological modernization around the world: Perspectives and critical debates* / Ed. by A.P.J. Mol, D. Sonnenfeld. – L.: Frank Cass, 2000. – P. 3–18.
38. *Murphy R.* Leadership in disaster: Learning for a future with global climate change. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2009. – VIII, 406 p.
39. *Perrow Ch.* Normal accidents: Living with high-risk technologies. – N.Y.: Basic books, 1984. – X, 386 p.
40. *Quarantelli E., Lagadec P., Boin A.* A Heuristic approach to future disasters and crises: New, old and in-between types // *The handbook of disaster research* / Ed. by H. Rodriguez, E.L. Quarantelli, R. Dynes. – N.Y.: Springer, 2006. – P. 16–41.
41. *Rinkevicius L.* Ecological modernization as cultural politics: Transformation of civic environmental activism in Lithuania // *Ecological modernization around the world: Perspectives and critical debates* / Ed. by A.P.J. Mol, D. Sonnenfeld. – L.: Frank Cass, 2000. – P. 171–202.
42. *Social movements and networks: Relational approaches to collective action* / Ed. by M. Diani, D. McAdam. – Oxford: Oxford univ. press, 2003. – XIX, 348 p.
43. *Social processes and the environment: Lithuania and Sweden: Report* / Ed. by A.L. Lindén, L. Rinkevicius. – Lund: Lund univ. press, 1992. – 171 p.
44. *Stern N.* The economics of climate change: Stern review. – Norwich: The stationery office, 2006. – IX, 579 p.
45. *Susskind L.* Environmental diplomacy: Negotiating more effective global agreements. – N.Y.: Oxford univ. press, 1994. – XII, 201 p.
46. *Susskind L., Cruikshank J.L.* Breaking the impasse: Consensual approaches to resolving public disputes. – N.Y.: Basic books, 1987. – XI, 276 p.

47. The child in the city: In 2 vol. / Michelson W., Levine S., Spina A.-R., Catton K. – Toronto: Univ. of Toronto press, 1979. – Vol. 1: Today and tomorrow. – XVI, 272 p.; vol. 2: Changes and challenges. – XIII, 520 p.
48. The ecology of a city and its people: The case of Hong Kong / Boyden S., Millar S., Newcombe K., O'Neill B. – Canberra: Australian national univ. press, 1981. – XXI, 437 p.
49. What is a disaster? Perspectives on the question / Ed. by E. Quarantelli. – L.: Routledge, 1998. – XIII, 312 p.
50. *White H.C.* Identity and control: How social formations emerge. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 2008. – XXII, 427 p.
51. *Yanitsky O.* Sustainability and risk: The case of Russia // *Innovation: The European j. of social sciences.* – Abingdon, 2000. – Vol. 13, N 3. – P. 265–277.
52. *Yanitsky O.* The environmental movement in a hostile context: The case of Russia // *International sociology.* – L., 1999. – Vol. 14, N 2. – P. 157–172.
53. *Yanitsky O.* Towards an eco-city: Problems of integrating knowledge with practice // *International social science j.* – P., 1982. – Vol. 34, N 3. – P. 469–480.
54. *Yanitsky O.* Towards creating a socio-ecological conception of a city // *Cities and ecology: The international expert meeting in Suzdal, 24–30 September 1988.* – Moscow: Nauka, 1988. – P. 54–57.

РЕФЕРАТЫ

Валлерстайн И.

СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС В МИР-СИСТЕМЕ: КУДА МЫ ИДЕМ?

Реф. ст.: Wallerstein I. Structural crisis in the world-system:

Where do we go from here? // Monthly rev. – N.Y., 2011. – Vol. 62, N 10. –

Mode of access: <http://monthlyreview.org/2011/03/01/>

structural-crisis-in-the-world-system

Ключевые слова: глобальный экономический кризис; экономические циклы; неравенство; будущее мир-системы.

Американский социолог-неомарксист Иммануил Валлерстайн (Йельский университет, США) анализирует состояние современного социально-экономического кризиса с точки зрения упадка капиталистической мир-экономики, определяет причины и характеризует действующих акторов кризиса, намечает перспективы выхода из него и озвучивает задачи, которые необходимо решить для создания новой общественно-исторической системы. В первой части статьи автор формулирует ряд предварительных размышлений (тезисов), касающихся структурного кризиса современной мир-системы.

Тезис № 1 заключается в том, что любые системы – от Вселенной до мельчайших физических явлений, включая общественно-исторические системы, – *живут* по определенным правилам. Рано или поздно, «нормальная» жизнь систем выходит из состояния равновесия, в результате чего начинается структурный кризис. Валлерстайн анализирует функционирование систем с точки зрения «циклических ритмов и долговременных тенденций» (с. 1). Ритмы являются систематическими флуктуациями (колебаниями), переходящими от подъема к спаду, и наоборот.

Равновесие, к которому стремится система, является подвижным и восходящим – после каждого спада система никогда не возвращается в исходную точку, в которой она находилась до подъема. Рано или поздно долговременная тенденция роста сближается со своей асимптотой¹, кото-

¹ Асимптота – прямая, к которой бесконечно стремится кривая. – *Прим. реф.*

рая является своего рода пределом роста, и система попадает в точку бифуркации – хаотическую ситуацию, из которой возможны два выхода: либо воссоздание порядка из хаоса, либо появление новой стабильной системы. Данный период и является периодом структурного кризиса, в рамках которого идет борьба двух вышеназванных альтернатив.

Тезис № 2 посвящен описанию наиболее важных характеристик того, каким образом действует капиталистическая мир-экономика, выполняя функцию общественно-исторической системы. Главная цель капиталистов в капиталистической системе, пишет Валлерстайн, заключается в бесконечном накоплении капитала любым способом. Поскольку этот процесс невозможен без присвоения прибавочной стоимости, сопутствующим явлением накопления всегда будет классовая борьба. Масштабное накопление капитала требует, чтобы одна фирма или небольшая группа компаний устанавливали квазимонополию на мировое производство. Обладание такой монополией, или ведущей отраслью, как принято ее называть, возможно только благодаря государственной поддержке. Со временем квазимонополии самоликвидируются. Это связано с появлением новых производителей на рынке, которые понижают степень монополизации, сбавляют цену продаж и сокращают уровень прибыли, а следовательно, и возможность концентрации капитала.

Квазимонополии способствуют расширению мир-экономики и благодаря «просачиванию благ сверху вниз» обеспечивают выгоду для широких слоев населения мир-системы. Истощение квазимонополии приводит к общесистемной стагнации и снижению интереса капиталистов получать прибыль посредством производства. Стремясь минимизировать издержки, бывшие ведущие отрасли перемещаются в зоны, где при производстве товаров можно затрачивать меньшее количество ресурсов (например, за счет более низкого уровня заработной платы). Страны, в которые приходит производство, рассматривают этот процесс как развитие, но, как отмечает Валлерстайн, на самом деле они получают ненужную, исчерпавшую себя отрасль, в то время как страны, из которых производство ушло, перестают получать выгоду от монополий. Этот циклический процесс часто называют кондратьевскими длинными волнами, длящимися в среднем от 50 до 60 лет на протяжении последних 500 лет.

Другой важной характеристикой циклических колебаний мир-экономики является ее взаимосвязь с межгосударственной системой. Валлерстайн считает, что в современной мир-системе государства суверенны лишь номинально; на практике их самостоятельность сильно ограничена. Хотя степень зависимости разных государств различна, полностью суверенных государств в капиталистической мир-экономике не существует (с. 2).

Такая система в совокупности с существованием множества государств позволяет некоторым из них становиться мировыми гегемонами на срок действия циклов. Гегемонии способствуют квазимонополии, которые

увеличивают накопление капитала данным государством. Достижение позиции гегемона является сложным и долгим процессом, пик господства длится в среднем около 25 лет. Как отмечает Валлерстайн, за последние 500 лет государствами-гегемонами становились Республика Соединенных провинций Нидерландов в середине XVII в., Великобритания в середине XIX в. и США в середине XX в. (с. 2). Как и в случае с производственной квазимонополией, геополитическая квазимонополия со временем самоликвидируется.

Тезис № 3 посвящен анализу того, что произошло в современной мир-системе с 1945 по 2010 г. В данном временном отрезке Валлерстайн выделяет два этапа: с 1945 г. по 1970-е годы и с 1970-х по 2010-е годы. В 1945–1970 гг., считает исследователь, имел место один из величайших периодов развития мир-экономики, перешедший в спад с начала 1970-х годов. Второй период (период спада), продолжающийся в наши дни, характеризуется тем, что капиталисты переключили свое внимание со сферы производства на сферу финансов. Мир-система таким образом вступила в небывалую до этого времени череду создания спекулятивных пузырей.

Период 1945–1970 гг. был также периодом полной гегемонии США в мир-системе (как отмечает Валлерстайн, Ялтинская конференция и соглашение с СССР сделали эту гегемонию безоговорочной). Но из-за кризиса квазимонополий американское господство ослабло, что отчетливее всего проявилось при Джордже Буше-младшем. Поскольку гегемония США носила более тотальный характер, чем предыдущие, то и ее упадок обещает стать скорым и всеохватным (с. 2).

Немаловажным штрихом в описании второго периода для Валлерстайна является революция 1968 г., которая по факту проходила в период 1966–1970 гг. и затронула все три ключевые геополитические зоны мир-системы: панъевропейский мир («Запад»), социалистический блок («Восток») и «третий мир» («Юг») (с. 2). Двумя общими компонентами этих локальных политических подъемов были: 1) осуждение не только гегемонии США, но и СССР, вступившего в «тайный сговор» с США; 2) не только отказ от «центристского либерализма», но и понимание того факта, что традиционные антисистемные движения («старые левые») по существу стали перерождением центристского либерализма (с. 3).

Несмотря на краткосрочность подъема 1968 г., он имел два важных последствия в политико-идеологической сфере. Во-первых, закончилось монопольное доминирование центристского либерализма, длившееся с 1848 г. Как итог, и левые радикалы, и правые консерваторы оформились в самостоятельные оппозиционные мир-системе идеологические движения. Вторым последствием стало то, что «старые левые» перестали быть единственными правомерными представителями движения, которым должны были подчиняться остальные активисты. Новыми действующими акторами стали так называемые «забытые люди» (женщины, этнические / расовые / религиозные меньшинства, «коренные» народы, лица нетрадицион-

ной сексуальной ориентации). После 1968 г. «старые левые» вынуждены были на равных присоединиться к их политическим требованиям.

Политическим итогом 1968 г. стало то, что в течение 25 лет, следовавших за этими событиями, правые сплотились более эффективно, нежели фрагментированное левое движение. Республиканцы под руководством Р. Рейгана и консерваторы под руководством М. Тэтчер смогли изменить мировой дискурс и политические приоритеты. Главная цель политики правых, по мнению Валлерстайна, заключалась в отмене всех завоеваний низших слоев, достигнутых в предыдущий период роста. Правые взялись за сокращение всех издержек производства и уничтожение «государства всеобщего благосостояния» для приостановления упадка американского влияния в мире. Так называемый Вашингтонский консенсус состоял в навязывании реципиентам западной помощи комплекса мер, включающего приватизацию государственных промышленных предприятий, сокращение государственных расходов, открытие границ для неконтролируемого ввоза товаров и капитала, ориентацию производства на экспорт (с. 3).

Лозунг М. Тэтчер «Альтернативы нет» («There is no alternative», TINA) стал метким выражением политики правых. Иллюстрацией «безальтернативности» может служить широкая поддержка со стороны США политики Международного валютного фонда, требовавшего в качестве обязательного условия оказания финансовой помощи строго придерживаться неоллиберального экономического курса. Такие драконовские приемы, по мнению Валлерстайна, за 20 лет применения привели либо к краху режимов, возглавляемых «старыми левыми», либо к признанию «старыми левыми» партиями главенства рынка. Закономерной реакцией на этот процесс явились подъем движений сопротивления и массовые протестные акции: сапатистское восстание в штате Чьяпас 1 января 1994 г., демонстрации во время встречи ВТО в Сигтле в ноябре 1999 г. и проведение первого Всемирного социального форума в бразильском городе Порту-Алегри в 2001 г., организованного в противовес Всемирному экономическому форуму в швейцарском Давосе. В итоге, заключает Валлерстайн, Азиатский долговой кризис 1997 г. и крах на рынке жилья в США в 2008 г. привели к современному публичному обсуждению того, что мы называем финансовым кризисом в мир-системе, который является лишь очередным финансовым пузырем в серии долговых кризисов начиная с 1970-х годов.

Тезис № 4 характеризует процессы, разворачивающиеся во время структурного кризиса, в котором сегодня находится мир-система. Начавшийся в 1970-е годы кризис, по мнению Валлерстайна, вероятнее всего продлится примерно до 2050 г., и его основной характеристикой будет хаос. Хаос в понимании Валлерстайна – это не ситуация совершенно случайных событий, а ситуация быстрых постоянных колебаний по всем параметрам системы, включая не только мир-экономику, межгосударственный поря-

док и культурно-идеологические направления, но также доступность жизненно важных ресурсов, климатические условия и пандемии (с. 3).

Хаос порождает неопределенность, при которой любые, даже краткосрочные расчеты относительно будущего государств, промышленных предприятий, социальных групп или домашних хозяйств становятся весьма проблематичными. Неопределенность заставляет производителей быть очень осторожными в вопросах производства, поскольку теперь они не могут быть до конца уверенными в том, найдутся ли потребители их продукции. Возникает порочный круг, говорит Валлерстайн, поскольку сокращение производства означает сокращение занятости, которое, в свою очередь, означает уменьшение потребителей для производителей. Вдобавок ситуация усугубляется быстрыми изменениями валютных курсов (с. 4).

В таких условиях наиболее выгодной стратегией акторов, обладающих ресурсами, становится спекуляция. Тем не менее даже спекуляция в отсутствии определенности и при возрастающих рисках превращается в «игру чистой случайности, в которой есть случайные крупные победители и большинство абсолютно проигравших» (цит. по: с. 4). Одним из бытовых последствий неопределенности становится формирование общественного мнения, выступающего за протекционизм. Наконец, пишет Валлерстайн, значительный рост уровня жизни в странах БРИКС увеличивает нагрузку на существующие ресурсы, характеризуется опережающим накоплением капитала в этой группе стран и, соответственно, сокращением его доли в развитых странах.

Наметив контуры кризиса, автор задается вопросом: «Что мы можем сделать в такой ситуации?» (с. 4). Для ответа на этот вопрос он считает необходимым определиться с теми политическими акторами, которые будут вести политическую борьбу за будущее. Единственное, что можно сказать с уверенностью, считает Валлерстайн, – это то, что капиталистическая мир-экономика себя исчерпала и уступит место новой системе. Но какой? Вот главный спорный момент, вокруг которого идет противоборство между двумя группами – «силами Давоса» и «силами Порту-Алегри», как условно определяет их Валлерстайн.

Группы преследуют полностью противоположные цели. Сторонники «сил Давоса» выступают за трансформированную «некапиталистическую» систему, которая тем не менее должна сохранить три основные особенности существующей системы – иерархию, эксплуатацию, поляризацию (с. 4). Сторонники «сил Порту-Алегри» выступают за принципиально новую, до сих пор не существовавшую систему, которая должна быть относительно демократической и относительно эгалитарной.

Эти направления, подчеркивает Валлерстайн, весьма условны, поскольку на сегодняшний день не существует центральных организаций, представляющих их интересы, а сами группы еще весьма неоднородны, и их сторонники имеют глубоко различные стратегии борьбы. Внутри «сил

Давоса», например, есть сторонники жестких мер, выступающие за уничтожение противников, и те, кто стремится объединить представителей групп на основе таких моделей преобразования, как «зеленый капитализм» или «борьба с бедностью». Внутри «сил Порту-Алегри» есть сторонники реконструкции мира по принципам децентрализации и признания прав групп и индивидов в качестве обязательного компонента будущей мир-системы; и есть те, кто выступает за создание нового интернационала, вертикального по структуре и однородного по долгосрочным целям (с. 4).

Эта запутанная политическая картина, отмечает Валлерстайн, усложняется тем, что бóльшая часть политического истеблишмента, СМИ, экспертов и ученых не признают грядущую гибель капиталистической системы и рассуждают о кризисе с позиции временных трудностей. Тем не менее эту проблему необходимо активно обсуждать, считает Валлерстайн. Как сторонник «сил Порту-Алегри», он выделяет краткосрочные (3–5 лет) и среднесрочные политические меры, направленные на победу в борьбе за новую систему.

В краткосрочной перспективе левым силам необходимо будет выбрать между перераспределением доходов в пользу либо более слабых, либо более сильных по принципу «наименьшего зла», учитывая, что колебания мир-системы нанесли сильный удар по слабым государствам, слабым группам и слабым домохозяйствам, а правительства многих государств увязли в долгах. В среднесрочной перспективе необходимо сделать четкий выбор между альтернативой «сил Давоса» и альтернативой «сил Порту-Алегри», поскольку компромисс между двумя этими тенденциями невозможен. Варианты потенциального будущего в понимании Валлерстайна следующие: либо мы получим значительно усовершенствованную мир-систему, либо мы получим ту, которая как минимум просто плохая или же, возможно, намного хуже (с. 5).

И. Валлерстайн предлагает комплекс тактических действий по выходу из кризиса. Во-первых, считает социолог, необходим серьезный интеллектуальный анализ, в котором приняли бы участие не только экспертное сообщество, но и широкие слои населения. Во-вторых, необходимо отказаться от цели экономического роста, заменив ее на максимальный отказ от коммерциализации. В-третьих, требуется создавать местное и региональное самоуправление для решения базовых проблем жизнеобеспечения (пища, кров). В-четвертых, запрет существования любых иностранных военных баз, что должно привести к сокращению ресурсов, затрачиваемых на поддержку военной сферы. В-пятых, необходимо обеспечить реальное стремление к уничтожению любых видов социального неравенства (полового, расового, религиозного, этнического и др.). И конечно, завершает свою мысль Валлерстайн, нет смысла надеяться на построение лучшей мир-системы к 2050 г. без предотвращения угроз изменения климата, пандемии, ядерной войны (с. 5).

В заключение Валлерстайн отмечает, что теперь, когда система не может функционировать нормально и уже потеряла равновесие, любое, даже малейшее движение может произвести значительный эффект. Совокупность же действий в сумме окажется достаточной для того, чтобы изменить баланс сил в борьбе за создание новой мир-системы.

А.Ю. Долгов

Кастельс М., Караса Ж., Кардозу Г.

КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ВВЕДЕНИЕ
Реф. ст.: Castells M., Caraça J., Cardoso G. *The cultures of the economic crisis: An introduction // Aftermath: The cultures of economic crisis / Ed. by M. Castells, J. Caraça, G. Cardoso. – Oxford: Oxford univ. press, 2012. – P. 1–14.*

Ключевые слова: экономический кризис; глобальный информационный капитализм; экономическая культура; новая экономическая система.

Поскольку любая экономическая система опирается на культуру и социальные институты, редакторы сборника «Последствия: Культуры экономического кризиса» и авторы вступительной статьи – М. Кастельс, Ж. Караса, Г. Кардозо – рассматривают развертывание мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., с точки зрения его влияния на эволюцию культурных практик и повседневных ценностей, определяющих поведение людей.

Они подчеркивают, что кризис глобального капитализма не ограничен по сфере своего воздействия только сферой экономики, а представляет собой структурную и многостороннюю трансформацию капиталистической социальной формации. Всесторонний анализ позволяет утверждать, что человечество вступает в новый социально-экономический этап, значительно отличающийся по своим особенностям от характеристик интенсивно развивавшегося в предшествующие три десятилетия глобального информационного капитализма.

Наряду с информационно-коммуникационными технологиями и глобализацией облик информационного капитализма определила новая культура, своими корнями уходящая в социальные движения 1960–1970-х годов. Основной ее особенностью стал этос свободы, предопределивший впоследствии расцвет индивидуализма и экономической дерегуляции.

Столь радикально изменившие сегодняшний мир технологические инновации были разработаны в кампусах исследовательских университетов, где соединились страсть к открытиям и протест против субординации и корпоративного истеблишмента. Предпринимательская энергия опиралась на дух индивидуализма, свысока относящегося к организованной со-

циальной деятельности и государственной бюрократии. Новая культурная идеология, основанная на идеалах свободы и предпринимательства, расчистила путь для экономической дерегуляции, приватизации и либерализации, развязавших стихию глобального свободного рынка.

Глобальный информационный капитализм продемонстрировал миру исторически уникальные черты социальной структуры, логику глобального сетевого общества, основанного на цифровой сетевизации всех основных видов человеческой деятельности. С другой стороны, под влиянием кризиса, возникшего вследствие противоречий и деструктивных тенденций в информационной модели экономического роста, наметились и возможности его дальнейшей трансформации.

Основой информационной экономики, а впоследствии и причиной ее кризиса стал дерегулированный глобальный капитал, опирающийся на неограниченные возможности финансового рынка и институтов, распространившихся по всему миру посредством глобальных компьютерных сетей. Непомерно разросшаяся финансовая инфраструктура обеспечила основу повсеместного формирования глобального финансового рынка, глобальных компьютерных сетей и финансовых институтов, которые обладают огромными вычислительными мощностями для оперирования сложными математическими моделями, предназначенными для управления все возрастающей комплексностью финансовой системы; последняя, в свою очередь, посредством электронных транзакций дирижирует ходом всех финансовых событий.

Дерегуляция финансовых рынков и институтов создала неограниченные возможности для передвижения по всему миру свободных потоков капитала, преодолевающих любые попытки препятствовать им на национальном уровне, виртуализации капитала и информационной турбулентности, затруднив любые попытки достичь финансовой прозрачности рыночных операций.

Говоря о причинах кризиса, нельзя не упомянуть и культурные особенности поведения финансовой элиты. Соединение экономической дерегуляции и индивидуализма как образа жизни привело к появлению нового типа финансовых и корпоративных менеджеров, чьи усилия направлены в основном на достижение их собственной сиюминутной выгоды, ради которой они порой идут на весьма рискованные решения. Для рационализации своих решений они создают изощренные математические модели, скрывая процессы принятия решений и пренебрегая интересами других участников финансовых транзакций. Культурный девиз-стереотип «Я — первый» превращается в ключевой компонент бизнес-менеджмента (с. 2). Кризис, таким образом, стал результатом кумулятивного воздействия порой мало что значащих сами по себе и даже кажущихся абсолютно безвредными решений, принятых отдельными трейдерами, сотрудниками банков и банками. Нельзя не упомянуть в этом ряду также о роли конкуренции управляющих экономических элит.

Парадоксом стало возникновение кризиса именно в США – эпицентре новой высокопродуктивной экономики, явившейся результатом распространения технологических инноваций и использования профессиональной компетенции высокообразованной рабочей силы (с. 6). Финансовый кризис спровоцировал здесь промышленный и фискальный кризис, а впоследствии и рост безработицы, и падение потребительского спроса, вынудил правительство направить значительные усилия на то, чтобы остановить экономический спад и стабилизировать финансовую систему. Как результат возник кризис политической легитимности, став причиной существенной дестабилизации жизни общества в целом. Усилились социальные протесты, возросла роль популистских движений на политической сцене; сложившаяся культура индивидуализма стала питательной средой ксенофобии, расизма и враждебности, все более порывая с идеологией «социальных фабрик». Пропасть между правительствами и их гражданами становилась все больше. Возросла культура страха на фоне незначительных всплесков альтернативной культуры надежды.

В статье также рассмотрены особенности распространения кризиса в Европе (в частности, в Португалии, одной из европейских периферийных стран с достаточно высоким уровнем производства, инноваций, образования и жизненных стандартов).

Авторы характеризуют сложившуюся в связи с кризисом ситуацию как подрыв веры в миф о саморегулируемом рынке. В то же время они не рассматривают ее как деструкцию социальной системы в результате собственных внутренних противоречий. Напротив, кризис – это многосторонний социальный процесс, в котором задействовано множество интересов, ценностей, верований и стратегий социальных акторов (с. 12).

Как только любая социальная система перестает воспроизводиться автоматически, неизбежно возникают два разнонаправленных внешних воздействия. Одно из них направлено на восстановление ее в прежнем состоянии, а другое стремится к реорганизации на основе новых интересов и ценностей. Окончательный результат появляется в результате конфликтов или компромисса между этими двумя различными экономическими логиками. В США, где и начался нынешний кризис, была реставрирована глобальная информационная модель в сильно редуцированной версии, воссозданная ценой ряда экономических жертв. По мнению авторов, такая модель не является устойчивой (с. 9).

Кризис глобального информационного капитализма стал закономерным следствием и проявлением его внутренних особенностей и противоречий и был порожден гегемонией культуры неограниченного индивидуализма, экономического либерализма и технологического оптимизма. В целом, утверждают авторы, он является переходным этапом в эволюции данной фазы капиталистической формации (с. 10).

Социально-экономическое реструктурирование глобального капитализма ставит его перед перспективой формирования новой экономической

культуры. Какими же будут новые формы экономической организации, новые неконсумеристские культурно-экономические практики и ценностные ориентации? Прогноз на эту тему затруднен тем, что новая неконсумеристская культура может вырасти только на основе уже сформировавшихся социальных практик, новой экономической культуры. Впрочем, правильнее было бы говорить о разнообразных экономических культурах, объединенных стремлением преодолеть консумеризм.

Несмотря на высокий уровень неопределенности, затрудняющей детальное описание капитализма посткризисной эпохи, авторы тем не менее говорят о появлении в США и странах Европейского союза четырехуровневой экономической системы как о непосредственном результате кризиса. Особенности этой системы состоят в следующем.

1. Обновленная информационная капиталистическая экономика будет ориентирована на удовлетворение нужд и потребностей значительно более узкого слоя населения – по всей вероятности, слоя, в котором будут доминировать специалисты высокого класса в нескольких видах экономической и научно-технической деятельности. Новая волна технических и организационных инноваций будет способствовать некоторому оживлению экономики, появлению новых продуктов и процессов в таких областях, как энергетика, нанотехнологии и биоинформатика. Однако, поскольку после кризиса значительно сократится объем венчурного капитала, этот новый раунд инноваций не будет иметь достаточного потенциала, позволяющего увеличить потребление большинства населения. Тем самым этот раунд инновационной активности не сможет создать условий для полного восстановления экономики.

2. В связи с дальнейшим углублением фискального кризиса государственный и полугосударственный секторы экономики будут не в состоянии создать новые рабочие места и стимулировать спрос.

3. Значимую роль в этой экономической системе будут играть ориентированные на выживание традиционные виды экономической активности, характеризующиеся низким уровнем производительности труда и высоким потенциалом занятости для работников с низкой квалификацией; существенным будет присутствие неформального сектора экономики.

4. Альтернативный сектор экономической активности, совсем не обязательно исключаящий ориентацию на получение прибыли, будет связан с различными культурными основаниями и представлениями о жизненных ценностях, идущими вразрез с ценностными установками общества потребления.

В настоящее время достаточно сложно говорить о неконсумеристских протоформах культуры. Отрицание консумеризма как деструктивного образа жизни не может ограничиться идеологией неохиппи. Появляются совершенно новые социальные практики и типы, например этические хакеры (с. 12). Вызывает серьезные сомнения вопрос: может ли рост новой экономической культуры стать результатом исторической конвергенции

между культурным авангардом, находящимся в поиске норм неконсумеристского образа жизни, и дезориентированными массами экс-потребителей, которые больше не имеют возможности что-либо потреблять, – людьми, которым, по выражению авторов, нечего терять, кроме своих заблокированных кредитных карт (с. 12)?

Исследования механизмов экономического кризиса и поиск оснований новой неконсумеристской культуры должны учитывать и особенности экономической культуры развивающихся стран, являющихся частью глобальной экономики. Ведь поскольку существует культурная и экономическая взаимозависимость между старыми и новыми пространствами капиталистической экспансии, понимание кризиса и его последствий, равно как и тенденций мирового развития в XXI в., невозможно без рассмотрения особенностей ситуации в Азии, Латинской Америке, Африке или Китае. Следовательно, анализ мирового кризиса является одновременно и анализом «не-глобального глобального кризиса капитализма» (с. 13).

Таким образом, необходим широкий междисциплинарный, мультикультурный анализ посткризисной мировой экономики с точки зрения культурных практик, включенных в процесс производства, потребления и обмена благами и сервисами. Системные изменения капиталистической формации сопровождаются культурным кризисом, неустойчивостью культурных ценностей как основы человеческого поведения. Лишь при условии фундаментальной культурной трансформации могут возникнуть новые формы экономической организации и институтов, обеспечивая устойчивый характер эволюции экономической системы.

Авторы высказывают мнение о том, что поскольку мы как раз находимся на стадии исторического перехода к новой форме социальной организации, для нас так важен ответ на вопрос о культурных формах послекризисного периода, который одновременно является и ответом на вопрос о том, какой будет наша будущая коллективная судьба: наступает ли время социальной дезинтеграции и конфликтов или для человечества возможен переход к новым культурам, основанным на понимании ценности жизни как высшей формы человеческой организации (с. 13).

*М.Е. Соколова,
Д.В. Ефременко*

II. СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ

СТАТЬИ

Р.Н. Абрамов

КЛАССИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАНЯТИЙ И ПРОФЕССИЙ¹

По замечанию шведского социолога Томаса Бранте, сделанному более четверти века тому назад, «исследования профессий ясно показывают сложную взаимосвязь между общими концепциями общества и истории, социологической теорией, определениями социологических категорий, эмпирических исследований и политических ценностей – или, коротко говоря: между теорией, “фактами” и политикой» [Brante, 1988, p. 119]. С тех пор многое поменялось в структуре социального знания, а границы между дисциплинами все в большей степени демонстрируют свою искусственность и архаичность, поскольку нередко они являются следствием бюрократической традиции, результатом активности заинтересованных групп или наследием иерархии, сформированной на взлете послевоенного сциентизма. Социология профессий также находится в ситуации, когда место дистиллированных тематических работ занимают исследования, вдохновленные практическими задачами, стремлением к более широкому методологическому и теоретическому охвату. С одной стороны, это ведет к росту разнообразия исследовательских сюжетов, а с другой – утрата дисциплинарных границ в значительной степени снимает эпистемическое напряжение, которое является плодотворным для производства собственных аналитических конструкторов и теорий среднего диапазона. Поэтому новые теоретические построения в этой области в течение последнего десятилетия почти не появлялись: исследователи опираются на ранее накопленный багаж или пытаются заимствовать методы и языки извне – здесь на помощь приходят антропология, экономика труда и философия.

¹ Исследование осуществлено в рамках программы «Научный фонд НИУ–ВШЭ» в 2013–2014 гг., проект № 12-01-0014 «Социальные исследования занятий и профессий: История, теория, методология».

Данный аналитический обзор посвящен классификации и реконструкции ключевых теоретических и методологических направлений, которые получили распространение в исследованиях занятий и профессий. В некотором отношении проводимый в этой работе анализ является опытом аналитической картографии, при этом автор берет довольно крупный масштаб рассмотрения, что невольно приводит к некоторым объективным искажениям, схематизациям, отсутствию должной детализации. Отчасти недостаток такого взгляда компенсируется ссылками на работы, где представлены обобщения, касающиеся теоретической ситуации в исследованиях занятий и профессий. Надеемся, что проделанная здесь аналитическая работа будет способствовать лучшему пониманию теоретических и интерпретационных схем, которые порой в имплицитном виде используются исследователями. В российском контексте подобный опыт систематизации теоретических направлений в исследованиях занятий и профессий предпринимался в обзорах В.А. Мансурова и О.В. Юрченко [Мансуров, Юрченко, 2009], а также П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой [Романов, Ярская-Смирнова, 2009]. Наш обзор развивает проделанную названными авторами работу и предлагает более многогранную аналитическую классификацию.

Представленная в настоящей работе классификация опирается на разные основания и учитывает влияние как социологических парадигм исследования занятий и профессий, так и теории среднего диапазона, появившиеся в пределах данной дисциплинарной области (см. табл.).

Таблица

Классификация исследовательских направлений в изучении занятий и профессий

Функционализм	Интеракционизм
<i>«Теории черт», или таксономический подход</i>	<i>«Феноменологический подход»</i>
<i>«Профессиональный проект»</i>	<i>«Драматургия занятий»</i>
<i>«Динамический подход»</i>	
<i>«Экономизм»</i>	Критика занятий и профессий
<i>«Стратификационный подход»</i>	<i>«Неомарксизм»</i>
<i>«Территориальный подход»</i>	<i>«Археология знания» М. Фуко</i>
Невеберрианский подход	«Социальная история занятий»

Функционализм стал самым влиятельным теоретическим направлением, на многие десятилетия предопределившим социологическое понимание профессионализма и его эмпирические реконцептуализации. Фундамент функционалистских интерпретаций профессий как специфического социального института заложил Г. Спенсер. Он приписывал профессиям особый когнитивный статус в обществах промышленного типа и наделял профессионалов миссией секулярных хранителей сакрального в современном мире, которые допускают принципиальную непознаваемость

бытия, имеют дело с неопределенностями и принимают открытость мира изменениям. Для Э. Дюркгейма морально-этический комплекс, определяющий ответственное поведение профессионалов, стал центральным элементом организации этого социального института, способного преодолеть аномические тенденции, которые вызваны экономической и гражданско-модернизацией. Корпоративная мораль, социальная организация и специальные знания до сих пор лежат в основе определения профессии как социологической категории.

Благодаря функционалистской трактовке медицина, право и академия были определены в качестве трех столпов профессионализма, и до сих пор большинство исследований занятий и профессий затрагивают именно эти сферы. Критика функционалистской оптики анализа профессий справедлива в отношении наивного приписывания профессионалам исключительно идеалистических мотиваций в своей работе. Радужный взгляд на профессии получил распространение в американской философской этике начала XX в.; например, восхищение этическим кодексом профессионализма выразил известный философ и политический деятель США Т.В. Смит в статье «Профессиональная работа как этическая норма» [Smith, 1925], где он пытается выявить черты идеального типа этики, которая «может быть наилучшим образом раскрыта в том типе социальной организации, где проявляются наилучшие черты человеческой жизни» [ibid., p. 365–366]. Подобным условиям, согласно Т.В. Смиту, отвечают «Медицина, Право, Преподавание, дающие лучшие образцы в этой части Утопии» [ibid., p. 366]. Этические идеалы, воплощенные в профессиональной практике, направленной на «продолжающуюся реорганизацию жизни в свете постоянно возникающих потребностей» общества, позволяют их носителю найти в своей жизни «золотую середину» в материальной и духовной сферах [ibid., p. 369]. В конце концов американский философ награждает профессии знаком этической чести (ethical honors) и видит в развитии этики профессионализма залог гуманизации труда на основе реализации функции универсализации и демократизации [ibid., p. 372–373]. Этот несколько напыщенный гимн профессиональной этике предвосхитил столь же идеалистичный, хотя и намного более аналитически изощренный структурно-функционалистский подход Т. Парсонса.

Здесь мы не будем подробно анализировать парсоновскую модель профессионализма, поскольку она подробно рассматривается в ряде других работ [Абрамов, 2005; Юдин, 2013]. Важно отметить, что Парсонс акцентировал значимость профессионального комплекса для воспроизводства социетальной системы и анализировал поведение профессионалов, применяя теоретические категории социального действия. Это, с одной стороны, усиливало институциональный акцент в понимании профессионализма, а с другой – приписывало профессионалам положительную ценностную мотивацию их поведения. Обе характеристики долго оставались common sense анализа профессионализма англо-американской традиции.

Безвременно ушедший и, возможно, последний «большой теоретик» социологии профессий Д. Сьюлли считает, что в основе долговременного доминирования парсоновского функционализма лежат два принципа, согласно которым профессии: а) качественным образом отличаются от других видов экспертных занятий и б) формируют уникальный социальный порядок, обеспечивающий траектории социальных изменений [Sciulli, 2009, p. 20]. Несмотря на стремление Т. Парсонса гармоничным образом увязать нормативно-ценностные аспекты профессионализма с его структурными характеристиками, предложенная им концепция остается в целом противоречивой, так как не учитывает неопределенности, свойственной любым субстантивно-нормативным стандартам поведения, характерным для того или иного культурного или социально-психологического подхода [ibid., p. 26]. Эмпирические свидетельства говорят о частых фактах пренебрежения профессионалов субстантивно-нормативной мотивацией, приписанной им Парсонсом.

Англо-американский функционализм с его дидактическими реминисценциями относительно центральной роли профессионального комплекса в формировании современных демократических обществ, структурным и институциональным взглядом на характер организации профессиональных сообществ и попыткой выработать «окончательную дефиницию» профессии, явно или неявно присутствовал в большинстве аналитических описаний и эмпирических исследований этой темы в Великобритании и США.

В нашей классификации наиболее близким к функционализму является «теория черт», или **таксономический подход**, приверженцы которого пытались представить стройную и аналитически связную идеальнотипическую модель профессионализма, которая отвечает требованиям теоретического конструкта и вместе с тем может быть использована в качестве интерпретативной схемы в ходе эмпирического исследования в формате кейс-стади. В рамках «теории черт» было разработано множество критериев, которые помогли отделить профессии от полупрофессий (semi-professions)¹ и непрофессионализованных занятий. В совокупности эти критерии могут быть сведены к нескольким, для которых типичен очевидный функционалистский ход рассуждений: профессии обладают специализированным знанием и навыками; имея особый экспертный статус, профессии претендуют на автономию в своей работе; этические коды регулируют принятие решений в профессиональной деятельности; особые знания легитимируют притязания на власть в рамках своей компетенции; общество распознает профессионалов как особую группу, соглашаясь с ее притязаниями на статус [Roos, 2000]. Проблема таксономического подхода к пониманию профессионализма заключается в том, что соответствующие концепции не учитывали технологические, социальные и экономические изменения, сопровождающие сферу занятости. Между тем массовый ха-

¹ О градации занятий в зависимости от степени их профессионализованности см.: [Collins, 1979; Gross, Etzioni, 1985].

рактическое образование, развитие инновационных технологий и рост сектора услуг после Второй мировой войны создали восходящий поток профессиональной мобильности, и это движение с трудом укладывалось в прокрустово ложе самых изощренных теоретических классификаций. Следует, впрочем, признать, что таксономический подход заложил крепкий фундамент когнитивного ядра дисциплинарной области занятий и профессий в США и Великобритании, так что отдельные его составляющие все еще являются несущими конструкциями социологии профессий.

Слабости «теорий черт» во многом были преодолены с появлением концепции **профессионального проекта** и того, что мы можем обозначить как **динамический подход** к пониманию профессионализма. Динамический подход включает в анализ избранной темы непрерывные изменения ситуации, которые приближают к статусу профессионализованных одни группы занятия и отдаляют от него другие. Здесь и возникают различные вариативные дефиниции, описывающие степень профессионализации, – профессионализованные занятия, полупрофессии, новые профессии и т.п. Соответственно допускается, что возможны не только восхождения групп занятий на пути к статусу профессий, но и утрата ими атрибутов, которые позволяют дать им именно такое социологическое определение. На протяжении XIX–XX вв. научный прогресс, технологические революции и сопутствующие радикальные социальные трансформации привели к профессиональному возвышению одних занятий, появлению совершенно новых и упадку многих, почитаемых прежде. Например, школьный учитель в ряде европейских стран проделал путь от респектабельного статуса репетитора отпрысков аристократических семей (именно так начиналась карьера И. Канта) и затянутого в ведомственный мундир гимназического преподавателя с университетским дипломом до представителя массового занятия, в значительной степени утратившего автономию и былой престиж¹.

Развитие динамического подхода означает не просто фиксацию разнонаправленных статусных движений в профессиональном мире, но необходимость ревизии взглядов на природу профессионализма. Здесь уже не обойтись понятием профессионализации, предполагающим, что представители того или иного типа занятий предпринимают шаги (в виде лоббирования своих интересов) для обретения респектабельного статуса профессии, которая наделена рядом необходимых черт и соответствующим образом воспринимается обществом. В ряду таких усилий могут быть стремление к открытию профильных университетских кафедр и факульте-

¹ Недаром в России обсуждается проект сокращения сроков подготовки и объемов знаний, которые будут получать те, кто планирует стать школьным учителем. См.: Ливанов мыслит верно! Челябинские эксперты уверены, что школьного учителя в вузе можно «слепить» за четыре года // Южноуральская панорама. – 16.01.2014. – Режим доступа: <http://www.up74.ru/novosti/2014/01-janvar/livanov-myslil-verno-cheljabinskije-ehksperty-uvereny-chto-shkolnogo-uchitelja-v-vuze-mozhno-slepit-za-4-goda/>

тов, получение институциональных предпочтений от государства, широкое publicity, декларирующее выполнение социально значимых функций, и т.п. Другими словами, наследие «теории черт» с ее относительной стройной иерархией занятий и профессий становится неактуальным, так как подвижным оказывается само социологическое определение профессии.

Признается, что профессионализация – это не единый процесс, развивающийся по сходным сценариям, а несколько параллельных процессов обретения профессионального статуса, которые следуют своим особым траекториям. Юристы, программисты, веб-дизайнеры, PR-специалисты, современные художники, финансовые аналитики, сомелье, менеджеры, врачи-гомеопаты не двигаются по одной и той же дороге из пункта «Занятия» в пункт «Профессия», а нередко пробираются к более высокому социальному статусу партизанскими тропами инновационной экономики, лабиринтами штатных расписаний транснациональных корпораций или газонами университетских кампусов. Часто это движение носит бессознательный характер, поскольку у многих занятий, возникших в условиях постиндустриальных креативных экономик глобальных мегаполисов, нет даже устойчивого названия и цели стать уважаемой профессией: они просто наслаждаются стилем жизни и стилем работы, присущим «богемной буржуазии» [Брукс, 2013].

На фоне диверсификации траекторий профессионализации все более актуальной становится концепция **профессионального проекта** – идеи, появившейся в поздние 1970-е годы и получившей широкое распространение в исследованиях занятий и профессий за последние два десятилетия. Дж. Эветтс полагает, что автором идеи профессионального проекта, основанной «на детальном научном и историческом исследовании процессов, посредством которых определенная группа занятий достигала монополии на свои услуги на рынке, обретала статус и восходящую мобильность (групповую и индивидуальную) в социальной структуре», была М. Ларсон [Эветтс, 2009; Larson, 1977]. Профессиональный проект не означает разрыва преемственности с наследием функционализма, рассматривающим профессию в качестве институциональных элементов социальной структуры, но обогащает аналитические возможности понимания динамики профессионализации и депрофессионализации. К. Лейт и М. Феннелл строят свое определение профессионального проекта на работах Э. Фрейдсона [Friedson, 1986] и Э. Эббота [Abbott, 1988]; это определение включает, во-первых, усилия представителей соответствующего занятия по повышению своей автономии и свободы действий в сфере ясно очерченных профессиональных прерогатив и, во-вторых, защиту принадлежащего занятию набора задач (task domain) от посягательств со стороны представителей конкурирующих групп занятий. Например, целенаправленные усилия ассоциаций медсестер Великобритании по изменению законодательства в пользу особого статуса клинической сестринской практики могут рассматриваться как часть профессионального проекта [Leicht, Fennell, 2001, p. 9].

Отличие концепции «профессионального проекта» от таксономического подхода и функционализма заключается не только в том, что он является более гибким аналитическим инструментом изучения занятий как «эмпирических объектов» [Witz, 1992, p. 64], но также в том, что эта концепция охватывает разные уровни существования занятий и профессий – индивидуальный (практика работы индивида), корпоративный (уровень рабочего места и организационной иерархии) и институциональный (уровень профессиональных ассоциаций). Каждый из этих уровней привносит свои активы (assets) в развитие профессионального проекта – экономические, организационные, культурные [Macdonald, 1995, p. 57–58] – и позволяет проследить, в какой мере те или иные институты и правила работают на реализацию проекта или сопротивляются его реализации. Концепция профессионального проекта сдвигает фокус анализа в сторону экономизированного дискурса о занятиях и профессиях, где предполагается, что возвышение одних занятий и снижение статуса других лучше всего характеризуется конкурентной борьбой за монополию на рынках профессиональных услуг и усилиями профессионалов по вне рыночному регулированию спроса и предложения на свои услуги.

Этот взгляд на профессии Д. Сьюлли назвал узкосоциально-экономическим и ревизионистским по отношению к благодушным рассуждениям о служении профессионалов общественным интересам [Sciulli, 2009, p. 34–35]. Наступление на парсонсианский функционализм в исследованиях занятий и профессий начали социологи – прежде всего Э. Фрейдсон и Т. Джонсон, а затем – М. Ларсон, Р. Коллинз и Э. Эбботт [ibid., p. 30]. Нас, однако, интересует позиция либерального экономиста Милтона Фридмана, который в своем манифесте «Капитализм и свобода» жестко критиковал сложившуюся систему монопольного рынка профессиональных услуг на примере американской медицины [Фридман, 2006, с. 161–186]. Этот подход мы назовем **экономизмом**.

Напомним, что еще Адам Смит уделял определенное внимание экономической организации мира профессий, но при этом отнюдь не ратовал за конкурентный рынок в сфере профессиональных услуг, поскольку полагал, что привилегии специалистов в сфере права и медицины обусловлены исключительной значимостью их труда для клиентов¹: «Мы доверяем наше здоровье врачу, а наше состояние и иногда нашу жизнь и репутацию – юристу и адвокату. Такое доверие нельзя без риска оказать людям, находящимся в очень бедственном или низком положении. А следовательно, и вознаграждение их труда должно быть таким, чтобы давать им в обществе ранг, коего требует столь важное доверие» [Смит, 1962].

Совсем иная позиция – у М. Фридмана, который усматривает в системе социального закрытия и монополизации рынка профессиональных

¹ Р. Дингуэлл и П. Фенн в своей давней работе детально проанализировали возможности и риски рыночного регулирования профессиональной деятельности. См.: [Dingwall, Fenn, 1987].

услуг (посредством процедур регистрации, сертифицирования и лицензирования) наследие кастовости и архаичного гильдейского корпоративизма. Любопытно, что в своих аргументах против сложившейся в США системы самоорганизации сектора профессиональных услуг либеральный экономист солидарен с неомарксистской («левой») критикой института профессий. М. Фридман убежден в порочности лицензирования, которую он определяет как «процедуру, при которой для занятий определенной деятельностью необходимо получение лицензии от компетентного учреждения. Лицензия – это нечто большее, нежели простая формальность. Она предполагает демонстрацию претендующим на нее лицом определенных навыков или же прохождение определенных тестов, предусматривающих элемент конкуренции, и любое лицо, не обладающее лицензией, лишается права практики, а в случае занятий ею подлежит штрафу или тюремному заключению» [Фридман, 2006, с. 168–169].

М. Фридман полагает, что в существовании этой системы заинтересованы хорошо организованные профессиональные ассоциации, действующие в своих узкокорпоративных интересах и последовательно лоббирующие законы и нормативные акты, которые позволяют им сохранять и расширять контроль над регулированием спроса и предложения услуг. Социальное закрытие и монополизация рынков услуг осуществляются путем создания крeденциалистских фильтров доступа к профессиональной практике и выработки сложной системы требований и правил, сопровождающих труд профессионалов: «Лицензиат часто устанавливает систему регулирования, аналогичную системе средневековых гильдий, причем штат облакает властью лиц данной конкретной профессии. На практике соображения, принимаемые во внимание при выдаче лицензий, насколько об этом можно судить со стороны, могут быть никак не связаны с профессиональной компетентностью» [Фридман, 2006, с. 165].

Американский экономист столь красочно рисует эгоистические устремления профессиональных сообществ по приобретению власти и привилегий за счет клиентов, что можно поверить в описанный неомарксистами «заговор профессионалов» против общественных интересов. По мнению М. Фридмана, практика жесткого лицензирования, основанного на внутренней экспертизе, несет в себе ряд проблем – как для самой профессии, так и для общества. Во-первых, квалифицированные врачи наделены столь широкими и исключительными полномочиями, что вынуждены выполнять работу, которую мог бы сделать средний и младший медицинский персонал [Фридман, 2006, с. 182]. Во-вторых, лицензирование «является главным средством, с помощью которого тормозятся технические и организационные изменения в области медицинской практики» [там же, с. 180]. В-третьих, практика лицензирования тормозит социальные изменения в самом профессиональном сообществе, потому что «после введения лицензирования люди, которые могли бы быть заинтересованы в изменении создавшегося положения, уже не могут оказывать влияние.

Лицензии им не выдаются, поэтому они вынуждены менять профессию и теряют интерес к этой проблеме» [Фридман, 2006, с. 173]. Эти тезисы против системы профессионального лицензирования дополняются традиционными обвинениями профессий в монополизации своих услуг и стремлением не выносить сор из избы в случаях профессиональных ошибок и мошенничества.

Что же предлагает М. Фридман взамен? Он считает перевод профессиональной практики на рыночные рельсы и снятие лицензионных барьеров способом избавиться от устаревшего корпоративизма профессионалов. Защита интересов клиентов в этом случае может быть реализована путем наделения исполнителей профессиональных услуг юридической и имущественной ответственностью за совершенные ошибки. Применительно к медицине американский экономист считает целесообразным повысить роль рыночных посредников, которые могли бы заменить государство и благотворительные фонды в деле саморегулирования рынка. Этими посредниками могли бы стать «медицинские универсамы» – нечто среднее между страховыми компаниями и «долгосрочными бригадами» медиков, осуществляющих услуги на договорной основе [там же, с. 181–183]. Впрочем, сам М. Фридман признает, что его рецепты – не более чем умозрительные предположения и «демонстрация множества альтернатив нынешней системе организации медицинского обслуживания» [там же, с. 182].

Книга «Капитализм и свобода» написана М. Фридманом в начале 1960-х годов, когда профсоюзы рабочих и профессиональные ассоциации специалистов были сильны и задавали тон в отношениях с государством и работодателями. С тех пор многое изменилось – кризисы и радикальные неолиберальные реформы заметно сократили корпоративную власть профессиональных сообществ, а сами сообщества вынуждены адаптироваться к новым условиям, в которых границы профессиональной власти сужены потребительскими сообществами, страховыми компаниями и рынком. В Великобритании и других европейских странах именно система здравоохранения прошла через либерализацию, серьезно пошатнувшую статус профессионалов, превратившихся в наемных работников экспертного труда. И хотя доступ к занятиям врача до сих пор предполагает серьезный аккредитационный фильтр и связан с развитым комплексом этических норм и правил, все же власть профессиональных сообществ с того времени была существенно ограничена, о чем написал американский социолог профессий Э. Фрейдсон: «“Золотая эра” американской медицинской профессии завершилась в течение последней трети XX в. <...> Бюрократический менеджмент правительственных служб, частных страховых компаний, инвестиционных медицинских центров стал посредником в отношениях между врачом и пациентом. Многие врачи стали наемными работниками и виртуально оказались связанными определенными пунктами контрактного соглашения с теми, кто платит за их пациентов и услуги» [Freidson, 2001, p. 185–187].

В исследованиях социальной структуры и стратификации современных обществ профессиональный статус индивида стал одним из ключевых аналитических индикаторов. **Стратификационный подход** к пониманию профессионализма, с одной стороны, опирается на марксистский классовый анализ, с другой – на структурно-функционалистский взгляд на общество как на сложно организованную институциональную систему с относительно стабильными социальными ролями и устойчивыми правилами взаимодействия между массовидными социальными группами. В рамках стратификационного подхода можно выделить течения, представляющие разные стороны анализа: *теоретическое визионерство, классово-стратификационный анализ и измерение престижа профессий*.

Теоретическое визионерство основано на прогрессистской логике рассуждений, овладевшей в XX в. умами многих социальных теоретиков, которые стали очевидцами глубоких качественных изменений в жизни современных обществ и попытались найти причины и описать последствия таких изменений¹. Начиная с работ Т. Веблена, посвященных технократии, это течение нашло своих последователей среди американских социологов и философов. Концепции постиндустриального общества Д. Белла, технократии Дж. Гэлбрейта, спецнократии Э. Тоффлера, общества, основанного на знаниях, информационной экономики, креативной экономики и пр. исходят из того, что быстрые технологические изменения влекут за собой масштабные социальные, культурные и экономические перемены, которые выводят на сцену истории авангардные группы новых профессионалов, обладающих специальными знаниями и должностными позициями, что позволяет им формировать ядро обновленной социальной структуры. Для характеристики новых профессиональных групп не подходят старомодные «теории черт» или функционалистские концепции, поскольку организационный, информационный, технологический и культурный контексты, в которых они действуют, совершенно иные: это креативные организации, фабрики мысли, виртуальные офисы, транснациональные корпорации, глобальные мегаполисы и т.п. Визионерские теории общественной эволюции отнюдь не сводятся к футурологическим спекуляциям; авторы этих концепций обычно опираются на обширный и разнообразный эмпирический материал, что позволяет им увидеть важные тенденции трансформации социетальных обществ. Терминология, используемая в этих концепциях, нередко становится неотъемлемой частью тезауруса социальных наук, как это произошло с понятием постиндустриального общества. Социологии профессий эта группа теорий предложила целый ряд инсайтов, касающихся глубоких и повсеместных изменений не только социальных позиций профессионалов, но и самой концепции профессионализма.

¹ Наилучшим образом эта группа теорий в связи с социологией профессий проанализирована в работе С. Бринта: [Brint, 2001].

Классово-стратификационный анализ занимался изучением социального расслоения общества и построения классификаций, максимально объективно отражающих устройство социальной структуры. Работы, выполненные в рамках стратификационного анализа, преимущественно использовали данные национальной статистики в области занятости и распределения доходов, а также результаты массовых опросов. В послевоенный период в связи с появлением массовых потребительских обществ и повышением доступности высшего образования европейские и американские исследователи занялись выявлением и описанием групп, которые входят в средний класс. При этом появились понятия «новый средний класс», «профессиональный средний класс» и т.п., так как марксистские клише и веберовские наработки как аналитические инструменты уже не работали. В целом же «социально-профессиональное деление является одной из базовых стратификационных систем, разнообразные примеры которой можно найти во всяком обществе со сколь-либо развитым разделением труда» [Радаев, Шкаратан, 1996, с. 54]. Сами социологи профессий (из числа британских и американских авторов), хотя и учитывают в своем анализе результаты стратификационного подхода, не считают его основным, предпочитая более сложные и теоретически-насыщенные способы описания профессий. В ход идет институциональный анализ, социальная история занятий, материалы кейс-стади и данные отраслевой статистики. Социологов профессий чаще интересует не классовая позиция представителей исследуемого ими занятия, а сложные отношения последнего с другими занятиями, государством, потребительскими сообществами, бизнес-организациями, медиа.

Измерение престижа профессий¹ тесно связано с классово-стратификационным анализом, хотя обрело черты оригинального течения на стыке методов и теорий среднего диапазона. Расцвет исследований такого рода был тесно связан с доминированием структурного функционализма [Руднев 2008]. Систематические исследования престижа профессий начались в США в 1930-е годы и чаще имели практическую направленность, связанную с осмыслением ситуации на рынке труда. В результате методической и содержательной эволюции рейтингов престижа профессий к 1970-м годам были разработаны технологии построения индикаторов, подобных социально-экономическому индексу профессии (SEI), – «интегральный показатель доходов, образования и некоторых других переменных (разных в зависимости от применяемой схемы) для каждой профессии или групп профессий, строящийся на основе переписей или специальных опросов населения» [Руднев, 2008, с. 226]. Проводилось множество межстрановых исследований рейтингов престижа профессий, пока некоторые исследователи не пришли «к выводу о том, что дальнейшее измерение престижа профессий бессмысленно, поскольку он фактически является константой,

¹ Взаимодополняющие обзоры методической и теоретической эволюции сделаны А.Р. Бессудновым и М.Г. Рудневым: [Бессуднов, 2009; Руднев, 2008].

и что корреляция между данными из разных стран не равна только из-за различий в методиках и ошибок измерения» [Руднев, 2008, с. 226]. Между тем практическая потребность в подобного рода индикаторах не исчезла, а потому рейтинги престижа профессий активно используются при составлении разного рода социально-экономических индексов. Также специалисты в области социальной стратификации «выстраивают иерархии профессиональных групп в соответствии с распределением материальных и символических ресурсов между ними» [Бессуднов, 2009, с. 90]. Однако не следует забывать, что подобные рейтинги не всегда могут учесть субъективные факторы восприятия занятий, связанные с обыденными стереотипами и медийными штампами [об этом см.: Романов, Ярская-Смирнова, 2012].

До недавнего времени в социологии профессий доминировали терминология и логика рассуждений, появившиеся в американской и британской социологии. Между тем институциональная история занятий в разных странах отнюдь не сводится к англосаксонской модели, основанной на корпоративной самоорганизации профессиональных сообществ, скрепленной развитым этическим кодексом и сильными ассоциациями, которые представляют интересы своих членов во взаимоотношениях с другими институциональными акторами. Различные исторические пути формирования национальных государств с их бюрократическим аппаратом и вариативной социальной структурой способствовали образованию профессиональных групп, существенным образом отличающихся от британского и американского вариантов своим генезисом, способами организации и отношениями с другими институтами. Французский социолог профессиональных групп Ш. Гадеа вслед за М. Барраджем [Wittage, 2006, p. 590] так характеризует эти различия: «Пути еще больше разойдутся на протяжении XIX в., когда во Франции будут чередоваться авторитарные режимы и республики, мешая завоеванию автономии и монополии профессий, в отличие от США, где профессии без труда проникают в слабо регулируемое пространство, подчиненное закону рынка, и надолго там обосновываются. В Англии более стабильное государство и меньшее давление рынка, очевидно, позволили профессиям развиваться, сохраняя неограниченную преемственность с моделями, унаследованными от предшествующей эпохи» [Гадеа, 2011, с. 71–72].

Территориальный подход к анализу занятий и профессий позволяет учесть эти различия, хотя он и не отрицает институциональных универсалий в эволюции и организации профессиональных сообществ. В рамках территориального подхода обычно выделяют *англосаксонскую и континентальную модели* профессионализма; иногда к ним добавляется скандинавская версия континентальной модели. В силу обстоятельств, связанных с гегемонией американской и, в меньшей степени, британской социологии, в послевоенный период англосаксонская модель стала ведущей в изучении занятий и профессий. Однако в последние годы исследователи активно

обсуждают ограниченные объяснительные ресурсы этой модели для характеристики происходящего в мире профессий¹. В рамках континентальной модели не ставится под сомнение значение специализированного экспертного знания как ключевого элемента профессиональной власти, но процесс профессионализации, профессиональная автономия и состав профессиональных групп трактуются иначе. Прежде всего, подчеркивается роль государства в формировании образованных экспертных кадров для нужд управления и контроля над населением. В состав профессиональных групп включается не только узкий круг высокопрофессионализованных занятий, выстроивших надежные стены автономии, но также значительная часть среднего класса – «образованной буржуазии» (*Bildungsbürgertum*), занятой в коммерческом секторе и на государственной службе. Помимо этого принимается во внимание культурно-ценностный комплекс, присущий данным социально-профессиональным группам. Он значительно шире корпоративной этики профессий, изучение которых осуществляется в англосаксонской традиции и подразумевает наличие миссии производства, воспроизводства и распространения лучших образцов национальной культуры, а также – служения интересам народа (как в случае русской интеллигенции XIX в.). В целом на основе территориального подхода может быть выработана синтетическая модель профессий, учитывающая исторические и институциональные особенности формирования этих групп в разных странах.

Поиск теоретической платформы, позволяющей проводить всеобъемлющий и глубокий анализ профессиональных групп, привел к возникновению в Великобритании **неовеберянского подхода**. В нашей стране этот подход получил относительно распространение благодаря сотрудничеству с российскими коллегами известного британского социолога Майка Сакса и переводу ряда его работ на русский язык. Сакс полагает, что неовеберянский подход можно считать ортодоксальной методологией англо-американской социологии профессий, в рамках которой профессии определяются как группы, занимающие монополистическую позицию на рынке тех или иных услуг [Сакс, Олсон, 2003]. В определенной мере неовеберянский подход помогает избежать структурно-функционалистского приписывания профессиям исключительно альтруистических побуждений служения общественным интересам, с одной стороны, и неомарксистской подозрительности к профессионалам как эгоистически настроенным группам, обслуживающим капиталистические порядки, – с другой. В качестве теоретической платформой данного направления неовеберянец избирают идеи М. Вебера, касающиеся определения социального статуса, который формируется на основе профессиональных занятий, заинтересованных в отстаивании своих корпоративных интересов. С этой целью занятия борются за расширение «экономически обусловленной

¹ Наиболее важными работами последних лет, касающимися обсуждения ренессанса континентальной модели, являются тексты Д. Скилли: [Sciulli, 2005, 2009].

власти», которая выражается не только в доходах, но и в «социальных почестях», служащих источником как данной, так и политической власти [Вебер, 1997, с. 162–163]. Профессии, согласно М. Веберу, являются «статусными группами», где существенны «почести» внеэкономического характера и специфический «стиль жизни, который ожидается от тех, кто высказывает желание принадлежать к данному кругу людей» [там же, с. 171]. Эти группы стремятся создать монопольные возможности для извлечения статусных привилегий посредством социального закрытия и юридических фильтров. Такого рода группы М. Вебер относил к «стяжательским» и к «среднему классу» [там же, с. 176–178]. В работах нынешних неовеберянцев сложно найти оригинальные черты, отличающие их от ревизионистской версии позднего структурного функционализма и англосаксонской модели. Впрочем, следует отметить, что неовеберянцы склонны к более гибкому анализу отношений между занятими, государством и рынком; кроме того, они демонстрируют противоречивость и многогранность процессов обретения или потери профессионального статуса на примерах трансформации законодательства и борьбы конкурирующих за юрисдикцию групп¹.

Выше мы уже неоднократно упоминали о постепенном движении исследователей профессий от положительной и отчасти наивной оценки их роли в социальных системах к более строгому аналитическому и даже критическому взгляду. Уже во второй половине 1950-х годов стали появляться работы, где профессиональные практики и формы социализации подвергались критике. По-настоящему широким фронтом социологическая критика профессий развернулась в 1960-е годы и существенным образом изменила ландшафт исследований занятий и профессий. **Неомарксистская критика** обвиняла профессионалов в том, что, заняв привилегированные социальные позиции, близкие к положению буржуазии, профессионалы обслуживают интересы мира капитала, предоставляя ему свои экспертные знания и навыки [Poulantzas, 1975; Parkin, 1979; Boreham, 1983; Derber, 1982; Larson, 1980]. Например, радикальный неомарксистский теоретик Н. Паулантцас рассуждал (в духе Маркса) о классовом антагонизме, основанном на разнице интересов пролетариата и буржуазии [Poulantzas, 1975]. В обществах зрелого капитализма на первый план выходит «новая мелкая буржуазия», состоящая из специалистов, менеджеров и администраторов, занятых непроизводительным трудом. В рамках этой логики профессионалы могут рассматриваться как занятые производительным трудом в процессе материального производства – и непроизводительным в контексте социального разделения труда, где экспертное знание используется в целях капиталистического господства. Британский теоретик и писатель Ф. Паркин синтезировал марксистскую теорию классового анализа и веберовскую идею социальных привилегий: наряду с собствен-

¹ Недавно в жанре неовеберянского анализа в России была успешно защищена диссертация на соискание степени кандидата социологических наук. См.: [Садыков, 2013].

ностью, профессиональный статус и кретенциалистский ресурс являются ключевыми элементами классовой стратификации [Parkin, 1979]. Профессиональные группы используют разные виды капитала (культурный, образовательный, социальный) для поддержания собственных привилегированных классовых позиций.

Неомарксисты видели и обратную сторону влияния зрелого капитализма на профессиональные группы. Опираясь на гипотезу Маркса о поляризации классов по мере развития капитализма, исследователи полагают, что профессии претерпевают «депрофессионализацию» и «пролетаризацию» [McKinlay, Arches, 1985] в результате роста технической и бюрократической подконтрольности их труда. Действительно, ряд глубоких изменений в организационной системе позднего капитализма наводили на эту мысль: начиная от роста влияния менеджеров и администраторов до внедрения нового оборудования в медицине, делопроизводстве, коммуникациях. Помимо этого, масштабные нелиберальные реформы в социальной политике и внедрение методов *new public management* в государственном управлении ослабляли союз профессий и государства, стремившегося поставить производство и потребление таких общественных благ, как образование и здравоохранение, на рыночные рельсы. Как итог, профессионалы (что особенно заметно в англосаксонском мире) были вынуждены поступиться весомой частью своей автономии¹, и теперь их можно называть экспертными работниками, включенными в сложную систему менеджериального контроля.

Неомарксистский анализ профессионализма широко использовался британскими исследователями в течение 1970–1980-х годов и прочно вошел в арсенал социологии занятий и профессий. В то же время последние 20 лет социологи избегают прямолинейного обращения к языку неомарксизма, предпочитая рассуждать о тех тенденциях в мире профессий, которые были описаны марксизмом, более нейтральным способом.

Идеи **М. Фуко** оказывали беспрецедентное влияние на социальные науки в течение последних трех десятилетий. Понятия дисциплинарного общества, биополитики, правительственности (*governmentality*), метод археологии знания, исторические трактаты, посвященные становлению института клинической медицины, психиатрии и управления, могут рассматриваться как серьезный вклад в понимание места профессий в современных обществах [Фуко, 1997, 1998, 1999, 2010, 2011]. Продемонстрированная Фуко неразрывная связь укрепляющейся государственной власти, искусства управления населением и профессиональной власти, основанной на экспертных научных знаниях, позволяет по-новому взглянуть на источники автономии и статуса профессионалов. Безусловно, все это сказалось на способах мышления социологов о профессиях и вдохновило их на ряд исследований, где применялись аналитические схемы французского фило-

¹ Обзор работ по теме ограничения профессиональной автономии см., например: [Evetts, 2002].

софа и историка [Arney, 1982; Nettleton, 1992; Johnson, 1996; Reassessing Foucault, 1994]. Однако знакомство с соответствующими работами социологов профессий последних лет позволяет заключить, что фукианское наследие не находится должного места в исследованиях этого жанра, что отчасти объясняется спецификой терминологии и уникальным стилем работы Фуко с историческим и теоретическим материалом. Более строгие к выводам и организации материала британские социологи предположили даже, что «этот научный подход основан на бездоказательной аргументации» [Сакс, Олсоп, 2003]. Нам представляется, что теоретический корпус, выработанный М. Фуко, может оказаться более востребованным для понимания генезиса профессиональных групп в России, большинство из которых, начиная со времен Петра I, оказалось частью бюрократического аппарата управления. Кроме того, расширяющиеся технические возможности государств и корпораций по тотальному надзору и сбору персональных данных о гражданах (для чего нужны квалифицированные специалисты и аналитики) может стать серьезным вызовом правам человека и демократическим ценностям. Понимание того, как используются здесь профессиональные знания, – это задача социологов.

Почти все исследования профессий активно обращаются к возможностям **социальной истории** занятий – для лучшего понимания трансформации отдельных профессиональных групп и всего института профессий [см., например: Becker, 2011; Hutchinson, 1996; Saks, 2003]. Эта традиция была заложена еще тематическими работами классиков – Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера – и является важным аналитическим ресурсом исследователей профессий. Социальная история занятий и профессий служит наилучшим свидетельством институциональной природы профессионализма, которая может быть изучена посредством сравнительного социально-исторического анализа. Более того, в значительной мере аргументация и выводы исследователей основаны на сопоставлении изменений, которые переживали занятия в исторической перспективе, начиная со Средних веков. В России, к сожалению, почти отсутствуют работы, где интерпретативные возможности социальной истории занятий и профессий были бы раскрыты в полной мере, – здесь есть большой потенциал для отечественной социологии занятий и профессий.

Выше преимущественно рассматривались теоретические направления и течения в исследованиях занятий и профессий, которые исходили из тезиса о примате структурной и институциональной основы в генезисе и организации профессиональных групп. Между тем **интеракционистская парадигма** рассматривала «общество не как систему, представляющую собой статичный, подвижный или какой бы то ни было баланс, а как огромное количество совершающихся коллективных действий, многие из которых тесно связаны между собой, многие не связаны вообще, многие известны заранее и повторяются снова и снова, другие прокладывают себе новые пути, и все они служат целям участников, а не выполняют требова-

ния системы» [Blumer, 1969; цит. по: Йоас, Кнёбель, 2011, с. 201–202]. Интеракционизм в его американской версии никогда не был цельной и стройной теоретической моделью – скорее, это широкое интеллектуальное движение, ориентированное на поиск оснований социального не в нормативном комплексе и устойчивой социальной структуре, а в разнообразии и творчестве индивидов и групп, продуцирующих социальный порядок посредством различных форм взаимодействия.

Основателем и классиком интеракционистского подхода в исследованиях занятий и профессий является Э. Хьюз, теоретическое влияние которого явным и неявным образом ощущается в современных тематических работах. В России идеи Э. Хьюза в области социологии занятий и профессий хорошо известны специалистам благодаря переводам и глубоким аналитическим обзорам В.Г. Николаева [Николаев, 2012; Хьюз, 2009, 2012], поэтому здесь мы не будем детально их рассматривать. Отметим лишь, что тезис о «забвении и замалчивании наследия» [Николаев, 2012, с. 60] Э. Хьюза нам кажется несколько преувеличенным: Э. Эбботт, Э. Фрейдсон и ряд других ведущих социологов занятий и профессий осознанно обращались к работам чикагского социолога, которые остаются частью «золотого фонда» данной дисциплинарной области. Э. Хьюз придал новый творческий импульс исследованиям занятий и профессий своими отчасти интуитивными озарениями. Он радикально расширил объект исследования, включив туда не только непрофессионализированные занятия, но и так называемые маргинальные виды деятельности, включая криминальные, и даже неоплачиваемый труд. Также предметом социологии занятий и профессий стали темы, которых прежде избегали исследователи: сбои в профессиональной социализации, профессиональные субкультуры, влияние локальных контекстов на профессиональный мир и т.п. Будучи антропологом по образованию и свидетелем успехов Чикагской школы, Хьюз сделал хорошую антропологическую прививку социологии профессий, что существенным образом обогатило ее содержательно и методологически. Он воспитал плеяду учеников и последователей (среди них Г. Беккер, А. Стросс, Э. Гофман и др.), которые стали блестящими социологами и нередко обращались к теме изучения профессий.

В частности, книга Э. Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни» [Гофман, 2000] построена на демонстрации напряжений, которые возникают в повседневных ситуациях между профессионалами и дилетантами, и способов поддержания социального порядка в процессе их взаимодействия. Автор драматургического подхода прекрасно владел знанием опубликованных и неопубликованных текстов по социологии занятий и профессий своего времени и отсылал к примерам, почерпнутым из них. В частности, Гофман с легкостью развеял функционалистскую веру в резонность изолированного и длительного профессионального обучения: «Для закрепления таких идеальных представлений существует своеобразная “риторика обучения”, при помощи которой рабочие союзы, уни-

верситеты, торговые ассоциации и другие выдающие лицензии учреждения вынуждают практиков глотать мистические пилюли в виде традиционного объема и длительности обучения, отчасти, чтобы сохранить свою монополию, а отчасти, чтобы навязать впечатление, будто дипломированный практик – это человек, заново созданный в процессе его обучения и отделенный тем самым от всех прочих людей. Так, о фармацевтах рассказывают, будто они сознают, что четырехлетний университетский курс обучения, требуемый для получения лицензии на занятия фармацевтикой, в общем “полезен для профессии”, но вместе с тем некоторые из них признают, что практически достаточно всего лишь нескольких месяцев обучения» [Гофман, 2000, с. 79–80].

Любопытен взгляд Э. Гофмана на роли, которые отведены представителям разных занятий с управлением впечатлением и поддержанием спектакля повседневного взаимодействия: «Роль специалиста по услугам исполняют индивиды, специализирующиеся в постановке, корректировке и поддержании спектакля, который их клиенты отстаивают перед другими людьми. Одни из таких специалистов – архитекторы и продавцы мебели – трудятся над созданием обстановки действия; другие – дантисты, парикмахеры и дерматологи – работают над персональным внешним видом клиента; третьи – штатные экономисты, бухгалтеры, юристы и исследователи – формируют фактологическую часть публичного вербального поведения клиента, т.е. его командную линию аргументации или интеллектуальную позицию» [Гофман 2000, с. 192–193].

Эти цитаты дают возможность понять, насколько оригинальны и свободны суждения Э. Гофмана о профессиях и насколько слабо они оказались задействованы мейнстримом американской и британской социологии занятий. Впрочем, они обогатили социальную антропологию занятий и профессий, которая была подкреплена интеракционизмом, этнометодологией и феноменологией. Феноменологический подход рассматривает повседневность как типизированную реальность, которая конструируется в процессе взаимодействия типизированными же актерами в типизированных ситуациях. Именно так, например, происходит «нормальное» общение врача с пациентом. Кроме того, феноменологический подход дает возможность исследовать многообразие жизненных миров профессиональных сообществ, включая их локальные особенности самоорганизации, языка, поддержания идентичности и практик: «В повседневной профессиональной деятельности люди имеют дело с алогичными и противоречивыми инструкциями, ошибками и практиками приладки и пригонки деталей, латентными правилами, позволяющими работнику обходить формальные регламенты, чтобы достигать целей» [Романов, Ярская-Смирнова, 2009, с. 28]. Сами профессионалы здесь выступают стражами специализированных знаний о подуниверсумах социальной реальности. Эти знания также не являются завершенными, упакованными нарративами (в виде монографий и инструкций), но сочетают в себе элементы здравого смысла, тради-

ций, скрытого знания и практического мастерства, с трудом поддающегося формализации. Для феноменологического подхода также важна другая сторона – как воспринимается профессиональный мир профанами (клиентами, обществом в целом), т.е. повседневные впечатления, стереотипы и истории, касающиеся труда профессионалов.

В целом интеракционистское движение в социологии занятий и профессий снимает концептуальное различие занятия и профессии – объектом внимания могут быть самые разные виды деятельности. На этом фоне изучение микроинтеракций как основного источника социального порядка и генерирования профессиональной деятельности становится более важным, нежели функционалистский взгляд «с высоты птичьего полета». Кроме того, акцент переносится на изучение повседневных проявлений жизни профессиональных сообществ (сленга, туземных субкультур, мифологии, дресс-кода).

* * *

Данный обзор открывался пассажем шведского социолога Томаса Бранте из его статьи 1988 г. о том, что исследования занятий и профессий находятся на перекрестке теоретических и методологических путей [Brante, 1988]. Год выхода этой работы был плодотворным для социологии профессий: именно тогда Э. Эбботт опубликовал свой фундаментальный труд «Система профессий: Эссе о разделении экспертного труда» [Abbott, 1988]. В это же время появились первые тревожные сигналы грядущего кризиса дисциплинарной истории англо-американской социологии профессий: в том же 1988 г. Дж. Ритцер и К. Макдональд выпустили статью с многозначительным названием «Социология профессий: Жива или мертва?» [Macdonald, Ritzer, 1988], где они с некоторым опозданием откликнулись на опубликованную шестью годами раньше работу Р. Холла «Теоретические тенденции в социологии занятий» [Hall, 1983], автор которой утверждал, что социология профессий исчерпала свою повестку дня и идет на спад. Дж. Ритцер и К. Макдональд стали оппонентами этого тезиса, аргументируя свою точку зрения отсылкой к разнообразию и количеству профильных публикаций в Великобритании и США.

Действительно, в 1980–1990-х годах вышло немало интересных работ и исследований в этом жанре, однако теоретического прорыва в дисциплинарной области исследований занятий и профессий не произошло. Сегодня на тематической конференции по социологии занятий и профессий можно обнаружить отсылки к концепциям и моделям объяснения, появившимся в период расцвета этой области знания. Конечно, есть серьезные успехи, но достигнуты они в основном либо на локальных участках (в ходе объяснения подъема или упадка очередного занятия), либо как продолжение достойных традиций социологии профессий. Данная дисциплинарная область выглядит как добротный автомобильный олдтаймер, с надежными деталями и изысканным классическим дизайном, в ряду более

заурядных, но быстрых и комфортабельных современных собратьев по дорожному ряду. Так, например, значительная часть тематики социологии занятий и профессий была приватизирована социологией высшего образования, организационными исследованиями и management studies, рефлексией социальной работы о своем месте в рамках государства и общества, претерпевающих реформирование социальной политики. Сказывается и общее снижение влияния социологии, которой отводится все меньше места в университетских учебных планах и курсах. Можно ли тогда сказать, что представленная выше классификация – в некотором смысле попытка «сохранить на память» ускользающую реальность? На наш взгляд, видимая старомодность социологии профессий может сослужить ей хорошую службу, поскольку позволяет поддерживать дисциплинарные границы и не утратить объект исследования. Представленные в настоящем обзоре теоретические направления предоставляют возможности для разностороннего анализа занятий и профессий, а рост интереса к данной проблематике в России может дать новый интеллектуальный импульс этой дисциплине, поэтому говорить о ее упадке, на наш взгляд, преждевременно.

Список литературы

1. Абрамов Р.Н. Профессиональный комплекс в социальной структуре общества (по работам Т. Парсонса) // СоцИс. – М., 2005. – № 1. – С. 54–66.
2. Бессуднов А.Р. Социально-профессиональный статус в современной России // Мир России. – М., 2009. – Т. 18, № 2. – С. 89–115.
3. Брукс Д. Бобо в раю: Откуда берется новая элита. – М.: Ad Marginem, 2013. – 296 с.
4. Вебер М. Основные понятия стратификации // Кравченко А.И. Социология Макса Вебера: Труд и экономика. – М.: На Воробьевых, 1997. – С. 169–183.
5. Гадея Ш. Социология профессиональных групп во Франции. Историческая перспектива и вопросы современного развития // СоцИс. – М., 2011. – № 4. – С. 70–80.
6. Гофман Э. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2000. – 304 с.
7. Йоас Х., Книбель В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций. – СПб.: Алетейя, 2011. – 840 с.
8. Лукаш О.В. Социология профессиональных групп: Определение понятий // Профессиональные группы интеллигенции / Отв. ред. В.А. Мансуров. – М.: ИС РАН, 2003. – С. 61–79.
9. Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий: История, методология и практика исследований // СоцИс. – М., 2009. – № 8. – С. 36–46.
10. Николаев В.Г. Социология занятий и профессий Эверетта Хьюза: Забытый интеллектуальный ресурс // Антропология профессий: Границы занятости в эпоху нестабильности / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярская-Смирновой. – М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2012. – С. 59–74.
11. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 318 с.
12. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: Пересмотр аналитических перспектив // СоцИс. – М., 2009. – № 8. – С. 25–35.
13. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Те самые профессии: Шкалы престижа и рамки публичности // Антропология профессий: Границы занятости в эпоху нестабильности /

- Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2012. – С. 7–28.
14. Руднев М.Г. Методология и основные результаты исследований престижа профессий в зарубежной социологии // Вопросы образования. – М., 2008. – № 2. – С. 217–239.
 15. Садыков Р.А. Врач-гомеопат: Особенности социально-профессионального статуса и профессионализации: Дисс. ... канд. социол. наук; науч. рук. д. социол. наук, проф. П.В. Романов. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – (Рукопись).
 16. Сакс М., Олсон Дж. Социология профессий: Государство, медицина и рынок в Великобритании // Профессиональные группы интеллигенции / Отв. ред. В.А. Мансуров. – М.: ИС РАН, 2003. – С. 79–104.
 17. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 654 с.
 18. Фридман М. Капитализм и свобода. – М.: Новое издательство, 2006. – 240 с.
 19. Фуко М. Безопасность, территория, население: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 уч. г. – СПб.: Наука, 2011. – 544 с.
 20. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 576 с.
 21. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. – М.: Ad Marginem, 1999. – 480 с.
 22. Фуко М. Рождение биополитики: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 уч. г. – СПб.: Наука, 2010. – 448 с.
 23. Фуко М. Рождение клиники. – М.: Смысл, 1998. – 310 с.
 24. Хьюз Э.Ч. Профессии // Антропология профессий: Границы занятости в эпоху нестабильности / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2012. – С. 31–47.
 25. Хьюз Э.Ч. Социальная роль и разделение труда // СоцИс. – М., 2009. – № 8. – С. 46–52.
 26. Эветтс Дж. Новые вызовы доверию и профессионализму // Свободная мысль. – М., 2009. – № 11. – С. 127–142.
 27. Юдин Г.Б. Социология профессий и социология как профессия // Гепфер. – 10.04.2013. – Режим доступа: <http://gefper.ru/archive/8295>
 28. Abbott A. The system of professions: An essay on the division of expert labor. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1988. – XVI, 435 p.
 29. Arney W. Power and profession of obstetrics. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1982. – XI, 290 p.
 30. Becker E.M. Medicine, law and the state in imperial Russia. – Budapest: CEU press, 2011. – X, 399 p.
 31. Blau P.M. Orientation toward clients in a public welfare agency // Administrative science quart. – L., 1960. – Vol. 5, N 3. – P. 341–361.
 32. Blumer H. Symbolic interactionism: Perspective and method. – Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1969. – X, 208 p.
 33. Boreham P. Interdetermination: Professional knowledge, organization and control // Sociological rev. – Hoboken (NJ), 1983. – Vol. 31, N 4. – P. 693–718.
 34. Boys in white: Student culture in medical school / Geer B., Hughes E.C., Strauss A., Becker H.S. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1961. – XIV, 456 p.
 35. Brante T. Sociological approaches to the professions // Acta sociologica. – L., 1988. – Vol. 31, N 2. – P. 119–142.
 36. Brint S. Professionals and the «knowledge economy»: Rethinking the theory of postindustrial society // Current sociology. – L., 2001. – Vol. 49, N 4. – P. 101–132.
 37. Burrage M. Revolution and the making of the contemporary legal profession. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – XI, 683 p.
 38. Collins R. The credential society: An historical sociology of education and stratification. – N.Y.: Academic press, 1979. – VII, 222 p.
 39. Derber Ch. Professionals as workers. – Boston (MA): G.K. Hall, 1982. – VI, 231 p.

40. *Dingwall R., Fenn P.* «A respectable profession»? Sociological and economic perspectives on the regulation of professional services // *International rev. of law a. economics.* – Amsterdam, 1987. – Vol. 7, N 1. – P. 51–64.
41. *Evetts J.* New directions in state and international professional occupations: Discretionary decision-making and acquired regulation // *Work, employment a. society.* – L., 2002. – Vol. 16, N 2. – P. 341–353.
42. *Freidson E.* Professional powers: A study of the institutionalization of formal knowledge. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1986. – XVIII, 241 p.
43. *Freidson E.* Professionalism: The third logic. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001. – VIII, 250 p.
44. *Gross E., Etzioni A.* Organizations in society. – Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1985. – VIII, 232 p.
45. *Hall R.H.* Theoretical trends in the sociology of occupations // *The sociological quart.* – Hoboken (NJ), 1983. – Vol. 24, N 1. – P. 5–23.
46. *Hutchinson J.F.* Politics and medical professionalization after 1905 // *Russia's missing middle class: The professions in Russian history* / Ed. by H.D. Balzer. – Armonk (NY): M.E. Sharpe, 1996. – P. 89–116.
47. *Johnson T.* Governmentality and the institutionalisation of expertise // *Health professions and the state in Europe* / Ed. by T. Johnson, G. Larkin, M. Saks. – L.: Routledge, 1996. – P. 7–25.
48. *Larson M.S.* Proletarianization and educated labor // *Theory a. society.* – Dordrecht, 1980. – Vol. 9, N 1. – P. 131–175.
49. *Larson M.S.* The rise of professionalism. – Berkeley: Univ. of California press, 1977. – XVIII, 309 p.
50. *Leicht K.T., Fennell M.L.* Professional work: A sociological approach. – Malden (MA): Blackwell, 2001. – XVI, 254 p.
51. *Macdonald K.M.* The sociology of the professions. – L.: SAGE, 1995. – XIII, 224 p.
52. *Macdonald K.M., Ritzer G.* The sociology of the professions: Dead or alive? // *Work a. occupations.* – L., 1988. – Vol. 15, N 3. – P. 251–272.
53. *McKinlay J., Arches J.* Towards the proletarianization of physicians // *International j. of health services.* – Amityville (NY), 1985. – Vol. 15, N 2. – P. 161–195.
54. *Nettleton S.* Power, pain and dentistry. – Buckingham: Open univ. press, 1992. – X, 165 p.
55. *Parkin F.* Marxism and class theory: A bourgeois critique. – L.: Tavistok, 1979. – XI, 217 p.
56. *Poulantzas N.A.* Classes in contemporary capitalism. – L.: New left books, 1975. – 336 p.
57. *Reassessing Foucault: Power, medicine and the body* / Ed. by C. Jones, R. Porter. – L.: Routledge, 1994. – X, 225 p.
58. *Roos P.A.* Professions // *Encyclopedia of sociology* / Ed. by E.F. Borgatta. – 2nd ed. – N.Y.: Macmillan, 2000. – P. 2258–2264.
59. *Saks M.* Orthodox and alternative medicine: Politics, professionalization and health care. – L.: Continuum, 2003. – 194 p.
60. *Sciulli D.* Continental sociology of professions today: Conceptual contributions // *Current sociology.* – L., 2005. – Vol. 53, N 6. – P. 915–942.
61. *Sciulli D.* Professions in civil society and the state: Invariant foundations and consequences. – Boston (MA): Brill, 2009. – 488 p.
62. *Smith T.V.* Professional work as an ethical norm // *J. of philosophy.* – N.Y., 1925. – Vol. 22, N 14. – P. 365–372.
63. *Witz A.* Professions and patriarchy. – L.: Routledge, 1992. – IX, 233 p.

М. Сакс
СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ – РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ
НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

М. Saks
The sociology of professions:
A developing field of study

Introduction

It is encouraging to note the growing academic interest in the sociology of professional groups from law to medicine in a global context. This trend is very clear from the burgeoning number of books, book chapters and articles in this area. It is also apparent from the new English language journals now available for publishing peer reviewed articles on this subject. The first specialised journal to appear two or three years ago was *Professions and Professionalism*, an online Nordic sociology publication. The second is *Professions and Organization*, a print and online journal produced by Oxford University Press – the initial issue of which is to appear in 2014 and on which I am a member of the Editorial Board. This of course is in addition to other more general and long-standing Anglo-American journals focused on the sociology of work which publish articles on the professions, such as *Work, Employment and Society* and *Work and Occupations*.

This growing interest in the sociology of professions is further indicated by the particularly strong recent expansion of the membership of the International Sociological Association (ISA) Research Committee 52 (Sociology of Professional Groups), of which I am currently Vice President – having been President for four years from 2009 to 2012. I personally have been involved in this area of study in the ISA since one of its earliest meetings as a Working Group in Boston, USA, in 1992. Following on from this, there has been much activity across the globe as the Working Group grew into a Research Committee as the 1990s progressed. The activity under the auspices of ISA Research Committee 52 has taken place largely through the growing numbers of papers presented and discussed in sessions at ISA Interim Conferences, Forums and

Congresses in various continents of the world – in places spanning from Gothenburg, Paris and Oslo to Brisbane, Buenos Aires, Durban and Montreal.

The activity of the ISA Research Committee on the Sociology of Professional Groups, with a membership drawn from some thirty countries has been paralleled by the related work of Research Network 19 (Sociology of Professions) of the European Sociological Association (ESA), of which I am a former Board member. This Network has about half of the membership of the ISA, but has been no less active – holding regular interim conferences and running sessions at mainstream ESA events at venues ranging from Helsinki and Lisbon to Murcia and Vienna. Selected papers from ESA and ISA conferences, moreover, have appeared in several special edited collections and journal issues, of which I have often been co-editor (see, for example, [Professional identities in transition, 1999; Saks, Kuhlmann, 2006]. This has complemented the ever-increasing number of national sociological groups focused on professions, which can be exemplified by the strong sub-groups of the German Sociological Association and the Portuguese Sociological Association. There has been much interest in the sociology of professions in recent years in Russia too, as reflected in international conference participation and publications, to which we shall now turn.

The Russian sociology of professions

I have had a particularly close association with the Russian sociology of professions since the second half of the 1990 s and count a number of sociologists working in this field as both colleagues and friends. My contact with Russia began in the late 1990 s when I was invited by Valery Mansurov, Deputy Director of the Institute of Sociology at the Russian Academy of Sciences in Moscow, to put in a collaborative bid for funding in this area under the INTAS initiative – designed to promote cooperation in research and technology among scientists from the new Independent States of the former Soviet Union and Western Europe. As a result, we quickly built up a team to develop a bid that included as project leader Judith Allsop from the Faculty of Health and Community Studies, of which I was then Dean at De Montfort University in Leicester, UK.

The bid was successful and from 1998 to 2003 I worked with colleagues on the project entitled «Russian physicians: Their attitudes and strategies for adaptations to change». This study was based on surveying over six hundred physicians in three regions of Russia to examine, amongst other things, how far their perspectives had changed following Perestroika. In consequence, there were a number of mutual visits between Moscow and the UK and two sociology students from the Russian Academy of Sciences were registered for postgraduate degrees which they subsequently completed at De Montfort University. These students were Olga Mamonova and Olesya Yurchenko, the latter of whom played a key role in conducting the survey work for the project – which helped to increase understanding of professions in Russia and led to a fruitful interchange of views regarding the comparative position of Russia and

the UK and how such groups might best be empirically investigated and theorised.

This research was an important platform for analysing the preparedness for professional formation in general and in medicine in particular in a post-Soviet society less experienced in dealing with professional agendas both academically and practically. Under the Soviet regime the destruction of independent professions had taken place as they are known in the Anglo-American context – following the post-Tsarist abolition of monopolistic occupational groups that could challenge official state policy [The Anglo-American and Russian sociology of the professions, 2004]. However, there was still a sense in the Soviet period in which professions could be seen to exist in crafts and skilled occupations through their control of knowledge and its application in healthcare and elsewhere, even if they did not have the widespread privileges of their Western counterparts [Allsop, Mansurov, Saks, 1999]. This role as part of the intelligentsia was to become increasingly significant in Russia in terms of cultural mission as the Soviet regime was superseded.

It was particularly interesting in the collaborative INTAS project bringing differing perspectives on the professions together from West and East as more formal professional formation increasingly occurred in post-Soviet Russia. This made the discussion of new theories about professional autonomy and the corporate place of professions in the power structure and stratification system more pertinent as facets of the more autonomous Anglo-American professions started to develop in the new order [Anthropology of professions, 2012]. In the project focused on Russia therefore there was an increasing fascination in a fast changing socio-political order with neo-Weberian work that conceived of professions as independent legally enshrined monopolies in the marketplace – against a tradition in Russia in which there had been a greater focus on professional work orientation and socio-psychological characteristics and a Marxist and functionalist approach [The Anglo-American and Russian sociology of the professions, 2004].

Perspectives in the Anglo-American sociology of professions

To be sure, functionalism, alongside the trait approach to professions, had been the dominant orthodoxy in the Anglo-American sociology of the professions up until the 1960 s. Trait writers had drawn up various lists of distinctive characteristics of professions from esoteric knowledge and high academic credentials to altruism and rationality (see the overview by [Millerson, 1964]). Functionalists built on this generally positive view of professions by putting together a more theoretically coherent analysis – in which occupations with important knowledge for society were given a more highly rewarded position in the social structure in exchange for serving the public and / or clients (for instance, [Goode, 1960; Barber, 1963]). However, this sugar-coated view was increasingly taken to task for uncritically legitimating professional privileges in the wake of the 1960 s and 1970 s counterculture in Britain and the United

States that challenged the reflexive acceptance of previously received wisdoms on a range of fronts [Roth, 1974].

Leading the attack initially were symbolic interactionists who cautioned from a more micro-oriented work-based perspective of the dangers of presenting professional ideologies as reality. Such contributors irreverently drew parallels between top professions and more marginal occupations like those of undertakers and prostitutes (as illustrated by [Hughes, 1963]). They argued that – since there were overriding similarities between both them and the occupational dilemmas that they faced – the notion of a profession was just an honorific label used to gain socio-political advantages in the workplace [Becker, 1962]. Subsequently in the West at more of a macro structural level Marxism strongly emerged in the 1970 s and 1980 s as part of the critique of professions. The application of this framework took various forms, but was largely employed to highlight the perceived role of professions as agents of surveillance and control linked to the dominant class under capitalism, which supported the capitalist status quo (as exemplified by [Ehrenreich, Ehrenreich, 1979; Navarro, 1986]).

Such perspectives have some parallels at least with the longer standing approaches in the Russian sociology of the professions, even if – unlike in Russia – they dealt primarily with professions as occupations which had systematically gained a significantly privileged position in the stratification system in Anglo-American society. Indeed, these parallels can be extended because the ascendancy of Marxism as a perspective for analysing professions in the West, as in Russia, has been eroded to a large degree by the demise of state socialism throughout Eastern Europe. Now, however, other sociological approaches have emerged – not least being Foucauldianism which questioned the rationality of scientific progress associated with professions (see, for instance, [Foucault, 1988]), not least through the concept of «governmentality» based on the political incorporation of professional expertise into state formation as part of its governance [Johnson, 1995].

All of these more critical perspectives have had their difficulties in the Anglo-American context. While the Marxist approach, for example, overcame the ahistorical approach and micro sociological constraints of interactionism through its emphasis on the importance of the wider structural dynamics within which professional groups are embedded, it shared a similar weakness of rarely systematically evidencing its claims. In this regard, Marxism has tended to be tautological in its approach to understanding the role of professions under capitalism [Saunders, 1983], while Foucauldians have shared a similar resilience to grounding their work empirically because they do not see professions as analytically separate from the state and have played «fast and loose» with the facts [Jones, Porter, 1994]. Nor has the now popular discourse analysis – which focuses on analysing the role of professional ideologies in occupational discourse (see, for example, [Fournier, 2000; «Remember I'm the bloody architect!», 2005]) – stood above criticism as it fails to differentiate professions as a distinctive group from other occupations in society.

The neo-Weberian perspective on the sociology of professions

For me, though, these difficulties are best addressed through the neo-Weberian approach that has driven my personal research in this area and is arguably now the most prevalent perspective in the Anglo-American sociology of professions. From this perspective, professions are viewed as being based on exclusionary social closure in the market, underwritten by legal monopolies that are centred on educational credentialism. The restricted number of insiders on the state supported registers of professional bodies generally enhances their market value compared to outsiders – thereby increasing their income, status and power (see, for instance, [Parkin, 1979]). As such, unlike functionalism, neo-Weberianism does not provide an overly glossy interpretation of professions, but instead sees them as self-interest groups. It also differs from interactionism in considering macro structural and historical processes, while avoiding limiting Marxist assumptions about the role of professions under capitalism along with the Foucauldian antipathy to counterfactual evidence. At the same time, it is pivoted on a more differentiated professional base than discourse analysis, with all the associated policy leverage [Saks, 2010].

Nonetheless, neo-Weberians themselves have not always effectively applied this approach in the Anglo-American context. As I have identified in various elements of my work, such contributors have sometimes insufficiently underpinned their work by evidence [Saks, 1983]; have been unduly critical of professions, giving too much attention to the negative effects of their operation as opposed to their positive impact on the public interest [Saks, 1998]; and have all too rarely related their analyses of professional groups to the wider occupational division of labour [Saks, 2003 a]. In addition, as witnessed in Soviet Russia, the notion of exclusionary closure may be less applicable to occupational groups outside of the Anglo-American context, including in continental Europe where they have more often formed part of state bureaucracies [Svensson, Evetts, 2010]. However, none of this argues against the rigorous and sensitive application of the neo-Weberian framework in modern societies with a spectrum of professional models – in which the approach with adaption can be made to fit increasing numbers of states and professions [Saks, 2010].

It should not be surprising, then, that there are many examples of positive applications of neo-Weberian work to professions and professionalising occupations internationally spanning from studies of lawyers [Halliday, 1987] and actuaries [Collins, Dewing, Russell, 2009] to social workers [Lymbery, 2000] and health professions [Rethinking professional governance, 2008]. My own work has particularly focused on the latter – starting with the analysis, on which my doctorate in sociology was based at the London School of Economics, of the extent to which professional groups pursue self-interests as opposed to the public interest, illustrated with reference to the response of the medical profession to acupuncture in nineteenth and twentieth century Britain [Saks, 1995]. Since then I have produced a wide range of neo-Weberian work from a comparative study over five centuries of professionalisation in orthodox and alternative

medicine in Britain and the United States [Saks, 2003 b] to a more theoretical and conceptual account of the relationship between the marginality and inequalities associated with the professions in general and healthcare in particular [Saks, 2014 a].

I have recently been concerned to maximise the policy impact of my sociological work based on the analysis of means-end relationships as a neo-Weberian sociologist [Saks, 2012], particularly with reference to the regulation of health professions. Policy impact has now become a key agenda for the social sciences in the UK more generally [Bastow, Dunleavy, Tinkler, 2014]. My own engagement in health regulatory applications can be exemplified in the UK, amongst many things, by the production of a major commissioned government report on health support workers [Saks, Allsop, 2007] and a key advisory role to both the General Medical Council and the Department of Health on the regulation of the medical profession to protect the public [Allsop, Saks, 2008]. Most recently I have mapped the different contemporary regulatory approaches by government to professions in English healthcare using metaphors to stimulate policy debate [Saks, 2014 b]. This UK work has been complemented internationally by my involvement in a large-scale project with regulatory dimensions with the University of Toronto on «Shifting between hospitals and the community: Policy implications for care, clients and providers», funded by the Canadian Institutes of Health Research (see, for example, [Aging at home, 2009]).

Conclusion

Given the centrality in the social structure of the professions – from doctors and nurses to accountants and engineers – it is not surprising that such groups have attracted so much sociological and political interest in modern societies [Macdonald 1995]. It is very important to note too that, aside from the theoretical shifts in the sociology of professions, the real world situation of professions is itself changing, not least in the current globally challenging economic climate. This is not just because of the extent to which professions work in employing organisations as opposed to fee-for-service situations, the increasing scale of many of the organisations in which they now operate, the shifting gender / ethnic balance of professional groups, nor indeed the growing significance of organisations beyond the individual nation state in setting their terms and conditions [Evetts, 2013]. It is also related to the changing socio-cultural contexts in which they work in particular societies – which is no better illustrated than in Russia with the shift from the Soviet socialist model to a more privatised economic context, with a corresponding expansion of open market activity.

As such, analysis in the sociology of professions needs to be responsive to changing times. There has therefore been an ever greater eclecticism in modern Russia and elsewhere in terms of the theoretical perspectives employed to analyse the field. This is also reflected in a wider range of objects of study in a fast-

changing socio-political environment. In this mix, everything from trust relationships between clients and practitioners, professions as managers and the place of expert knowledge in professional work to inter-professional collaboration, professional mobility and the role of professionalism as an ideology have appeared in presentations included in recent international proceedings. The span of occupational groups covered, moreover, could not be broader – from midwives and natural scientists to teachers and translators. This greater diversity of approach has also been mirrored in the number and span of interests of Russian delegates in attendance and giving papers at the many international conferences in which I am involved – not only as a participant, but also as a co-organiser and session chair.

Aside from the Russian Academy of Sciences with which I have for long closely collaborated, I am very pleased that the Higher School of Economics in Moscow itself has become one of the key centres in this area in Russia. Here the interests in professions of Pavel Romanov and Elena Iarskaia-Smirnova already referred to in this paper are complemented by those of many other academic staff from the Higher School of Economics who I regularly meet at ISA and ESA conferences working on different aspects of the sociology of professions, from Roman Abramov to Olga Simonova. Most recently too an interesting working paper has been produced on the development of Russian professional associations by a team led by Alexandra Moskovskaya, the Director of the Centre for Social Entrepreneurship and Social Innovation Studies at the Higher School of Economics, which underlines the relatively early stage that professional development has reached in the majority of occupations in Russia [Development of professional associations in Russia, 2013]. This suggests the value of a neo-Weberian approach in terms of future research on present and potential moves towards regulation and market closure. But whatever the approach taken or the focus of study, long may the sociology of professions continue to progress both in Russia and the wider world!

References

1. Aging at home: Integrating community-based care for older persons / Williams A.P., Lum J.M., Deber R., Montgomery R., Kuluski K., Peckham A., Watkins J., Williams A., Ying A., Zhu L. // Healthcare papers. – Toronto, 2009. – Vol. 10, N 1. – P. 8–21.
2. Allsop J., Mansurov V., Saks M. Working conditions and earning options of physicians in the Russian Federation: A comparative case study // Russia today: Sociological outlook / Ed. by V. Mansurov. – Moscow: Russian society of sociologists, 1999.
3. Allsop J., Saks M. Professional regulation in primary care: The long road to quality improvement // Quality in primary care. – L., 2008. – Vol. 16, N 4. – P. 225–228.
4. Anthropology of professions: Occupational boundaries in turbulent times / Ed. by P. Romanov, E. Iarskaia-Smirnova. – Moscow: GSPGS, 2012. – 233 p.
5. Barber B. Some problems in the sociology of professions // Daedalus. – Cambridge (MA), 1963. – Vol. 92, N 4. – P. 669–688.
6. Bastow S., Dunleavy P., Tinkler J. The impact of the social sciences: How academics and their research make a difference. – Los Angeles (CA): SAGE, 2014. – XVII, 320 p.

7. *Becker H.S.* The nature of a profession // *Education for the professions* / Ed. by N.B. Henry. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1962. – P. 27–46.
8. *Collins D., Dewing I., Russell P.* The actuary as a fallen hero: On the reform of a profession // *Work, employment a. society.* – L., 2009. – Vol. 23, N 2. – P. 249–266.
9. Development of professional associations in Russia: A research into institutional framework, self-regulation activity and barriers to professionalization / *Moskovskaya A., Oberemko O., Silaeva V., Popova I., Nazarova I., Peshkova O., Chemysheva M.* – Moscow: HSE, 2013. – (Working papers; BRP 26/SOC/2013). – Mode of access: <http://ssrn.com/abstract=2357974>
10. *Ehrenreich B., Ehrenreich J.* The professional-managerial class // *Between capital and labour* / Ed. by P. Walker. – Brighton: Harvester press, 1979. – P. 5–45.
11. *Evetts J.* Professionalism: Value and ideology // *Current sociology.* – L., 2013. – Vol. 81, N 6. – P. 778–796.
12. *Foucault M.* Madness and civilization: Insanity in the age of reason. – L.: Vintage books, 1988. – XIII, 299 p.
13. *Fournier V.* Boundary work and the (un)making of the professions // *Professionalism, boundaries and the workplace* / Ed. by N. Malin. – L.: Routledge, 2000. – P. 67–86.
14. *Goode W.* Encroachment, charlatanism and the emerging profession // *American sociological rev.* – Wash., 1960. – Vol. 25, N 6. – P. 902–914.
15. *Halliday T.C.* Beyond monopoly: Lawyers, state crises and professional empowerment. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1987. – XX, 388 p.
16. *Hughes E.C.* Professions // *Daedalus.* – Cambridge (MA), 1963. – Vol. 92, N 4. – P. 655–668.
17. *Johnson T.* Governmentality and the institutionalization of expertise // *Health professions and the state in Europe* / Ed. by T. Johnson, G. Larkin, M. Saks. – L.: Routledge, 1995. – P. 7–24.
18. *Jones C., Porter R.* Introduction // *Reassessing Foucault: Power, medicine and the body* / Ed. by C. Jones, R. Porter. – L.: Routledge, 1994. – P. 1–16.
19. *Lymbery M.* The retreat from professionalism: From social worker to care manager // *Professionalism, boundaries and the workplace* / Ed. by N. Malin. – L.: Routledge, 2000. – P. 123–138.
20. *Macdonald K.* The sociology of the professions. – L.: SAGE, 1995. – XIII, 224 p.
21. *Millerson G.* The qualifying associations. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1964. – XIII, 306 p.
22. *Navarro V.* Crisis, health and medicine: A social critique. – L.: Tavistock, 1986. – VI, 281 p.
23. *Parkin F.* Marxism and class theory: A bourgeois critique. – L.: Tavistock, 1979. – XI, 217 p.
24. Professional identities in transition: Cross-cultural dimensions / Ed. by I. Hellberg, M. Saks, C. Benoit. – Södertälje: Almqvist & Wiksell, 1999. – 447 p.
25. «Remember I'm the bloody architect!»: Architects, organizations and discourses of profession / Cohen L., Wilkinson A., Arnold J., Finn R. // *Work, employment a. society.* – L., 2005. – Vol. 19, N 4. – P. 775–796.
26. Rethinking professional governance: International directions in healthcare / Ed. by E. Kuhlmann, M. Saks. – Bristol: Polity, 2008. – VIII, 248 p.
27. *Roth J.* Professionalism: The sociologist's decoy // *Sociology of work a. occupations.* – L., 1974. – Vol. 1, N 1. – P. 6–23.
28. *Saks M.* Analyzing the professions: The case for the neo-Weberian approach // *Comparative sociology.* – Leiden; Boston (MA), 2010. – Vol. 9, N 6. – P. 887–915.
29. *Saks M.* Deconstructing or reconstructing professions? Interpreting the role of professional groups in society // *Professions, identity and order in comparative perspective* / Ed. by V. Olgianti, L. Orzack, M. Saks. – Oñati: Oñati international institute for the sociology of law, 1998. – P. 351–364.

30. Saks M. Orthodox and alternative medicine: Politics, professionalization and health care. – L.: SAGE, 2003 b.–194 p.
31. Saks M. Professions and the public interest: Medical power, altruism and alternative medicine. – L.: Routledge. 1995. – 316 p.
32. Saks M. Professions, marginality and inequalities // Sociopedia. – 2014 a. – Mode of access: <http://www.isa-sociology.org/publ/sociopedia-isa/sociopedia-isa-access.htm>
33. Saks M. Regulating the English health professions: Zoos, circuses or safari parks? // Professions a. organizations. – Oxford, 2014 b. – Vol. 1, N 1. – P. 84–98. – Mode of access: <http://jpo.oxfordjournals.org/content/1/1/84>
34. Saks M. Removing the blinkers? A critique of recent contributions to the sociology of professions // Sociological rev. – Hoboken (NJ), 1983. – Vol. 31, N 1. – P. 1–21.
35. Saks M. The challenge of implementing social science research // Portuguese j. of social science. – Lisbon, 2012. – Vol. 11, N 1. – P. 71–83.
36. Saks M. The limitations of the Anglo-Anglo-American sociology of the professions: A critique of the current neo-Weberian orthodoxy // Knowledge, work a. society = *Savoir, travail et société.* – P., 2003 a. – Vol. 1, N 1. – P. 11–31.
37. Saks M., Allsop J. Social policy, professional regulation and health support work in the United Kingdom // Social policy a. society. – Cambridge, 2007. – Vol. 6, N 2. – P. 165–177.
38. Saks M., Kuhlmann E. Professions, social inclusion and citizenship: Introduction // Knowledge, work a. society = *Savoir, travail et société.* – P., 2006. – Vol. 4, N 1. – P. 9–20.
39. Saunders P. Urban politics: A sociological interpretation. – L.: Hutchinson, 1983. – 383 p.
40. Svensson L., Evetts J. Introduction // Sociology of professions: Continental and Anglo-Saxon traditions / Ed. by L. Svensson, J. Evetts. – Göteborg: Daidalos, 2010. – P. 9–30.
41. The Anglo-American and Russian sociology of the professions: Comparisons and perspectives / Mansurov V., Luksha O., Allsop J., Saks M. // Knowledge, work a. society = *Savoir, travail et société.* – P., 2004. – Vol. 2, N 2. – P. 23–48.

В.А. Аникин, Р.А. Соловьев

**ТРУДОСПОСОБНЫЕ НА ПАПЕРТИ:
ФЕНОМЕН ЛЮМПЕНИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ¹**

Проблема люмпенизации рабочей силы в условиях государства всеобщего благосостояния не самая популярная тема в отечественной социологии. Еще меньшее число исследований посвящено проблеме нисходящей профессиональной мобильности в среде тех, кто вынужден по тем или иным причинам просить милостыню. До недавнего времени этот ракурс был относительно новым и для зарубежных исследователей, тем не менее именно им принадлежит приоритет в освоении темы люмпенизации рабочей силы и разработке релевантного аналитического инструментария [Luckenbill, 1986]. Большая часть понятий, формирующих этот аналитический корпус, заимствована из концепции экономики уличного уровня Хартли Дина, профессора Лондонской школы экономики [Dean, 1999; см. также: Adriaenssens, Hendrickx, 2011]. В рамках этой концепции попрошайничество рассматривается как форма маргинальной экономической деятельности. Дин доказывает, что данное явление во многом обусловлено современными процессами экономической глобализации и либерализации национальных рынков труда, зачастую выкидывающих людей на улицу [Stalder, 2006; Standing, 2011]. Одной из основных причин, предопределяющих в наши дни занятие попрошайничеством (и прочими видами деятельности, принадлежащими экономике уличного уровня), Дин считает трансформацию государства всеобщего благосостояния на протяжении последней четверти XX столетия. Эта точка зрения позволяет рассматривать попрошайничество как продукт социальной эксклюзии [Emmanuelli, 2008; Kennedy, Fitzpatrick, 2001], связанной с ограничением шансов на рынке труда, с одной стороны, и доступа к социальным услугам – с другой [Pierson, 2002]. Социальная эксклюзия меняет отношение человека к по-

¹ Статья подготовлена в рамках коллективного гранта факультета экономики НИУ ВШЭ, 2013–2014 гг. (без номера) «Люмпенизация рабочей силы: Факторы нисходящей социально-профессиональной мобильности россиян в попрошайничество (на примере Москвы)».

прошайничеству, которое уже не воспринимается как неперспективная деятельность, но ассоциируется с искомой стратегией выживания, как будто обещающей конкретный доход на уровне прожиточного минимума [Massey, Rafique, Seeley, 2010].

Развитие идей, высказанных Дином и его единомышленниками, привело к трактовке попрошайничества в качестве девиантного вида занятости и альтернативы любой другой работе. Израильские исследователи Д. Шихор и Р. Эллис акцентируют значение социально-культурного контекста такого рода деятельности, что позволяет рассматривать попрошайничество как социальный институт [Shichor, Ellis, 1981]. Авторы ссылаются на пример собственной страны, где подаяние является существенным элементом культуры, а милосердие выступает в качестве одного из наиболее значимых морально-этических референтов повседневной жизни, социальным оправданием которого служит практика попрошайничества.

Очевидно, что траектория нисходящей мобильности в этот род деятельности достаточно сложна. С одной стороны, встречаются варианты осознанного выбора данной стратегии, что согласуется с теорией «девиантной карьеры» Ховарда Беккера [Becker, 1973; Luckenbill, Best, 1981; Visano, 1986]. Эта концепция зарекомендовала себя как убедительное объяснение повторного и последующих выходов на улицу, которые, как правило, практикуются, если помощь была получена хотя бы один раз (в случае, который рассматривают вышеназванные авторы, – от синагоги). С другой стороны, обращение людей к практике попрошайничества может оказаться следствием внешних факторов – социальных и экономических неудач (например, неспособности найти работу в формальном секторе экономики), что может быть обусловлено недостатком образования [Ogunkan, Fawole, 2009]. С учетом сказанного попрошайничество можно рассматривать как вариант непрерывного карьерного процесса, вовлекающего в себя представителей разных социально-профессиональных групп вследствие выталкивания их рынком труда.

Попрошайничество в России как низший уровень профессиональной иерархии

Попрошайничество в России традиционно рассматривается как социальный институт, т.е. как тип отношений между просящими милостыню и подающими ее, а значит, от последних непосредственно зависит благосостояние просящих. Оставляя в стороне исторические детали практики подаяний на паперти, стоит отметить, что в нашей стране именно эта разновидность попрошайничества является наиболее устойчивой. Паперть – это исторически обусловленное и наименее криминализованное пространство для сбора подаяний, которое традиционно легитимирует право человека просить милостыню [Кудрявцева, 2001; Аникин, Соловьев, 2013]. Это обстоятельство обуславливает особенности экономического поведения современных нищих в России, а именно – воспроизводство

практик попрошайничества, существовавших до 1917 г. [Бутовская, Дьяконов, Ванчатова, 2007]. Данные отечественных исследований позволяют утверждать, что попрошайничество включено в систему современного российского рынка труда и представляет собой низший сегмент неформальной экономики [Ильясов, Плотникова, 1994; Кудрявцева, 2001; Бутовская, Дьяконов, Ванчатова, 2007]. Такой вывод позволяет рассматривать это явление в терминах нисходящей профессиональной мобильности.

Особый интерес представляет вопрос о том, кто и каким образом приходит к попрошайничеству, а также – какова доля трудоспособных людей среди просящих милостыню и почему они оказались на паперти. Данные нашего предыдущего исследования, базировавшегося на серии глубинных интервью, показали, что среди людей, занимающихся попрошайничеством, встречаются представители экономически активного населения страны, которые, по сути, составляют трудовой потенциал для данного типа профессиональной практики [Аникин, Соловьев, 2013]. Была выдвинута гипотеза о том, что социальное воспроизводство института попрошайничества входящим в его состав экономически активным населением страны осуществляется за счет разнорабочих, или рабочих крайне низкой квалификации. Мы предположили, что именно разнорабочие являются так называемой смежной профессиональной группой для тех, кто просит милостыню на паперти [Аникин, Соловьев, 2013]. Подтверждение этой гипотезы позволило бы отнести попрошайничество к низшему уровню профессиональной иерархии, поскольку, согласно недавним исследованиям, в современной России нисходящая профессиональная мобильность по преимуществу характерна для смежных родов деятельности [Аникин, 2011]. Это означает высокую вероятность того, что представители смежных профессиональных групп физически пересекаются друг с другом, общаются в повседневной жизни и выполняют сходную по уровню сложности и содержанию работу. Поэтому крайне важно понять, какие профессиональные группы и по каким причинам переходят в люмпенизированный сектор экономики, каковым является попрошайничество. Эмпирическое осмысление проблемы нисходящей социально-профессиональной мобильности рабочей силы в сферу попрошайничества (путем анализа обуславливающих эти процессы личностных и социально-экономических причин) представляется логичным шагом к созданию относительно целостной картины люмпенизированного рынка труда в России.

Поскольку качественные методы исследования в данном случае малорезультативны, было решено провести массовый опрос людей, постоянно занимающихся сбором подаяний в личных целях возле храмов и монастырей в Москве. Это первое масштабное исследование подобного рода в отечественной социологии. Ограничение исследовательского поля Москвы не сказывается на репрезентативности полученных данных, поскольку Москва как самый богатый город России является сосредоточением данного типа деятельности; кроме того, модель попрошайничества, сущест-

вующая в столице, с большой долей вероятности воспроизводит себя в провинции (особенно, если речь идет о попрошайничестве на паперти).

Паперть – как институциональный локус феномена попрошайничества – также выбрана не случайно. Как уже было отмечено выше, паперть принадлежит к такому типу институциональных пространств, где практика подаяния имеет исторические традиции и выглядит легитимной в глазах общества, включая нерелигиозную его часть. К тому же организованная криминализация профессиональных занятий здесь минимальна – видимо, вследствие того, что Церковь как влиятельный и авторитетный институт осуществляет своего рода опеку «своих» нищих. Все это обеспечивает относительно низкие объективные барьеры для вхождения в эту сферу деятельности, за исключением некоторых неявных препятствий для других элементов квазипрофессионального закрытия, которыми иногда пользуются просящие милостыню около храмов [Аникин, Соловьев, 2013].

Формирование трудоспособных субъектов практики попрошайничества

Выборка, представленная в нашем исследовании, строилась поэтапно. Сначала методом случайного отбора были выделены 150 приходов, или 25% от общего числа московских храмов и монастырей (600 единиц). Затем была построена вероятностная выборка, воспроизводящая квоты административных округов Москвы; внутри каждого из округов случайным образом было отобрано 20% адресов, по которым были зарегистрированы церковные приходы; полевой этап исследования пришелся на июль – ноябрь 2013 г. Если по указанному адресу находились просящие милостыню, опрашивали как минимум двоих (с соблюдением гендерных пропорций). Поскольку часть приходов оказались недействующими, была выработана процедура использования резервных адресов из запасной выборки по каждому округу, так чтобы квоты округов были соблюдены. К сожалению, эти меры не могли спасти выборку от некоторого «осыпания», что отчасти было обусловлено спецификой избранного контингента респондентов, которые не всегда шли на контакт, так что получение итогового заполненного опросника было сопряжено с некоторыми объективными трудностями. Конечная реальная выборка составила 127 человек, представлявших генеральную совокупность людей, просящих милостыню на московских папертях (число которых, согласно расчетам, приведенным выше, не превышает 1 тыс. человек)¹. Из общего числа респондентов 63% составляли мужчины; возраст опрошенных обоого пола колебался от 24 до

¹ Следует отметить, что хотя в России попрошайничество (как следствие доиндустриальной бедности) не является такой же острой проблемой, как в странах «третьего мира» [Ogunkan, Fawole, 2009; Fawole, Ogunkan, Omoigbo, 2011], показатель в размере 1 тыс. нищих на паперти достаточно внушителен. Схожие цифры приводятся и в работах других исследователей [см., например: Бутовская, Дьяконов, Ванчатова, 2007].

83 лет, причем среди трудоспособных респондентов (40–59 лет) доминировали мужчины, тогда как в когортах пенсионного возраста преобладали женщины (см. табл. 1).

Таблица 1

**Половозрастная структура просящих милостыню на паперти
в Москве, 2013 г., %¹**

Возрастные когорты, лет	Мужчины	Женщины	Относительная доля возрастных когорт
24–39	68	32	32
40–59	77**	23	47
60–83	26	74***	21

Хотя не все мужчины трудоспособного возраста на самом деле способны к труду, доля таковых на паперти весьма высока (более 54%); оставшиеся 46% – это либо пенсионеры, либо инвалиды, т.е. те, кого, согласно определению органов официальной статистики, нельзя причислить к экономически активным гражданам. Этот факт подтверждает выводы Хартли Дина [Dean, 1999], обратившего внимание на просчеты социальной политики, которая неэффективна в отношении представителей группы риска (пенсионеров и инвалидов, вынужденных заниматься попрошайничеством), а также на недостатки структурной политики в отношении той части рабочей силы, которая является потенциальным ресурсом занятости. Процесс люмпенизации экономически активного населения страны ставит перед исследователями множество вопросов. Главный их них: что толкает

¹ При интерпретации значений таблиц сопряженности критерием значимости служило значение отклонения наблюдаемой частоты от ожидаемой, измеренной в числе стандартных отклонений Z_{ij} (adjusted standardized residual [$Z_{ij} = (N_{ij} - E_{ij}) / \sigma_{ij}$]). Если переменные независимы, то при больших N случайная величина Z_{ij} имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией: $N \sim (0,1)$. При таком предположении для Z_{ij} практически невероятно отклонение, большее трех стандартных отклонений, так как вероятность такого исхода, согласно правилу трех сигм, составляет менее 0,0027 (т.е. менее 0,27% из 100). Поэтому, если мы получаем значение Z_{ij} , превышающее 3, то можно считать, что i -ое значение и j -ое значения X и Y связаны. В реальных исследованиях выдвигаются более мягкие критерии, начиная с 5%-ного порога уровня значимости (что соответствует $1,65\sigma_{ij}$) или $Z_{ij}=2$ [Толстова, 2000, с. 164–315; Бююль, Цёфель, 2002, с. 161]. Таким образом, если $\text{adj. res.} \geq 2,0$, это значит, что мы отвергаем нулевую гипотезу о том, что связи нет, при уровне значимости $\alpha < 0,05$, т.е. в 95% случаев мы можем утверждать, что наши переменные статистически взаимосвязаны (для краткости обозначим «*»); если $\text{adj. res.} \geq 2,6$, то уровень значимости соответствует $\alpha < 0,01$, что соответствует 99% вероятности (в наших обозначениях «**»); $\text{adj. res.} \geq 3,3$ предполагает уровень значимости принятия гипотезы о том, что связи нет, на уровне $\alpha < 0,001$, т.е. 99,9% (т.е. «***»). Поскольку в основе данного метода лежит тест Хи-квадрат, измеряющий наличие статистически значимой связи между номинальными признаками, статистически значимые результаты говорят не о силе связи, а о том, насколько надежен полученный результат.

людей к попрошайничеству, из каких профессиональных групп и с каким человеческим капиталом они приходят на паперть?

Согласно доминирующей в литературе точке зрения, причины могут таиться в так называемых «выталкивающих эффектах» (push-effects) либерально регулируемых рынков труда, которые выбрасывают людей на улицу, если их уровень образования и квалификации не соответствуют локальным рыночным запросам. Как показывает табл. 2, образовательный ценз экономически активных субъектов практики попрошайничества в Москве не сильно отличается от образовательной структуры занятого населения России, за исключением ярких различий ее крайних точек (начального и неполного среднего образования, с одной стороны, и высшего – с другой). Так, среди трудоспособных, оказавшейся на паперти, в три раза меньше людей с высшим образованием, чем среди занятого населения России в целом (10 против 31%), и в 5 раз больше тех, кто имеет неполное среднее образование (10 на фоне 2%).

Таблица 2

**Образовательная структура экономически активных субъектов
практики попрошайничества на паперти в Москве в сравнении
с занятым населением России, 2013–2014 гг., %**

Ступени образования	Экономически активные субъекты практики попрошайничества	Занятое население России ¹
Неполное среднее	10	2
Общее среднее	20	18
Среднее специальное	55	46
Неоконченное высшее	5	3
Высшее и выше	10	31

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что только высшее образование служит относительным гарантом того, что его носители не окажутся на улице. Вероятно, это связано не только с уровнем знаний, открывающих доступ к рабочим местам, где диплом высшей школы порой ценится больше, чем реальная квалификация, но и с объемом социального капитала и опытом социализации, способными поддержать человека в трудную минуту. Обратная сторона проблемы состоит в том, что портрет трудоспособного россиянина как субъекта практики попрошайничества формируют люди с профессиональным образованием (70% – по сравне-

¹ Здесь и далее в тексте: по причине недоступности данных официальной статистики на февраль-март 2014 г. информация по образовательной и прочим структурам занятого населения приведена по текущему всероссийскому исследованию Института социологии РАН «Средний класс в современной России: Десять лет спустя», репрезентирующему основные социально-экономические группы населения России, в том числе по образованию и профессиям. См. подробнее: Средний класс в современной России: Десять лет спустя: Презентация аналитического доклада. – Режим доступа: http://www.isras.ru/institute_news.html?id=3182

нию с 80% занятого населения России в целом). Похожая ситуация наблюдается и в Великобритании, где профессиональное и даже высшее образование не дает людям дополнительных гарантий сохранения статуса при резком ухудшении экономической ситуации [Murdoch, 1994]. Структурные исследования последних лет показывают, что независимо от качества образования в России и Британии среднее специальное образование (как наиболее характерное для людей, просящих милостыню) является мощнейшим фактором обеднения населения и выдавливания его на низко-ресурсные позиции или в зону социальной эксклюзии [см. подробно: Бедность и бедные... 2014]. Вместе с тем для российской экономики самой распространенной является ситуация, когда люди со средним специальным образованием получают работу в системе формальной занятости. Для того чтобы понять, почему одни трудоспособные россияне остаются на своих рабочих местах, а другие, имеющие тот же образовательный статус, их теряют и оказываются на улице с протянутой рукой, требуется анализ профессионального портрета занимающихся попрошайничеством.

Профессиональный портрет занимающихся попрошайничеством

Общий дизайн нашего эмпирического исследования позволяет проследить профессиональный путь, который прошли трудоспособные граждане, в итоге оказавшиеся на паперти. Для этого мы использовали следующие факторы: 1) специальность, по которой человек проработал большую часть своей жизни, и 2) его последнее место работы. Распределение по этим факторам приведено в табл. 3, из которой видно, что 96% трудоспособных лиц, занимающихся попрошайничеством на московских папертях, имели опыт профессиональной деятельности, а значит, безработица не являлась их сознательным жизненным кредо.

Данные табл. 3 показывают, какие конкретные профессиональные группы пополняют сферу попрошайничества. Ее главный социальный источник, как мы и предполагали, – это работники средней и низкой квалификации, занятые физическим трудом. 69% трудоспособных субъектов практики попрошайничества (из числа респондентов) проработали на этих экономических позициях всю жизнь, 80% – последние годы, причем в качестве разнорабочих. Получается, что как минимум для 14% трудоспособных людей, занятых попрошайничеством, уличная экономика стала последним пристанищем на пути их нисходящей профессиональной мобильности. Следует отметить, что в нашей выборке были крайне редкими случаи перехода между «несмежными» профессиональными группами. Так, среди 127 опрошенных лишь несколько сменили профессиональные позиции на неквалифицированный труд. В основном нисходящая профессиональная мобильность некогда экономически активных респондентов, оказавшихся на паперти, протекала в границах характерной для них классовой ситуации (в неовеберлианской трактовке этого понятия).

**Динамика профессиональной структуры трудоспособного населения,
занимающегося попрошайничеством в Москве, в сравнении
с профессиональной структурой занятого населения России,
2013–2014 гг., %**

Категории населения	Специальность, по которой респондент проработал большую часть своей жизни	Последнее место работы	Занятое население России
Руководители, предприниматели и самозанятые	2	2	8
Специалисты на должности, предполагающей высшее образование	3	1	24
Помощники специалистов и служащие, в том числе воспитатели	9	4	16
Рядовые работники в сфере торговли, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания	13	13	13
Рабочие на заводе, включая слесарей, сантехников, сварщиков	30	25	35
Неквалифицированные и низкоквалифицированные рабочие, включая строителей, дворников, грузчиков	39	51	4
Никогда не работали	4	4	–

Эта классовая ситуация определяется рабочей средой, довольствующейся средней и низкой квалификацией. Только 50% нетрудоспособных субъектов практики попрошайничества вышли из рабочей среды, т.е. в половине случаев это опустившиеся на социальное дно специалисты, служащие, работники медицинских и образовательных учреждений и даже самозанятые и предприниматели¹. Симптоматично, что пенсия по возрасту или инвалидность может нивелировать дополнительные блага нефизического труда, которые не предоставляются в случае занятости на рабочих местах, предполагающих низкие объемы человеческого капитала.

**Основные причины и особенности участия в экономике
уличного уровня**

Инвалидность и проблемы со здоровьем, включая травмы, несовместимые с полноценной трудовой деятельностью, расцениваются в среде нетрудоспособных субъектов практики попрошайничества как одна из наиболее значимых (после отсутствия денег) причин прихода на паперть

¹ О маргинальности статуса самозанятых в России, чреватого люмпенизацией, см.: [Попова, 1999].

(24% опрошенных). Существенной причиной для этого шага для многих неработоспособных граждан (16%) оказалась болезнь близких родственников (в условиях минимальной помощи государства таким людям). Эти результаты означают, что одиночество, в особенности пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, является одним из главных факторов сползания в бедность в современной России (из числа тех, что принадлежат сфере государственной социальной политики).

Если для нетрудоспособной части россиян, стоящих на паперти, причиной этого стали не зависящие от них обстоятельства (т.е. те, которые в принципе должно страховать государство), то причиной участия в этой сфере деятельности для 28% трудоспособных людей во многом послужили факторы, обусловленные их личностными особенностями (т.е. не рынок труда и не просчеты системы социального страхования). Табл. 4 показывает, что для 28% из них триггером выхода на улицу, помимо денежного фактора, стала утрата документов; для 20 – ссора с родственниками; для 17% – потеря жилья. Типичная история присоединения к обществу профессиональных нищих на паперти выглядит следующим образом. Человек едет на временные заработки в Москву в качестве неквалифицированного или низкоквалифицированного рабочего (чаще всего, строителя); тут он становится жертвой обмана, собственной невнимательности или слабости к спиртному, вследствие чего теряет документы и деньги. С семьей он связаться не может или не хочет, поскольку поссорился с родственниками еще до отъезда, тем самым отрезав себе единственный путь к спасению. Незащищенность от мошенничества, рассеянность и злоупотребление алкоголем вкупе с опытом первых дней пребывания на улице приобщают человека к практике попрошайничества, причем выход на паперть становится своего рода рационализацией возможных стратегий уличной экономики [Аникин, Соловьев, 2013].

Таблица 4

Причины профессионального попрошайничества среди трудоспособных субъектов, 2013 г., %

Причины попрошайничества, самооценка	%
Потеря жилья (или места ночлега)	17 ¹
Потеря основного места работы	8
Проблемы со здоровьем (в частности, проблемы с алкоголем)	15
Утрата документов	28
Ссора с родственниками	20
Отсутствие денег	52
Тяжелая болезнь родственников, близких	8
Другое (чувство безысходности, серьезные жизненные травмы, тюремный срок)	8

¹ Сумма ответов превышает 100%, поскольку данный вопрос предполагал до трех вариантов ответа.

Как и в случае бедности, приобщение к сфере попрошайничества опосредуется адаптационным периодом, в течение которого у человека еще есть возможность выбраться из сложившегося положения: он исчисляется тремя годами. Согласно полученным данным, именно после трех лет пребывания на паперти индивид теряет надежду изменить свой статус и мирится со своей новой ролью. Согласно исследованиям бедности, три года – это срок, на протяжении которого у человека формируется так называемая культура бедности, атрофируется мотивация к социальным достижениям, формируются установка на выживание любой ценой и паразитический образ жизни [Бедность и бедные... 2014]. В данном контексте некоторое основание для оптимизма дает тот факт, что около 75% работоспособных «представителей паперти» занимаются попрошайничеством менее трех лет (исключение, вероятно, составляют те, кто потерял жилье вследствие конфликта с родственниками или мошенничества). Это значит, что на определенном этапе освоения уличного опыта человек возвращается к более или менее нормальной жизни, отказавшись от алкоголя либо помирившись с родственниками. Немалую роль в процессе реинтеграции профессиональных нищих играет институт церкви (прежде всего, РПЦ), использующий не только материальные ресурсы для оказания помощи, но и легитимное право наставлять на путь истинный.

Тем не менее закрепление статуса профессионального нищего вопреки желанию человека, попавшего на паперть (даже при относительной стабильности его новых доходов), остается достаточно серьезной проблемой, в особенности для нетрудоспособных, которые просят милостыню более трех лет. Косвенным признаком этого может служить высокая дисперсия доходов среди людей, стоящих на паперти (см. табл. 5). Именно в силу этой дисперсии различия доходов трудоспособных и нетрудоспособных респондентов, полученных ими в будние и выходные дни, оказались статистически незначимыми ($z = -1,474$, $p < 0,141$; $z = -0,217$, $p < 0,828$), притом что в будний день средний заработок нищего в Москве составляет 380 рублей, а в выходной – 870 (табл. 5). Тем не менее эти доходы впечатляют; если предположить, что человек на паперти может оптимально распределять свои часы, то доход от попрошайничества может обеспечить прожиточный минимум в столице, равный 10 632 рублей, а в некоторых случаях и превысить его вдвое [Аникин, Соловьев, 2013].

Таблица 5

Характеристика доходов от попрошайничества в Москве, 2014, %

Доход	%	Мин.	Макс.	Среднее	Стандарт. отклонен.	Диспер- сия	Асим- метрия	Экс- цесс
Средняя сумма дохода в будний день	82	40	1250	379,3	265,9	70 739,3	1,346	1,4
Средняя сумма дохода в выходной день	82	65	4000	868,8	748,1	559 600,9	2,001	4,5

Очевидно, что даже высокие доходы не являются достаточной причиной для того, чтобы оставаться профессиональным нищим, особенно если речь идет о трудоспособных гражданах, оказавшихся на паперти в силу личных причин. Почему же для одних эти личные обстоятельства становятся роковыми, а другие находят силы их преодолеть?

Роль классового статуса в процессе люмпенизации трудоспособных

Для ответа на этот вопрос вернемся к нашей исходной гипотезе и выводам, которые мы уже сделали. Предпринятый нами выше анализ показал: 1) неоднозначность уровня образования как фактора люмпенизации рабочей силы; 2) существенную роль нисходящей мобильности и классового статуса, определяемого характером и содержанием труда; 3) значимость личностных характеристик индивида на протяжении его пребывания на паперти. Для того чтобы проследить, как эти же факторы способствуют приобщению к практике попрошайничества нетрудоспособных респондентов, была построена регрессионная модель. В рамках этой модели зависимая переменная представляет собой бинарный выбор, отражающий принадлежность к категории трудоспособных (0 – нетрудоспособная категория граждан, 1 – трудоспособные граждане, соответственно, в контексте попрошайничества). Это классическая вероятностная модель. В качестве регрессоров выступают следующие переменные:

- продолжительность попрошайничества (в месяцах);
- наличие проблемы с документами (0 – нет, 1 – да);
- уровень образования (0 – отсутствие профессионального образования, 1 – наличие профессионального образования);
- последний профессиональный статус (0 – принадлежность к группе промышленных рабочих, включая слесарей, сантехников, сварщиков и пр., а также неквалифицированным работникам, 1 – принадлежность к любой из групп нефизического труда).

Оценивалась логистическая форма вероятностной модели методом максимального правдоподобия; основные оценки приведены в табл. 6.

Представленная модель обладает хорошим уровнем объяснения, поскольку более 67% наблюдений классифицировано верно. На уровне ошибки $p < 0,05$ три признака из четырех являются значимыми при объяснении вероятности обнаружения трудоспособных граждан на столичных папертях. Исходя из данных регрессионного анализа, представленного в табл. 6, вероятность нахождения трудоспособных на паперти возрастает по мере:

- 1) сокращения времени, в течение которого индивид стоит с протянутой рукой;
- 2) наличия у него проблем с документами;
- 3) пребывания в составе средне- и низкоквалифицированных рабочих, разнорабочих.

Таблица 6

**Факторы, способствующие приобщению к практике
попрошайничества**

	Оценка ко- эффициента	К-т несо- гласия	Стандартная ошибка	z-ста- тистика	Значи- мость
Продолжительность попро- шайничества	-0,007	0,993	0,003	-2,19	0,028
Наличие проблемы с докумен- тами	0,869	2,386	0,399	2,17	0,03
Уровень образования	0,685	1,985	0,418	1,64	0,101
Последний профессиональный статус	-1,18	0,307	0,446	-2,65	0,008
Константа	-0,073	0,929	0,452	-0,16	0,870
Log likelihood	-75,314				
LR статистика	23,25				0,0001
Наблюдений «у = 0»	68				
Наблюдения «у = 1»	58				
% правильно предсказанных	67,46%				

Необходимо подчеркнуть, что наличие профессионального образования никак не сказывается на доле трудоспособных на паперти, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. Классовая ситуация, опосредованная габитусом, культурой, образом жизни и нравами той профессиональной среды, к которой принадлежит человек, является куда более важной детерминантой его судьбы, чем набор полученных им образовательных навыков и знаний и навыков. Для низкоквалифицированных работников, попавших в число профессиональных нищих, типичным является опыт взаимодействия с тоталитарными институтами, такими как тюрьма или детский дом ($\lambda^2 = 11,45$; $p < 0,001$), который не только уничтожает психологические барьеры для приобщения к уличной экономике, но и дает преимущества для адаптации к уличной среде. Все это формирует специфическую атмосферу профессионального попрошайничества и задает определенные образцы поведения, которые оцениваются в терминах девиантности применительно к прочим сферам профессиональной занятости.

Данные предложенной нами регрессионной модели наглядно демонстрируют близость неквалифицированных рабочих к социальному дну, что становится необходимым условием для потенциальной нисходящей мобильности. По сути, люмпенизация рабочих начинается еще до того, как они покидают рынок труда; утрата документов оказывается не просто катализатором смены статуса, но ярчайшим признаком люмпенизации. Так, данные табл. 6 показывают, что принадлежность к рабочему классу увеличивает долю трудоспособных в составе попрошайничества в 3,26 раза, а наличие проблем с документами – в 2,37 раза. Как это ни парадоксально, но именно факторы личного порядка (потеря документов, ссора с близкими, пристрастие к алкоголю) одновременно служат залогом

будущего спасения человека, поскольку их значимость быстро сходит на нет в условиях духовного и нравственного обновления, которое часто случается на паперти. Об этом говорят данные регрессии, согласно которым доля трудоспособных респондентов из числа профессиональных нищих падает по мере роста продолжительности их пребывания в уличной экономике. Однако, несмотря на признаки стихийной реинтеграции трудоспособных, оказавшихся на паперти, то обстоятельство, что люмпенизация рабочих начинается еще до того, как они попали на улицу (т.е. в самой среде, обусловленной неквалифицированным физическим трудом), требует существенной трансформации социальной политики в отношении данной категории трудоспособных граждан.

Подводя итоги, следует отметить, что попрошайничество прочно закрепилось в социальной структуре российского общества, являясь продолжением классового положения определенных профессиональных групп – прежде всего, разнорабочих. В этом отношении наша исходная гипотеза полностью подтвердилась: практику попрошайничества можно рассматривать как смежную область (квази) профессиональной деятельности для неквалифицированных рабочих. Было показано, что люмпенизация этой социальной категории трудоспособных граждан начинается с нисходящей профессиональной мобильности и опыта взаимодействия с тоталитарными институтами. Вместе с тем тонкая черта, которая отделяет человека, занятого физическим трудом, от профессионального обитателя паперти, практически полностью определяется его личностными особенностями (ответственностью в отношении личных документов, способностью найти общий язык с близкими и преодолеть пристрастие к алкоголю). Именно нарушение баланса этих жизненных составляющих, а не потеря основного места работы становится главным триггером участия рабочей силы в уличной экономике. Поскольку же сбор подаяния и простой физический труд в рамках отношений найма разделены не столько экономическими, сколько социально-психологическими барьерами, у бывших рабочих всегда есть возможность вернуться к нормальной трудовой деятельности (что они чаще всего и делают, не затягивая опыт жизни на паперти более чем на три года). В этом возвратном нравственно-социальном движении огромная роль принадлежит церкви как институту (и, в случае паперти, конкретному «месту») духовного обновления людей, препятствующему их окончательной личностной деградации, – в особенности тех, кто сохранил способность к труду.

Те же, кто этой способности лишен, оказываются в более тяжелой ситуации, которая требует внимания со стороны государства и реформы социальной политики в отношении бедных. Для нетрудоспособных респондентов попрошайничество представляет собой вариант стабильной занятости при отсутствии реальных альтернатив; в эту практику нередко включаются и представители более высоких профессиональных групп. Если для неквалифицированных рабочих попрошайничество оказывается

своего рода логичным продолжением их прежней деятельности, порой в культурно близкой им среде, то для работников нефизического труда, внезапно потерявших трудоспособность, паперть оказывается значительно более глубоким социальным потрясением. Все это требует от государства более серьезных и разносторонних мер, чем простые запретительные инициативы. Прежде всего, должны быть улучшены программы по социальной реинтеграции инвалидов и пенсионеров, а также выпускников детских домов и людей с тюремным прошлым. Необходимы также просветительская работа и культурный надзор в среде разнорабочих, которые на данный момент предоставлены сами себе; сегодня никто не знает, что происходит в этой профессиональной группе и к каким последствиям может привести конкуренция в этой среде, вызванная притоком низкоквалифицированной рабочей силы из числа трудовых мигрантов. Проблема люмпенизации трудоспособных граждан России должна получить решение задолго до того, когда она даст о себе знать посредством уличной экономики или конфликтных ситуаций.

Список литературы

1. *Аникин В.А.* Модернизационный потенциал профессиональной структуры занятого населения России // Общество и экономика. – М., 2011. – № 11–12. – С. 35–64.
2. *Аникин В.А., Соловьев Р.А.* Попрошайничество как (квази) профессия в современной России // Профессии социального государства / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. – С. 326–355. – (Библиотека «Журнала исследований социальной политики»).
3. Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. – М.: Весь мир, 2014. – 304 с.
4. *Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А.* Бредущие среди нас: Нищие в России и странах Европы, история и современность. – М.: Научный мир, 2007. – 280 с.
5. *Бююль А., Цёфель П.* SPSS: Искусство обработки информации: Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮп», 2002. – 608 с.
6. *Ильясов Ф.Н., Плотникова О.А.* Нищие в Москве летом 1993 года // Социологический журнал. – М., 1994. – № 1. – С. 150–156.
7. *Кудрявцева М.* Драматургия попрошайничества: Социологическое описание повседневной практики // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2001. – Т. 4, № 3. – С. 37–48.
8. *Попова И.П.* Новые маргинальные группы в российском обществе // СоцИс. – М., 1999. – № 7. – С. 62–71.
9. *Толстова Ю.Н.* Анализ социологических данных: Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными признаками. – М.: Научный мир, 2000. – 352 с.
10. *Adriaenssens S., Hendrickx J.* Street-level informal economic activities: Estimating the yield of begging in Brussels // Urban studies. – Abingdon, 2011. – Vol. 48, N 23. – P. 23–40.
11. *Becker H.S.* Outsiders: Studies in the sociology of deviance. – N.Y.: Free press, 1973. – 215 p.
12. *Dean H.* Begging questions: Street-level economic activity and social policy failure. – Bristol: Policy press, 1999. – VII, 244 p.

13. *Emmanueli X.* Urban social exclusion: The Samusocial response // Concepts and practice of humanitarian medicine / Ed. by S.W.A. Gunn, M. Masellis. – N.Y.: Springer, 2008. – P. 261–266.
14. *Favole O.A., Ogunkan D.V., Omoruan A.* The menace of begging in Nigerian cities: A sociological analysis // International j. of sociology a. anthropology. – Nairobi, 2011. – Vol. 3, N 1. – P. 9–14.
15. *Kennedy C., Fitzpatrick S.* Begging, rough sleeping and social exclusion: Implications for social policy // Urban studies. – Abingdon, 2001. – Vol. 38, N 11. – P. 2001–2016.
16. *Luckenbill D.F.* Deviant career mobility: The case of male prostitutes // Social problems. – Oakland (CA), 1986. – Vol. 33, N 4. – P. 283–296.
17. *Luckenbill D.F., Best J.* Careers in deviance and respectability: The analogy's limitations // Social problems. – Oakland (CA), 1981. – Vol. 29, N 2. – P. 197–206.
18. *Massey D., Rafique A., Seeley J.* Begging in rural India and Bangladesh // Economic a. political weekly. – Mumbai, 2010. – Vol. 14, N 14. – P. 64–71.
19. *Murdoch A.* We are human too: A study of people who beg. – L.: CRISIS, 1994. – 44 p.
20. *Ogunkan D., Favole O.* Incidence and socio-economic dimensions of begging in Nigerian cities: The case of Ogbomoso // International NGO j. – Nairobi, 2009. – Vol. 4, N 12. – P. 498–503.
21. *Pierson J.* Tackling social exclusion. – L.; N.Y.: Routledge, 2002. – XV, 256 p.
22. *Shichor D., Ellis R.* Begging in Israel: An exploratory study // Deviant behavior. – Guilford (CT), 1981. – Vol. 2, N 2. – P. 109–125.
23. *Stalder F.* Manuel Castells: The theory of the network society. – Cambridge: Polity, 2006. – X, 255 p.
24. *Standing G.* The precariat: The new dangerous class. – L.: Bloomsbury academic, 2011. – IX, 198 p.
25. *Visano L.A.* Staging a deviant career: The social organization of male street prostitution: PhD thesis / Univ. of Toronto. – Toronto, 1986. – (Microfiche).

РЕФЕРАТЫ

Эветтс Дж.

НОВЫЙ ТИП ПРОФЕССИОНАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Реф. ст.: Evetts J. A new professionalism? Challenges and opportunities // *Current sociology*. – L., 2011. – Vol. 59, N 4. – P. 406–422.

Ключевые слова: «новый» профессионализм; профессионализация в условиях социальных трансформаций; общественный сектор услуг.

Статья известного специалиста в области социологии труда, почетного профессора Университета г. Ноттингема (Великобритания) Джулии Эветтс посвящена изменениям, затронувшим профессиональную сферу общественного сектора услуг (здравоохранение, социальное обеспечение, образование). По словам автора, под влиянием новых вызовов времени процесс профессионализации личности заметно трансформировался: все больше специалистов работают в крупных холдингах и международных компаниях, принимая правила игры, диктуемые рыночными отношениями.

В социологии профессий, как отмечает Эветтс, выделяют несколько подходов к понятиям «профессия» и «профессионализм». Сторонники англо-американского (англосаксонского) направления акцентирует внимание на свободном выборе трудовых стратегий группами профессионалов, тогда как, согласно принципам континентального (европейского) подхода, деятельность профессионалов напрямую зависит от государства¹. Сегодня многие исследователи отмечают сближение между этими считавшимися ранее противоположными взглядами на профессионализм, полагая, что указанные различия не столь принципиальны и в целом способствуют лучшему пониманию социальных процессов, происходящих в трудовых сферах разных стран мира.

¹ Подробнее о различиях двух подходов см.: Collins R. Changing conceptions in the sociology of professions // *The formation of professions: Knowledge, state and strategy* / Ed. by R. Torstendahl, M. Burrage. – L.: SAGE, 1990. – P. 98.

Ч. Макклелланд предлагает разделять профессионализм в зависимости от источника, лежащего в его основании, – «изнутри» или «сверху»¹. В первом случае профессиональные принципы вырабатываются внутри профессионального сообщества, а управление трудовой деятельностью отдано в руки самих специалистов. Профессионализм «извне» характеризуется внешними формами управления, осуществляемого специально нанятыми менеджерами (с. 407–408).

По словам Эвэттс, профессионализм долгое время считался самодостаточной нормативной системой трудовых ценностей, главной из которых было само дело, которому служит профессионал. Однако масштабные социальные трансформации, происходящие в современном мире, бросают серьезный вызов традиционным представлениям о профессионализме. Автор, пытаясь разобраться в непростой ситуации, задается вопросом: стоит ли очистить «корабль современности» от ставших привычными понятий или необходимо поддерживать разумный баланс старого и нового?

В общественных науках взгляд на профессионализм как ценностную систему имеет давнюю историю, начало которой было положено социологическими исследованиями профессий, проведенными в Великобритании и США в начале XX в. Для англо-американской традиции характерно разделение между социально значимыми, относительно свободными от государственного диктата профессиями (*professions*) и прочими трудовыми занятиями (*occupations*). Исторически профессионалами в западном обществе считались врачи, юристы, священники и университетские преподаватели.

Общепризнанной классикой в области социологии профессий являются работы главы школы структурного функционализма Т. Парсонса. Восприняв идеалистические представления М. Вебера о профессионализме, Парсонс полагал основной обязанностью профессионала бескорыстное служение своему делу и обществу, на благо которого он работает. По мнению американского ученого, современные профессии являются той силой, которая уравнивает основанный на рациональном праве социальный порядок, в терминологии Вебера, и капиталистическую экономику, обеспечивая стабильность хрупкой социальной системы².

Существенное влияние на развитие социологии профессий в конце XX в. оказали работы Э. Фрейдсона. Для Фрейдсона профессионализм – один из способов организации человеческой деятельности в современном обществе. Он полагает, что мир профессионалов имеет свою, «третью», логику, противоположную идеологиям рынка и бюрократических институтов³. По мнению Э. Фрейдсона, профессионалам важно отстаивать свою

¹ McClelland Ch.E. Escape from freedom? Reflections on German professionalization, 1870–1933 // *Ibid.* – P. 107.

² Parsons T. The professions and social structure // *Social forces.* – Indianapolis (IN), 1939. – Vol. 17, N 4. – P. 457–467.

³ Freidson E. Professionalism: The third logic. – Cambridge: Polity, 2001.

независимость и быть свободными от вмешательства потребителей (логика рынка) или менеджеров (логика бюрократических организаций) (с. 409–410).

В современной социологии на смену взглядам о профессионализме как альтруистическом служении представителей социально значимых профессий приходит идеология «нового» профессионализма. Одни исследователи называют данный тип профессионализма коммерциализированным¹, другие используют термин «организационный»². В сегодняшних трудовых коллективах, пишет Эветтс, понятия товарищества, коллегиальности и доверия сменяются понятиями административного управления, бюрократии, стандартизации работы и оценки трудовой результативности. Профессионализм перестает быть третьей логикой, так как управление трудовой деятельностью теперь включает организационную и рыночную логики, выражающиеся в следовании принципам менеджизма и меркантилизма.

Важно выяснить, отмечает дальше автор статьи, насколько глубоко трансформировались представления о профессионализме. Прежде всего, изменения коснулись организационно-бюрократических аспектов, вопросов оценки качества работы и произведенной продукции, а также проблем стандартизации методов работы, т.е. вызовы времени потребовали от профессионалов менеджерских качеств. В то же время, пишет Эветтс, существует опасность, что чрезмерные индивидуализация и бюрократизация профессиональной деятельности приведут к подрыву таких позитивных личностных качеств, как социальная сплоченность и умение работать в команде. В подобных условиях, убеждена Эветтс, наиболее адекватным выглядит интегративный подход, гармонично сочетающий принципы «чистого» и «организационного» профессионализма. Практика многих успешных предприятий говорит о том, что рыночная и профессиональная «логики» зачастую выгодно дополняют друг друга. Так, например, правила рыночной экономики способствуют созданию междисциплинарных коллективов; усиленный внешний контроль был и остается важен в некоторых областях типа юриспруденции и международной бухгалтерии. В то же время отдельные стороны трудовой сферы не подверглись изменениям. Например, несмотря на наметившуюся тенденцию освоения женщинами традиционно мужских профессий, а мужчинами – женских, привычные гендерные различия в карьерных траекториях представителей обоих полов остаются доминирующими в обществе.

Дж. Эветтс подчеркивает, что современный профессионализм вмещает в себе инновационные и традиционные характеристики. Среди новых черт профессионализма она выделяет административное управле-

¹ Hanlon G. Professionalism as enterprise: Service class politics and the redefinition of professionalism // Sociology. – Oxford, 1998. – Vol. 32, N 1. – P. 43–64.

² Evetts J. Organizational and occupational professionalism: The challenge of NPM: Paper presented at the 16th ISA World congress of sociology. – Durban, 23–29 July 2006.

ние и менеджмент, внешние формы регуляции, аудит и финансовый контроль, стандартизацию работы персонала и введение единых показателей эффективности трудовой деятельности, ориентацию на индивидуализм и поощрение конкуренции. Эти нововведения сталкиваются с традиционной системой трудовых отношений, базирующейся на принципах авторитета профессионалов и легитимности принимаемых ими решений, поддержания профессиональной идентичности и особой трудовой культуры, свободы действий профессионалов в нестандартных ситуациях и доверия к мнению компетентных специалистов, поддержки командного духа и ориентации на коллективный вид работы, гендерных различий в построении карьеры. Достижение баланса между новой и традиционной системами трудовых ценностей – первоочередная задача для профессионалов всех уровней в ближайшие годы. Эветтс отмечает, что, несмотря на специфику профессиональной работы в разных культурах и государствах, отмеченные новые и старые черты трудовых отношений можно наблюдать практически повсеместно в современном обществе – на макро- (общество, рынок), мезо- (организации, социальные институты) и микроуровнях (профессиональные группы и отдельные акторы) (с. 411–414).

Каковы последствия происходящего для работников и их клиентов, действительно ли нужно противопоставлять прежние способы организации трудовой деятельности новым, – задается вопросом Эветтс. По ее мнению, такое противопоставление носит искусственный характер и не отвечает реалиям современного «мира» профессионализма, а трансформации в области профессиональной политики не угрожают классическим трудовым ценностям. Многие крупные организации являются устойчивыми к новейшим средствам управления и бюрократическому вмешательству. Немалая часть организаций социального сектора – например, больницы и университеты – являются сложными бюрократическими системами¹, а услуги, которые они предоставляют, с трудом поддаются стандартизации и точным измерениям. Несмотря на это, такие предприятия прекрасно функционируют в условиях рыночной экономики.

Между тем, предупреждает Эветтс, перекося в сторону новых форм профессионализма и сугубая ориентация на рынок влекут за собой формализм в выполнении работы и могут стать серьезным препятствием для творческого, инновационного труда. Однако существует масса преимуществ в соблюдении гибкого баланса между профессиональными, бюрократическими и рыночными «логиками». Введение системы контрактов, должностных инструкций, формализованных процедур отбора сотрудников, защита прав работников и предоставление им социальных гарантий заменяют привычные неформальные типы социального взаимодействия и неофициальные рекомендационные механизмы. Стандартизация системы профессионального отбора и формализация оценок трудовой деятельности

¹ Mintzberg H. Structure in fives: Designing effective organizations. – Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1983.

сделали прозрачным то, что раньше часто было скрыто (вопросы профессиональных поощрений и порицаний, закономерности в построении карьеры). Как правило, неформализованные процедуры приносят пользу лишь немногим работникам, находящимся в привилегированном положении, тогда как большинство расценивает их как несправедливые. Увеличение прозрачности в трудовой сфере, уверена Эветтс, сделает более обоснованным профессиональный выбор молодежи, придав ей уверенность в собственных силах и усилив ее интернальность. Помимо этого, острая необходимость в управленческих кадрах подталкивает учебные центры к созданию программ по менеджменту в той или иной трудовой сфере. Так, социальным работникам Германии предлагается пройти обучение в магистратуре по специальности, готовящей управленческие кадры в области социальной работы (с. 415–418)¹.

Дж. Эветтс демонстрирует зарождение нового типа профессионализма как ответ на масштабные социальные трансформации, затронувшие, в том числе, и трудовую сферу многих стран мира. Общественный сектор услуг расширяется до огромных корпораций, успешная деятельность которых напрямую зависит от четких и слаженных действий управленческого персонала компаний. В современных профессиональных сообществах необходимо гармоничное сочетание старых и новых форм организации труда: это должно помочь практикам справиться с возникающими трудностями, а также позволит им максимально использовать открывающиеся возможности, резюмирует Эветтс.

М.А. Ядова

¹ Langer A. Academic qualification programmes for professional management: Managerial expertise as one facet of a new professionalism: Paper presented at the Interim meeting of the ESA research network on «Sociology of professions». – Aarhus, 5–7 June 2008.

Стренглмен Т.

**КРИЗИС ТРУДОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ?
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ И УТРАТ,
СОПРЯЖЕННЫХ С РАБОТОЙ**

Реф. ст.: Strangleman T. Work identity in crisis? Rethinking the problem of attachment and loss at work // Sociology. – Oxford, 2012. – Vol. 46, N 3. – P. 411–425.

Ключевые слова: трудовая идентичность; новый капитализм; моральный порядок; отношения поколений.

Тим Стренглмен (Школа социальной политики, социологии и социальных исследований, Университет Кента, Великобритания) обращается к актуальной для социологии XXI в. теме деформации и размывания трудовой идентичности в эпоху «нового капитализма». Автор не согласен ни с одной из альтернативных трактовок изменившегося характера труда и связанных с ним стилей субъективной самореализации личности, бытующих сегодня в социальном знании. Он считает ошибочной как трактовку происходящих сдвигов в сфере наемного труда (дестабилизация, фрагментация, непредсказуемость и краткосрочность трудовых эпизодов в жизни отдельного индивида) в терминах кризиса, затрагивающего, в том числе, и процессы формирования личностной идентичности, так и изображение ситуации как не претерпевающей радикальных изменений по сравнению с обществом модерна. Избрав фокусом своей статьи качество и содержание трудовой идентичности, Стренглмен предлагает изменить саму формулировку проблемы, взяв за основу понятия интеллигентного морального порядка и профессиональной организационной культуры. Привлекая ряд современных и классических социологических теорий, связанных с конкретизацией таких понятий, как ностальгия, традиция, отношения поколений, автор намерен показать, что сожаления пожилых работников о «прежних добрых временах, утраченных навсегда» дают ключ к критическому осмыслению морального порядка и организации трудовой деятельности в рамках «нового капитализма». Эмпирическим материалом для иллюстрации гипотез британского социолога послужили данные интервью и

автобиографические нарративы, собранные им в рамках трехлетнего проекта по изучению трудовой идентичности разных поколений британцев¹.

С конца 1990-х годов, пишет Стренглмен, в социологии набирает силу тенденция к интерпретации современного труда (по крайней мере, в развитых европейских странах и в США) как переживающего глубокий кризис – и в структурно-организационном отношении, и с точки зрения его роли в судьбе отдельного индивида. Если прежде работа считалась (и являлась) стержнем индивидуальной, групповой и даже классовой биографии, тем фокусом или ориентиром, который направлял и корректировал все жизненные устремления личности, очерчивая ее жизненные перспективы и горизонты самореализации, то в эпоху нового капитализма труд постепенно утрачивает свои детерминирующие качества. Одним из первых «конец труда» провозгласил Дж. Рифкин², позднее эта идея получила аргументированное развитие в работах К. Кейси, З. Баумана, У. Бека, А. Горца, Р. Сеннета³. Если в 1960–1970-е годы социологи увлекались анализом кристаллизации личностной идентичности в процессе профессиональной деятельности индивида или в контексте его трудовой биографии, то сегодня многие из них утверждают, что оплачиваемый труд в любых его формах утратил былую социальную первостепенность и прежнее ключевое значение для формирования личности работника.

К. Кейси связывает изменения общественного и личного статуса труда с «корпоративной инструментализацией персонала», лишавшей работников крупных компаний пространства для реализации их субъективности. З. Бауман считает, что гарантией идентичности человека или ее базисом сегодня служит не то, что он производит собственным трудом, но то, что он потребляет. Оплачиваемая работа по найму лишается своей прежней стабильности, замечает Бауман, понятие пожизненной трудовой карьеры, логически цельной и непрерывной, уходит с исторической сцены. В прошлом остались и такие представления, как «дело жизни» или «работа на всю жизнь», считает У. Бек; на смену приходят фрагментация трудовой деятельности и прерывность профессиональной биографии, складывающейся из кратких, сменяющих друг друга, как в калейдоскопе, трудовых эпизодов. Субъективные последствия трансформации содержания и форм труда в обществе постмодерна описал Р. Сеннет, обозначив

¹ Strangleman T. Work identity and the end of the line? Privatisation and culture change in the UK rail industry. – Basingstoke: Palgrave, 2004; Strangleman T. The nostalgia for permanence at work? The end of work and its commentators // Sociological rev. – Keele, 2007. – Vol. 55, N 1. – P. 81–103.

² Rifkin J. The end of work: The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era. – N.Y.: Putnam, 1995.

³ Casey C. Work, self and society after industrialization. – L.: Routledge, 1995; Bauman Z. Work, consumerism and the new poor. – Buckingham: Open univ. press, 1998; Gorz A. Reclaiming work: Beyond the wage-based society. – Cambridge: Polity, 1999; Beck U. The brave new world of work. – Cambridge: Polity, 2000; Sennet R. The culture of the new capitalism. – New Haven (CT): Yale univ. press, 2006.

происходящее как «коррозию характера». С точки зрения Сеннета, новый капитализм не оставляет места для синхронного развития человека как личности и как профессионального работника; идеалом новой организации трудового процесса становится класс легко приспособляющихся, «гибких» индивидов, пригодных для кратковременного инструментального функционирования в сфере оплачиваемого труда. В итоге люди не имеют шансов воплотить или выразить себя в работе, как они это делали раньше, и это лишает их возможности формировать идентичность и создавать свой жизненный нарратив, ориентируясь на свою социально значимую трудовую деятельность.

Примечательно, продолжает Стренглмен, что Бауман, Бек, Горц и их последователи убеждены, что позитивные оценки труда как существенно-го фактора личной идентичности в эпоху «до нового капитализма» являются такой же фикцией, как и сама трудовая идентичность. С этих позиций современный труд никогда не был стимулом для социального сплочения и интеграции людей, работавших вместе; социальные связи, складывавшиеся между ними, носили абстрактный характер: они просто «помещали» индивидов в контекст совместной работы и производственных отношений, где работники функционировали подобно шестеренкам огромного механизма. Поэтому ностальгия по ценностям прошлого, как среди пожилых работников, так и на страницах академических журналов, в лучшем случае является защитой романтического мифа, в худшем – апологией отчуждения и деградации личности в процессе труда.

Алармистским оценкам труда в эпоху нового капитализма и мрачным прогнозам по поводу эрозии трудовой идентичности автор статьи противопоставляет свое видение происходящего, основанное на толковании ностальгии как сложного эмоционального переживания, не исчерпывающегося сожалениями или воспоминаниями о прошлом. В классическом исследовании ностальгии Ф. Дэвиса¹ описано несколько ее типов, имеющих разную социальную направленность: ностальгия I порядка (или просто память о прошлом); рефлексивная ностальгия (II порядка) и ностальгия интерпретирующая (III порядка). Важнейшим элементом ностальгии II и III порядков Дэвис считает критическую оценку прошлого и настоящего на базе воспоминаний о пережитом опыте. Идея неоднозначного, структурированного содержания ностальгии получила развитие в работах С. Бойм, А. Боннетта и автора настоящей статьи². Бойм, в частности, предложила различать рефлексивный и реставрационный ее типы (пассивная критическая позиция / чувство вовлеченности и участия в социальных смыслах прошедшего); Стренглмен и Боннетт обратили внимание на диалектическое взаимодействие знания о прошлом и споров о настоящем. Та-

¹ Davis F. Yearning for yesterday: A sociology of nostalgia. – N.Y.: Free press, 1979.

² Strangleman T. The nostalgia of organizations and the organization of nostalgia: Past and present in the contemporary railway industry // Sociology. – Oxford, 1999. – Vol. 33, N 4. – P. 725–746; Boym S. The future of nostalgia. – N.Y.: Basic books, 2001; Bonnett A. Left in the past: Radicalism and the politics of nostalgia. – L.: Continuum, 2010.

ким образом, ностальгия пожилых работников, которую обычно интерпретируют как признак бесперспективной сентиментальной привязанности к ушедшим ценностям или даже как фальсификацию истории, представляет собой достаточно сложное эмоциональное переживание, обладающее критическим потенциалом в отношении настоящего, резюмирует автор статьи.

Стренглмен ссылается также на работу Т. Уильямса¹, где ностальгия предстает как процесс, обращенный к поколению Next. Уильямс сравнивает переживание ностальгии с нахождением на эскалаторе, где старшее поколение имеет возможность в любой момент движения оглянуться назад, на уже преодоленный им участок пути, и одновременно наблюдать за движущимся ему навстречу будущим поколением. В интерпретации ностальгии Уильямсом Стренглмена привлекает понятие структуры чувств – возникающих, доминирующих и остаточных. Именно остаточные чувства связаны с идеей оценочных или сравнительных воспоминаний, кристаллизующихся в переживание ностальгии. Это «способ видения и пребывания в мире, точка отсчета для тех, кому этот мир был дорог», – подчеркивает Стренглмен (с. 415). Наконец, Дж. Томпсон, анализируя связь между традицией и индивидуальным Я, предложил дифференцировать содержательное развитие личностной и коллективной форм идентичности². В первом случае речь идет об избранной индивидуальной жизненной траектории, во втором – о чувстве принадлежности к коллективной (исторической) судьбе. В обоих случаях существенную роль в формировании идентичности играет традиция как набор культурных ресурсов, создающих и воссоздающих ее содержание. В эпоху модерна традиция перемещается на периферию социальной жизни, однако ее маргинализация не означает, что прошедшее полностью утратило свою силу как средство привнесения смыслов в этот мир и конституирования чувства принадлежности к нему.

В совокупности перечисленные теоретические идеи и подходы делают возможным критическое переосмысление социальных функций памяти и воспоминаний, сопряженных с профессиональной трудовой идентичностью пожилых работников, считает автор. В упомянутом выше исследовательском проекте под руководством Стренглмена опросу подлежали три возрастные когорты британцев, представлявших три профессиональные группы (учителя, банковские служащие и железнодорожные рабочие). Для данной статьи автор использовал только материалы интервью и письменные автобиографии железнодорожников (мужчины 50–60 лет и старше, имевшие солидный трудовой стаж в компании «Британские железные дороги» и возможность сопоставить прежний и нынешний характер работы и взаимоотношений на рабочем месте; эпизодически, для сравнения, использовались материалы интервью с молодыми представите-

¹ Williams R. The country and the city. – Oxford: Oxford univ. press, 1973.

² Thompson J.B. Tradition and self in a mediated world // Detraditionalization: Critical reflections on authority and identity / Ed. by P. Heelas, S. Lash, P. Morris. – Oxford: Blackwell, 1996.

лями профессии). Цель проекта состояла в «оценке значения для людей их работы сегодня и в прежние времена – с тем, чтобы понять, как трудовая идентичность выражает себя в поступках и жизненных нарративах» (с. 416). Применительно к настоящей статье британский социолог конкретизировал свою задачу как попытку интерпретации жизненных нарративов пожилых железнодорожных рабочих в рамках проблемы «кризиса трудовой идентичности» современного поколения людей, вовлеченных в трудовую деятельность.

Анализируя собранные данные, Стренглмен выделяет ряд общих тем, в том или ином виде присутствовавших в устных и письменных рассказах участников проекта. Это дисциплина, взаимное уважение, связь поколений, стремление стать профессионалом, чувство вовлеченности в профессию, неразрывность личной и трудовой биографии. Фокусом нарративов своих респондентов британский социолог считает представление о профессиональной культуре, которая структурировала их субъективное и социальное самоопределение. Большинство опрошенных начинали свой трудовой путь в 15–16 лет, на рубеже 60–70-х годов прошлого века. Их наставники чаще всего были людьми, прошедшими войну, поэтому важнейшим элементом профессиональной социализации респондентов стала трудовая дисциплина. Дисциплины требовала и специфика работы на железной дороге, предполагающая сменный характер труда, соблюдение графика, четкое выполнение рутинных обязанностей (обходчик, сигнальщик, регулировщик). Еще одну особенность своего приобщения к профессии респонденты усматривали в глубокой личной связи между учеником и мастером, залогом которой служило взаимное уважение людей, делающих общее дело. Лейтмотивом большинства нарративов пожилых железнодорожников выступала преданность выбранной профессии и личностная вовлеченность. Таким образом, базисом личной и трудовой идентичности опрошенных являлся моральный порядок, встроенный в их профессиональную культуру и обеспечивавший стабильность и предсказуемость их жизненного пути, резюмирует Стренглмен.

Оценивая нынешнюю ситуацию в своей профессии, респонденты с сожалением отмечали прагматизм нынешнего поколения, его незаинтересованность в работе, равнодушие к профессии. Ностальгия участников проекта свидетельствовала об их разочаровании в настоящем, но вместе с тем – и о понимании того, что былые моральные и профессиональные ценности ничего не значат в современном обществе. В терминах концепций Ф. Дэвиса и Дж. Томпсона эмоциональные переживания пожилых респондентов целесообразно рассматривать не столько как констатацию кризиса современной трудовой идентичности, сколько как «критический» и «интерпретирующий» тип ностальгии, который акцентирует маргинализацию и эрозию прежнего морального порядка в сфере труда, способствовавшего коллективной гуманизации работы и служившего гарантом социальной значимости трудовой и личной идентичности.

Е.В. Якимова

III. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ, МОРАЛИ И АЛЬТРУИЗМА

СТАТЬИ

В. Джеффрис

**В ПОИСКАХ «РЕАЛЬНОЙ УТОПИИ»:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПОЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
АЛЬТРУИЗМА, МОРАЛИ И СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ**

V. Jeffries

**In search of a «real utopia»:
Formulating the field of altruism, morality and social solidarity**

In the early history of sociology altruism, morality and social solidarity were important topics of study. In fact, the case can be made that they are among the most significant components of the sociological universe. However, despite their obvious centrality, interest shifted away from their systematic study in the sociology of the last half of the 20th century [Alexander, 2011; Fein, 1977, p. 205; Hitlin, Vaisey, 2010, p. 3–14]. Recent major works [Alexander, 2006; Hitlin, Vaisey, 2010; Oliner, 2011] signal a reawakening of interest in these phenomena.

Within the American Sociological Association, a section devoted to the study of altruism, morality and social solidarity has been formalized. While this is a beginning, the establishment of these topics as a recognized and flourishing sociological field is a project in its formative stages. The nature of these phenomena needs to be described and elaborated. The recognition that they are related and interdependent is central to this task. Bringing these phenomena together to define the substantive interests of a coherent field of study provides an important basis for its growth. This article suggests some of the issues involved in such an effort and some of the possible avenues of its realization.

Formulating a «real utopia»

The theme of the 2012 American Sociological Association meetings was «Real utopias». Because this theme represents a model of sociological practice,

it is relevant to formulating directions for the development of the field of altruism, morality and social solidarity. Erik Wright's [Wright, 2010] real utopia model entails three basic components: the identification of the pathological that harms people, the exploration of preferable conditions and the formulation of strategies and tactics to move toward realizing them. These preferable conditions are «real» utopias because they are not ideal states that cannot be reached, but rather are explicitly formulated to be within the realm of possibility.

The model expresses the foundational assumption that sociology has a normative purpose. This is viewed as providing knowledge and understanding that can contribute to realizing a greater good than that of existing social and cultural conditions [Wright, 2010].

At a more abstract level, Helen Fein [Fein, 2007, p. VI] provides a similar perspective regarding the subject matter and creative direction of sociological practice. She maintains: «Basically, I view the sociological imagination as a lens to understand the social organization of good and evil. This quest implies that could we understand, we might transform the world».

The ideas of Wright and Fine provide foundational assumptions regarding the analytical and critical focus of the study of altruism, morality and social solidarity. One of these assumptions that guide future scholarly endeavors in this field is that all three of these phenomena can exhibit both good and evil forms and consequences.

The universe of sociology

The subject matter of sociology is defined by the concepts of culture, society, and personality [Toward a general theory of action, 1951, p. 6–8, 47–243; Sorokin, 1947, p. 63–64]. This frame of reference identifies, prioritizes, and orders the reality to be studied. Each of these foundational concepts designates aspects of reality that include numerous, varied and distinct phenomena.

This reality can analytically be viewed as containing two intersecting continuums. One is that phenomena range on a continuum from micro to macro. The other continuum focuses on the fact that the nature of these phenomena can range from objective to subjective, with most being a combination of both forms. Within this analytical framework, structures and processes can be studied from two perspectives. One is how macro influences micro, as how given institutions influence individual attitudes. The second is from micro to macro, as in how individual actions influence macro processes and structures [Ritzer, 1975].

A fully comprehensive approach to the study of altruism, morality and social solidarity would therefore include the analysis of these phenomena in their cultural, social and personality manifestations, at micro, meso and macro levels of analysis, and with respect to both of the aforementioned directions of influence. It would inevitably involve numerous studies by different investigators. This general perspective and organizational scheme of the subject matter

designates a great number of different phenomena. Therefore, ideas of the good and of evil will also be varied.

Studying the good, and evil also

According to Wright's model, a major goal of sociological practice is to strive for knowledge and understanding of the good. This can be approached analytically in terms of the envisioning of «real utopias», and the means of their greater realization. Therefore, the primary focus of theory and research should be on studying the nature and forms of the good and its personal, social and cultural manifestations. Phenomena that are negative and harmful must also be studied. The investigation of both types of such phenomena is directed toward practical and policy outcomes.

Sociology has tended to focus on social problems and pathologies. A shift in emphasis toward the investigation of positive phenomena would contribute to a more comprehensive scope in the content of sociological studies. It would provide important new vistas of theoretical and research endeavor, with the potential of providing knowledge and understanding that could be of great social benefit to all of humanity [Sorokin, 2002, p. 473–480].

To formulate conceptions of real utopias, both specific and abstract ideas of good and evil are necessary. Such ideas need to be carefully formulated, elaborated and justified. They can then be applied as value premises that guide various aspects of scientific practice [Myrdal, 1958]. In the holistic model of four forms of sociological practice developed by Michael Burawoy [Burawoy, 2005], the nature of good and evil are central questions of critical sociology. The critical form of practice is not only the «conscience of society» in identifying evil; it also supplies «moral visions» of the good [Burawoy, 2005, p. 15–16]. Formulating these notions requires a continual process of dialogue among sociologists.

Goodness is one of the supreme values of traditional philosophies, the other two being truth and beauty [Sorokin, 1957]. At an abstract level, «goodness» can be viewed as the perfection of the beneficial properties of the essential nature of a given entity. The highest level of goodness is therefore the greatest possible actualization of all positive potentials [Aquinas, 1981, p. 663; Aquinas, 1993, p. 4, 41]. The qualities of goodness inevitably vary according to the nature and potentials of specific entities. Personal, social and cultural goodness thus differ according to variations in these phenomena.

Goodness of the human person has traditionally been identified with the cardinal virtues of temperance, fortitude, justice and prudence [Pieper, 1966]. At a more general level Sorokin [Sorokin, 2002, p. 6] characterizes the essence of goodness as love that is altruistic in nature. In a similar way Oliner [Oliner, 2011, p. 129–161] defines goodness in general as caring for others in the altruistic sense. The action is not dependent on any reward. Such goodness can be manifested in a variety of forms such as forgiveness, gratitude, apology, heroism, volunteering and benefiting oppressed groups. Wright identifies goodness

as justice in two forms, social and political [Wright, 2010]. The first entails the availability of the means for human flourishing, the latter access to the means to participate in decisions affecting one's life. These goods of justice are dependent on the characteristics of social structure and institutions.

Evil can be viewed as the absence of good [Aquinas, 1981]. In religious thinking and classical philosophy evil at the level of personality has been described in terms of the vices. These are greed, pride, envy, anger, lust, gluttony and sloth [Schimmel, 1992]. Wright identifies what is here called evil as «the specific properties of structures and institutions» that harm people [Wright, 2010, p. 11]. In a somewhat similar vein, Oliner views evil in the most general sense as «an act that has negative moral consequences, which causes pain, injury or trouble to others» [Oliner, 2011, p. XII]. On the social level it involves «the creation of conditions that materially or psychologically diminish a people's dignity, livelihood, happiness and the capacity to fulfill basic material needs» [Oliner, 2011, p. 4].

Applying the «real utopia» model to the subject matter

Wright's model of the practice of sociology is focused on movement from evil to good. A condition that harms people in some way is identified and analyzed. Endeavors are then focused on envisioning a preferable condition and on the means to reach it. It is important to recognize that altruism, morality and social solidarity each exhibit this two-sided nature of good and evil.

Altruism. There is general agreement in the research and scholarly literature that altruism involves doing good to, or benefiting, another. Both motive and behavior are generally included in this conception of altruism [Jeffries, 1998]. Altruism is usually used to refer to the attributes and actions of individual persons.

This view of the essence of altruism is comparable to the classic philosophical idea of benevolent love. This love is characteristic of true friendship. One wishes the other well for their own sake and seeks to realize the end of the other's good through the means of appropriate behavior [Aquinas, 1981, p. 1263; Aristotle, 1941, p. 1058–1102].

There is also general agreement that altruism can range from low to high [Jeffries, 1998]. For example, Krebs and Van Hesteren posit seven levels of altruism, ranging from a low point of egocentric accommodation to a high point of universal love that is developed in all its aspects [Krebs, van Hesteren, 1992]. Sorokin's scheme of the five dimensions of altruistic love identifies aspects of the variation of love from low to high. These dimensions are: intensity, the degree of effort and energy; extensity, the number and range of those given love; duration, the time period of love; purity, the degree to which love is centered on the other rather than self-gratification; and adequacy, the degree to which both subjective intent and objective consequences benefit the other [Sorokin, 2002, p. 15–35].

While the intent of altruism is to benefit another, the consequences may be negative. A recent volume [Pathological altruism, 2011] focuses on this «pathological» variant of altruism, identifying and exploring its various manifestations. Its essential characteristic is that motivation and behavior intended to benefit the other has «substantial negative consequences to the other or even to the self». The individual «sincerely» behaves in what he or she believes to be an altruistic manner, yet harms the person or group intended to be helped [Oakley, Knafo, McGrath, 2011, p. 4].

Social solidarity. The concept of social solidarity refers to a form of interaction. In solidary interaction the meanings, values and behaviors of the interacting parties concur and are therefore helpful in realizing shared objectives [Sorokin, 1947, p. 93–131]. Solidarity also entails a sense of unity and integration with others in the group [Alexander, 1988, p. 78; Sorokin, 1947, p. 99–102]. Solidary interaction can occur between individuals and between groups in intergroup relations. Its locus ranges from micro to meso to macro levels. In this sense it generally refers to group characteristics and processes.

Various theorists have recognized that social solidarity can produce consequences that can vary dramatically on the range from good to evil. For example, Sorokin maintains that altruism that is restricted to one group, whether it be a family, class, religion, ethnic group or nation, has a tendency to generate out-group antagonisms. The greater the intensity and exclusivity of this in-group solidarity, the more likely there will be indifference or aggressiveness toward outsiders. Restricted in-group altruism generates egoism toward out-groups. Solidarities that are «exclusive tribal solidarities» [Sorokin, 2002, p. 461] have produced intergroup antagonisms and warfare throughout history. Unselfish love needs to be made available to all of humanity in a «universal solidarity» in which altruism is extended beyond particular groups and eventually includes all of humanity [ibid., p. 461–464].

Alexander has also recognized the two-sided nature of solidarity. Numerous historical examples can be given of in-group solidarity accompanied by out-group exclusion and hostility [Alexander, 2011, p. 10]. A «universalizing social solidarity» is one that «can, in principle, include as full members every group and individual composing it» [Alexander, 2006, p. 44; Alexander, 1991]. This form of solidarity entails a mutual identification and sense of bonding that transcends particularistic affiliations such as race, ethnicity, class or religion.

Morality. Morality pertains to ideas about right and wrong and good and evil [Hitlin, Vaisey, 2010, p. 5–6]. Such ideas are a part of individual personalities and are also an important component of the cultures of groups of all types.

Morality also has a two-sided nature. It contains conceptions of both good and evil [Alexander, 2006]. Moral codes can involve «horrific particularism, an insiders' morality that allows and even compels people to act immorally to those outside the restricted circle of the we» [Alexander, 2011, p. 9]. What is considered «good» in a given moral code can be at extreme variance from ideas such as caring or universal solidarity. For example, the Nazi moral code af-

firmed genocide against the Jewish people. Thus Adolf Eichmann stated: «The death of five million Jews on my conscience gives me extraordinary satisfaction» [quoted in: Oliner, 2011, p. XIV]. The rigid moral code of the Nazi SS defined «hard-heartedness» as a primary virtue. This SS ideal included personal honesty, overcoming feelings of compassion for others and a sense of being permanently at war [Ferrara, 2001, p. 175–178].

Fein has considered the importance of the moral component of culture in relation to life integrity rights. The range of inclusion in solidarity is an important factor in the violation of these rights, which include rights relating to life, personal inviolability and personal freedoms of various sorts. All societies have a «universe of obligation» that defines what groups belong, are the object of duties and are to be given protection and taken into account. This «circle of trust» defines the «operative boundary» of the «injunction not to do unto others what you do not desire they do unto you» [Fein, 1977, p. 204]. This circle of trust may be limited to particular groups, or it may be extended to all of humanity. When this moral universe is exclusive, moral obligations regarded as universal are rendered only to in-group members [ibid., p. 203–212]. Victims of the violation of life integrity rights are usually those excluded from the universe of obligation [Fein, 2007, p. 1–14].

Formulating a theoretical and research agenda

Wendell Bell [Bell, 2009, p. 95–96] has proposed a sociology of the good and a series of recommendations for its development [Bell, 1996]. Alexander maintains sociology needs to develop a model of both good and evil on the social level [Alexander, 2001, p. 161]. Wright's model adds to this vision by further specifying the integration of a normative framework with the study of both the pathological and the preferable alternative [Wright, 2010]. Several areas of theoretical development and research that involve altruism, morality and social solidarity and their interconnections can be developed within this general perspective.

The relationship between the moral principles and ethical systems of culture and solidarity and antagonism, in both patterns of interaction and intergroup relations, needs to be investigated in detail. An important dimension of these cultural systems is the criteria for inclusion and exclusion and their supporting rationale. An example of this kind of research is Glock and Starks's statistical analysis of religious beliefs and anti-Semitism [Glock, Starks, 1966]. The religious beliefs that contribute to anti-Semitism are explicitly identified and proposals for breaking the link between religious beliefs and anti-Semitism are given. A cultural typology of civil and uncivil solidarities that specifies the meaningful content of differing moral and ethical codes and their consequences in interpersonal and intergroup relations needs to be developed [Alexander, 2011]. The exact nature of universalizing moral systems needs to be specified. The effectiveness of different moral systems in socializing altruism in individuals is a related area of investigation. Sorokin's pioneering study of altruistic

growth and transformation provides a foundation for further research in this area [Sorokin, 2002].

The direction of influence from macro to micro provides the context for a variety of potential investigations. One area is the influence of general cultural patterns and values upon variances in aspects of altruism, morality and social solidarity. For example, Bellah and his associates' [Habits of the heart, 1985] description of the negative effects of the utilitarian and expressive forms of individualism and Sorokin's [Sorokin, 1941] description of the problematic of sensate culture in general, and its ethical system in particular, have clear implications for future studies of all three of these phenomena. The influence of the distribution and exercise of power and authority is also important in understanding aspects of altruism, morality and social solidarity [Hitlin, Vaisey, 2010, p. 9–10; Sorokin, Lunden, 1959].

The role of different social institutions such as education, government, family and economy on altruism, morality and social solidarity is a vital area for further study. For example, Zimmerman's [Zimmerman, 1947] historical account of family systems in Western civilization indicates the important role of family socialization in developing an ethical sense of responsibility and caring for others, and also in the degree to which this orientation is extended to groups outside the family. Wright has stressed the importance of economic systems in influencing concern for the welfare of others and the negative effects of capitalism on a sense of community [Wright, 2010, p. 79–81]. Finally, Durkheim has studied the development of education in France, and identified the components of morality to be taught in educational practice [Durkheim, 1961, 1977]. His analysis of moral education and its effects invites further study. The writings of each of these theorists provide fruitful ideas for further elaboration, testing, and validation regarding institutions and variances in aspects of altruism, morality, and social solidarity.

The direction of influence from micro to macro is another major focus of theory and research. Movement from harmful conditions toward the realization of ideals «will depend on human agency, on the creative willingness of people to participate in making a better world» [Wright, 2010, p. 370]. The process through which an altruistic and moral orientation is developed is foundational. Though factors external to the individual may enhance or impede this process, «effortful thinking, meditation, volition and self-analysis» on the part of the individual is a necessary condition [Sorokin, 2002, p. 332]. At the most micro level of individual thought and behavior, more needs to be known about this process, particularly in a life history context. Sorokin has maintained the importance of moving toward social and cultural reconstruction by beginning with individuals, then moving systematically to meso, then macro, levels of reconstruction [Sorokin, 1948; Sorokin, 2002, p. 461–464]. How the actions of individuals can effectively create greater altruism, an inclusive morality and a sense of universalistic solidarity in increasingly larger social collectives needs to be better understood. Likewise, how meso level collectives such as organizations

can influence macro levels such as institutions is a major area of theoretical and research development. This movement from smaller to larger groups and their cultures also provides a framework for future research regarding the formulation of effective strategies and policies of reconstruction at different levels [Wright, 2010, p. 370–371].

Conclusion

Fields of scholarly practice need a broad core of theoretical and research problems to provide for replication, elaboration and generalization. This concerted focus is necessary for producing knowledge and understanding what can contribute to the general social welfare. It is also necessary to create a coherent field of study that can form the basis for the development of a self-conscious and dedicated scientific community. This article is intended to provide a point of discussion and criticism for the necessarily collective effort to define and build the field of altruism, morality and social solidarity. In this sense it opens the door to collective efforts to construct a «real utopia» of scientific endeavor.

References

1. *Alexander J.C.* Action and its environments. – N.Y.: Columbia univ. press, 1988. – XII, 342 p.
2. *Alexander J.C.* Bringing democracy back in: Universalistic solidarity and the civil sphere // Intellectuals and politics: Social theory in a changing world / Ed. by Ch.C. Lemert. – Newbury Park (CA): SAGE, 1991. – P. 157–176.
3. *Alexander J.C.* Morality as a cultural system: On solidarity civil and uncivil // Perspectives: Newsletter of the ASA Theory section. – Northridge (CA), 2011. – Vol. 33, N 2. – P. 1–2, 9–11.
4. *Alexander J.C.* Toward a sociology of evil: Getting beyond modernist common sense about the alternative to the «good» // Rethinking evil / Ed. by M.P. Lara. – Berkeley: Univ. of California press, 2001. – P. 153–172.
5. *Alexander J.C.* he civil sphere. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 2006. – XIX, 793 p.
6. *Aquinas Th.* Commentary on Aristotle's Nicomachean ethics. – Notre Dame (IN): Dumb Ox books, 1993. – XIII, 686 p.
7. *Aquinas Th.* Summa theologica: In 5 vol. – Westminster (MD): Christian classics, 1981. – XIX, 3057 p.
8. *Aristotle.* The basic works of Aristotle. – N.Y.: Random House, 1941. – XXXIX, 1487 p.
9. *Bell W.* Public sociology and the future: The possible, the probable and the preferable // Handbook of public sociology / Ed. by V. Jeffries. – Lanham (MD): Rowman & Littlefield, 2009. – P. 89–105.
10. *Bell W.* The sociology of the future and the future of sociology // Sociological perspectives. – Los Angeles (CA), 1996. – Vol. 39, N 1. – P. 39–57.
11. *Buravoy M.* For public sociology // American sociological rev. – Los Angeles (CA), 2005. – Vol. 70, N 1. – P. 4–28.
12. *Durkheim E.* Moral education. – Glencoe (IL): Free press, 1961. – XII, 287 p.
13. *Durkheim E.* The evolution of educational thought. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1977. – XXX, 354 p.
14. *Fein H.* Human rights and wrongs: Slavery, terror, genocide. – Boulder (CO): Paradigm publishers, 2007. – VIII, 280 p.

15. *Fein H.* Imperial crime and punishment. – Honolulu: Univ. press of Hawaii, 1977. – XVIII, 250 p.
16. *Ferreira A.* The evil that men do: A meditation on radical evil from a postmetaphysical point of view // *Rethinking evil* / Ed. by M.P. Lara. – Berkeley: Univ. of California press, 2001. – P. 173–188.
17. *Glock C.Y., Stark R.* Christian beliefs and anti-semitism. – N.Y.: Harper & Row, 1966. – XXI, 266 p.
18. *Habits of the heart* / Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., Tipton S.M. – Berkeley: Univ. of California press, 1985. – XIII, 355 p.
19. *Hitlin S., Vaisey S.* Handbook of the sociology of morality. – N.Y.: Springer, 2010. – XIII, 595 p.
20. *Jeffries V.* Virtue and the altruistic personality // *Sociological perspectives*. – Los Angeles (CA), 1998. – Vol. 41, N 1. – P. 151–166.
21. *Krebs D.L., van Hesteren F.* The development of altruistic personality // *Embracing the other: Philosophical, psychological and historical perspectives on altruism* / Ed. by P.M. Oliner, S.P. Oliner, L. Baron, L.A. Blum, D.L. Krebs, M.Z. Smolenska. – N.Y.: New York univ. press, 1992. – P. 142–169.
22. *Myrdal G.* Value in social theory. – N.Y.: Harper & bros, 1958. – XLVI, 269 p.
23. *Oakley B., Knafo A., Mcgrath C.* Pathological altruism: Introduction // *Pathological altruism* / Ed. by B. Oakley, A. Knafo, G. Madhavan, D.S. Wilson. – N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – P. 3–9.
24. *Oliner S.P.* The nature of good and evil. – St. Paul (MN): Paragon House, 2011. – XVI, 266 p.
25. *Pathological altruism* / Ed. by B. Oakley, A. Knafo, G. Madhavan, D.S. Wilson. – N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – XXVIII, 465 p.
26. *Pieper J.* The four cardinal virtues. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1966. – XIII, 206 p.
27. *Ritzer G.* Sociology: A multiple paradigm science. – Boston (MA): Allyn & Bacon, 1975. – VI, 234 p.
28. *Schimmel S.* The seven deadly sins: Jewish, Christian and classical reflections on human nature. – N.Y.: Free press, 1992. – 298 p.
29. *Sorokin P.A.* Integralism is my philosophy // *This is my philosophy* / Ed. by W. Burnett. – N.Y.: Harper & bros, 1957. – P. 179–189.
30. *Sorokin P.A.* Society, culture and personality. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – XIV, 742 p.
31. *Sorokin P.A.* The crisis of our age. – N.Y.: E.P. Dutton, 1941. – 338 p.
32. *Sorokin P.A.* The reconstruction of humanity. – Boston (MA): Beacon press, 1948. – XII, 247 p.
33. *Sorokin P.A.* The ways and power of love. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002. – XXVIII, 552 p.
34. *Sorokin P.A., Lunden W.A.* Power and morality. – Boston (MA): Extending Horizons, 1959. – 204 p.
35. *Toward a general theory of action* / Ed. by T. Parsons, E.A. Shils. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1951. – XI, 506 p.
36. *Wright E.O.* Envisioning real utopias. – N.Y.: Verso, 2010. – XVIII, 394 p.
37. *Zimmerman C.C.* Family and civilization. – N.Y.: Harper & bros, 1947. – X, 829 p.

О.А. Симонова

**СОЦИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ МОРАЛИ:
МОРАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ¹**

Введение: Моральные эмоции и социальный порядок

Исследование моральных эмоций, или нравственных чувств, являлось актуальной и важной темой исследований в классической социологии, психологии и даже политической экономии конца XIX – начала XX в. Об основополагающей роли моральных чувств в формировании социального порядка и поддержании социальной солидарности писали А. Смит, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Т. Рибо, Ч. Кули, А. Сазерленд, Э. Вестермарк, Л.И. Петражицкий и многие другие ученые. Сегодня социологи и социальные психологи вновь обращают свое внимание на моральные эмоции и их роль в обществе. В связи с этим в первую очередь следует упомянуть работы Дж. Тёрнера, Р. Коллинза, А.Р. Хохшильд, Дж. Стетс, П. Бёрка, С. Шотт, Т. Шеффа, К. Кларк, Дж. Хайдта [Shott, 1979; Scheff, 1990; Hochschild, 1979; Turner, Stets, 2005; Collins, 2004; Stets, Burke, 2004; Clark, 1998; Haidt, 2008, 2012]. Мы уже обращались к теме социальной солидарности в связи с исследованием эмоций в предыдущей статье, где подчеркивалось, что в рамках социологии эмоций проблемы солидарности и социального порядка рассматриваются через призму моральных переживаний [Симонова, 2011]. Там же мы показали специфику собственно социологического осмысления эмоций и выявили основные направления исследований в этом жанре. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, как анализ моральных эмоций в целом и их частных проявлений (чувства стыда и чувства вины) способствует изучению морали, социального порядка и социальной солидарности в современном обществе. С точки зрения социологии эмоции (прежде всего те, которые считаются мо-

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Интеграция социобиологических и социологических literов в исследовании эволюционных оснований морали и альтруизма (в приложении к российским сообществам)», осуществляемого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00381а).

ральными) являются частью внутреннего самоконтроля индивидов, который выступает главным субъектом поддержания социального порядка в современном обществе. Именно поэтому социологи обращаются сегодня к осмыслению роли моральных эмоций в разных ситуативных и институциональных контекстах.

Анализ эмоций сопряжен с изучением их роли в обществе современного типа, которому свойственны культурное разнообразие, возрастающая институциональная сложность, моральный плюрализм, большая материальная и моральная плотность (если воспользоваться понятиями Дюркгейма) и господство морального индивидуализма. Как отмечал И.С. Кон, «чем сложнее и динамичнее изучаемая система, будь то культура или личность, тем большую роль в ее функционировании играет саморегуляция и тем сложнее должны быть ее внутренние регулятивные механизмы» [Кон, 1979, с. 85]. Таким образом, социальные функции эмоций привлекают все большее внимание социальных аналитиков. В силу культурного разнообразия в современном мире сосуществует множество вариантов морали; мораль структурируется в соответствии с разными институциональными, групповыми и ситуативными контекстами, поэтому индивиды часто оказываются в эпицентре столкновения разных систем морали, а их поведение подчиняется сложным механизмам регулирования. Моральное поведение и чувства становятся в высшей степени амбивалентными. В таких условиях индивид может полагаться только на свои внутренние моральные принципы, важной частью которых являются моральные чувства или эмоции, направляющие его действия в рамках тех или иных моральных верований или кодов.

При всей проблематичности определения эмоциональных состояний в социологии, когда эмоции определяются через составляющие их компоненты (физиологическое возбуждение, оценка ситуации, культурные представления, экспрессивные жесты), мы рассматриваем этот феномен как сложный поведенческий синдром, аффективно-когнитивный комплекс, подчиняющийся социальным предписаниям и выполняющий определенные социальные функции [Симонова, 2011, с. 138]. Эмоции – как поведенческие комплексы – подобны социальным ролям, они подчиняются нормам исполнения в виде правил выражения и переживания эмоциональных состояний, получающим закрепление в эмоциональной культуре общества. Поэтому эмоции – это одновременно и события, и действия, и внутренние состояния; они представляют собой «привычки сердца», формируясь в определенном социально-культурном ареале, который, в свою очередь, создает эмоциональные режимы, соответствующие жизни общества. Таким образом, эмоции являются социально обусловленными образованиями, они сами входят в более крупные социальные структуры, социальные практики, поведенческие комплексы, которые воспроизводят и поддерживают. Эмоции становятся моральными, если переживаются в связи с моральными кодами, нормами и ценностями, принятыми в данном

обществе. Именно моральные эмоции формируют приверженность данному обществу, культуре, группе, социальной структуре, другому индивиду. Моральные эмоции могут также быть коллективными, если возникают, например, в ритуальных взаимодействиях, которыми пронизана повседневная жизнь общества. Самыми важными эмоциями, которые необходимы для конституирования и поддержания социальной солидарности и морального порядка, являются сложные чувства вины и стыда, эмпатия и симпатия, благодарность, почитание, а также страх, гнев, презрение и отвращение.

Возрождение интереса к моральным эмоциям в контексте современного общества совпадает с состоянием его «морального упадка», о котором сегодня пишут многие социологи. Здесь имеются в виду ослабление традиционных форм религии и власти, падение авторитета моральных норм, распад групповых и общественных связей, распространение индивидуалистической морали, реализующейся в так называемой «терапевтической» культуре, которая ориентирована на решение эмоциональных проблем отдельного человека [Habits of the heart, 1985]. Поэтому часть социологов обращают внимание именно на чувства, переживания и настроения в поисках «молчаливой морали» [Bauman, 1993, 1995], т.е. придают особое значение внутреннему социальному контролю и чувствам, побуждающим индивида к моральному / аморальному поведению [Hookway, 2013]. При этом сами эмоции не способствуют именно моральному или аморальному поведению, одна и та же моральная эмоция может обуславливать и тот и другой тип поведения, выполнять социальные функции или быть дисфункциональной. Например, чувство стыда может удерживать от преступления в одних контекстах и послужить его причиной в других.

В связи с этим у исследователя возникает множество вопросов. Какие эмоции можно назвать моральными и при каких обстоятельствах эмоции становятся таковыми? Действительно ли мы приблизимся к пониманию морального порядка современного общества, анализируя моральные эмоции? Как исследовать моральные эмоции в социологии, какие понятия и теории, в том числе классические, будут наиболее адекватны в этом случае? Какие из эмоций наиболее важны для социальных взаимодействий, для поддержания морального порядка? Можно ли выделить доминирующие моральные эмоции в различных культурах? Какова современная методология выявления моральных эмоций (наиболее плодотворным сегодня признано междисциплинарное сотрудничество социологии и социальной психологии, особенно социологически ориентированной ее ветви) [Hitlin, Vaisey, 2013, p. 51].

Социология эмоций сегодня развивается в нескольких направлениях: анализ моральных эмоций в целом, изучение отдельных моральных эмоций и их связей с культурой, социальной структурой, отдельными сообществами. Одна из плодотворных исследовательских тенденций – применение концепции личностной идентичности и понятия моральной иден-

тичности, которые разрабатывались в рамках социальной психологии [см.: The moral identity... 2008]. Моральная идентичность складывается в процессе социализации и обуславливает переживание, сдерживание и выражение моральных эмоций и, соответственно, то или иное моральное поведение. Это направление в изучении моральных эмоций соответствует сдвигу в сторону идеологии и морали индивидуализма, характерных для общества современного типа, когда Я индивида становится центром его жизни. Вместе с тем необходимо принимать в расчет социальную обусловленность формирования моральной идентичности и ее типов, которые предопределяют моральное поведение. В данной статье мы попытаемся показать, как понимаются сегодня моральные эмоции социологами и социальными психологами и что сделано в этом направлении (в частности, остановимся на социологическом толковании чувства стыда как одной из важнейших моральных эмоций). Мы не претендуем на полный обзор литературы по данной тематике или на исчерпывающий перечень тем и проблем, которые принадлежат данной области социального знания и требуют, в том числе, пересмотра ряда классических социологических концепций. В наши задачи входят реконструкция и анализ новейших социологических направлений в изучении моральных эмоций.

Социология эмоций и социология морали

В современной социологии, особенно в последние два десятилетия, отчетливо определились две главные отрасли теоретического и эмпирического анализа, которые долгое время были неактуальны, – социология эмоций и социология морали. Классики социологии постоянно обращались к обсуждению феномена морали как сложного предмета исследования, обусловленного его «латентностью», амбивалентностью и многомерностью. Современные российские исследователи сегодня настаивают, что социология морали возможна как изучение моральных установлений в связи с социальными отношениями и социальными структурами в мире морального плюрализма [Соколов, 2004]. Американцы С. Хитлин и С. Вэйзи в своей программной статье отмечают, что после Т. Парсонса интерес к социологии морали пережил драматический спад, однако в настоящее время создается «новая социология морали», хотя и существующая в виде разных социологических ее прочтений [Hitlin, Vaisey, 2013, p. 54]. Вместе с тем разные версии обновленной социологии морали имеют общие черты, а именно: анализ социальных процессов, формирующих различные определения морали и характер ее влияния на социальные действия в реальном социальном и временном контекстах. В современных исследованиях морали доминирует «насыщенное понимание» морали (thick understanding), которое включает комплексное рассмотрение моральной идентичности, моральных эмоций, моральных практик и институциональных порядков [см., например: Habits of the heart, 1985].

Хитлин и Вэйзи констатируют, что сегодня моральные значения становятся все более изменчивыми, менее долговечными, но отнюдь не эфемерными. Поэтому современные социологи и социальные психологи разделяют идею Дюркгейма о том, что моральные значения служат основанием для социальной солидарности и социальной регуляции, а моральный консенсус и разделяемая моральная идентичность сплачивают современные сообщества и поддерживают устойчивость организаций [Hitlin, Vaisey, 2013, p. 55]. Кроме того, социологи возвращаются к некогда оспаривавшемуся положению теории Парсонса об интернализации ценностей и норм и мотивационной силе моральных верований, обращаясь за помощью к социальной психологии [см.: Rawls, 2010].

Учитывая характеристики современного мира, социальные аналитики задаются вопросом о том, как моральное разнообразие индивидов взаимодействует с моральными значениями социальной ситуации и влияет на индивидуальное поведение. Для ответа на этот вопрос социология морали использует социально-психологические теории «моральной идентичности» [один из вариантов: Burke, Stets, 2009]. По мнению Хитлина и Вэйзи, это новое направление в социологии, поскольку социальные психологи используют реалистичные, но все еще гипотетические моральные дилеммы, а социологи изучают личностные моральные установки, моральные эмоции и моральную идентичность, чтобы объяснить реальные социальные действия (например, так называемое «помогающее поведение», альтруизм и эгоизм в социальной жизни, моральное поведение в разных социальных контекстах) [Hitlin, Vaisey, 2013, p. 62]. Таким образом, социология морали сегодня связана с исследованием моральных эмоций.

В работах Э. Дюркгейма, Э. Гоффмана и Р. Коллинза показано, как мораль объединяет людей в процессе их взаимодействия посредством общей системы правил и ожиданий. Дюркгейм видел истоки и подкрепление морали в «коллективном воодушевлении», возникающем в процессе ритуального взаимодействия. Изучая религиозные ритуалы австралийских аборигенов, связанные со священными объектами, он утверждал, что тотемы и божества являются символическим воплощением общества и его морального авторитета и поэтому возбуждают сильные эмоции [см.: Durkheim, 2001]. Власть культурных символов проявляется в том, что они определяют соответствующее моральное поведение и чувства. Действия в соответствии с моральными предписаниями являются благородными и чистыми, а действия, нарушающие эти ожидания, вызывают ярость и гнев. Согласно Дюркгейму, мораль контролирует и интегрирует членов общества и тем самым порождает социальную солидарность. Общество невозможно без моральной системы, так как в противном случае индивиды будут действовать исключительно в своих собственных интересах, разрушая социальное единство. Действие, направленное на удовлетворение частных интересов Я, ведет к социальной патологии, внутреннее благополучие и

счастье индивидов, по Дюркгейму, возможно в социальных системах с сильным моральным порядком.

В социологии Дюркгейма мораль рассматривается на макроуровне, причем как единая для данного общества. Однако детального описания того, почему одни люди ведут себя морально, а другие нет, у него нет. Чем можно объяснить эту вариативность в поведении? Если ориентироваться на современные подходы в социологии и социальной психологии, то моральное поведение индивидов зависит от структуры их моральной идентичности, ситуативного и институционального контекстов. Как и Дюркгейм, Э. Гофман исследовал значение ритуальной деятельности для социальной жизни и акцентировал значение индивидуального Я в повседневных взаимодействиях. Вслед за Дюркгеймом он признавал моральные последствия социальных взаимодействий, которые закрепляются во фреймах, организующих дальнейшие линии поведения и роли. Анализируя индивидуальное Я, Гофман показывает, что индивиды «работают» над образом своего Я для достижения своих целей, представляя его в большинстве случаев как моральное и конформное, т.е. отвечающее моральным предписаниям. Если эта «работа над идентичностью» не удастся, индивиды испытывают чувства смущения, замешательства, стыда и пытаются исправить свое поведение [Goffman, 1967, p. 97–98]. Вместе с тем у Гофмана индивиды все же в большей степени настроены на соблюдение моральных предписаний, чем на подтверждение своей идентичности. Современные подходы, о которых речь пойдет ниже, исходят из того, что индивиды стремятся подтвердить свою моральную идентичность, испытывая при этом определенные эмоции [см.: Burke, Stets, 2009].

Р. Коллинз вслед за Дюркгеймом и Гофманом подчеркивает значение рождающейся в ритуальных взаимодействиях эмоциональной энергии, которая закрепляет моральное значение культурных символов, разделяемых группой или сообществом. Ритуальные цепи способствуют возникновению и сохранению эмоциональной энергии, которая, поддерживая групповую солидарность, может быть позитивной и моральной либо негативной и аморальной [см.: Collins, 1984, 1990, 2004]. Как и Дюркгейм, Коллинз всерьез принимает роль эмоций в моральном порядке. Он считает, что мотив, лежащий в основе поведения во взаимодействии, – это потребность испытывать и максимизировать позитивную эмоциональную энергию. Позитивная эмоциональная энергия (а в некоторых случаях и негативная) мобилизует индивидов для взаимодействий. Коллинз рассматривает социальные взаимодействия, которые обеспечивают большую часть эмоциональной энергии, как способствующие моральному порядку. Однако возможно ли, что выстраиванию и поддержанию морального порядка посредством моральных действий и моральных эмоций способствует также моральная идентичность индивидов, возникающая в результате социальных взаимодействий? Эта идея согласуется с позицией М. Вебера, поскольку в данном случае мы исследуем паттерны индивидуальных дей-

ствий, которые формируют основы социальных структур. Индивиды являются носителями моральных ценностей, они могут вкладывать в свои действия моральные значения, подлежащие аналитическому прочтению социологами. Поэтому в современной социологии эмоций исследователи рассматривают моральную идентичность как субстрат моральных ценностей, как фактор, направляющий и регулирующий действия и эмоции в разных социальных контекстах [Stets, Carter, 2012, p. 122].

В психологии на протяжении многих лет индивид трактовался как источник морального действия. Наиболее известны концепции Л. Колберга и Ж. Пиаже, обсуждавших вопрос о том, как моральные рассуждения связаны с моральным поведением. Развивая идеи Ж. Пиаже и Л.С. Выготского о формировании морального сознания ребенка как связанного с процессом его умственного развития, Колберг выделяет несколько его фаз, соответствующих разным уровням морального сознания [см. подробнее: Кон, 1979]. Определенный уровень умственного развития Колберг считает необходимым, но недостаточным условием соответствующего уровня морального сознания, а последовательность стадий морального развития, в которой его преимущественно интересует формирование моральных суждений, – универсальной и неизменной. Однако дальнейшее развитие психологии и социологии показало, что мораль нельзя понимать как нечто неизменное, а моральную социализацию – как универсальную последовательность определенных фаз: однозначных связей между моральными суждениями и моральным поведением не существуют. Несмотря на то что психология и нейропсихология активно изучают соотношение между моральными суждениями, моральным поведением и эмоциями [см.: Hardy, 2006; Haidt, 2001; Hoffman, 2000], необходима теоретическая модель, связывающая когнитивные, поведенческие и эмоциональные аспекты Я. Поэтому психологи все чаще обращаются к социологической теории идентичности, в общем и целом базирующейся на теории символического интеракционизма и декларирующей иерархичность структуры социальных идентичностей, которые должны «подтверждаться» другими участниками взаимодействия [см.: Симонова, 2008, 2009]. Психологи стали рассматривать моральную идентичность (а не моральные суждения) как решающее условие морального поведения: то, как люди расценивают себя относительно моральных установлений, с большей вероятностью влияет на их моральное поведение, чем их приверженность определенным моральным принципам [Blasi 1984, 2004]. Об этом свидетельствуют многие работы, затрагивающие роль моральной идентичности в определении морального действия [Testing a social-cognitive model of moral behavior, 2009; Frimer, Walker, 2009]. А. Блэйзи признал, что моральные эмоции мотивируют моральное поведение и связаны с формированием моральной идентичности [Blasi, 1984, 2004]. Например, эмпатия мотивирует альтруистическое поведение, в то время как чувство стыда и чувство вины сдерживают поведение, причиняющее вред. В целой серии работ в рамках социологически

ориентированной социальной психологии рассматривается модель морального действия, которая включает когнитивные (идентичность) и аффективные (эмоции) аспекты Я [Stets, Carter, 2006; The moral identity... 2008; Stets, Carter, 2012].

Эмоции играют здесь сигнальную и направляющую роль: если идентичность подтверждается другими участниками взаимодействия, то люди чувствуют себя хорошо и испытывают позитивные эмоции, если нет – переживают негативные чувства. Кроме того, некоторые ситуации могут быть определены в моральных терминах в большей степени, чем другие (например, посещение церкви способствует определению ситуации как моральной в отличие от посещения дискотеки). Поэтому, по мнению Стетс и Картера, нужна теоретическая модель, которая объединяет (внутренний) процесс моральной идентичности с (внешней) моральной релевантностью ситуации [Stets, Carter, 2012, p. 122]. Хотя мораль в социологии изучается уже давно, соответствующая концепция идентичности, необходимая для объяснения вариативности в моральных действиях и моральных чувствах, еще находится в стадии разработки (наиболее близко к объяснению морального выбора индивидуального Я в определенной ситуации подошел Э. Гофман).

В современной социологии, с учетом ее интереса к морали и моральным эмоциям как важному элементу социальных действий, широко распространены идеи, касающиеся ослабления общей морали и укоренения идеологии индивидуализма в обществах современного типа. Эти теории представляют для нас особый интерес в связи с исследованием моральных эмоций и моральной идентичности в контексте общей проблемы морали в социологии. Поскольку, с одной стороны, моральные эмоции приобретают большее значение в силу большей функциональности внутреннего социального контроля, а с другой стороны, социологический интерес к эмоциям сам по себе, вероятно, отвечает индивидуалистическому духу современного общества, здесь необходимо придерживаться рефлексивной позиции в отношении как социологического анализа морали, так и исследования эмоций. Теоретики Д. Белл, Ф. Рифф, К. Лэш говорят об упадке религии и традиции, что выражается в ослаблении общей морали и размывании моральных норм. Они выражают беспокойство тем, что люди становятся равнодушными (не испытывают моральных чувств), а в обществе распространяется особая «терапевтическая культура», которая ставит целью самореализацию, работу над чувствами отдельного человека [Bell, 1976; Lasch, 1979; Reiff, 1987]. Другие ученые делают акцент на разрушении сообществ, общинных связей в духе Ф. Тенниса, на ослаблении общего чувства солидарности и ответственности перед другими людьми. Таким образом, модернизация ослабляет традицию, первичные связи, общую мораль, не создавая новых основ для моральных действий [Etzioni, 1994; Habits of the heart... 1985; MacIntyre, 1985]. Здесь возникает вопрос о том, какими последствиями обернется ослабление общих внешних регуля-

тивных механизмов. Можно ли будет полагаться преимущественно на внутренние моральные регуляторы, в том числе на моральные чувства, меняется ли их природа? Как будут происходить моральная социализация и формирование моральной идентичности?

Ф. Рифф писал о рождении так называемого «психологического человека» (psychological man), которого характеризуют нарциссизм и гедонизм [Reiff, 1987]. С его точки зрения, морально-регулятивная функция культуры, формирующая моральный характер посредством ориентации на общие ценности культуры и группы, теряет свой репрессивный характер и становится «освобождающей» (remissive) [ibid., p. 121]. Моральные проблемы трансформируются в проблемы эмоциональные, в задачу преодоления страхов и тревог под руководством психотерапевта. Формируется культура «экспрессивного индивидуализма», где эмоции как деструктивная сила подлежат управлению. По Д. Беллу, культура консюмеризма, ориентированная на индивидуальное счастье, разрушает религиозные верования, ведет к материальному гедонизму; моральные установления превращаются в «мораль забавы или удовольствия» (fun morality) [Bell, 1976]. Мораль современного общества строится не на том, чего нельзя, а на том, что можно, это культура «самоосвобождения», отказ принять ограничения [ibid., p. 170]. К. Лэш также писал о последствиях ослабления патриархальной культуры. С его точки зрения, сегодня происходит рождение нарциссической культуры, для которой типичны тревога, депрессия и чувство пустоты вследствие противоречия между стремлением подчиняться моральным правилам и одновременным ослаблением их авторитета [Lasch, 1979, p. 11]. Психологическое здоровье и спокойствие становятся альтернативой религиозному спасению, главное – преодолеть страх и испытать удовольствие. Это, по Лэшу, есть симптомы болезни общества [ibid., p. 13, 27]. Таким образом, современное общество создает условия для существования нарциссического индивида, которому фактически позволено создание собственных моральных правил вследствие ослабления авторитетов. В связи с этим крайне интересно исследовать типичные моральные состояния индивидов и способы, посредством которых происходит моральная ориентация действия в современной индивидуалистической культуре. Мораль фрагментируется, существует много разных моралей отдельных групп, но ни одна из них не является основной. В таких условиях осуществляется сложный процесс индивидуальной моральной ориентации, в ходе которого существенную роль играют самоопределение человека и его умение оценить моральный характер ситуации в соответствии с той или иной системой морали.

Согласно А. Этциони, община или сообщество являются источником «морального голоса» [Etzioni, 1994, p. 31], поскольку олицетворяют собой предмет верности и эмоциональной приверженности системе ценностей, которая основана на общей истории и идентичности [Etzioni, 2001, p. 359]. Но в современном обществе общинные связи разрушаются, отно-

шения и действия людей становятся морально тривиальными, они не создают морального порядка и не репродуцируют жизнь сообщества. Поэтому современное западное общество находится в «преддверии моральной анархии» [Etzioni, 1994, p. 123; Etzioni, 2001, p. 361]. Алармистский характер носят также рассуждения авторов известной работы «Привычки сердца» (1996), которые констатируют рост морального индивидуализма, разрушение социальной солидарности и ответственность индивида исключительно перед самим собой, так что Я индивида и его чувства становятся единственным моральным ориентиром в обществах современного типа [Habits of the heart... 1985, p. 76, 98, 129]. А. Макинтайр полагает, что вследствие ослабления общинных связей и соответствующих ролевых ожиданий индивиды утрачивают моральный лексикон, возникают типы личностей, которые заняты манипуляциями в сфере межличностных отношений, но не имеют моральных целей [MacIntyre, 1985, p. 21]. Современные индивиды обладают так называемым «эмотивистским Я» (emotivist self), которое принимает моральные решения, но не содержит в себе существенных моральных элементов [ibid., p. 36].

Таким образом, перечисленные авторы не видят в индивидуальном Я и его чувствах источника морали, хотя речь идет о социализированных членах общества. Источник морали для них – в устоявшихся разделяемых ценностях, которые формируются и транслируются сообществом. С этой точки зрения акцент на эмоциональной жизни и поиске себя, самореализации, рассуждениях о моральных чувствах ведет к пустой морали и бессмысленности жизни. Поэтому мораль должна быть восстановлена посредством соответствующего образования, устройства семейных, религиозных и политических институтов, поддержки сообществ [Habits of the heart... 1985, p. 163].

Этот диагноз представляется нам довольно убедительным, хотя последствия такого положения дел далеко неоднозначны, как и предлагаемые средства исцеления. Действительно, в современном обществе распространен моральный индивидуализм, о котором в свое время писал Э. Дюркгейм, однако необходимо в первую очередь попытаться понять современные механизмы моральной регуляции. Ведь речь идет не о полном исчезновении морали, а, скорее, об ослаблении морали традиционного общества и соответствующих ему моральных механизмов. По мнению З. Баумана, подобная интерпретация сложившейся ситуации лишает морального выбора самого индивида, которому диктует свою волю община или сообщество, заглушая «моральные голоса» тех, кто не входит в данное сообщество [Bauman, 1989, p. 174].

В этих теориях нашла отражение романтизированная картина традиционных обществ с развитой моралью, где якобы не было проблем с моральной регуляцией и люди чувствовали себя более счастливыми и свободно выражали свои чувства. Кроме того, сами моральные чувства могут быть источником морального поведения. Важно также и то, что в совре-

менном обществе моральный контроль становится главным образом внутренним самоконтролем: моральная идентичность личности, определение себя как морального агента действия становится источником морального поведения. Кроме того, этика самосовершенствования предполагает соотношение себя с моральными идеалами культуры. Проблема современных обществ заключается именно в множественности моралей, которая обуславливает сложность морального выбора и часто предполагает исключение других «моральных голосов», а значит, и других людей, т.е. разные виды неравенства и дискриминации.

Социология «морального упадка» критикуется с разных позиций. В частности, подчеркивается, что эта точка зрения отражает гендерное неравенство, обличает современную культуру с ее феминным, терапевтическим дискурсом, основанным на заботе [Hookway, 2013, p. 851]. Нас в данном случае интересует позиция Баумана, который считает эмоции и чувства ключевыми элементами постмодернистской этики, центральными «драйверами» морального выбора в стремлении подтвердить свою идентичность [Bauman, 1993, p. 67]. Мораль не только предстает как социально сконструированная обществом, традицией, законом, но, прежде всего, выступает предметом моральных чувств, управляемых ответственностью перед Другим [Bauman, 1995, p. 62]. С. Ахмед полагает, что эмоции глубоко вплетены в отношения между людьми, они не просто являются психологическими феноменами, но работают как механизмы различения своих и чужих. Кроме того, они «пишутся» на нашем теле и теле другого человека, выступая языком моральной коммуникации [Ahmed, 2004 a, p. 8; Ahmed, 2004 b, p. 26, 27, 32]. Видимо, эмоции служат посредниками, активизирующими моральные представления в конкретной ситуации взаимодействия; они сами по себе до определенной степени рефлексивны, т.е. возникают вслед за оценкой ситуации, а иногда и сами сигнализируют людям о том, что значимо для данной ситуации (в том числе в моральном отношении). Такой позиции, в частности, придерживается Н. Хуквэй, который настаивает, что так называемая «терапевтическая» культура может способствовать морали, пробуждать справедливость и заботу, поскольку обеспечивает язык и легитимность для выражения чувств. Индивидуальное Я также является агентом морального действия, поскольку рождается во взаимодействиях с другими людьми, поэтому этика самореализации и самосовершенствования также может быть источником морального действия [Hookway, 2013, p. 853]. Таким образом, размышляя над теориями морального упадка, можно заключить, что общество в целом и сообщества в частности не являются единственной моральной силой. Следовательно, при рассмотрении морали современного общества важно учитывать моральную силу эмоций и моральную идентичность индивидов.

Итак, логика современного социологического исследования морали тесно переплетена с социологией моральных эмоций. В современных обществах в силу их сложности, фрагментированности и плюралистичности

моральное поведение становится крайне сложным объектом социального анализа, поскольку его вариативность возрастает в геометрической прогрессии. «Новая» социология морали возникает на пересечении социологии и социологически ориентированной социальной психологии, одной из задач которой является исследование моральных эмоций. В следующих частях настоящей статьи речь пойдет о том, какие эмоции можно назвать моральными и почему, а также об использовании теории идентичности в исследованиях моральных эмоций и традиции исследования чувства стыда и чувства вины как основных моральных эмоций.

Изучение моральных эмоций в социологии

Можно сказать, что моральный порядок имеет своим необходимым условием эмоциональную вовлеченность участников взаимодействия, их стремление сохранять определенный уровень эмоциональной энергии, обмениваться эмоциями и самим испытывать моральные эмоции. Эти эмоции сопряжены с определенными моральными представлениями и сигнализируют индивиду о необходимости сориентироваться в ситуации и совершить тот или иной моральный выбор. Здесь надо подчеркнуть, что эмоции – это социальная «вещь», которой или которыми индивиды обмениваются в процессе взаимодействия, о чем свидетельствуют различные социологические теории эмоций [см.: Handbook of the sociology of emotions, 2006; Turner, Stets, 2005]. Эмоции предполагают телесные жесты и физиологические процессы, они «пишутся» на теле и вызывают определенный эффект в другом человеке, даже тогда, когда они незаметны. Эмоции, таким образом, имеют «отношенческую природу» и представляют собой определенный язык, необходимый и существенный для социальной коммуникации, поскольку эмоции обладают также рефлексивностью, позволяющей направлять, поддерживать, корректировать социальные взаимодействия. Рефлексивность эмоций связана с тем, что их возникновение зависит от усвоенных культурных представлений и оценки ситуации [см.: Rosenberg, 1990] и собственного Я, от сформированной личностной идентичности, от возможности «сохранить лицо». Поэтому вариативность морального поведения определенным образом зависит от сформированной моральной идентичности и интенсивности моральных эмоций, которые определяются моральными представлениями.

В каждом отдельном случае социологи рассматривают влияние эмоциональной культуры, которая включает словарь эмоций, классификации приемлемых и неприемлемых эмоций и правила их выражения [см.: Gordon, 1990; Hochschild, 1979]. Индивиды с большей вероятностью будут соблюдать правила эмоциональной культуры и стремиться корректировать ситуацию в соответствии с правилами более широкой культуры – моральными правилами. Какие же типичные эмоции переживаются индивидами в ситуациях, определяемых как моральные, какие эмоции поддерживают и воспроизводят моральный порядок общества? Сегодня многие социологи

и социальные психологи изучают «моральные эмоции» – К. Кларк, М. Дэвис, С. Ретцингер, Дж. Стетс, Т. Шефф, С. Шотт, Дж. Тёрнер, Дж. Брейтвейт, Дж. Барбалет, Дж. Хайдт, Дж. Тэнгни, Дж. Аверилл, К. Льюис и др. Здесь важно подчеркнуть сосуществование двух основных позиций в отношении анализа моральных эмоций. Первая позиция, свойственная в основном социологии эмоций, предполагает, что в ситуациях, определяемых как моральные (т.е. связанных с моральными кодами), многие эмоции можно квалифицировать как моральные, поэтому такие эмоции рассматриваются в целом. Понятно, что такой подход упрощает изучение моральных эмоций. Другая позиция наследует традицию психологии дифференциальных эмоций и нацелена на рассмотрение различных эмоций, типичных для разных ситуаций. Безусловно, целесообразно совмещать оба исследовательских подхода.

Список моральных эмоций включает в первую очередь чувства вины, стыда, гнева, страха, эмпатии, симпатии, благодарности, однако он постоянно расширяется, поскольку целью изучения здесь является одно-временное осмысление социально-культурной динамики и психодинамики, посредством которой возникновение эмоций соотносится с моралью. Как уже было сказано выше, мы будем опираться на формальное определение морали (morality), данное Дж. Тёрнером и Дж. Стетс. Это ценности, которые содержатся в культуре (культурных кодах) и с помощью которых становится возможной оценка происходящего в терминах «плохо / хорошо», «верно / неверно», «приемлемо / неприемлемо» [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 544]. Социологи выделяют несколько уровней моральных кодов. Самый высокий – уровень культурных ценностей всего общества, абстрактные суждения о том, что хорошо / плохо, верно / неверно, приемлемо / неприемлемо, которых придерживаются члены общества. Следующий уровень – идеологии, с помощью которых также возможны оценки «верно / неверно», «приемлемо / неприемлемо», «хорошо / плохо», но уже применительно к разным институциональным контекстам. Далее следует уровень институциональных норм, которые предписывают, как должны себя вести индивиды, занимающие различные позиции в институциональных порядках. Затем идут корпоративные нормы – вполне конкретные ожидания, связанные с поведением индивидов, занимающих разные позиции в системе разделения труда. И наконец, – уровень ситуативных норм, т.е. ожиданий, направляющих отдельные поступки индивидов и их взаимодействия [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 545]. Моральные ценности и нормы не всегда жестко контролируют поведение, однако большинство индивидов в большинстве ситуаций эмоционально реагируют на нарушение норм любого уровня. Именно нарушение моральных норм, собственное или со стороны других индивидов, групп, сообществ и даже наций, обуславливает переживание моральных эмоций. Чем интенсивнее моральные эмоции, тем более значима моральная норма или верование.

В большей части социологических работ моральные эмоции рассматриваются как обусловленные или находящиеся под влиянием социально-структурных факторов либо переменных [см.: Kemper, 1991; Thamm 2004]. Эти переменные в процессе переживания эмоций могут описываться индивидами в терминах морали (компетенция, традиция, мастерство и т.п.). Поэтому если индивиды признают справедливым распределение власти и престижа, то они будут испытывать моральные эмоции в тех случаях, когда справедливость будет оспариваться – в различных видах противостояния групп и организаций. Именно нормы справедливости, взаимности вписываются в культурные и моральные коды общества, поэтому возникновение эмоций становится относительно предсказуемым. В профессиональных организациях наиболее вероятно возникновение моральных эмоций, поскольку здесь необходима высокая координация деятельности [Hechter, 1987; Lawler, 2001].

Дж. Тёрнер и Дж. Стетс классифицируют моральные эмоции как связанные: 1) с критическим отношением к себе – чувство стыда и чувство вины (guilt, shame); 2) с критикой других – презрение, гнев и отвращение (contempt, anger, disgust); 3) со страданиями других – симпатия и эмпатия (sympathy, empathy); 4) с похвалой других – благодарность и почитание (gratitude, elevation) [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 550]. Этот список может быть дополнен, если принять во внимание ситуации, которые определяются как моральные, а также с учетом того, что в разных культурных словарях можно обнаружить большее количество и разнообразие эмоций. Но основными, ключевыми эмоциями, связанными с моральным поведением, социологи и социальные психологи считают чувство стыда и чувство вины, которым посвящено наибольшее количество современных исследований.

Внимание специалистов заслужили также эмоции, связанные с критикой других (презрение, гнев и отвращение), которые являются непосредственной реакцией на нарушение моральных ценностей и норм другими людьми [Haidt, 2003; The CAD triad hypothesis, 1999]. Гнев является эмоциональной реакцией на нарушение моральных норм и стимулирует стремление восстановить справедливость [Averill, 1993]. Отвращение становится моральным, когда индивиды оценивают чье-либо поведение как потерю человеческого достоинства (предательство друзей, хладнокровное убийство) [The CAD triad hypothesis, 1999]. Следствием возникновения чувства отвращения становится разрыв контакта, взаимодействия, а также желание восстановить социальный порядок путем изгнания виновных в аморальном поведении. Презрение по своему содержанию и своей интенсивности представляет собой нечто среднее между гневом и отвращением: это негативная оценка другого, дополненная чувством морального превосходства [Haidt 2003]. Специалисты утверждают, что презрение, гнев и отвращение возникают в разных культурах, когда налицо нарушение моральных кодов, связанных с понятиями сообщества, автономии и

божественного (community, autonomy, divinity) [The CAD triad hypothesis, 1999]. Например, презрение является эмоциональной реакцией на нарушение моральных ценностей и норм, сопряженных с понятием сообщества, которое включает уважение к заведенному социальному порядку, почтение к авторитетам и самому сообществу. Гнев связан с нарушением морального кода автономности, который подразумевает уважение к индивидуальным правам и свободам, т.е. возникает тогда, когда действия другого нарушают чьи-либо права и свободы. Отвращение представляет собой реакцию на осквернение вещей и идей, касающихся веры в Бога, нарушение религиозных моральных правил. Таким образом, презрение, гнев и отвращение выступают как «охранники» различных аспектов морального порядка.

Симпатия и эмпатия выступают эмоциональными следствиями страданий других людей. К. Кларк рассматривает симпатию как ключевую эмоцию в межличностных взаимодействиях, на основе которой солидаризируется общество в целом. Симпатия связывает людей различного статуса, находящихся в разных ситуациях, и поддерживает общие моральные представления в группах [Clark, 1998]. По М. Дэвису, эмпатия включает способность понимать эмоциональное состояние другого человека (когнитивный компонент) и переживать его чувства (аффективный компонент). Симпатия не обязательно предполагает эмпатию, но, скорее, выступает как стремление помочь другому [Davis, 1996] и подразумевает выражение печали и сожаления по поводу положения других людей [Clark, 1998]. Эти состояния являются существенными элементами социальных взаимодействий, поддерживают мораль и социальную солидарность, поскольку выступают мотивирующей силой для оказания помощи индивидам, испытывающим жизненные сложности. Они облегчают межличностное взаимодействие, обуславливая альтруизм и подавляя агрессию [Eisenberg, Miller, 1987].

Эмоции, нацеленные на похвалу других людей (благодарность и почитание), первым описал А. Смит. Он рассматривал благодарность как важную социальную эмоцию, которая поддерживает мораль и солидарность, поскольку побуждает к свободным нравственным поступкам [Смит, 1997]. Посредством благодарности индивид выражает расположение к другому человеку, в противном случае он вряд ли сможет рассчитывать на его содействие и добрую волю в дальнейшем. Согласно Г. Зиммелю, верность и благодарность являются эмоциональными состояниями, которые подтверждают, что индивиды и в дальнейшем будут ощущать приверженность или принадлежность к непосредственной эмоциональной и более длительной социальной связи. Таким образом, когда человек испытывает благодарность к другому, его отношение к этому человеку продлевается посредством повторяющегося воспоминания об этих поступках и о самом чувстве благодарности. Тем самым благодарность одновременно является эмоцией и представляет собой мощный связующий элемент общественных

отношений (между двумя людьми, между человеком и группой, между группами людей, между человеком и организацией, человеком и животным, человеком и обществом в целом). Благодарность становится «памятью» об удивлении, удовольствии, радости или волнении, испытанных в определенной ситуации, – к примеру, в момент получения неожиданного подарка [Cantó-Milà, 2012, p. 6]. Зиммель определял благодарность как «моральную память человечества», коллективную память. Благодарность устанавливает связи между людьми, соединяет их невидимой нитью на продолжительный период времени. Это, в частности, отличает благодарность от чувства стыда, которое тоже является глубоко социальным, но не гарантирует длительности отношений между людьми [The sociology of Georg Simmel, 1964].

Современные аналитики рассматривают благодарность как моральную эмоцию, поскольку она имеет три функции: морального барометра, морального мотива, морального подкрепления [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 556]. Как моральный барометр, благодарность является ответом на великодушные другого человека и сигнализирует об обмене вознаграждениями. Благодарность также служит моральным мотивом, потому что стимулирует людей, которые испытывают благодарность, вести себя великодушно и в будущем, и, таким образом, становится основой альтруизма [Tivers, 1971]. Наконец, благодарность мотивирует самих благодетелей и адресатов благодарности быть благодарными в будущем. С благодарностью связано чувство почитания – позитивное чувство, мотивирующее людей на добрые поступки, благотворительность и даже самопожертвование и приводящее в действие другие позитивные чувства (благовение и священный трепет [Haidt, 2003]).

Несмотря на то что моральные эмоции выступают как силы, подерживающие взаимность и справедливость, они могут также подрывать социальный порядок, т.е. быть направлены в сторону таких моральных норм, которые отличны от принятых в данном сообществе или полностью им противоречат. Поэтому при рассмотрении моральных эмоций необходимо учитывать, что это особые поведенческие механизмы, однако для понимания общей картины поведения, даже в отдельно взятой ситуации, необходимо принимать во внимание более широкий социальный контекст и культурный фон. Моральные эмоции – это показатель состояния связи индивида или группы индивидов, человеческих Я с социальной структурой и культурой данного общества. Проблема социологического анализа таких эмоций заключается в том, чтобы изолировать их от прочих эмоциональных состояний. Моральные эмоции нередко расчленяют на их аналитические составляющие либо, наоборот, трактуют как целостности, поведенческие комплексы, которые невозможно рассматривать отдельно от культурных кодов, психологических механизмов, механизмов социального взаимодействия (например, чувство любви). Более того, некоторые ученые определяют всю культуру в терминах такого поведенческого ком-

плекса; так, К. Кларк полагает, что американская культура – это культура симпатии [Clark, 1998]. Поэтому более корректная формулировка цели социологического анализа моральных эмоций включает необходимость изучения полного ряда человеческих эмоций и фиксацию условий, при которых они могут стать моральными.

Тёрнер и Стетс представили ряд вариаций первичных эмоций и различные сложные эмоции, возникающие на их основе, и попытались показать, при каких обстоятельствах они приобретают моральный характер [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 557–560]. Ранее мы подробно разбирали социологические и социально-психологические теории эмоций, где рассматривались различные классификации эмоций и способы, которыми из первичных, врожденных эмоций – счастья, страха, гнева, печали – вырастают чувства, связанные с оценкой себя и других в соответствии с моральными кодами общества [Симонова, 2011]. Однако такой конструкционистский подход, с нашей точки зрения, не позволяет понять, как из первичных эмоций, которые мимолетны и нерелексивны, возникают длительные чувства, порождающие прочие эмоции. Кроме того, часто культурный словарь эмоций затрудняет выявление простых эмоций в составе сложных. Результаты проведенного Г. Смитом и А. Шнайдером кросскультурного исследования эмоций позволяют утверждать, что классификация эмоций в качестве первичных и вторичных неоправданна. Полученные ими данные свидетельствуют, что так называемые универсальные, базовые или первичные эмоции, даже если они являются врожденными, статистически не различимы. Также не получили эмпирического подтверждения теории смешения эмоций, предполагавшие, что сложные эмоции возникают в результате смешивания более простых [Smith, Schneider, 2009].

В случае моральных эмоций важно не разлагать эмоции на отдельные компоненты, а исследовать целостные эмоциональные состояния, аффективно-когнитивные комплексы или поведенческие синдромы, которые являются культурными комплексами в миниатюре. Например, зависть [Шёк, 2008], горе [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 516–543], любовь [Swidler, 2001] в современной социологии считаются эмоциями, однако это сложные состояния, подразумевающие множественные эмоции, длительные и кратковременные, а также эмоциональные цепи, характерные для разных типов ситуаций. Например, горе может вызывать не только отчаяние, скорбь или подавленность, но и ностальгию и даже радость; любовь также чревата целым спектром эмоций, причем противоположных, позитивных и негативных.

Т. Шефф, представитель социологически ориентированной психологии эмоций и один из авторитетных исследователей стыда в социологии, предлагает рассматривать социально-эмоциональный мир через призму внутренней связанности его субъектов и шести специфических эмоций [Scheff, 2011]. Одной из основных проблем в социологии эмоций он счи-

тает «лингвистическую проблему», так как ученые, определяя эмоции, часто пользуются повседневным языком. Шефф полагает, что нужно дать социологическое определение эмоциям, сопряженным с изучением солидарности (или связанности) людей между собой (любви, гордости, гневу, стыду, страху и горю), с тем чтобы четко определить границы каждой из них [Scheff, 2011, p. 347]. Степень солидарности, по Шеффу, – это ключевое понятие для осмысления и решения многих проблем современного общества, а эмоции являются сигналами состояния солидарности и социальной связанности, вплоть до разрывов и отчуждения. В связи с этим он предлагает собственную концептуальную схему, настаивая, что степень связанности между индивидами может быть «визуализирована». Степень взаимного осознания между двумя сторонами (индивидами) имеет два уровня: 1) уровень совместной ориентации: разделяемое согласие или несогласие; 2) уровень осознания степени связанности [ibid., p. 351]. Причина большинства эмоций, с точки зрения Шеффа, – проблематичность социальных связей или, наоборот, тесная связанность и солидарность. Главным здесь, с нашей точки зрения, является то, что для Шеффа в данном контексте крайне важна эмоция стыда, так как именно она непосредственно указывает на разрыв социальных связей между индивидами и обществами. Отмечая лингвистические сложности в изучении и фиксации данной эмоции, Шефф определяет сопутствующие стыду переживания, которые указывают на сам стыд, а не его последствия; кроме того, он уверен, что дальнейший анализ стыда будет связан с исследованием самооценки [ibid., p. 356–357].

Одним из показательных исследований в данной области социального знания служит недавнее эмпирическое исследование вариативности морального поведения социологически ориентированных социальных психологов Дж. Стетс и М. Картера [Stets, Carter, 2012]. Они применяют и в некотором смысле подытоживают использование понятия «моральная идентичность» (moral identity), или «моральное Я» (moral self), для объяснения и описания моральных эмоций. Авторы проверили свои гипотезы на выборке из 350 студентов старших курсов. Исследование состояло из двух частей; на первом этапе участники заполняли опросник, который давал представление об их моральной идентичности, моральном поведении и моральных эмоциях. Позднее они заполняли второй опросник, где выявлялись моральные значения и правила чувствования в различных ситуациях.

Стетс и Картер опирались на теории идентичности, которые в последнее время разрабатываются в социальной психологии и социологии (особенно в рамках символического интеракционизма), где идентичность представлена как иерархическая структура [Burke, 1991; Shott, 1979; Turner, Stets, 2005]. Моральные эмоции связывают индивида с социальной структурой и культурой через его самосознание, через идентичность, которая объединяет ситуативные идентичности, соответствующие социальным ролям в различных институциональных системах [см.: Turner, 2002].

Личностная идентичность включает в себя представления о том, кем является индивид, как другие могут и должны реагировать на его Я (self) и соответствующие эмоции по поводу характеристик, которые другие дают индивидуальному Я в его разных социальных ролях [Stryker, 2004]. Индивиды большей частью стремятся подтвердить свою идентичность во взаимодействиях; если это происходит, они испытывают положительные эмоции, в противном случае – негативные. Поэтому в ситуации соотношения своего Я с моральными ценностями и нормами сообщества индивид приобретает моральную идентичность.

Структура личностной идентичности состоит из идентичностей, которые особенно ценятся окружением индивида и им самим. Исследования в области социальной психологии продемонстрировали, что моральная идентичность занимает высокую позицию в структуре личностной идентичности. Моральная идентичность направляет выбор линий поведения в рамках социальных ролей, особенно в ситуациях, когда реальное поведение индивида ей не соответствует. Это, как правило, сопровождается негативными эмоциями [Stets, Carter, 2006]. Индивиды склонны давать оценку своему поведению и идентичностям, которые соответствуют разным контекстам действия, поэтому моральная идентичность играет роль «эмоционального топлива» во взаимодействиях [The moral identity... 2008, p. 298].

Стетс и Картер опираются на теорию и модель идентичности П. Бёрка и применяют ее к моральной идентичности и моральному поведению индивидов. Согласно этой теории, идентичность «активируется» в процессе социального взаимодействия, и образуется «петля обратной связи», которая имеет шесть компонентов: 1) стандарт идентичности (значения идентичности – моральный стандарт идентичности для данной культуры); 2) выход (поведение); 3) вход – рефлексивные оценки (то, как, по мнению самого индивида, другие думают о нем) и определение ситуации; 4) компаратор, или стандарт сравнения, который сличает вход со стандартом идентичности; 5) эмоции, возникающие в процессе сравнения; 6) значения ситуации, которые варьируются по степени соответствия стандарту идентичности [Burke, Stets, 2009].

Стетс и Картер исходят из того, что все культуры продвигают моральные ценности, основанные на заботе и справедливости; респонденты, участвовавшие в опросах, разделяют ценности, связанные с западной культурой, поэтому они следуют западной концепции моральности, которая склоняется к ценности защиты благополучия и автономии индивида. Это и есть стандарт моральной идентичности. Поведенческий выход связан со стандартом идентичности: значения или смыслы поведения должны соответствовать значениям, которые содержатся в стандарте идентичности. Поэтому первая гипотеза ученых состояла в следующем: чем выше ставит индивид свою моральную идентичность, тем более вероятно, что он будет вести себя морально [Stets, Carter, 2012, p. 124].

Вход состоит из рефлексивных оценок или представления индивида о том, как другие воспринимают его в конкретной ситуации. Если другие люди подтверждают моральную идентичность индивида, то он воспринимает ситуацию как нормальную, как соответствующую его образу Я. Сюда же относится определение ситуации, или фрейм взаимодействия, который также ориентирует индивида в данной ситуации. В данной модели ситуации важен «компаратор», который сигнализирует об ошибке в случае, если налицо разница между входом и стандартом идентичности. Верификация идентичности индивида происходит, когда стандарт и рефлексивные оценки совпадают. Например, если ситуация требует денежного успеха, а не морального поведения, индивид будет реагировать на то, что его моральная идентичность не подтверждается. В данной теории верификация идентичности связана с позитивными чувствами, а неверификация – с негативными. Негативные эмоции ведут к тому, что система контроля идентичности снижает несоответствие посредством поведения, которое направлено на то, чтобы соответствовать стандарту идентичности. Стетс и Картер выбирают в качестве объекта анализа чувства вины и стыда, которые, по их мнению, являются глубоко социальными, так как подразумевают оценку со стороны других индивидов. Чувство стыда сигнализирует о несоответствии собственной идентичности, чувство вины – о несоответствии стандарту идентичности. На основе этих положений авторы выдвигают следующую гипотезу: когда возникает разрыв между стандартом моральной идентичности индивида и тем, что думают о его моральности другие участники ситуации, индивид с большей вероятностью будет сообщать о переживании моральных эмоций [Stets, Carter, 2012, p. 124].

Также учитываются ситуационные значения, которые дополнительно влияют на поведение индивидов и могут изменить его идентичность. В теории идентичности человеческая мораль – это значения моральной идентичности, т.е. то, как индивиды интерпретируют ситуацию с точки зрения моральных значений. Если индивиды воспринимают ситуацию как содержащую моральные значения, то это влияет на их поведение. Отсюда следует третья гипотеза: чем глубже индивид определяет ситуацию как содержащую моральные значения, тем более вероятно, что он будет вести себя морально. Далее, люди основываются на культурных ожиданиях относительно эмоций, которые следует переживать, когда налицо моральные правила. Поэтому индивидам следует испытывать чувство вины или стыда, когда нарушаются моральные коды. Знание этих правил чувствования может заставить индивида вести себя морально, поскольку с высокой вероятностью он попытается избежать переживания негативных чувств. Четвертая гипотеза Стетса и Картера состоит в том, что чем охотнее индивид сообщает о предположительных моральных эмоциях, следующих за аморальным поведением, тем более вероятно, что он будет вести себя морально [Stets, Carter, 2012, p. 127].

Наконец, Стетс и Картер полагают, что индивид, настроенный на моральные значения и правила чувствования, будет более склонен испытывать моральные эмоции, если имеет место аморальное поведение. Отсюда следуют еще две гипотезы: чем глубже индивид определяет ситуацию в моральных значениях, но ведет себя аморально, тем более вероятно, что он будет сообщать о моральных эмоциях; и чем решительнее он утверждает, что должен переживать моральные эмоции вследствие аморального поведения, тем более вероятно, что индивид будет сообщать о моральных эмоциях, о чувствах вины и стыда [Stets, Carter, 2012, p. 127].

Большинство выдвинутых гипотез подтвердились или частично подтвердились в ходе эмпирического исследования авторов. Моральная идентичность оказалась позитивно связанной с практикой морального поведения. Однако при этом исследователи утверждают, что моральная идентичность не связана напрямую с моральными эмоциями, которые, в свою очередь, непосредственно связаны именно с моральным поведением, поведенческим выходом в описанной модели. Но вместе с тем, когда моральная идентичность не получала подтверждения, увеличивалось количество сообщений о моральных эмоциях (гипотеза 2) [Stets, Carter, 2012, p. 134–135].

Мы так подробно рассмотрели исследование Стетс и Картера, потому что в нем содержится анализ моральных эмоций и вариативности морального поведения на основе теории идентичности, которая помогает объединить моральное сознание, моральное поведение, моральные эмоции и ситуативные значения. Моральные эмоции здесь представлены как чувства, следующие за отсутствием верификации моральной идентичности. Ситуативные значения – это культурное поле, в котором происходит процесс формирования и подтверждения моральной идентичности. Внутренние значения идентичности и внешние культурные значения сливаются, влияя на моральное действие и чувства в ситуациях. Однако опять-таки надо подчеркнуть, что данное исследование является социально-психологическим, здесь практически не учитывается влияние других участников взаимодействия на идентичность и смыслы взаимодействия, за исключением их одобрения или неодобрения. Кроме того, чувства стыда и вины предстают практически неразличимыми и также рассматриваются вне влияния других субъектов взаимодействия, которые могут их ослабить или усилить. Поэтому, с нашей точки зрения, в такие исследования необходимо вводить статусные переменные. Высокий статус других также может влиять на то, как определяется ситуация, воздействуя на ее моральные значения. Важен и социальный контекст взаимодействия, который может «апеллировать» к моральной идентичности (например, церковь) или может ослаблять ее позиции. Таким образом, индивидуальная вариативность в моральном поведении и чувствах – это результат сложного взаимодействия между вариацией во внутренней моральной идентичности, которую

люди стремятся верифицировать, и вариацией в определении моральных значений, укорененных в ситуациях.

Стыд как моральная эмоция: Социологическое понимание

В последней части статьи мы хотели бы сосредоточиться на социологическом понимании эмоции стыда, которое, будучи тесно связанным с чувством вины, имеет важные последствия для морального порядка общества и для личностной идентичности. В последние десятилетия увеличилось количество работ по социологии эмоций, в которых исследуются моральные эмоции, т.е. эмоции, тесно связанные с моральным порядком общества. Именно эти эмоции указывают путь к осмыслению морали и морального поведения в современном обществе. Однако подавляющее число исследований в этом жанре не носит строго дисциплинарного характера, они объединяют усилия социологии и социальной психологии на основе теории идентичности [см.: Hitlin, Vaisey, 2013].

Чувство стыда является предметом анализа в таких разных сферах знания, как философия и психология, биология, психиатрия и медицина. Нам представляется важным акцентировать специфику именно социологических трактовок стыда. Дело не только в том, что исследование стыда в социологии имеет определенную традицию, но и в том, что данная эмоция или внутреннее состояние имеет параметры, которые существенны для изучения социальных взаимодействий, причем не только на микроуровне. Как уже говорилось выше, стыд определяется в терминах социальной связанности и показывает состояние этой связи; для переживания стыда всегда требуется и присутствие, и активное воображение другого человека или группы (в качестве свидетелей определенного поведения). Эта эмоция интенсивна и довольно длительна, поскольку она связана не только с очевидными острыми физиологическими реакциями (покраснение, стремление избавиться от этого переживания и пр.), но и с ясным осознанием ситуации, размышлением над ней и над своей ролью, и с концентрацией на собственной идентичности. Самое главное состоит в том, что стыд подразумевает усвоение моральных кодов культуры и понимание отклонений от определенных ценностно-нормативных стандартов.

Т. Шефф концептуализирует мир социальных связей посредством изучения эмоций, в числе которых он особое значение придает стыду [Scheff, 2000, 2003, 2011]. Стыд в его понимании – это первичная, основная, социальная эмоция, «эмоциональный аспект нарушения контакта между людьми» [Scheff, Retzinger, 1991, p. 66]. Социологи классического периода, а также психологи всегда интересовались этой эмоцией. Чувство стыда анализирует о состоянии социальных связей, о чем единодушно заявляли Г. Зиммель, Ч. Кули, Н. Элиас, Х. Линд, Э. Гофман, Р. Сеннет; эта эмоция перекидывает мостик между социологией и психологией и создает основу для междисциплинарного сотрудничества. Т. Шефф отмечает, что многие социологи и психологи подразумевали в своих работах данное

эмоциональное состояние, не упоминая о нем напрямую [Scheff, 2003, p. 239].

Среди наиболее влиятельных психологических и антропологических представлений о стыде следует выделить психоаналитические его концепции, которые, однако, не учитывали социальные факторы. З. Фрейд (совместно с Й. Брейером) в «Исследованиях истерии» (1895) рассматривал этот феномен как связанный с различными аффектами, в том числе и со стыдом [Фрейд, Брейер, 2005]. Фрейд и Брейер предположили, что стыд препятствует развитию, так как ведет к репрессии и регрессии и потому сопутствует истерии и прочим психологическим расстройствам. Фрейд разграничивал эго-идеал и супер-эго; стыд возникает, когда индивид понимает, что не соответствует эго-идеалу, а чувство вины – когда он нарушает запреты супер-эго. Поэтому стыд как будто характеризует само Я индивида, а вина – его поведение относительно моральных требований: в первом случае – я аморален, а во втором случае – я поступил аморально. Это разделение прижилось в психологии, такой подход был принят не только в психоанализе [см.: Изард, 2011].

Последователи З. Фрейда, главным образом А. Адлер, К. Хорни, А. Кардинер, Э. Эриксон, уже рассматривали стыд в связи с социальным окружением индивида, хотя не всегда явно называли это чувство. Понятие комплекса неполноценности Адлера, по сути, основано на эмоции стыда. Комплекс неполноценности (хроническая низкая самооценка) является отчасти следствием хронического стыда. Стремление к превосходству выступает важным поведенческим мотивом, поэтому связано с такими чувствами, как гордость и стыд. Шефф полагает, что феномен стремления к превосходству и комплекс неполноценности могут быть истолкованы как связанные с острым переживанием стыда [Scheff, 2003, p. 252]. К. Хорни связывает внутренние конфликты личности с ее зависимостью от окружения и одобрения этого окружения, поэтому человеку необходимо испытывать чувство гордости за самого себя. Хотя Хорни не фокусируется на эмоции стыда, основные положения ее теории подразумевают, что гордость и стыд являются ключевыми в понимании невротического и нормального поведения [см.: Нопеу, 1950]. Э. Эриксон считал, что чувство стыда и чувство вины играют важнейшую роль в развитии человека, особенно на самых первых стадиях социализации; если же эти чувства берут верх над автономией индивида и его способностью к инициативе, они приобретают патологический характер и препятствуют развитию личностной идентичности [Erikson, 1950]. В целом представители психоаналитического направления рассматривают стыд как эмоцию, которая способствует развитию психологических патологий и неврозов, но при этом отмечают позитивные последствия стыда для психики. Это обстоятельство крайне важно для социологического прочтения стыда, где учитываются социальные функции и дисфункции этого типического внутреннего состояния индивидов, поскольку стыд способствует солидарности и моральному по-

рядку, с одной стороны, и разрушает отношения и моральные верования – с другой. Теория развития личности Эриксона как раз и была нацелена на выявление связей между индивидуальным Я и его социальным окружением (не только ближайшим, но и институциональным) посредством понятия личностной идентичности, что согласуется с современными исследованиями моральных эмоций. Анализ стыда и вины, а также понятие идентичности Эриксона стали источником для социологии стыда Х. Линд [Lynd, 1961].

В работе «Индивид и его общество...» (1939) А. Кардинер проанализировал роль стыда в традиционных обществах. В отличие от Адлера и Хорни, Кардинер делает особый акцент на эмоции стыда и утверждает (вслед за Фрейдом), что стыд – это чувство, которое ведет к подавлению. Он считает стыд принципиальным компонентом супер-эго, или совести [Kardiner, 1939]. Другие антропологи также использовали фрейдистские идеи при изучении фундаментальных человеческих эмоций. Так, Р. Бенедикт в работе о японской культуре в ее сравнении с американской говорит о том, что данные культуры отличаются в плане доминирования моральных эмоций вины и стыда [Бенедикт, 2004]. Японскую культуру она называет «культурой стыда», американскую – «культурой вины». Именно забота японцев о «сохранении лица», их следование долгу побудили автора охарактеризовать эту культуру как «культуру стыда». Несмотря на критику позиции Бенедикт, нынешние социологи вновь возвращаются к этим вопросам, акцентируя связь стыда с понятием личностной идентичности [см.: Mischeva, 2000].

Г. Зиммель упоминает о чувстве стыда в эссе «О моде» (1904). Анализируя происхождение моды, он утверждает, что одним из ее источников послужила эмоция стыда; люди стремятся к разнообразию и изменениям и одновременно предчувствуют и переживают стыд за то, что выделяются своим поведением и видом [Зиммель, 1996]. Мода разрешает это противоречие, поскольку индивид может меняться вместе с другими, избегая изоляции и чувства стыда. Мода у Зиммеля подразумевает конформность в отношении одной (модной) группы и дистанцирование от другой (от тех, кто не следует моде). Хотя Зиммель опирается на общепринятое понимание стыда, он связывает его переживание с отчуждением, описывает данное чувство как почти бессознательное и обусловленное ситуацией межличностного и межгруппового взаимодействия. Фактически Зиммель демонстрирует, как стыд вживлен в динамику социального взаимодействия, причем не только на микроуровне социальной структуры.

Ч. Кули описывает стыд как одно из основных чувств, участвующих в формировании индивидуального Я. Концепция «зеркального Я» предполагает переживание чувств гордости и стыда, которые являются следствием осознания того, что думают о Я другие люди и как они его оценивают [Кули, 2000]. По сути, Кули трактует гордость и стыд как основные социальные эмоции, хотя и не дает им определения. По мнению Шеффа, ана-

лиз эмоций без их дефиниций равносильно строительству вавилонской башни, поскольку гордость, которую имел в виду Кули, – это не заносчивость и не гордыня, а гордость «истинная» (genuine) [Scheff, 2003, p. 243]. Тем самым становится очевидной необходимость теоретической дифференциации эмоций и их определения с учетом культурной специфики.

Американский социолог Х. Линд, отчасти опираясь на теорию Э.Г. Эриксона, фокусируется на социальных характеристиках стыда и производных от него эмоций [Lund, 1961]. Она предлагает свое видение этого феномена, соединяя психологические и социальные аспекты стыда. Линд полагает, что именно с помощью концепции идентичности можно преодолеть трудности рассмотрения индивидуального поведения в социальных науках, так как данное понятие объединяет концепции Я и социальной роли. Стыд и связанные с ним эмоции сегодня не исследуются, потому что люди их скрывают, считает Линд, однако их влияние на человеческое поведение чрезвычайно велико. Исследовательница идет по пути определения чувства стыда как отличного от чувства вины; последнее, с ее точки зрения, более поверхностно и сопряжено с поступками, тогда как стыд связан с человеческим Я в целом, т.е. с тем, кем индивид является. Чувство вины не затрагивает Я, оставляя его нетронутым, сильным, предоставляя шанс исправиться. Чувство стыда, напротив, переживается как слабость и распад Я – вплоть до желания исчезнуть («провалиться сквозь землю»). В отличие от чувства вины как индивидуализированной эмоции, чувство стыда является социальной эмоцией, подтверждающей эмоциональную взаимную зависимость между индивидами. Стыд может укреплять отношения, стимулировать поиск путей объединения с другими людьми и коммуникации с ними, поскольку переживание стыда связано с принятием роли другого в социальных взаимодействиях [ibid., p. 66]. Х. Линд впервые после классиков социологии попыталась дать определенное чувство стыда, связать его с понятием идентичности в социологическом смысле и описать его функции в укреплении социальных связей и морального порядка.

Э. Гофман изучал смущение и стыд в повседневных социальных взаимодействиях, однако отчетливо он описывает только смущение (embarrassment) и способы его избегания [см.: Goffman, 1967]. Человек у Гоффмана предстает как постоянно озабоченный своим образом в глазах других людей, он старается представить себя в лучшем свете, манипулирует впечатлениями других с целью сохранить «лицо». При этом он старается избежать неудач в рамках взаимодействий и неизбежного в этих случаях чувства смущения, или стыда. По мнению Т. Шеффа, это соображение Гоффмана очень важно, поскольку на его основе можно выделить очевидные маркеры для эмпирического изучения стыда [Scheff, 2003, p. 244]. Смущение можно определить по объективным знакам эмоционального волнения: покраснение, несвязная речь, неверный подбор слов, заикание, изменение интонации, резкое понижение или повышение голоса, дрожь в

голосе или его полная потеря, потоотделение, бледность, моргание, тремор рук, нерешительные движения. При этом человек опускает глаза, голову, прячет руки, нервно перебирает одежду, его поведение не совпадает с произносимой речью, он не может мыслить ясно. Кроме того, проявляются физиологические симптомы – сухость во рту, затрудненное дыхание [Goffman, 1967, p. 97]. Однако Гофман не считает смущение абсолютно иррациональным состоянием; сами индивиды рассматривают его как норму повседневной жизни, часть общего порядка взаимодействия и, что особенно важно, как элемент порядка морального [ibid., p. 109]. Т. Шефф реконструирует осмысление стыда в других работах Э. Гофмана (в частности, в тех, где речь идет о притоках и стигме [Scheff, 2003, p. 244–245; Scheff, 1990, 2000]) – притом что сам Гофман не акцентирует своего внимания к этому чувству [Goffman, 1961, 1963]. Таким образом, можно сделать вывод, что Э. Гофман наиболее близко подошел к современному социологическому пониманию стыда как чувства, которое возникает в таких ситуациях, когда не удается хотя бы частично подтвердить идентичность, которая формируется в соответствии с общепринятыми моральными стандартами.

Работа Р. Сеннета и Дж. Кобба «Скрытые травмы класса» (1972) основана на результатах включенного наблюдения в школе, клубах и барах, а также на данных 150 интервью с мужчинами – представителями рабочего класса, по преимуществу иммигрантами [Sennett, Cobb, 1972]. Авторы данного исследования считают, что моральные травмы, о которых им сообщили респонденты, являются следствием отношения к ним со стороны учителей, руководителей, членов собственной семьи, продиктованного их классовой принадлежностью и родом занятий. Эти отношения полны жалоб, сожалений и недовольства. Кроме того, эти мужчины чувствовали собственную вину вследствие своего классового положения и профессиональной позиции. Сеннет и Кобб заключают, что социально-классовое положение рабочих обуславливает их травматические переживания и дефицит самоуважения. Американское общество основано на ценности успеха, поэтому опрошенные мужчины чувствовали себя неудачниками, причем низкая самооценка начала формироваться уже в начальной школе. Т. Шефф интерпретирует эту ситуацию в терминах социологии эмоций: представители рабочего класса испытывают чувства неадекватности и отверженности в контексте американской культуры, т.е. фактически имеют низкую самооценку и испытывают постоянное чувство стыда [Scheff, 2003, p. 257]. Таким образом, Шефф идентифицирует состояние стыда по сопутствующим эмоциональным переживаниям.

В настоящее время проводятся социологические исследования, предполагающие анализ стыда как следствие классового положения индивидов. Так, британцы Э. Чейз и Р. Уокер анализируют социальную матрицу чувства стыда [Chase, Walker, 2013]. На основе материалов интервью с людьми, живущими в бедности, они показали, что совместное конструирование

стыда становится фундаментальным условием поведения этих людей. Бедность есть основная «арена» или сфера, способствующая возникновению стыда, особенно в современных западных обществах, где экономический успех олицетворяет собой основную ценность. Чейз и Уокер попытались применить на практике положение Т. Шеффа о влиянии стыда на социальные связи и рассматривали стыд как сочетающий в себе суждения о собственной несостоятельности, ожидаемые оценки этой несостоятельности и чувства униженности, ничтожности, депрессии, опустошенности и смущения вследствие своих неудач. Исследователи обнаружили, что бедные люди, переживающие стыд, дистанцируются от социально сконструированного образа бедного человека; при этом британские социологи рассматривали стыд как преимущественно дисфункциональный социальный факт, провоцирующий разрушение социальных связей, ослабление чувства гордости и общую атомизацию общества [Chase, Walker, 2013, p. 740, 751]. Анализ стыда как состояния, сопряженного с социальным статусом индивида, или фактора, соединяющего микро- и макроуровни общественной жизни [Misheva, 2000, p. 64], можно считать одним из самых перспективных направлений в сфере социологии эмоций.

Н. Элиас отслеживает изменения в развитии личности и трансформацию социальных норм с начала современной цивилизации до настоящего времени (1994). Как и Вебер, Элиас придает особое значение становлению рациональности, но при этом делает акцент на эмоциональных компонентах, особенно на чувстве стыда, которое является своеобразной движущей силой в обществах современного типа [Элиас, 2001]. На основе анализа учебников и пособий по этикету за последние пять столетий он приходит к выводу, что ключевым аспектом современности является рост чувства стыда: люди (особенно женщины) должны стыдиться сами и стыдить других; при этом акцентируется болезненность этого чувства, стремление его избежать или замолчать. Элиас документально подтвердил процесс формирования правил стыда на протяжении XVII–XVIII вв. и показал, что в современных обществах социализация детей автоматически включает подавление стыда. Это находит подтверждение в ряде новейших психологических исследований стыда, согласно которым подавленный стыд может стать причиной других болезненных и сильных эмоций, в особенности гнева и негодования, что чревато большой вероятностью агрессивного поведения [Scheff, Retzinger, 1991].

Элиас показал, что с течением исторического времени меняются содержание эмоций, их интенсивность, длительность, связь с другими эмоциями и правила их выражения. В современных обществах стыд становится менее осознанным, но более интенсивным и длительным; притом что правил для его выражения практически не существует – он подавляется и часто сопровождается гневом и агрессией. Это фактически картина идентичности современного человека с его обостренным индивидуальным сознанием, где чувство стыда как средство внутреннего социального контро-

ля играет важнейшую роль (даже в тех случаях, когда это чувство не признается его субъектом).

Одна из самых известных работ в психологии, посвященных стыду, – работа психолога и практикующего психоаналитика Х. Льюис, анализ которой уместен и в контексте настоящего социологического прочтения данного феномена [Lewis, 1971]. Книга Льюис основана на анализе вербальных транскриптов сотен психоаналитических сессий, где были выбраны ключевые слова, коррелирующие с такими эмоциями, как гнев, горе, страх, тревога и стыд. Льюис обнаружила, что транскрипты интервью содержат маркеры переживания чувства стыда, которые превалируют над маркерами других сильных эмоций. Однако при наличии явных маркеров стыда не все пациенты осознавали, что переживают именно стыд и производные от него эмоции. Льюис идентифицировала контекст, в котором были обнаружены маркеры стыда: это ситуации, в которых пациент чувствовал социальную дистанцию, когда ему казалось, что психотерапевт критикует его, отвергает или принуждает.

Льюис определяет стыд, сравнивая его с чувством вины и отделяя от него, как это делают многие социальные психологи и социологи. Она полагает, что стыд как эмоция более распространен, чем чувство вины. Чувство стыда и чувство вины обостряют индивидуальное самосознание; они возникают в тех случаях, когда люди нарушают моральные правила или им не удается действовать согласно таким правилам. Тем не менее стыд направлен на Я (self) индивида в целом, он заставляет его чувствовать себя маленьким, бесполезным, бессильным и нелюбимым окружающими; стыд ослабляет Я, поскольку является болезненным переживанием, и увеличивает вероятность активизации психологических защитных механизмов [Lewis, 1971, p. 121]. Чувство вины направлено на осознание индивидом своих поступков, которые связаны с нарушением моральных кодов культуры; в этих случаях индивид негативно оценивает свой поступок, но не свое Я. В результате чувство вины, как правило, не является слишком болезненным, оно ведет к другим эмоциям – раскаянию и сожалению, мотивируя признание проступка, просьбу о прощении и попытки восстановить status quo.

Льюис также классифицировала переживания стыда. Первый вид этого переживания – открытый недифференцированный стыд (overt, undifferentiated shame), не всегда ясно осознаваемое чувство, включающее признание психологической боли или страдания. Второй вид стыда – стыд избегаемый (bypassed shame), когда пациент как будто не испытывает и не признает боли, но реагирует на стыд быстрой речью на отвлеченные темы, суетливыми телодвижениями (как у Гофмана). Льюис также обнаружила, что стыд может длиться долгое время, несмотря на то, что эмоции считаются кратковременными переживаниями. Разгадка в том, что пациенты эмоционально реагировали на собственные эмоции, и эти реакции подпитывали изначальные эмоции и способствовали их возобновлению, повы-

шая их интенсивность. Она назвала эти реакции «ловушками чувств» (feeling traps): сначала пациент воспринимает слова психотерапевта как проявление враждебности и критического отношения и испытывает стыд и смущение; защищаясь, он маскирует стыд гневом, а затем стыдится своего гнева.

По мнению Т. Шеффа, который считает себя последователем Льюиса, ее решение представляет интерес для социальных наук, поскольку описывает эмоциональный базис длительной враждебности, депривации, ухода или отчуждения [Scheff, 2003, p. 247]. Вместе с С. Ретцингер Шефф детально проанализировал взаимосвязь стыда и гнева [Retzinger, 1987; Scheff, 1987; Scheff, Retzinger, 1991]. Согласно Т. Шеффу, чувство стыда может оставаться непризнанным и, в силу своей болезненности, подавляться, что активизирует связанные с ним эмоции, поэтому требуются дополнительные усилия для последующего подавления этого чувства. Подавленные эмоции нередко перерождаются (transmutation) в другие, главным образом, в разные виды гнева [Scheff, 1987]. Поэтому чувство вины чаще рассматривают как моральную эмоцию, поскольку оно способствует морально-нормативному поведению, тогда как чувство стыда вызывает деформацию взаимодействий и саморазрушительное поведение. Психологи Дж. Тэнгни и Р. Диаринг утверждают, что стыд представляет собой деструктивную эмоцию, потому что ведет к активизации защитных механизмов и перерождается в гнев, тогда как чувство вины стимулирует проявления симпатии и эмпатии, а также способствует согласованию личных целей с намерениями субъектов взаимодействия. Исследователи отмечают, что «современная мораль акцентирует способность признавать свои неправильные поступки, брать ответственность на себя и исправлять ситуацию. В этом смысле чувство вины представляется более современной адаптивной моральной эмоцией» [Tangney, Dearing, 2002, p. 393–394].

В связи с этим следует заметить, что чувство вины и чувство стыда часто предстают как неразличимые и переходящие друг в друга эмоциональные состояния. Поэтому говорить о стыде как о преимущественно дисфункциональной эмоции не вполне корректно. Дж. Тёрнер полагает, что стыд не обязательно атакует целостное Я индивида [Turner, 2002]. Чувство стыда может быть связано с ситуативной идентичностью; в таком случае оно переживается как менее болезненное. Сходным образом, и чувство вины не всегда связано только с определенным поведением в данной ситуации; оно может продуцировать и другие эмоции, причем оно часто сопровождается чувством стыда. Тэнгни и Диаринг выделяют «неадекватное болезненное чувство вины» (maladaptive guilt), которое ведет к чувству стыда [Tangney, Dearing, 2002, p. 398]; следовательно, и чувство стыда может служить внутренним механизмом социального контроля. Более того, Дж. Брейтвейт и С. Шотт пришли к выводу, что стыд может стимулировать нормативное поведение, генерирующее солидарность [Braithwaite, 1989; Shott, 1979]. Брейтвейт пишет о «реинтегративном» чувстве стыда,

которое способствует сдерживанию криминального поведения, поскольку неодобрение со стороны значимых других активизирует стыд и раскаяние, что содействует социальной реинтеграции индивида.

Тэнгни и Диаринг полагают, что стыд имел существенное значение на ранних стадиях социальной эволюции, но с усложнением общества усложнились сознание и эмоциональность индивида, а также его способность принимать на себя разные роли и сопереживать чужой беде. Иными словами, стыд – это чувство, характерное для прошлого, чувство вины – ведущая эмоция настоящего [Tangney, Dearing, 2002, p. 394]. Согласно Тёрнеру и Стетс, такое заключение наивно, поскольку во всех типах обществ и переживание вины, и чувство стыда являются внутренними механизмами социального контроля и служат поддержанию приверженности индивида группам и моральным кодам культуры [Handbook of the sociology of emotions, 2006, p. 553]. Чувство стыда низкой интенсивности оперирует как механизм внутреннего контроля, способствующий сохранению социального порядка. Это согласуется с выводами Т. Шеффа, который утверждает, что если стыд признается, индивиды имеют возможность перестроить свои отношения с другими и, таким образом, не нарушать солидарность в группе [см.: Scheff, 2000].

Т. Шефф отталкивается от определения стыда Х. Льюис, которая предположила, что стыд возникает тогда, когда под угрозой оказываются социальные связи (именно этого боялись все ее пациенты). Поэтому Шефф определяет стыд как телесный и / или ментальный ответ на угрозу потери связи с другим (и), как чувство, следующее за внутренним монологом, в ходе которого каждый индивид рассматривает себя с точки зрения другого [Scheff, 2003, p. 254]. Эмоция стыда сигнализирует о выходе за пределы моральных норм и запретов, поэтому она является ключевой для анализа человеческого поведения: это ведущая эмоция, которая имеет множество функций. Благодаря психологическим исследованиям Льюис можно скорректировать и социологическое понимание стыда. Например, типичный индивид Гофмана, который стремится представить свое Я в позитивном свете, находится в состоянии постоянной тревоги: он не уверен в своих социальных связях, поскольку все время пытается избежать стыда или преодолеть его. С этой точки зрения теория смущения Гофмана может послужить адекватным способом изучения разрывов или ослабления социальных связей. Мужчины – представители рабочего класса в исследовании Р. Сеннета и Дж. Кобба испытывают стыд в открытой и явственной его форме, что предполагает отчуждение от других людей (это предположение нашло подтверждение в ряде современных исследований; см.: [Chase, Walker, 2013]).

Под стыдом Шефф подразумевает целое семейство, или класс, эмоций, который включает разные виды стыда и родственные ему чувства (смущение, унижение, робость, ощущение провала, неадекватности, неполноценности). Перечисленные эмоции могут служить маркерами стыда,

их объединяет осознание вероятной угрозы сохранению социальных связей [Scheff, 2003, p. 255]. Психологи и социологи составили особый список телесных жестов и кодовых слов, которые служат индикаторами стыда [см., например: Retzinger, 1991, 1995; Scheff, 2011], что позволяет распознавать стыд в разных ситуациях и контекстах.

Шефф рассматривает стыд как наиболее социальную из всех человеческих эмоций. Стыд связан с другими эмоциями и цепочками эмоций; он регулирует выражение гнева, страха, любви, горя (например, в той степени, в которой люди их стыдятся) [Scheff, 2003, p. 254]. Чувство стыда является одним из агентов вытеснения или подавления различных эмоций и переживаний. В таком понимании это переживание отличается от обычного понимания стыда как позора и бесчестия. Между тем стыд в большей степени связан с такими характеристиками поведения, как осмотрительность и осторожность; его возникновение не всегда осознается, хотя он, так или иначе, сопровождает практически каждое социальное взаимодействие. Возможно, самая распространенная форма стыда – это смущение, описанное Гофманом. Таким образом, стыд имеет различные уровни и длительность – смущение (слабое, переходное ощущение), стыд (сильное и более длительное переживание) и унижение (очень глубокое и длительное эмоциональное состояние), которые свидетельствуют о характере и перспективах социальных связей. Стыд теснейшим образом связан с чувством вины и resentimentом (последний большей частью является следствием стыда и гнева); стыд скрывается за враждебностью по отношению к определенной группе людей. Чувство вины, как правило, сопровождает стыд или маскирует его и при этом осуществляет жизненно важную социальную функцию, заставляя индивидов раскаиваться и исправлять ситуацию. Шефф полагает, что идея Р. Бенедикт о том, что современные общества имеют эмоциональную культуру, в которой преобладает чувство вины, указывает на отношения между чувствами стыда и вины [ibid., p. 255]. Можно заключить, что переход от традиционных коллективистских обществ к современным индивидуалистическим социальным образованиям означает возрастание и распространение чувства вины как типичного переживания в ситуациях, связанных с моральным порядком общества. Но это не означает, что чувство стыда теряет свое значение, уменьшается, не входит в процесс социализации. Стыд не исчезает, он становится невидимым, менее осознанным в контексте культурных представлений, что и продемонстрировал Н. Элиас в своем исследовании истории этикета.

Большинство из авторов, упомянутых выше, – это скорее социальные психологи, чем социологи. Но если принять во внимание ключевые моральные эмоции, в терминах которых многие антропологи и социологи определяли содержание культуры, то становится очевидным, что в современном индивидуалистическом урбанизированном и плотно населенном обществе индивиды действительно становятся одиночками и склонны

скорее испытывать чувство вины, чем переживание стыда, которое они скрывают или не вполне осознают. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что чувство стыда исследуют по преимуществу психологи, которые традиционно занимались анализом и дифференциацией эмоций и чувств. Тем не менее для адекватного понимания природы стыда все же необходимо связать это чувство с социальными структурами, сообществами, институциональными контекстами. Возникает ли чувство стыда большей частью только в сообществах, к которым принадлежит индивид (т.е. стыдится ли он только своих, тех, кого знает и чьим мнением дорожит), или стыд рождается в контексте взаимодействия с представителями других (чужих) сообществ? Негативные эмоции часто переплетаются с существующими в культуре предрассудками и усиливают чувства враждебности.

Таким образом, повторяющееся в обществе подавление стыда, гнева и прочих негативных эмоций может послужить причиной коллективного поведения, которое получит объяснение посредством моральных суждений, что делает социально приемлемыми интенсивные эмоции гнева и мести, направленные на защиту этих представлений. С этих позиций Шефф и Ретцингер проанализировали историю зарождения нацизма в Германии [см.: Scheff, Retzinger, 1991]. Состояние предвоенного немецкого общества, по их мнению, стимулировало распространение в обществе стыда и унижения, что стимулировало желание начать войну и обусловило массовые уничтожения других народов, оправданных в терминах действовавшей морали.

Теоретические модели эмоциональных состояний, рассмотренные выше, исходили из предпосылки о том, что стыд есть наиважнейшая социальная эмоция, которая связывает личностную идентичность в целом, или наиболее существенную ее часть, с другими, с группой, с обществом, предстающими как свод моральных установлений. Это моральный барометр, показывающий состояние социальных связей. По мнению Т. Шеффа, социология и психология моральных эмоций, особенно комплексный анализ стыда и вины, являются нужными и перспективными направлениями социального знания [Scheff, 2003, p. 257]. Он полагает также, что настало время для систематического и эмпирического изучения влияния индивидуального и коллективного стыда на социальную солидарность и отчуждение [Scheff, 2011, p. 347]. Следует добавить к этому, что стыд необходимо рассматривать в его коллективных аспектах, как связанный с классовой, гендерной, этнической и расовой принадлежностью его субъектов, как исторически меняющееся явление (как это делают Н. Элиас, Р. Сеннет и многие современные авторы [Barbalet, 1999; Howard-Hassman, 1995], особенно в рамках структурных социологических теорий эмоций [см. об этом: Симонова, 2009]).

Заключение: Социология морали и моральные эмоции

В настоящее время в социологии наблюдается возрождение интереса к морали и активное развитие такой отрасли социального знания, как социология эмоций. С нашей точки зрения, именно работы в жанре социологии эмоций в последние десятилетия самым непосредственным образом способствовали изменению исследовательского фокуса многих социальных аналитиков, переключивших свое внимание с морально-кризисных явлений, отклонений или конфликтов на феномены морали и социальной солидарности, т.е. социальные силы и факторы, отвечающие задаче общественного единения. Надо заметить, что задачи социологов и социологически ориентированных социальных психологов в данном случае совпадают: проводятся междисциплинарные исследования, психологи и социологи выходят за дисциплинарные рамки своей науки, стремясь к комплексному осмыслению роли эмоций в человеческом поведении, влияния эмоциональной культуры и природы современного общества на социальные поступки индивидов и групп [см., например: Hitlin, 2003, 2008; Hitlin, Vaisey, 2013]. Социологи начинают с изучения процессов трансформации морального порядка общества, его индивидуалистической морали и путем анализа эмоций и структуры личностной идентичности переходят к теме моральных представлений. Эта тенденция особенно ярко проявляется в современных версиях символического интеракционизма и близких ему направлениях социальной психологии, в рамках которых разрабатываются теории идентичности [см.: Turner, 2011; Burke, Stets, 2009; Stryker, 2004]. Психологи же сосредоточиваются преимущественно на исследовании вариативности индивидуального поведения в отношении моральных представлений, а также эмоций и идентичности [см., например: Testing a social-cognitive model of moral behavior, 2009; Blasi, 2004]. Такие исследования отражают характер современного морального индивидуализма в рамках атомизированного общества, где доминирует вопрос о том, *как* возможен социальный моральный порядок и *как* функционируют индивидуальный внутренний моральный контроль и самоконтроль.

Как писал И.С. Кон, «голос совести» – это не какая-то автономная психическая инстанция вроде фрейдовского супер-эго, а воспитанная потребность личности соотносить свои действия с определенными идеями и принципами, с которыми она идентифицирует собственное «Я» и на которых зиждется ее самоуважение» [Кон, 1979, с. 88]. Внутренние механизмы социального контроля представляют собой аффективно-когнитивные комплексы, которые лежат в основе моральных суждений и морального выбора в той или иной ситуации. В качестве таких комплексов выступают сложные моральные эмоции, в том числе и прежде всего – чувство стыда и чувство вины. С нашей точки зрения, для исследователя крайне важно избавиться от противопоставления «иррационального» (эмоции) «рациональному» (суждения, разум, когниции). Эмоции, чувства, состояния сейчас трактуются в социологии как сложные социокультурные образования,

которые приобретаются и модифицируются в процессе социализации и подлежат исторической трансформации. Моральные эмоции сопровождают человека постоянно, однако сами по себе они не объясняют его поведения, а лишь сигнализируют о соответствии / несоответствии поступков или намерений индивида той или иной системе морали.

В современном обществе принято рассуждать о человеке в терминах его идентичности, что представляется вполне оправданным с учетом многочисленных данных эмпирических исследований, посвященных моральным эмоциям. Чем тверже индивиды уверены в своей моральности, тем более эмоционально они реагируют на нарушение норм (включая собственное поведение), особенно в ситуациях, толкуемых как моральные. Поэтому наиболее существенными, с точки зрения социологов и психологов, занимающихся эмоциональными переживаниями, становятся чувства стыда и вины. Хотя в принципе каждая эмоция может стать моральной, если она возникает в контекстах, определяемых в терминах морали, именно стыд и вина связаны с глубинными механизмами социального взаимодействия и морального порядка и именно они зачастую связывают людей, ограничивают их поведение, «работают» на групповую мораль или, при определенных условиях, способствуют ее разрушению.

Таким образом, можно сказать, что в обширном списке эмоциональных состояний основными моральными эмоциями являются чувство вины и чувство стыда. Эти чувства изначально описывались в терминах их сравнения либо взаимной зависимости; они определяют самые существенные аспекты моральной идентичности в общей структуре личностной идентичности индивида. Хотя исследования этих эмоций часто носят социально-психологический характер, традиция толкования стыда собственно социологией связана с акцентированием социального контекста, взаимодействия, социальной идентичности (в том числе – анализ стыда с учетом классового положения его субъектов, а также различных форм социальной дискриминации и неравенства). Поэтому стыд как одно из важнейших социальных чувств может иметь своим последствием расхождение, разобщение, разрушение социальной солидарности и атомизацию [Chase, Walker, 2013, p. 752]. Стыд связан со страхом утраты той или иной социальной связи, что чревато «социальной смертью» индивида, равнозначно реальному или социальному самоубийству [см.: Misheva, 2000, p. 59–60; Scheff, 2000, p. 134]. Тем не менее чувство стыда нередко укрепляет отношения, реинтегрирует индивидов в сообщества, способствует новому определению личностной идентичности в соответствии с моральными стандартами группы или общества в целом.

Как было показано выше, антропологи, социологи и психологи использовали противопоставление эмоций стыда и вины как принципы общей типологии культур [см., например: Бенедикт, 2004; Misheva, 2000; Piers, Singer, 1971; Lynd, 1961; Dodds, 1951]. Стыд и вина, таким образом, выступают не только как эмоциональные переживания, связанные с раз-

ными моральными санкциями, но мыслятся как детерминанты культурного облика. «Культура стыда» характерна скорее для традиционных обществ, где мораль трактуется как нечто надиндивидуальное, независимое от воли и поступков отдельного человека. «Культура вины» более типична для обществ современного типа, где индивиды выступают как самостоятельные моральные агенты, а категория совести действует как внутренняя моральная инстанция [см. об этом подробнее: Дробницкий, 1974]. Хотя последняя модель относительно условна и ограничена неопределенностью изначальных понятий стыда и вины, характер современного общества побуждает социологов говорить о состоянии его морального упадка, об ослаблении и даже разрушении социальных связей. Сами индивиды в рамках современной культуры выступают как самостоятельные агенты моральных действий, которые формируют моральную идентичность как доминанту общей структуры идентичности личностной. Облик современной культуры и морального порядка предстает как содержащий в себе особую эмоциональную культуру, в контексте которой осознается, переживается, акцентируется и даже превозносится чувство вины, тогда как стыд считается негативной эмоцией и затушевывается. Индивидуализм современного общества предполагает усложнение интернализованных моральных санкций, однако в разных обществах этот процесс протекает неравномерно, притом что традиционные формы социального контроля (в данном случае – чувство стыда) продолжают функционировать. Индивиды в современном обществе совершают те или иные моральные поступки, переживая и осознавая преимущественно чувство вины, но не стыда, характерного для сплоченных сообществ и традиционного общества в целом. Можно утверждать, что историческое определение стыда претерпело изменения. Теперь Я, по Гофману, становится «священным объектом», поэтому потеря уважения и самоуважения вызывает страх, побуждает избегать переживаний стыда, который является важнейшей эмоцией, вплетенной в моральный порядок общества. Поэтому можно сказать, что в современной эмоциональной культуре складывается исторически новое соотношение чувства стыда и чувства вины как моральных регуляторов поведения индивидов, о чем свидетельствуют социально-психологические, социологические и социально-исторические исследования последних лет.

Список литературы

1. *Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В.* Социология морали: Нормативно-ценностные системы // СоцИс. – М., 2003. – № 5. – С. 8–20.
2. *Батыгин Г.С.* Как невозможна социология морали // Оправдание морали: Сб. научных статей к 70-летию профессора Ю.В. Согомонова / Отв. ред. В.И. Бакштановский, А.Ю. Согомонов. – М.; Тюмень: Экспресс, 2000. – С. 108–119.
3. *Бенедикт Р.* Хризантема и меч: Модели японской культуры. – М.: РОССПЭН, 2004. – 256 с.
4. *Дробницкий О.Т.* Понятие морали. – М.: Наука, 1974. – 388 с.

5. Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. – М.: Юрист, 1996. – Т. 2: Созерцание жизни. – С. 266–291.
6. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2011. – 461 с.
7. Кон И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры // Социальная психология личности / Под ред. М.И. Бобновой, Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1979. – С. 85–113.
8. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000. – 320 с.
9. Лотман Ю.М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Сост. Р.Г. Григорьева. – СПб.: Академический проект, 2002. – С. 434–439.
10. Парсонс Т. Система современных обществ / Под ред. М.С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 270 с.
11. Симонова О.А. К формированию социологии идентичности // Социологический журнал. – М., 2008. – № 3. – С. 45–62.
12. Симонова О.А. Современная социология эмоций и проблема социальной солидарности: Основные направления исследований // Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2011. – С. 95–142.
13. Симонова О.А. Социологическое исследование эмоций в современной американской социологии: Концептуальные вопросы // Социологический ежегодник, 2009: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; ГУ-ВШЭ. Кафедра общей социологии; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2010. – С. 199–225.
14. Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997. – 351 с.
15. Соколов В.М. Социология морали – реальная или гипотетическая? // СоцИс. – М., 2004. – № 8. – С. 12–22.
16. Фрейд З., Брейер Й. Исследования истерии // Фрейд З. Собрание сочинений: В 26 т. – СПб.: Восточно-европейский институт психоанализа, 2005. – Т. 1. – 466 с.
17. Шёк Г. Зависть: Теория социального поведения. – М.: ИРИСЭН, 2008. – 537 с.
18. Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. – М., СПб: Университетская книга, 2001. – Т. 2. – 382 с.
19. Ahmed S. Collective feelings: Or, the impressions left by others // Theory, culture a. society. – L., 2004 b. – Vol. 21, N 2. – P. 25–42.
20. Ahmed S. Cultural politics of emotion. – L.: Routledge, 2004 a. – VII, 224 p.
21. Alexander J. Morality as a cultural system: On solidarity civil and uncivil // Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2011. – С. 180–185.
22. Aquino K., Reed A. The self-importance of moral identity // J. of personality a. social psychology. – Wash., 2002. – Vol. 83, N 6. – P. 1423–1440.
23. Are shame, guilt and embarrassment distinct emotions? / Tangney J.P., Miller R.S., Flicker L., Barlow D.H. // J. of personality a. social psychology. – Wash., 1996. – Vol. 70, N 6. – P. 1256–1269.
24. Averill J.R. Illusions of anger // Aggression and violence: Social interactionist perspectives / Ed. by R.B. Felson, J.T. Tedesci. – Wash.: APA press, 1993. – P. 171–192.
25. Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – IX, 210 p.
26. Bauman Z. Life in fragments: Essays in postmodern morality. – Cambridge: Polity, 1995. – VI, 293 p.
27. Bauman Z. Modernity and the Holocaust. – Cambridge: Polity, 1989. – XIV, 224 p.

28. *Bauman Z.* Postmodern ethics. – Cambridge: Polity, 1993. – VI, 255 p.
29. *Bell D.* The cultural contradictions of capitalism. – N.Y.: Basic books, 1976. – XVI, 301 p.
30. *Blasi A.* Moral functioning: Moral understanding and personality // Moral development, self and identity / Ed. by D.K. Lapsley, D. Narvaez. – Mahwah (NJ): Erlbaum associates, 2004. – P. 335–348.
31. *Blasi A.* Moral identity: Its role in moral functioning // Morality, moral behavior and moral development / Ed. by W.M. Kurtines, J.L. Gewirtz. – N.Y.: Wiley, 1984. – P. 128–139.
32. *Braithwaite J.* Crime, shame and reintegration. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989. – VIII, 226 p.
33. *Burke P.J.* Identity processes and social stress // American sociological rev. – Wash., 1991. – Vol. 56, N 6. – P. 836–849.
34. *Burke P.J., Stets J.E.* Identity theory. – N.Y.: Oxford univ. press, 2009. – XIII, 256 p.
35. *Cantó-Milà N.* Gratitude – invisibly webbing society together // J. of classical sociology. – L., 2012. – Dec. 5. – P. 1–12.
36. *Chase E., Walker R.* The co-construction of shame in the context of poverty: Beyond a threat to the social bond // Sociology. – L., 2013. – Vol. 47, N 4. – P. 739–754.
37. *Clark C.* Misery and company: Sympathy in everyday life. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1998. – XII, 316 p.
38. *Collins R.* Interaction ritual chains. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 2004. – XX, 439 p.
39. *Collins R.* Stratification, emotional energy and the transient emotions // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany (NY): SUNY press, 1990. – P. 27–57.
40. *Collins R.* The role of emotion in social structure // Approaches to emotion / Ed. by K.R. Scherer, P. Ekman. – Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1984. – P. 385–397.
41. *Cooley C.H.* Human nature and social order. – N.Y.: Scribner, 1922. – X, 460 p.
42. *Davis M.H.* Empathy: A social psychological approach. – Boulder (CO): Westview, 1996. – X, 260 p.
43. *Dodds E.R.* The Greeks and the irrational. – Berkeley: Univ. of California press, 1951. – IX, 327 p.
44. *Durkheim E.* Elementary forms of religious life. – Oxford: Oxford univ. press, 2001. – 358 p.
45. *Durkheim E.* Le suicide: Etude sociologique. – P.: Alcan, 1897. – 462 p.
46. *Eisenberg N., Miller P.* Empathy, sympathy and altruism: Empirical and conceptual links // Empathy and its development / Ed. by N. Eisenberg, J. Strayer. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1987. – P. 292–311.
47. *Elias N.* The civilizing process. – N.Y.: Pantheon, 1978. – XVIII, 310 p.
48. *Erikson E.* Childhood and society. – N.Y.: Norton, 1950. – 397 p.
49. *Etzioni A.* On social and moral revival // J. of political philosophy. – Cambridge (MA): Blackwell, 2001. – Vol. 9, N 3. – P. 356–371.
50. *Etzioni A.* The spirit of community: The reinvention of American society. – L.: Simon & Schuster, 1994. – VIII, 323 p.
51. *Freud S., Breuer J.* Studies on hysteria. – N.Y.: Avon, 1966. – 379 p.
52. *Frimer J.A., Walker L.J.* Reconciling the self and morality: An empirical model of moral centrality development // Developmental psychology. – Wash., 2009. – Vol. 45, N 6. – P. 1669–1681.
53. *Goffman E.* Asylums: Essays on the social situation on mental patients and other inmates. – Garden City (NY): Anchor books, 1961. – 386 p.
54. *Goffman E.* Embarrassment and social organization // Goffman E. Interaction ritual. – N.Y.: Anchor books, 1967. – P. 97–112.
55. *Goffman E.* Stigma: Notes on the management of spoiled identity. – Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1963. – 147 p.

56. *Gordon S.L.* Social structural effects on emotions // Research agendas in the sociology of emotions / Ed. by T.D. Kemper. – Albany (NY): SUNY press, 1990. – P. 180–203.
57. *Habits of the heart: Individualism and commitment in American life* / Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., Tipton S.M. – Berkeley: Univ. of California press, 1985. – XIII, 355 p.
58. *Haidt J.* *Morality* // Perspectives on psychological science. – Malden (MA): Blackwell, 2008. – Vol. 3, N 1. – P. 65–72.
59. *Haidt J.* The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment // *Psychological rev.* – Wash., 2001. – Vol. 108, N 4. – P. 814–834.
60. *Haidt J.* The moral emotions // *Handbook of affective sciences* / Ed. by R.J. Davidson, K.R. Scherer, H.H. Goldsmith. – N.Y.: Oxford univ. press, 2003. – P. 852–870.
61. *Haidt J.* The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. – N.Y.: Pantheon books, 2012. – XVII, 419 p.
62. *Haidt J., Graham J.* Planet of the Durkheimians, where community, authority and sacredness are foundations of morality // *Social and psychological bases of ideology and system justification* / Ed. by J. Jost, A.C. Kay, H. Thorisdottir. – N.Y.: Oxford univ. press, 2009. – P. 371–401.
63. *Hammond M.* Affective maximization: A new macro-theory in the sociology of emotions // *Research agendas in the sociology of emotions* / Ed. by T.D. Kemper. – Albany (NY): SUNY press, 1990. – P. 58–81.
64. *Handbook of the sociology of emotions* / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. – N.Y.: Springer, 2006. – XIII, 657 p.
65. *Handbook of the sociology of morality* / Ed. by S. Hitlin, S. Vaisey. – N.Y.: Springer, 2010. – XIII, 595 p.
66. *Hardy S.A.* Identity, reasoning and emotion: An empirical comparison of three sources of moral motivation // *Motivation a. emotions.* – N.Y., 2006. – Vol. 30, N 3. – P. 207–215.
67. *Hechter M.* Principles of group solidarity. – Berkeley: Univ. of California press, 1987. – XV, 219 p.
68. *Hitlin S.* Moral selves, evil selves: The social psychology of conscience. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. – X, 269 p.
69. *Hitlin S.* Values as the core of personal identity: Drawing links between two theories of self // *Social psychology quart.* – Evanston (IL), 2003. – Vol. 66, N 2. – P. 118–137.
70. *Hitlin S., Vaisey S.* The new sociology of morality // *Annual rev. of sociology.* – Palo Alto (CA), 2013. – Vol. 39. – P. 51–68.
71. *Hochschild A.R.* Emotion work, feeling rules and social structure // *American j. of sociology.* – Chicago (IL): Chicago univ. press, 1979. – Vol. 85, N 3. – P. 551–575.
72. *Hoffman M.L.* Empathy and moral development: Implications for caring and justice. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2000. – IX, 331 p.
73. *Hookway N.* Emotions, body and self: Critiquing moral decline sociology // *Sociology.* – L., 2013. – Vol. 47, N 4. – P. 841–857.
74. *Horney K.* Neurosis and human growth. – N.Y.: Norton, 1950. – 391 p.
75. *Howard-Hassman R.E.* Human rights and the search for community. – Boulder (CO): Westview, 1995. – X, 255 p.
76. *Kardiner A., Linton R.* The individual and his society. – N.Y.: Columbia univ. press, 1939. – XXVI, 503 p.
77. *Kemper T.D.* A social interactional theory of emotions. – N.Y.: Wiley, 1978. – IX, 459 p.
78. *Kemper T.D.* Predicting emotions from social relations // *Social psychology quart.* – Evanston (IL), 1991. – Vol. 54, N 4. – P. 330–342.
79. *Lasch Ch.* The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations. – N.Y.: Norton, 1979. – XVIII, 268 p.
80. *Lawler E.J.* An affect theory of social exchange // *American j. of sociology.* – Chicago (IL): Chicago univ. press, 2001. – Vol. 107, N 2. – P. 321–352.

81. *Lewis H.B.* Shame and guilt in neurosis. – N.Y.: International univ. press, 1971. – 525 p.
82. *Lynd H.M.* On shame and the search for identity. – N.Y.: Science editions, 1961. – 318 p.
83. *MacIntyre A.* After virtue: A study in moral theory. – L.: Duckworth, 1985. – XI, 286 p.
84. *McCall G.J., Simmons J.L.* Identities and interactions. – N.Y.: Free press, 1968. – IX, 278 p.
85. *Misheva V.I.* Shame and guilt: Sociology of a poetic system. – Uppsala: Uppsala univ. press, 2000. – 358 p.
86. *Piers G., Singer M.B.* Shame and guilt: A psychoanalytic and a cultural study. – N.Y.: Norton, 1971. – 112 p.
87. *Rawls A.W.* Social order as moral order // Handbook of the sociology of morality / Ed. by S. Hitlin, S. Vaisey. – N.Y.: Springer, 2010. – P. 95–122.
88. *Reiff Ph.* The triumph of the therapeutic: Uses of faith after Freud. – N.Y.: Harper & Row, 1987. – XVI, 274 p.
89. *Retzinger S.M.* Identifying anger and shame in discourse // American behavioral scientist. – Los Angeles (CA), 1995. – Vol. 38, N 8. – P. 1104–1113.
90. *Retzinger S.M.* Resentment and laughter: Video studies of the shame-rage spiral // The role of shame in symptom formation / Ed. by H.B. Lewis. – Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1987. – P. 151–181.
91. *Retzinger S.M.* Violent emotions. – Newbury Park (CA): SAGE, 1991. – XXIII, 238 p.
92. *Rosenberg M.* Reflexivity and emotions // Social psychology quart. – Evanston (IL), 1990. – Vol. 53, N 1. – P. 3–12.
93. *Scheff T.J.* Microsociology. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1990. – XVI, 214 p.
94. *Scheff T.J.* Shame and the social bond: A sociological theory // Sociological theory. – Wash., 2000. – Vol. 18, N 1. – P. 92–112.
95. *Scheff T.J.* Shame in self and society // Symbolic interaction. – Berkeley (CA), 2003. – Vol. 26, N 2. – P. 239–262.
96. *Scheff T.J.* Social-emotional world: Mapping a continent // Current sociology. – L., 2011. – Vol. 59, N 3. – P. 347–361.
97. *Scheff T.J.* The shame-rage spiral: A case study of interminable quarrel // The role of shame in symptom formation / Ed. by H.B. Lewis. – Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1987. – P. 109–149.
98. *Scheff T.J.* Working class emotions and relationships: Secondary analysis of Sennett, Cobb and Willis // Toward a sociological imagination: Bridging specialized fields / Ed. by B. Phillips, H. Kincaid, T.J. Scheff. – Lanham (MD): Univ. press of America, 2002. – P. 263–292.
99. *Scheff T.J., Retzinger S.M.* Violence and emotions: Shame and rage in destructive conflicts. – Lexington (MA): Lexington books, 1991. – XXIV, 207 p.
100. *Sennett R., Cobb J.* The hidden injuries of class. – N.Y.: Vintage books, 1972. – 275 p.
101. *Shott S.* Emotion and social life: A symbolic interactionist analysis // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1979. – Vol. 84, N 6. – P. 1317–1334.
102. *Smith H.W., Schneider A.* Critiquing models of emotions // Sociological methods a. research. – Los Angeles (CA), 2009. – Vol. 37, N 4 – P. 560–589.
103. *Stets J.E., Burke P.J.* New directions in identity control theory // Social identification in groups / Ed. by Sh. R. Thye, E.J. Lawler. – Bingley: Emerald, 2005. – P. 43–64. – (Advances in group processes; vol. 22).
104. *Stets J.E., Carter M.J.* A theory of the self for the sociology of morality // American sociological rev. – Los Angeles (CA), 2012. – Vol. 7, N 1. – P. 120–140.
105. *Stets J.E., Carter M.J.* The moral identity: A principle level identity // Purpose, meaning and action: Control systems theories in sociology / Ed. by K. McClelland, T.J. Fararo. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006. – P. 293–310.
106. *Stryker Sh.* Integrating emotion into identity theory // Theory and research on human emotions / Ed. by J.H. Turner. – Bingley: Emerald, 2004. – P. 1–23. – (Advances in group processes; vol. 21).

107. Suffering and evil: The Durkheimian legacy: Essays in commemoration of the 90 th anniversary of Durkheim's death / Ed. by W.S.F. Pickering, M. Rosati. – N.Y.; Oxford: Durkheim press: Berghahn books, 2008. – VI, 195 p.
108. *Summers-Effler E.* Defensive strategies: The formation and social implications of patterned self-destructive behavior // Theory and research on human emotions / Ed. by J.H. Turner. – Bingley: Emerald, 2004. – P. 309–325. – (Advances in group processes; vol. 21).
109. *Swidler A.* Talk of love: How culture matters. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2001. – X, 300 p.
110. *Tangney J.P.* Shame and guilt in interpersonal relationships // Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment and pride / Ed. by J.P. Tangney, K.W. Fischer. – N.Y.: Guilford, 1995. – P. 31–48.
111. *Tangney J.P., Dearing R.L.* Shame and guilt. – N.Y.: Guilford, 2002. – XVI, 272 p.
112. Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality / Aquino K., Freeman D., Reed A., Lim V.K.G., Felps W. // J. of personality a. social psychology. – Wash., 2009. – Vol. 97, N 1. – P. 123–141.
113. *Thamm R.* Towards a universal power and status theory of emotion // Theory and research on human emotions / Ed. by J.H. Turner. – Bingley: Emerald, 2004. – P. 189–222. – (Advances in group processes; vol. 21).
114. The CAD triad hypothesis: A mapping between three moral emotions (contempt, anger, disgust) and three moral codes (community, autonomy, divinity) / Rozin P., Lowery L., Imada S., Haidt J. // J. of personality a. social psychology. – Wash., 1999. – Vol. 76, N 4. – P. 574–586.
115. The moral identity, status, moral emotions and normative order / Stets J.E., Carter M.J., Harrod M.M., Cerven Ch., Abrutyn S. // Social structure and emotion / Ed. by J. Clay-Warner, D.T. Robinson. – San Diego (CA): Elsevier, 2008. – P. 227–251.
116. The sociology of Georg Simmel / Ed. by K.H. Wolff. – N.Y.: Free press, 1964. – LXIV, 445 p.
117. *Thoits P.* Managing the emotions of others // Symbolic interaction. – Berkeley (CA), 1996. – Vol. 19, N 2. – P. 85–109.
118. *Trivers R.L.* The evolution of reciprocal altruism // Quarterly rev. of biology. – Chicago (IL), 1971. – Vol. 46, N 1. – P. 35–57.
119. *Turner J.H.* Extending the symbolic interactionist theory of interaction processes: A conceptual outline // Symbolic interaction. – Berkeley (CA), 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 330–339.
120. *Turner J.H.* Face-to-face: Towards a sociological theory of interpersonal behavior. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2002. – 271 p.
121. *Turner J.H.* Natural selection and the evolution of morality in human societies // Handbook of the sociology of morality / Ed. by S. Hitlin, S. Vaisey. – N.Y.: Springer, 2010. – P. 125–145.
122. *Turner J.H., Stets J.E.* The sociology of emotions. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005. – XVIII, 349 p.
123. *Wentworth W.M., Yardly D.* Deep sociality: A bioevolutionary perspective on the sociology of human emotions // Social perspectives on emotion / Ed. by D.D. Franks, W.M. Wentworth, J. Ryan. – Greenwich (CT): JAI press, 1994. – P. 21–55.

М.А. Козлова

**КУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ МОРАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ И ОЦЕНОК,
ТРАНСЛИРУЕМЫЕ УЧЕБНИКАМИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ,
И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД¹**

Моральный облик российского общества и качество межличностных отношений, как свидетельствуют уже на протяжении двух десятилетий результаты опросов, являются сегодня болевыми точками массового сознания, источником тревожности и озабоченности для многих россиян [Воловикова, 2005; Осипов, 2009; Рукавишников, Эстер, Халман, 1998; Юрвич, Ушаков, 2009]. Есть ли основания для развития панических настроений и соответствующих обвинений в адрес семьи, СМИ и, конечно, школы или проблема состоит не в снижении значимости и действенности морали как таковой, а в изменении неких базовых оснований морали, воспринимаемых носителями иных моральных норм как исчезновение морали вообще?

Морально-нравственные системы, сформировавшиеся в разных исторических и социокультурных условиях, существенно отличаются друг от друга. Однако в них могут быть выявлены и универсальные компоненты: взаимопомощь, верность, почитание власти (несмотря на различия в основаниях и формах легитимации власти), ограничения физического насилия, регулирование питания и сексуальности. Что же делает возможным формирование этих универсалий и что создает почву для различий?

Поиск ответа на этот вопрос осложняется неоспоримым фактом укорененности психологии морали, как и психологии вообще, в западной культуре. Классику психологии морали составляют работы Ж. Пиаже, Л. Кольберга и Дж. Реста [Kohlberg 1963; Piaget, 1932; A Neo-Kohlbergian

¹ Статья подготовлена РГНФ при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках исследовательского проекта «Интеграция социобиологических и социологических literov в исследовании эволюционных оснований морали и альтруизма (в приложении к российским сообществам)», а также при поддержке РГНФ (проект № 11-06-00275 а); программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ: проект «Социокультурные факторы взаимной адаптации мигрантов и принимающего населения в регионах России» 2014 г.

approach to morality research, 2000], посвященные вопросам развития морального сознания и поведения индивида. Так, в соответствии с теорией Л. Кольберга, моральное развитие проходит три стадии, суть которых определяется степенью принятия норм справедливости. На «доконвенциональном» уровне человек при оценке моральности поступка исходит из оценки полезности действия для удовлетворения собственных потребностей; на «конвенциональном» уровне индивид начинает расценивать социальные нормы как основу сохранения целостности общества; на высшем – «постконвенциональном» – руководствуется уже не требованиями конкретной социальной системы, а обезличенными нравственными нормами [Kohlberg, 1984]. Понимание относительности норм и зависимости их содержания от групповой принадлежности приводит человека к повышению значимости индивидуальных прав, и в результате он осознанно выбирает единственную систему правил и начинает руководствоваться только ею.

Первый удар по авторитету классической универалистской теории был нанесен серией исследований, нацеленных на понимание гендерных различий морального развития, отраженных в модели моральной социализации женщин К. Гиллиган [Gilligan, 1982]. По ее мнению, смысловая ось морального развития женщин связана не с направленностью на соблюдение правил, а со степенью распределения внимания между соблюдением собственных интересов и заботой о других. Впрочем, концепция Гиллиган, хотя и подвергла сомнению возможность существования единственного и общего для всех пути морального развития, оставалась по-прежнему в рамках, определяемых западными индивидуалистическими ценностями.

Эта ориентированность психологии морали на ценности западной культуры, или, как характеризует ситуацию американский психолог Дж. Хайдт, пребывание во власти либерально-ориентированных исследований, привела к сужению области морали до вопросов «причинение вреда / забота» и «справедливость / взаимность / правосудие» [Haidt, Graham, 2007]. Обнаруженные позднее не только гендерные, но и межкультурные различия моральных ориентиров [Social moral reasoning in Chinese children, 2003; Miller, Bersoff, 1992, 1998; Miller, Bersoff, Harwood, 1990] заставили исследователей отказаться от универалистского подхода и обратиться к поиску их культурных отличий. Таким образом, тема социальной и культурной специфики нравственного развития заявила о себе весьма определенно.

Основываясь на обзоре антропологических публикаций, Дж. Хайдт к двум «классическим» аспектам морали добавляет еще три, побуждающие нас принять во внимание идеи Дюркгейма о связи морали с объединением людей в общество. Эти три измерения морали, по мысли Хайдта, сформировались в ходе долгой истории межгрупповых и внутригрупповых взаимодействий: принадлежность к группе / лояльность (оно, по всей видимости, вызревало в отношениях межгрупповой конкуренции); власть /

уважение (вероятно, является одним из результатов длительного развития иерархических взаимоотношений у приматов; впоследствии было модифицировано благодаря культурным ограничениям в отношении власти и агрессии / запугивания) и чистота / святость (появилось намного позже на основе уникальной человеческой эмоции отвращения) [Haidt, Graham, 2007].

Три дополнительных параметра морали, предложенные Хайдтом, выступают в качестве связующих основ, поскольку добродетели, практики и институты, создаваемые ими, служат для объединения людей в иерархически организованные взаимозависимые социальные группы. Эти основополагающие системы могут рассматриваться и как своеобразные «учебные модули» – развившиеся в ходе эволюции модульные системы, которые генерируют, по мере вхождения в культуру, большое количество более конкретных модулей, помогающих детям автоматически распознавать примеры ценимых в данной культурной среде добродетелей и осуждаемых пороков.

Исследование, результаты которого представлены в настоящей статье, нацелено на идентификацию и анализ нравственных ориентиров, которые транслируются подрастающему поколению при помощи школьных учебников. В статье рассматриваются следующие вопросы.

1. Какого рода моральные установления транслируются школьными учебниками младшим школьникам, какого рода индикаторы могут служить достаточным основанием для категоризации тех или иных моральных суждений, предписаний и оценок как относящихся к определенным «моральным основаниям»?

2. Какие изменения в характере транслируемых моральных оснований произошли за первые постсоветские десятилетия и как в связи с этим изменился контент учебников по литературному чтению для начальной школы?

3. Как изменилось в постсоветский период соотношение текстов, транслирующих разные моральные основания (количественные изменения), как изменились ключевые образы, посредством которых эта трансляция осуществляется?

В поисках ответов на эти вопросы обратимся к анализу учебного материала и содержащихся в нем культурных посланий, транслируемых младшим школьникам в курсе «Литературное чтение», который имеет непосредственное отношение к нравственной социализации.

Почему мы выбрали в качестве источника информации о направлениях и ориентирах нравственного становления школьников именно учебники? Тезис о том, что учебники в начальной школе призваны не только формировать и развивать у детей технические навыки чтения, не требует доказательств. В пособии для начальной школы ученику предъявляется своего рода первоначальный канон приоритетных образов, отражающих

набор ценностных ориентаций повседневной жизни, а также способов взаимодействия с социальным и природным миром и с самим собой.

В последние годы наблюдается явный рост научного интереса в российской педагогике к ценностям и нормам, которые имплицитно и эксплицитно транслирует образование. Социологи, культурологи, специалисты по дидактике, историки педагогики изучают содержание образовательного канона (входящие в него тексты) и механизмы его создания (отбор и включение текстов в учебную программу). [См., например: Young, 1988; Moroney, 1999; Langton, Jennings, 1968; Finkelstein, 1991; Wong, 1991, 1994]. Идеологические и культурные образцы и стереотипы в учебниках для начальной школы 1920–2000-х годов анализировались С.С. Шведовым, В.В. Волковым, А.И. Щербининым, К. Келли, С.Г. Леонтьевой, Ф. О’Деллом, М.В. Осориной, У. Нотарпом и др. авторами [Шведов, 1991; Волков, 1992; Щербинин, 1999, 2000; Детский сборник, 2003; Макарова, 2005, 2008; Учебный текст в советской школе, 2008; Шевченко, 2009; Ребенок XVIII–XX столетий в мире слов, 2009; «Пора читать» 2010; «И спросила кроха...» 2010].

В ходе нашего исследования был выполнен контент-анализ 15 учебников «Литературного чтения» («Родной речи») для начальной школы.

1. Три учебника «Родная речь» (1–3-й класс), выпущенные в 1982–1983 гг. издательством «Просвещение». По данному периоду и данному школьному предмету мы охватываем генеральную совокупность учебников для массовой русскоязычной начальной школы для детей с нормальным уровнем умственного и физического развития.

2. 12 учебников «Литературное чтение»¹ (1–4-й класс) 2001–2005 гг. издания, выпущенные ведущими издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф». Согласно экспертным данным Министерства образования РФ, указанные учебно-методические комплекты составляют не менее 80% генеральной совокупности учебников по данным предметам.

Перечисленные учебники были прочитаны целиком, первоначально – без какого-либо отбора произведений или конкретных изображений. В табл. 1 приводятся данные о количестве текстов.

Таблица 1

Общее количество проанализированных текстов в учебниках по курсам «Родная речь» и «Литературное чтение»

Курсы	Количество текстов	Доля в массиве, %
Советский период («Родная речь»)	518	28
Постсоветский период («Литературное чтение»)	1352	72
Всего	1870	100

¹ Новое название учебного курса «Родная речь». По задачам и характеру содержания эти курсы идентичны.

Уже при первом знакомстве с содержанием учебников по литературному чтению создается впечатление о соответствии учебников, выпущенных в один исторический период, единому канону. Постсоветские учебники весьма близки по содержанию, черпают материалы из одного источника. Наборы художественных произведений неизбежно пересекаются между собой, демонстрируя консенсус относительно того, что следует преподавать детям.

Подсчет показал, что из 1870 текстов 673 (т.е. 36% от числа просмотренных тестов) можно отнести к категории учебных материалов, напрямую затрагивающих тему морали.

В табл. 2 приведены результаты подсчета доли текстов по заявленным для анализа категориям – моральным основаниям по Дж. Хайдту. Данные представлены в процентах от числа текстов с «моральной направленностью», что позволяет сравнить вес каждой из категорий в учебниках советского и постсоветского периодов.

Таблица 2

Репрезентация моральных оснований в текстах учебников для начальной школы советского и постсоветского периодов (% от числа текстов с «моральной» направленностью)

Моральное основание	Советский период (208 текстов)	Постсоветский период (465 текстов)
Забота / бескорыстная помощь	24	30
Справедливость: равенство / заслуга	14	30
Групповая сплоченность и ингрупповая лояльность	42	22
Иерархия / почитание авторитета	6	5
Святость / добродетельность	17	10
Упоминание процесса и метода трансляции нравственных норм	1	6

Как видно из табл. 2, в постсоветских учебниках увеличился вес категорий «оказание помощи, забота о нуждающемся», «справедливость» и снизилась доля текстов, относящихся к категориям «групповая сплоченность, лояльность к “своим”», «добродетельность – почитание священных для группы объектов». Количественные изменения практически не затронули категорию «иерархия / почитание авторитета», которая и в советское время, и в постсоветский период занимает относительно небольшое место в общем массиве текстовых и визуальных материалов учебников.

Обратимся теперь к анализу содержательного наполнения указанных категорий, рассматривая каждую из них последовательно.

«Иерархия / почитание авторитета»

Начнем с примеров, относящихся к сравнительно «слабо» представленной категории – «иерархия / почитание авторитета». Кого, собственно, призывают почитать учебники советского и постсоветского периодов?

В учебниках советского периода модель социальной иерархии сформулирована достаточно определенно. В первом разделе учебника для 1 класса эту модель транслируют пять текстов из 12: «Мы веселые ребята, / Мы ребята – октябрята. / Так назвали нас не зря – / В честь победы Октября... / Старших все мы уважаем, / Слабых мы не обижаем. / Юных ленинцев отряд – / Октябряткам старший брат» [Родная речь 1980]. Здесь подчеркивается идея вертикальной культурной трансмиссии – преемственности в восприятии и развитии определенной идеологии, причем субъектами и источниками этой преемственности видятся не конкретные люди, а социальные группы и даже обезличенные сущности – значимые для социальной общности символические события («...В честь победы Октября...»). Так что в воспроизводимой в стихотворении системе моральных оснований, кроме очевидной «иерархичности», ощущается также влияние оснований «групповая сплоченность» и «почитание священных объектов». Этот призыв к «почитанию священных объектов» – как залог преемственности ценностей и принципов – усиливается в иллюстрации, изображающей разные звезды – кремлевскую, звезду героя, октябрятскую звездочку. Весь этот комплекс воспроизводится и в произведениях, предназначенных для следующей возрастной группы – третьеклассников, готовящихся стать пионерами: «Юных пионеров еще не было на свете, когда Ленин звал борцов за рабочее дело быть готовыми, но юные пионеры твердо решили быть верными заветам Ленина... юные пионеры хотят научиться строить новую жизнь, они хотят продолжать дело Ленина...»¹. Это и подобные произведения мы также относим к транслирующим моральное основание «иерархия» как измерение, предполагающее развитие таких добродетелей, как уважение к власти и к традициям.

Довольно сложная комплексная мотивация нравственного поведения транслируется в рассказе Л. Пантелеева «Честное слово»². Казалось бы, основной мотив несложно соотнести с основанием «нравственная чистота» по типологии Дж. Хайдта:

«– Так чего ж ты тогда стоишь?

– Я честное слово сказал...

Я уже хотел было засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет, и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось, – хоть лопни. А игра это или не игра – все равно».

¹ Крупская Н.К. Будь готов! [Родная речь, 1974 б, с. 7–8].

² Пантелеев Л. Честное слово [Родная речь, 1974 а, с. 68–73].

Однако к этому мотиву примешивается и другой – стремление к соблюдению вертикальной ориентации, иерархичности: «Увидев офицера, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

– Товарищ караульный, – обратился к нему офицер, – какое вы носите звание?

– Я сержант, – сказал мальчик.

– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, поспеел, шмыгнув носом и сказал:

– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек?

– Я майор.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

– Есть, товарищ майор: приказано оставить пост».

Можно предположить, что в данном случае есть некоторое расхождение между мотивами, определяющими суть поступка (держать свое слово), и формой его реализации (подчинение вышестоящему). Именно эта формальная сторона поведения советского ребенка, отраженная в рассказе, – непосредственный продукт столь характерных для советской педагогики милитаристских ориентаций в воспитании. По сути, игра в армию предполагает ритуализированный характер всего действия.

Антропологу Мэри Дуглас принадлежит следующее определение ритуала: «Ритуалы – это определенные типы действий, служащие цели выражения веры или приверженности определенным символическим системам» [Douglas, 1970]. Соответственно, ритуал путем приобщения к тем или иным символическим системам позволяет сформировать / укрепить определенную групповую идентичность и, как следствие, – верность группе или людям, занимающим верхние позиции в социальной иерархии. Поэтому не существует содержаний, абсолютно безразличных к формам [Ионин, 2004] (в нашем случае – к ритуалам), и именно это положение дает нам основание рассматривать оба нравственных основания как имеющие приблизительно одинаковый вес в формировании мотивации поведения главного героя рассказа «Честное слово».

В учебнике для 1-го класса (2004 г., изд-во «Просвещение») некоторые разделы заканчиваются разворотом «Из старинных книг», где приводятся высказывания неизвестного происхождения (не указаны ни источник, ни автор, ни повод, по которому эти высказывания были сделаны), по-видимому, выражающие некие универсальные нравственные ориентиры. Эти ориентиры в большинстве случаев соотносятся именно с основанием «иерархия» – почитание старших и людей, обладающих более высоким социальным статусом, в данном случае – учителей («Почитай своих родителей, учителей и старших, исполняй приказания первых и слушай советы последних»; «Когда говорят старшие, со вниманием слушай и не перебивай речи их» [Родная речь, 2004 а, с. 23]).

Вспомним в связи с этим типологию культур, предложенную М. Мид: выделение трех типов культур, оказывающих принципиально различное влияние на развитие ребенка, – постфигуративные культуры, тысячамилетиями сохраняющие свои нормы и обычаи; конфигуративные, быстро меняющиеся; наконец, префигуративные культуры, где опорой (как в научной, так и в этической областях) выступает творчество молодого поколения [Мид, 2008]. Приведенные в учебнике высказывания отражают ценности и моральные ориентиры постфигуративных культур. Однако поскольку учебник ориентирован на детей, растущих в культуре, которую можно отнести, скорее, к префигуративной, они воспринимаются как искусственная попытка внесения стабильности в нестабильную социокультурную ситуацию.

В другой вставке «Из старинных книг» тема почтения к старшим имеет следующее продолжение: «Отец и мать – священные слова», однако здесь появляется дополнительный моральный аспект – требование нравственной чистоты, реализующейся, в первую очередь, посредством трепетного отношения к священным для группы объектам; этот аспект усиливается другим высказыванием – «Не так живи, как хочется, а как Бог велит» [Родная речь, 2004 а, с. 76].

Рассмотрим теперь примеры, которые мы категоризировали как транслирующие моральное основание «святость / добродетельность».

«Нравственная чистота / добродетельность»

В учебниках советского периода к этой категории могут быть отнесены тексты различного содержания. В учебнике для 1-го класса есть раздел «Что такое хорошо и что такое плохо», который, естественно, начинается со стихотворения В. Маяковского. Оценки (хорошо / плохо) употребляются здесь в отношении двух типов явлений: первый – не связанный с волей человека вообще и, соответственно, к морали не имеющий отношения (метеорологические явления: град, ветер – плохо для прогулок, солнце – хорошо), второй тип – обращение оценок на личность человека, что подразумевает следование нравственным предписаниям или нарушение их. Какие нравственные основания создают базу для оценочных отношений?

Их всего два: причинение вреда / забота о слабом и беззащитном и нарушение правил гигиены. Чистоте и аккуратности посвящены большая часть стихотворения и, собственно, вывод: «Помни это каждый сын, / Знай любой ребенок: / Вырастет из сына свин, / Если сын свинок»¹. Казалось бы, эти правила относятся исключительно к сфере гигиены и охраны здоровья и не могут рассматриваться в качестве принципов морали. Но тот факт, что нарушающий их субъект оценивается резко негативно («Про такого говорят: / Он плохой, неряха») и оценки эти, так же как и положи-

¹ Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо [Родная речь, 1980, с. 85–87].

тельные оценки ребенка, соблюдающего эти правила («Он хотя и маленький, / Но вполне хороший»), направлены не на поведение, а на саму личность нарушителя, позволяет нам рассматривать подобные предписания как относящиеся именно к сфере морали.

Мы интерпретировали данное стихотворение как транслирующее ценность «чистоты / святости», поскольку именно это основание, по мнению авторов теории моральных оснований, сформировалось как реакция на отвращение при встрече с чем-то грязным и омерзительным. Именно чувство отвращения, возникающее при столкновении с теми или иными фактами или поведенческими проявлениями, интерпретируется людьми как сигнал о нарушении данного морального основания. Это чувство настолько сильно и неприятно и затрагивает настолько глубинные слои психики, что испытывающий его наблюдатель стремится как можно скорее устранить источник этого переживания. При этом наблюдатель даже не пытается проанализировать природу самого чувства, т.е. осмыслить вызвавшее чувство отвращения поведение другого, хотя бы с точки зрения того, затрагивает ли это поведение других людей или является исключительно личным делом того, кто его совершает [Haidt, 2001]. Оно лежит в основе религиозных представлений о стремлении жить возвышенными, менее плотскими, более благородными устремлениями.

В учебнике для 4-го класса («Просвещение», 2004 г.) содержатся два любопытных примера, работающих на основе «чистота / святость». Отрывок из рассказа Б. Зайцева «Домашний лар» из цикла «Люди Божии» [Родная речь, 2004 д, с. 14–17] повествует о жившем в усадьбе мальчике – сыне кухарки, у которого на третьем году жизни стало очевидным отставание в психическом и физическом развитии, и его отношениях с другими проживающими в усадьбе – хозяевами и слугами. Это единственный представленный в учебнике текст, в котором взаимодействуют здоровые люди и люди с ограниченными возможностями, – в первую очередь, возможностями самой коммуникации, потому что у мальчика не сформирована речь. Но его понимают и любят, особенно дети: он дружит с барской дочкой, его охотно угощают чаем с пряником или пирогом. Каким видится этот мальчик обитателям усадьбы, можно ли интерпретировать доброжелательное к нему отношение как соответствующее нравственному основанию заботы или лояльности к ингруппе? Мать мальчика, конечно, переживала, что «из него не выйдет работника», как из старших детей, но «по русско-бабьей склонности, любила она его больше, чем других, жалела» – классическое женское основание отношения к людям, основанное на стремлении опекать беззащитных, тех, кто более всего нуждается в заботе.

Что же касается людей посторонних, то в их отношении к мальчику чувствуется не столько забота о слабом, сколько священный трепет, характерный для отношения к юродивым в православной традиции: «...правы были древние, обожествившие мелкие существа домашней жизни, далекой от ужаса мирового; смутно чувствуем это мы всегда; потому и не

жаль лишнего пряника – как не жалели его две тысячи лет назад». Как воспринимался юродивый в православии? В некоторой степени – как член ингруппы, но обладающий даром, отличающим его от других, и как носитель таких моделей поведения, которые для других людей недоступны и не всегда понятны – «Свой» и «Иной» одновременно. Так, в рассказе Б. Зайцева: «и будто бы он ничего не делает, но он живет, он часть общей жизни» («Свой»); «он скажет вам что-нибудь на своем языке, засмеется и убежит, повинувшись собственным настроениям» («Иной»). Это пограничное положение юродивого позволяло ему выполнять, по сути, функцию зеркала для социальной группы: жизнеописания блаженных, признанных святыми, свидетельствуют, что своими действиями они в карикатурной форме изображали человеческие пороки, давая людям возможность посмотреть на себя со стороны. Возможно, отношение обитателей усадьбы к мальчику и было пронизано ожиданием чего-то подобного: его дружелюбие и беззаботность, если рассматривать их как зеркальное отражение жизни и отношений в доме, говорило обитателям, что все в их жизни благополучно и спокойно, – пока зеркало отражает мир, можно не беспокоиться и стараться ценить то, что человек имеет. Таким образом, нравственным основанием взаимодействия с мальчиком в рассказе представляется, скорее, трепет по отношению к священным для группы объектам, хотя мотивы заботы и лояльности к своим также поддерживают и усиливают действенность этого морального основания.

Второй текст – «Сказка о жабе и розе» В. Гаршина [Родная речь 2004 г., с. 226–234]. Поскольку образы в этом произведении символичны, а порождаемое ими эмоциональное переживание весьма сильно, то учащимся крайне сложно самостоятельно проанализировать произведение: необходима последовательная интеллектуальная работа, расшифровка символов. Найденные разгадки должны помочь учащимся аргументировать свое доказательство того, что эта сказка и о Жабе и Розе, как заявлено в заголовке, но и не совсем об этом, и точно не о детях, а о жизни и жизненных нравственных ценностях.

Впрочем, сила эмоций, в частности эмоций отвращения и возмущения, возникающих при описании внешности, мыслей и поведения жабы, сама по себе содержит намек на присутствующую в ситуации угрозу именно моральным установлениям и принципам [Haidt, 2001]. Это, с одной стороны, осложняет логический анализ произведения, с другой – облегчает его интуитивное восприятие [Greene, Cohen, 2004]. В данном случае возникают ассоциации с теми эмоциями, которые обычно свидетельствуют о нарушении морали и, таким образом, способствуют формированию автоматизма, – установки интерпретировать события, вызывающие подобные эмоции, как аморальные.

Если обратиться к анализу мотивации жабы, то ее нельзя назвать низменной, жаба стремилась к прекрасному¹. Скорее, форма приобщения к этому прекрасному архаична – попытка присвоить, в прямом смысле поглотить то, что вызывает восторг. На подобных стремлениях основаны и ритуалы употребления в пищу (при определенных условиях) мяса тотемного животного, известные многим архаическим культурам и связанные с верой в то, что, поглощая часть священного животного, человек приближается к возвышенному состоянию или обретает сверхъестественные способности. Собственно, люди при виде красивого цветка поступают сходным образом – они срывают его и высушивают, однако такая смерть представляется розе предпочтительной. Ей удалось доставить несколько светлых мгновений умирающему мальчику и сохранить память о нем.

Приведенные аргументы, согласно результатам эмпирических исследований Дж. Хайдта, могут найти поддержку только у индивидов с выраженными либеральными ориентациями, которые руководствуются преимущественно «индивидуализирующими» нравственными основаниями – представлениями о справедливости и заботой о нуждающемся, т.е. теми предписаниями морали, которые позволяют индивиду отстаивать собственную уникальность и проявляются в межличностных взаимодействиях. Консерваторы же, гораздо выше ценящие сплоченность, жизнеспособность и успешность группы, нежели индивида, руководствуются большим числом оснований морального поведения. Хайдт в ряду трех дополнительных оснований называет стремление к чистоте и непорочности, которое, видимо, и формирует центральную идею сказки Гаршина. Однако если консерваторы могут не соглашаться с аргументами либералов, то либералы искренне не видят смысла в дополнительных основаниях морали, потому и проигрывают обычно консерваторам в вопросах, требующих мобилизации группы и сплоченного группового действия [Haidt, Graham, 2007].

«Лояльность к “Своим” / сплоченность»

Третье моральное основание, охарактеризованное Хайдтом как особо значимое в незападных культурах, – «лояльность к “Своим” / ингрупповая сплоченность», нарушение которой интерпретируется группой как предательство.

Образ «своего» в учебниках как советского, так и постсоветского периодов формируется преимущественно по принципу эксклюзии – на контрасте с образом «чужого». Образ «чужого» оказывается абсолютно необходимым для усиления морального императива помощи «своим», ук-

¹ Видимо, и художнику, создававшему иллюстрацию к этому произведению, пришли в голову схожие мысли: жаба на картинке грустна и довольно грациозна; впрочем, и сама жаба, и окружающие ее ветви и листья окрашены серым, а ярко-розовый цветок на этом фоне явно символизирует нежность и красоту мира.

репления внутригрупповой сплоченности. По всей видимости, как и на ранних этапах истории, именно ощущение, что есть «они», становится исходной точкой процесса самоопределения через желание обособиться от «них» в качестве «мы».

Понятие «чужого» неизбежно возникает в ситуациях несовпадения каких-либо явлений другой культуры с тем, что принято в собственной. В обыденном понимании, в отличие от научного дискурса, понятие «чужой» имеет несколько смыслов:

- чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной культуры;

- чужой как странный, необычный, контрастирующий с привычным окружением;

- чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для познания;

- чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек бессилён;

- чужой как зловещий, несущий угрозу для жизни.

Понятие «чужого» изначально не предполагает враждебности. Вокруг категории «Иного» и идеи бережного отношения к нему – каким бы чуждым оно ни казалось наблюдателю – выстроено короткое произведение В. Вересаева «Легенда» [Литературное чтение, 2005 б, с. 50]. И здесь же – опора на нравственную норму справедливости в смысле того, что «заслужено»: страшное наказание морякам, бесцеремонно разрушившим неизвестное, чуждое им: «Веселье моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше не улыбались». Важно здесь то, что «субъект, осуществляющий наказание» не обозначен: моряки загубили священный лес туземцев, и, на первый взгляд, логичной была бы кара, исходящая от самого леса. Так, наверное, и произошло бы – и наказание, наверное, предполагало уничтожение осквернителя священного места, если бы нарушителем был местный житель. Здесь же нарушители получают наказание «по своей культуре», обретают неизбывное чувство вины, которое невозможно компенсировать высоконравственными поступками в будущем. И вот основная идея, отражающая отношение автора к «Чужому»: «Как все это сложно, глубоко и таинственно!».

В целом категория «Мы» формируется путем взаимного уподобления людей, т.е. действия механизмов подражания и заражения, а «они» – путем элиминации этих механизмов. Именно поэтому образ чужака всегда обезличен: если своих «героев нужно знать в лицо», чтобы получить возможность детально воспроизвести их действия, то в отношении чужака этого не требуется. «Другой» мыслится и воспринимается через призму его групповой принадлежности (в отличие от «Своего», индивидуализированного), что находит выражение в известном принципе межгруппового восприятия «все-они-для-меня-на-одно-лицо».

В качестве примеров подобной обезличенности можно упомянуть стихотворение И. Никитина «Русь»: «татар полчища», «туча темная (с Запада)», которое в постсоветский период включалось в учебники всех трех издательств. В учебниках советского периода: «...из-за дыма и огня налетела буржуинская сила...»¹, «многотысячные армии врагов, пытающиеся задушить государство рабочих и крестьян»².

С обезличенным, т.е. лишенным чувств, переживаний, страданий, не вызывающим сочувствия злом проще бороться, и образ чужака, соответственно, легче трансформировать в образ врага [Keen 1986; Хоркхаймер, Адорно, 1997].

Наиболее распространенный способ конструирования образа врага предполагает сочетание двух планов: метафоричного, внеповседневного, отвлеченного, эмпирически не верифицируемого, с одной стороны, и конкретного – с другой. Первый план, не полностью воспринимаемый обыденным сознанием, не совсем понятный, должен, вероятно, рождать смутное ощущение сопричастности великой и таинственной миссии борьбы со злом как таковым. Однако эмоциональный накал, порожденный метафорическими образами, не имеющий чувственной поддержки и опоры на повседневный опыт, рано или поздно должен истощиться. Актуализация повседневного эмпирического опыта его подпитывает.

Каким образом зловещий контекст «чужое = враждебное» актуализируется в межгрупповом взаимодействии, демонстрирует сказка В. Вересаева «Звезда» [Литературное чтение, 2005 б, с. 51–58]: отважный юноша приносит своему народу свет, о котором люди так долго мечтали, живя во мраке. Но, увидев освещенными свои жилища, своих возлюбленных и самих себя, люди испытали отвращение (так, принятое в качестве эталона «иное» может изменить оценки привычных явлений и, стало быть, нести угрозу идентичности, ведь мы – то, что мы любим и к чему стремимся). Страх перед чужим, способным изменить всю систему представлений человека о мире и самом себе, т.е. обладающим сверхъестественной силой, толкает к действию. Прозревшие люди в сказке Вересаева пытаются уничтожить и звезду, и звездоносца, видя в них «корень зла». Типичное развитие событий: вторжение «иного» приводит к переоценке «своего»; негативная идентичность требует компенсации, что достигается через уничтожение, создание еще более негативного образа другого; под этот негативный образ находится реальный объект; образ врага персонифицируется; на него направляется агрессия.

В учебниках советского периода образ врага без преувеличения можно назвать одним из центральных. Достаточно упомянуть хотя бы наличие в учебнике 1980 г. издания отдельной темы, посвященной армии (при отсутствии тем, посвященных педагогике или медицине, например).

¹ Гайдар А. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове [Родная речь, 1974 б, с. 99].

² Дмитриев Ю. Герб Страны Советов [Родная речь, 1974 б, с. 107].

Безусловно, в основе культа силовых структур лежит и травмирующий исторический опыт, и актуальное на тот период военно-политическое противостояние – «холодная война».

Однако в рамках той же «военизированной» тематики раскрывается моральное основание «лояльности к ингруппе» и в учебниках постсоветского периода – неизменно в сочетании с жестокостью к «чужим». «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» [Родная речь, 2004 с. с. 4–6]: «И вышел Олег на берег и начал воевать. И много убийства сделал около города, и разбил много палат, и церкви пожег. И много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги»; «И приказал Олег грекам дать дани на две тысячи кораблей, по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей; а потом дать дани для русских городов: прежде всего для Киева, а затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов, ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу».

В произведении «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» [Литературное чтение, 2005 а, с. 8] враг называется лишь в последней строчке: «С поляками войной браниться», а вся песня описывает подготовку к войне за родную землю, подчеркивая удаль и отвагу русских воинов, их решимость защищать родную землю «всем миром». Очень показательны для формирования солидарности на негативной основе (объединение против кого-либо) то, что противник до последнего момента остается неизвестным, – действительно, для мобилизации группы важно только то, что угроза в принципе существует и ей необходимо противостоять.

В учебниках советского периода, как и во «взрослой» советской литературе, «враги» чрезвычайно разнообразны. Это и представители бывших привилегированных классов – белогвардейцы, офицеры, капиталисты, священники, и враги периода Великой Отечественной войны – фашисты и шпионы, засланные в СССР с подрывными целями, разнообразные этно-«национальные» враги Российской империи – захватчики [Гудков, 2004]. В постсоветской детской литературе из всех перечисленных групп остается только один тип – последний, который, впрочем, весьма активно эксплуатируется.

Один из основных приемов конструирования образа врага – использование разных критериев при оценке поступков «Своих» и «Чужих». Рассмотрим в качестве примера два произведения, входящие в один и тот же раздел учебника для 4-го класса издательства Вентана-Граф – «Героическая песня, легенда, библейское предание». Открывается раздел былинной «Волх Всеславович» [Литературное чтение, 2005 а, с. 4–7]. В роли врага – некий царь Салтык из южных земель, намеревающийся завоевать все русские города и нанести вред непосредственно главному герою-богатырю. Негативный образ создается через трансляцию завоевательных помыслов и дурных поступков (царь Салтык крайне грубо обращается с женой), но в

целом образ этого врага скорее юмористический: на иллюстрации он изображен нелепым маленьким человечком на тоненьких ножках, но в пышном наряде. Изображенное одеяние явно выдает представителя мусульманской культуры: царь нарисован в халате и с кинжалом у пояса, а царица – с лицом, укрытым покрывалом.

Точно такие же захватнические планы строит в последнем произведении этого же раздела, «Легенда о покорении Сибири Ермаком» [Литературное чтение, 2005 а, с. 15–17], царь Иван, а осуществляет их по его приказанию Ермак Тимофеевич. Вот что говорит царь Ермаку: «За Уралом богатые земли лежат, ты пройди ту землю, поймав хана Кучума, а людей его под власть Руси приведи». Завоеватель Ермак, изображенный в той же манере, что и царь Салтык, красив и строен, на изящной белой (цвет чистоты и благородства помыслов) лошади. Воспроизведение этих «двойных стандартов» усугубляется еще тем, что в качестве побудительных сил захватнических действий предлагается не только меркантильная мотивация царя, но и декларируемая забота о покоренных народах: «...и Кучумовым людям с нами легче будет».

Целостная картина межгруппового взаимодействия представлена в рассказе Л. Толстого «Кавказский пленник» [Литературное чтение, 2005 б, с. 4–25], которым открывается вторая часть учебника для 4-го класса издательства «Вентана-Граф». Весь рассказ строится вокруг темы взаимного восприятия представителей разных, более того – конфликтующих культур. Ценно в этом произведении и создание картины взаимного восприятия представителей двух культур: отношение горцев к пленным русским меняется на протяжении рассказа, и читатель имеет возможность понять мотивы происходящих изменений. Подчеркнем, что горцы в рассказе описаны во всех деталях, – внешний вид, манеры, речь и т.д. Эта персонифицированность образов – действенная прививка против превращения «чужого» во «враждебное».

Интересна почти полная идентичность показателей, позволяющих предсказать успешность адаптации индивида в новой культуре, которые фигурируют в рассказе Толстого и в работах современных специалистов в области кросскультурной психологии. Для оценки степени сходства культур используется предложенный И. Бабикиром индекс культурной дистанции, который включает язык, религию, структуру семьи, уровень образования, материальный комфорт, климат, пищу, одежду, социокультурные обряды – их смысл и ритуальное оформление [Лебедева, 1997]. Описания всех этих параметров присутствуют в рассказе, и в их представлении глазами Жилина, они по большому счету, нивелируют культурную дистанцию: героя они не пугают и даже не особенно удивляют. Автор с самого начала описания пребывания главных героев в плену дает возможность убедиться в сходстве неких базовых ценностей представителей контактирующих культур; сквозь призму этого сходства в основном, сущностном, различия во внешнем воспринимаются как несущественные. Мы видим,

как Жилин интуитивно нащупывает и наиболее эффективный способ адаптации в инокультурном окружении: он становится незаменимым для жителей аула, помогая им в починке мелких бытовых предметов; более того, он повышает свой социальный статус, представляя себя носителем некоего «тайного знания», – лекарем. Это делает его неприкосновенным, если не для взрослых мужчин аула, то для молодежи, и тогда его место в социальной иерархии становится неоднозначным. Он все еще чужак, но чужак, вошедший в структуру группы, – «иное внутри нашего». С этого момента латентный конфликт переходит на стадию явного.

Чужое как неизвестное и неиспытанное означает, прежде всего, переживание угрозы собственной идентичности, связанное с противоречивыми чувствами. Шеффер утверждает: «Угроза идентичности означает, что существует состояние неопределенности, независимо от того, соответствуют ли (потенциально) притязания чужака меркам и нормам воспринимающего человека или им противоречат. Чужое связано с неопределенностью, причем не важно, означает ли оно благоприятные возможности или угрозу для собственной идентичности. Следовательно, восприятие чужого основывается на специфической взаимосвязи переменных известности, испытанности и соответствия или несоответствия идентичности» [Шеффер, Скарабис, Шлёдер, 2004, с. 29].

В ходе дальнейшего общения с другим человеком могут быть получены дополнительные сведения или возникнуть переживания, которые будут соответствовать или не соответствовать идентичности и будут иметь четкую валентность. И здесь «отягощающими» факторами оказываются наличие конфликтов – войн, геноцида и т.п. – в истории отношений между двумя народами, а также неравенство статусов или отсутствие общих целей при межкультурных контактах. В рассказе Толстого появляется и носитель выраженных негативных оценок межкультурного взаимодействия – старик-хаджа. Его мотивация ненависти к русским понятна, но угроза главному герою, исходящая от старика, обладающего к тому же ресурсом, позволяющим эту угрозу осуществить, делает его безусловно негативным персонажем.

Тем не менее осевое противопоставление в рассказе Толстого – внутрикультурное, межличностное: носителями явно противоположных ценностей и поведенческих установок оказываются представители одной культуры – пленные русские. Именно при описании их характеров и поступков появляются оценочные суждения автора, именно между этими героями и должны распределяться симпатии / антипатии читателя.

Весь предыдущий анализ как будто свидетельствует о перспективности использования рассказа «Кавказский пленник» для развития толерантности и даже знакомства с «инструментальной» стороной межкультурной адаптации. Однако если задуматься над тем, как воспринимается произведение современными российскими школьниками, оптимизм может пойти на убыль. Вот что показывает, например, найденный нами в Интер-

нете фрагмент школьного сочинения по рассказу Толстого: «...Сразу говорюсь, мне лично ближе история, записанная Лермонтовым. В ней нет этого смиренного восприятия рабского бытия, нет мелочной антисоветскости, какой-то вещественной меркантильности. И нет того, что со временем оттолкнет от Толстого многих его почитателей и что проглядывает уже и в ранних произведениях – убогой терпимости. Той, которой в полной мере обладают блаженные и юридивые... Возможно, до войны в Чечне мы воспринимали бы это произведение стандартно. И в сочинениях писали бы, что Толстой всю свою жизнь мечтал о мире между людьми, о согласии между народами. Что веру в возможность взаимного понимания и взаимной поддержки между людьми разных национальностей он выразил в рассказе “Кавказский пленник”. Что он великолепный стилист и что он создал народные книги для чтения, по которым учил крестьянских детей...»¹.

Конечно, автор этого сочинения не четвероклассник; судя по опубликованным в Сети сочинениям четвероклассников, им доступен преимущественно пересказ, а не анализ текста. Что же касается позиции составителей учебника, отраженной в комментарии к рассказу, то она неоднозначна: «Л.Н. Толстой мечтал о справедливости, хотел, чтобы все люди были добрыми и честными, жили по заповедям Христа». Здесь важно транслируемое детям отношение составителей учебника к описанному в рассказе, а также то, как звучит это отношение в контексте политических и идеологических влияний сегодняшнего дня, и как его слышат дети.

Итак, в постсоветский период активность эксплуатации образа чужака-врага хотя и снизилась по сравнению с советским временем, тем не менее остается достаточно высокой, чтобы рассматривать этот феномен в качестве одного из основных инструментов внутригрупповой консолидации. В тоталитарных обществах использование образа врага жизненно необходимо для поддержания закрытости социокультурной системы, для возведения надежных внутренних барьеров, защищающих от инородных влияний, с одной стороны, и для формирования установки на уничтожение внутренних врагов – с другой. В демократических обществах, основанных на свободе самовыражения граждан и осознанном принятии правил, в использовании таких механизмов как будто уже нет необходимости. Впрочем, обсуждение вопроса о том, является ли современная Россия демократическим государством, в формат данной статьи, безусловно, не вписывается.

«Справедливость»

Следующее моральное основание – «Справедливость», – по мысли Хайдта, определяет индивидуализирующие культурные начала. В учебни-

¹ «Кавказский пленник» (Опыт критического анализа). – Режим доступа: <http://www.levtolstoy.org.ru/lib/op/author/664>

ках для начальной школы тема справедливости встречается достаточно часто, но только не в том универсалистском контексте (справедливость как принятие и следование общим для всех правилам и нормам), который составляет условие индивидуальных прав и свобод каждого члена группы. Заметим, что норма справедливости, являясь культурной универсалией, может реализовываться в разных формах, и выбор этих форм обладает и групповой / культурной, и, возможно, индивидуальной спецификой.

«Долг платежом красен» – эта пословица сопровождает включенную в учебник 1980 г. издания басню Л. Толстого «Муравей и голубка» как отражающая, по мнению его составителей, главную мысль произведения. В данном случае речь явно идет о справедливости в форме взаимности, т.е. о норме, направленной на реализацию интересов группы и поддержание внутригрупповой сплоченности путем утверждения системы взаимных обязательств. Так, Дж. Рест, проводя ревизию идей Кольберга о роли справедливости в формировании системы моральных суждений индивида, помимо приписываемых Кольбергом уровню конвенциональной морали представлений о справедливости как о соблюдении прав всех участников взаимодействия (которые Рест именуется «процедурной справедливостью»), рассматривает «дистрибутивную справедливость». Здесь имеется в виду совокупность норм, регулирующих распределение вознаграждений; подобные представления о справедливости Рест относит к более ранним стадиям нравственного развития индивида, ориентированным на схему личного интереса [Муугу, Helkama, 2002; Wendorf, Alexander, Firestone, 2002].

Социальный смысл дистрибутивной справедливости получил высокую оценку в трудах культур-антропологов: Л. Тайгер и Р. Фокс рассматривают «сеть признательности», складывающуюся в результате актуализации норм дистрибутивной справедливости, как уникальный приспособительный механизм, делающий возможным разделение труда, обмен товарами и услугами и формирование системы взаимозависимостей, которые объединяют индивидов в чрезвычайно эффективно действующие организационные единицы [Tiger, Fox, 1971].

Транслируемая басней Толстого норма справедливости в форме взаимности имеет очевидно позитивное значение для поддержания целостности, сплоченности и жизнеспособности группы. По сути, сходные установки и модели поведения передаются и народными сказками – «Лиса и журавль» [Родная речь, 1980, с. 102], «Гуси-лебеди» [там же, с. 103–107]. В постсоветских учебниках гораздо шире представляются нормы «процедурной справедливости». Справедливость как нравственное основание индивидуального поведения обсуждается в основном в ситуациях ее нарушения и, в конце произведения, как ее восстановление: «Два пирожных» [Родная речь, 2004 б, с. 85–86], «Тайное становится явным» [там же, с. 159–165], «Почему?» [там же, с. 96–103]. В последнем произведении стоит обратить внимание на актуализированную у главного героя, совер-

шившего неблагоприятный поступок, такую сильную эмоцию, как угрозы-ния совести.

«Страх», «стыд», «чувство долга», «ответственность», «честь», «сохранение лица», «совесть», «чувство вины», «чувство собственного достоинства» и пр. – это мотивы и чувства, выступающие в качестве регуляторов индивидуального поведения. Исследователи особое внимание обращают на значимость в конкретных культурах чувств страха, стыда и вины [Бенедикт, 2004; Кон, 1979]. В данном случае обратим внимание на различия стыда и вины.

Стыд – специфически-культурное образование, гарантирующее соблюдение групповых норм и обязанностей по отношению к «своим». Его положительные корреляты – честь, слава, признание и одобрение со стороны «своих». Стыд – чувство партикуляристское, действующее только внутри определенной человеческой группы: стыдиться можно только «своих», стыд предполагает постоянную оглядку на окружающих. В случае же если нет непосредственных наблюдателей неблагоприятного поступка, следует говорить о совести как об индивидуально-личностном контрольном механизме. Негативный полюс совести – чувство вины. В отличие от стыда, побуждающего человека смотреть на себя глазами «значимых других», чувство вины является внутренним и субъективным, означая суд над самим собой. Это чувство распространяется не только на поступки, но и на тайные помыслы, оно более универсально по своему содержанию. Неслучайно поэтому, что именно нормы процедурной справедливости значительно шире представлены в постсоветских учебниках, составлявшихся в условиях большей вариативности стилей жизни и повседневных практик по сравнению с советским временем. Впрочем, и тема дистрибутивной справедливости остается в числе значимых: именно это моральное основание создает нравственное наполнение народных сказок, размещенных в разделах, посвященных фольклору: «Лиса и журавль» [Родная речь, 2004 б, с. 42–44], «Каша из топора» [там же, с. 44–46], «Гуси-лебеди» [там же, с. 48–53] и др.

И наконец, еще одно индивидуализирующее моральное основание – это забота, оказание помощи нуждающемуся. Сразу заметим, что доля текстов и иллюстраций, ориентированных на трансляцию морали заботы, в постсоветских учебниках по сравнению с советскими существенно увеличилась. Отчасти это связано с нашим пониманием категории заботы и потому требует некоторых пояснений. Исследователи неоднократно обращали внимание на существенный вес понятия «забота» в советской идеологии, более того, рассматривали ее в качестве центральной категории, сквозь призму которой представляются отношения между государством и гражданами [Михайловская, 1997; Богданова, 2006]. Е.А. Богданова иллюстрирует это положение указанием на то, что в тексте Конституции 1977 г. категория «забота» встречается 12 раз, определяя характер и правила отношений между разнообразными объектами и субъектами; госу-

дарственная концепция общественных отношений выражена следующим образом: «Советское общество – это общество, законом которого является *забота* всех о благе каждого и *забота* каждого о благе всех» [Конституция СССР, 1977, цит. по: Богданова, 2006].

При этом категория заботы репрезентируется в самых разнообразных значениях и отношениях, что, безусловно, приводит к размыванию ее смысла. В категорию заботы, по сути, включаются едва ли не все моральные основания: мораль заботы становится неотличимой от «иерархии», «справедливости», «почитания авторитета». В результате забота, которая в современной западной психологии представляется в качестве моральной нормы, регулирующей межличностные отношения и взаимодействия в первичных группах, превращается в идеологический механизм социальной регуляции. Впрочем, некий флер классической интерпретации сущности заботы остается: это норма отношений, в первую очередь внутрисемейных, а с учетом того, что в советской идеологии границы семьи охватывали весь советский народ, логично, что основным принципом реализации заботы становится принцип патернализма. Забота становится: а) тотальной («всепроникающей» и «непрерывной»), б) основанной на четкой социальной иерархии (субъект всегда сильнее и могущественнее), в) ориентированной на воспроизводство субъект-объектных отношений (тот, кто заботится / тот, о ком заботятся), что естественным образом приводит к диффузии ответственности «объекта», который, освобождаясь от ответственности, освобождается и от прав [Богданова, 2006].

В данной работе мы ориентируемся на психологическое понимание заботы и анализируем характер репрезентации заботы как индивидуализирующего морального основания. Как было показано выше, в постсоветских учебниках тема внутригрупповой сплоченности также выражена достаточно ярко, однако характер разделения на своих / чужих существенно меняется по сравнению с советским периодом. «Своими» постсоветские учебники предлагают считать в первую очередь членов семьи и друзей, что делает весьма прозрачной грань между такими моральными основаниями, как внутригрупповая сплоченность и забота: ребенок, присутствующий в текстах и визуальном материале российских учебников, ориентирован на интересы своего непосредственного окружения – семьи, и воспроизводит семейную модель отношений в других контекстах¹.

Забота как моральное основание, введенное в психологический оборот К. Гиллиган, по ее мнению, отражает специфику женского нравственного развития. Поэтому логично рассмотреть примеры, сфокусированные именно на женских образах.

Образ женщины в учебнике советского периода целиком прописан в рамках советского же гендерного контракта «работающая мать», сложившегося в 1930-е годы [Здравомыслова, Темкина, 2003]: женщина вовлече-

¹ Платонов А.П. Еще мама [Родная речь, 2005 с. с. 137–143].

на в общественное производство, работает полный рабочий день, при этом осуществляет воспитание детей, частично разделяя эту ответственность с государственными институтами и родственниками, и организацию быта. Женщина трудится на заводе ткачихой, в поле – трактористкой, на стройке – инженером, в маленьком северном поселке – врачом. «Почему же люди / Наши заводские / Говорят – у мамы / Руки золотые? / Спорить я не буду, / Им видней – / Ведь они работают / С мамою моею!»¹. По сути, получается, что женщина более близка и знакома не собственным детям, а сослуживцам. Ориентация на заботу в учебниках советского периода отнюдь не декларируется в качестве «женской» ориентации; скорее наоборот, женщины проявляют заботу едва ли не реже, чем мужчины². Так, в рассказе «Просто старушка» заботу о незнакомой пожилой женщине, которой понадобилась помощь, проявляет мальчик, а наблюдающая за этим девочка недоумевает по поводу такого отношения к чужому человеку, демонстрируя ориентацию на ингрупповую лояльность как моральное основание поведения³.

Чрезвычайно насыщен моральными императивами и контекстами центральный для советского учебника образ вождя мирового пролетариата. Образ В.И. Ленина представляется в качестве основы социальной иерархии и, соответственно, инспирирует моральное основание «иерархия / почитание авторитета». Однако для поддержания жизнеспособности сконструированного образа он должен обрести более конкретные, человеческие черты, которые позволили бы изменить перспективу восприятия. Поскольку речь идет о восприятии младших школьников – детей еще очень близких к семье, – те черты, которые делают образ более человеческим, перемещают ребенка из «большого социального круга» в «малый круг» близкой и понятной ему повседневности, наполненной теплотой человеческого взаимодействия. Эти черты и транслируют норму заботы, которая занимает периферическое положение и не находится в фокусе основного внимания в произведении, и, возможно, именно поэтому ее трансляция оказывается столь эффективной. Так, в рассказе Н. Ходза «В горах» повествуется о том, как Ленин воспитывал волю, – подвергая опасности себя и товарища, преодолевал опасное место в горах: «Революционер не имеет права позволить страху взять верх над его волей. Нам, батенька, надо воспитывать в себе волю каждодневно, ежечасно». Последние же строки этого рассказа: «Он нагнулся и сорвал несколько простеньких голубеньких цветочков. – Это Надежде Константиновне, – негромко сказал Ленин. – Она любит полевые цветы»⁴. Кстати, Надежда Константиновна, хотя и иг-

¹ Родина М. Мамины руки [Родная речь, 1980, с. 79].

² Письмо М. Горького сыну Максиму; Исаковский М. Вишня; Скребицкий Г. Митины друзья; Песков В. Когда бушевали метели; Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы [Родная речь, 1974 а].

³ Осеева В. Просто старушка [Родная речь, 1980, с. 79].

⁴ Ходза Н. В горах [Родная речь, 1974 б, с. 315].

Культурные модели моральных суждений и оценок, транслируемые учебниками для начальной школы, и их трансформация в постсоветский период

рает роль первого плана в целом ряде произведений, включенных в учебники чтения для начальной школы, выступает исключительно в амплуа революционерки и транслятора идеологических норм, тогда как в «типичном» женском образе (как осуществляющая заботу) она не представлена ни разу.

Тексты, транслирующие норму заботы, составляют существенную долю в разделе «Ленин с нами». Собственно, название раздела уже настраивает на восприятие В.И. Ленина как человека, близкого каждому. Текст, где вождь мирового пролетариата представлен в повседневном общении с детьми, рабочими, красноармейцами, составляют более половины всего содержания раздела (пять текстов из восьми). Таким образом, мы снова возвращаемся к той «заботе», которая являлась одним из оплотов советской идеологии.

В постсоветских учебниках мы наблюдаем восстановление традиционной гендерной модели. Повод для размышления о степени традиционности дает, например, задание для размышления, предложенное первоклассникам: описания-загадки, где перечислены действия или определения (социальные роли) и предложено подобрать существительное, этому определению соответствующее [Чтение и литература, 2002 с. 67]. Мальчик в этих определениях представлен следующим образом: «ученик, школьник, второклассник, сын, внук, проказник»; логично, что отец при этом – «умелец, работник, родитель, мужчина, друг, муж». Девочка – «хохотушка, непоседа, хозяйшюшка, внучка, дочка, помощница», мама – «хозяйка, женщина, дочка, жена, повариха, рукодельница, утешительница»; предлагается и соответствующий функциональный набор женщины: «ждет, встречает, спрашивает, кормит, читает, варит, стирает, шьет, жарит, хлопочет, напекает, провожает, устает, смеется, заботится, оберегает». На иллюстрации, сопровождающей изложенный выше текст, изображена рыжая кошка (!), рядом с которой спят трое котят, уткнувшихся ей в бок, а мама-кошка с умильным выражением любитсся ими.

Видимо, стремлением к упрочению традиционной модели (в том числе – семейных отношений) обусловлено и преобладание в постсоветских учебниках фольклорных текстов, а также текстов авторов дореволюционной эпохи (табл. 3).

Таблица 3

Соотношение текстов разных эпох, транслирующих мораль заботы, в учебниках советского и постсоветского периодов (% от числа текстов, транслирующих мораль заботы)

Авторство / Период	Фольклорные	Зарубежных авторов	Дореволюционных авторов	Советских авторов
Советский	0	0	7	93
Постсоветский	13	4	37	45

Так, в разделе «Народные песенки, потешки, считалки, небылицы, загадки, сказки» приводится стихок о Катеньке, которая вышивала три узорчатых ковра. Цель прилагаемых усилий исчерпывающе выражает идеал традиционалистского понимания нормы заботы – «Мне кому ковры дарить / Кого радовать?». Безусловно, ближайших членов семьи: первый ковер – бабушке, второй – матушке, третий – «братцу милому-любимому» [Чтение и литература, 2002, с. 7]. А в рассказе К.Д. Ушинского «Петушок с семьей» [там же, с. 75] глава семьи добывает пищу, регулирует ее распределение между членами семьи, наводит порядок в случае конфликта. Куры представлены как взбалмошные, неорганизованные, несознательные, конфликтующие из-за зерен. То же – на соответствующей иллюстрации: хлопающие крыльями и покрикивающие друг на друга куры, сгрудившиеся вокруг них цыплята и возвышающийся над всем этим петух с гордо поднятой головой, внимательно оглядывающий окрестности. Конечно, речь идет не о людях, но рассказ называется «Петушок с семьей», что вызывает ассоциации именно с «основной ячейкой общества».

В современном учебнике женщина – это, прежде всего, мать, и главное основание ее поведения – забота о ребенке, проявления нежности и поддержки¹. При этом сама женщина в текстах, включенных в школьные учебники, крайне редко становится объектом заботы. Образ матери, осуществляющей уход, как правило, мало персонализирован, о ее потребностях и интересах читателю ничего не известно, они игнорируются и действующими персонажами, что дает основание отнести представляемый идеал заботы как относящийся ко второй стадии нравственного развития в соответствии с концепцией К. Гиллиган. Для женщины, по сути, нет выбора (моральной дилеммы), ее действия и переживания можно трактовать как предписанные. Эта мораль остается на конвенциональном уровне, женщина просто включается в заведенный порядок в качестве «осуществляющей заботу» о малых детях, стареющих родителях, голодных мужьях и замерзающих котятках. В целом увеличение в постсоветский период доли текстов и иллюстраций, призванных сформировать / актуализировать мораль заботы, обусловлено сложившейся тенденцией к индивидуализации и сужением репрезентируемой категории «свои» до уровня непосредственного окружения – семьи и дружеской компании. Забота, проявляющаяся как опека / защита / поддержка близких, становится в результате центральным моральным основанием в спектре транслируемых школьными учебниками.

¹ Бунин И. Матери; Плещеев А. В бурю [Родная речь, 2004 б]; Толстой Л. Детство [Родная речь, 2004 с].

Механизмы трансляции моральных оснований подрастающему поколению

В учебниках советского периода в качестве пускового механизма нравственного развития ребенка выступают внешние оценки (что, впрочем, вполне соответствует реальности). Так, в рассказе «Что сказала бы мама»¹ отражается борьба мотивов: индивидуальные интересы (безопасность) / помощь другому, оказавшемуся в опасности. Значение обоих типов мотивации поддерживается поведением и оценками персонажей, окружающих главного героя – мальчика Ваню, который вывел с пасеки малыша, хотя его самого пчелы основательно покусали. Мотив собственной безопасности реализуется поведением друзей, которые, испугавшись пчел, убежали; бабушка так оценила поступок: «Федя с Гришкой убежали, а наш простофиля полез Васятку спасать. Вот бы его мама сейчас увидела – что бы она сказала?». Мотив действия в интересах другого поддерживается оценками родителей, которые, по сути, ставят точку в произведении, резюмируя его общий смысл: «Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: – Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала!».

В учебнике постсоветского периода отражение процесса трансляции нравственных норм, во многом противоположного описанному выше, присутствует в рассказе М. Зощенко «Золотые слова» [Родная речь, 2004 с. с. 144–153]. На первый взгляд, в качестве основания индивидуальных поступков в рассказе постулируется почтение к авторитету / старшему, послушание – детям строго-настрою (под угрозой изгнания из комнаты) запрещено участвовать в разговоре, перебивать собравшихся взрослых. И они молчали, даже когда на их глазах масло упало в чай папиного начальника, дети, боясь ослушаться указания, не сказали об этом. «Папа, улыбнувшись, сказал: – Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать – исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом... Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд».

И далее – вывод:

«И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во многих случаях жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, отчасти в моей работе.

В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.

¹ Воронкова Л. Что сказала бы мама [Родная речь, 1974 а, с. 6–8].

В общем, эти папины слова я золотыми буквами записал в своем сердце.

И может быть, поэтому я стал сравнительно счастливым человеком. И людям, может быть, поэтому я принес не так уж много огорчений».

Собственно, мы наблюдаем процесс (точнее, оказываемся свидетелями толчка к длинному пути) перехода с конвенционального на постконвенциональный уровень морального развития, по Кольбергу. Человек, находящийся на конвенциональном уровне, принимает социальные нормы как основу сохранения целостности общества; на высшем, постконвенциональном уровне он руководствуется уже не требованиями конкретной социальной системы, а обезличенными нравственными нормами. Так, сначала он осознает относительность норм и зависимость их содержания от групповой принадлежности. Это понимание приводит к повышению значимости индивидуальных прав. В результате человек осознанно выбирает единственную систему правил и начинает руководствоваться только ею. Этот переход, согласно теории Кольберга, является функцией интеллектуального развития ребенка, однако размещение этого текста в современном учебнике можно рассматривать и как проявление тенденций социокультурных изменений.

Суть этих тенденций можно выразить следующим образом: сфера влияния морали все больше сужается, сфера нравственности – расширяется. В современном обществе происходит все большая моральная дифференциация: возникают корпоративные этики, правила поведения в профессиональной, дружеской среде. Этот процесс «дробления» субъектов морали может продолжаться до неделимой далее сущности – индивида. Поэтому возрастают и требования к способности формировать собственные критерии оценки, выносить самостоятельные суждения и нести индивидуальную ответственность за сформированные суждения и оценки. И рассказ М. Зощенко, написанный за 70 лет до того, как он был включен в учебник для 3-го класса, транслирует в качестве индивидуальных нравственных ориентиров то, что с течением времени превратилось в ориентиры культурные.

Заключение

Как показывает проведенный анализ, система морально-нравственных ориентиров советского периода (лояльность к ингруппе, почитание авторитета и объектов, признаваемых группой священными) основывалась на категориях, предполагающих, в первую очередь, укрепление социальной общности; порождаемые ими добродетели, практики и институты были ориентированы на то, чтобы связывать людей вместе в иерархически организованных взаимозависимых социальных группах, способных регулировать повседневную жизнь и личные привычки своих членов. Два других установления (причинение вреда / забота и справедливость / несправедливость), напротив, были направлены на индивидуализацию, генерируя

добродетели и практики, нацеленные на защиту людей друг от друга, и должны были содействовать гармоничной жизни автономных агентов, которые могут сосредоточиться на своих собственных целях.

Сравнительный анализ содержания (текстов и иллюстраций) учебников литературного чтения для начальной школы советского и постсоветского периодов выявил наличие как количественных, так и качественных изменений нравственных норм, оценок и суждений, транслируемых детям. Такие моральные основания, как забота и оказание помощи нуждающемуся, а также справедливость (в варианте «процедурной справедливости»), в учебниках постсоветского периода транслируются последовательнее и масштабнее, чем в советское время, а категории «групповая сплоченность, лояльность к “своим”», «добродетельность – почитание священных для группы объектов», а также «дистрибутивная справедливость», напротив, отходят на второй план. Иными словами, сфера индивидуализирующих нравственных оснований расширяется, а «работающих на группу» – сужается.

Отмечены также изменения объектов, в отношении которых предписывается реализация тех или иных нравственных норм и оценок. Так, в качестве «авторитетного лица / лиц», почтение к которым транслируется подрастающему поколению в качестве моральной нормы, в советский период выступают представители старшего поколения – носители советской идеологии, доказавшие свою приверженность ей на деле. Идеологическая зрелость и политическая грамотность оказываются основными признаками, определяющими «авторитетность». То, что авторитетное лицо, как правило, старше самого учащегося начальной школы, подразумевается, поскольку оно представляет некую страту в советской социальной иерархии (пионер, комсомолец, коммунист) и крайне редко приобретает персонализированные черты. В учебниках постсоветского периода, напротив, возраст, ассоциированный с объемом и качеством жизненного опыта, становится основным критерием, определяющим «авторитетность». Впрочем, и в том, и в другом случае акцент сделан на вертикальной культурной трансмиссии, устойчивостью которой – гарант стабильности социокультурной общности. В советский период содержанием этой трансмиссии выступала «правильная» идеологическая ориентация, в постсоветский – куда более абстрактная «народная мудрость», которая, судя по размещенным в учебниках текстам, транслируется преимущественно учителями и старшими родственниками. Таким образом, если в советских учебниках образ «авторитетного лица» абстрактен, но транслируемые им требования конкретны, то в постсоветских учебниках все обстоит наоборот: почитать и слушаться ребенку предлагается вполне конкретных, близких людей (круг которых весьма ограничен), но содержание информации, которую ребенку следует у них перенять, регламентируется весьма слабо.

Это наблюдение выводит нас на два сюжета: на проблему культурной регламентированности содержания воспитательных воздействий на

ребенка, во-первых, и на проблему общественного воспитания и разделенной ответственности за его результат – во-вторых. Существенное снижение определенности характера и содержания воспитательных воздействий, несмотря на не вполне убедительные попытки внесения в учебный материал некоторой «постфигуративности» (если воспользоваться терминологией М. Мид), – это прямое следствие возросшей / появившейся в постсоветский период вариативности жизненных стратегий и стилей жизни, ценностной разнородности, в которую вылилось переживание периода аномии в российском обществе. Соответственно, «большое» общество, не разобравшись с тем, «что такое хорошо, и что такое плохо», резко и неожиданно для всех заинтересованных лиц отстранилось от воспитания подрастающего поколения. Советская модель общественного воспитания, когда любой взрослый полагал себя имеющим право транслировать детям те или иные нормы «от лица советского общества», сменилась моделью «родительского воспитания», в которой лишь самые близкие взрослые люди наделяются ответственностью за социализацию новых членов общества.

Сходные соображения возникают и в связи с прочими моральными основаниями, транслируемыми учебниками. Так, основание «лояльность к ингруппе» в учебниках советского периода под «группой» подразумевает страну, советский народ. В постсоветских пособиях этот принцип сохраняется, но «разбавляется» идеями сплоченности малых групп, в первую очередь – семьи и дружеской компании.

Впрочем, что-то общее в определении группы и механизмов создания и укрепления групповой сплоченности сохраняется в учебниках разных периодов издания. Это эксклюзивный принцип формирования групповой идентичности, ориентированный на поиск врага и объединение группы в процессе противостояния «внешней напасти». Вполне очевиден, таким образом, проективный характер этой ориентации на поиск врага, в котором локализуются все возможные смутные тревоги и недовольства граждан и перед лицом которого группа сплачивается, одновременно создавая собственный образ как абсолютно непогрешимый. Ориентированная на укрепление групповой сплоченности норма дистрибутивной справедливости («взаимности»), доминировавшая в учебниках советского периода, в постсоветских также сохраняется, хотя и сосуществует с утверждением нормы процедурной справедливости (справедливость как принятие и следование единым общим для всех правилам и нормам).

Таким образом, предпринятый нами сравнительный контент-анализ школьных учебников советского и постсоветского периодов отечественной истории позволяет сделать вывод о возрастающей индивидуализации моральной сферы в российском обществе.

Список литературы

1. *Бенедикт Р.* Хризантема и меч: Модели японской культуры. – М.: РОССПЭН, 2004. – 256 с.

Культурные модели моральных суждений и оценок, транслируемые учебниками для начальной школы, и их трансформация в постсоветский период

2. *Богданова Е.А.* Советский опыт регулирования правовых отношений, или «В ожидании заботь» // Журнал социологии и социальной антропологии – СПб., 2006. – Т. 9, № 1. – С. 77–90.
3. *Волков В.В.* Новая культура в области чувства: Как ликвидировали неграмотность в СССР // Человек. – М., 1992. – № 1. – С. 96–102.
4. *Воловикова М.И.* Представления русских о нравственном идеале. – М.: ИП РАН, 2005. – 332 с.
5. *Гудков Л.Д.* Идеологема «врага»: Техника пропаганды и мобилизации: Составляющие риторики «врага» в советском тоталитарном искусстве и литературе // Гудков Л.Д. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 гг. – М.: НЛЮ, 2004. – Режим доступа: <http://psyfactor.org/lib/gudkov5.htm>
6. Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства / Сост. Е.В. Кулешов, И.А. Антипова. – М.: ОГИ, 2003. – 448 с.
7. *Зоравомыслова Е., Темкина А.* Советский этакратический гендерный порядок // Социальная история: Ежегодник, 2003: Женская и гендерная история / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 436–463.
8. «И спросила кроха...» Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России: Учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг. / Под ред. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова. – М.; Тверь: Научная книга, 2010. – 360 с.
9. *Ионин Л.Г.* Социология культуры: Уч. пособие. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. – 428 с.
10. *Кои И.С.* Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры // Социальная психология личности / Под ред. М.И. Бобневой, Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1979. – С. 85–113.
11. *Лебедева Н.М.* Социально-психологические закономерности аккультурации этнических групп // Этническая психология и общество / Под ред. Н.М. Лебедевой. – М.: Старый сад, 1997. – С. 271–289.
12. Литературное чтение: Уч. для учащихся 4 кл. общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Авт.-сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2005 а. – Ч. 1. – 167 с.
13. Литературное чтение: Уч. для учащихся 4 кл. общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Авт.-сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2005 б. – Ч. 2. – 178 с.
14. *Макарова Е.П.* Кампания по ликвидации неграмотности: Буквари для взрослых и методики обучения // Источниковедческие исследования. – М., 2008. – № 4. – С. 98–108.
15. *Макарова Е.П.* Советские буквари для взрослых конца 1920-х годов как исторический источник: Постановка проблемы // Взаимодействие культур в историческом контексте: Сб. ст. / Отв. ред. А.О. Чубартян. – М.: ГУГН, 2005. – С. 176–193.
16. *Мид М.* Культура и мир детства. – М.: Директмедиа, 2008. – 878 с.
17. *Михайловская И.Б.* Концепция прав человека и их значение для посткоммунистической России // Российский бюллетень по правам человека. – М., 1997. – Вып. 9. – Режим доступа: <http://www.hrighs.ru/text/b9/Chapter5.htm>
18. *Осипов Г.А.* «Третье измерение» в социологии П.А. Сорокина: Оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2009. – Т. 12, № 4. – С. 67–79.
19. «Пора читать»: Буквари и книги для чтения в предреволюционной России, 1900–1917: Сб. науч. тр. и мат-лов / Под ред. Т.С. Маркаровой, В.Г. Безрогова. – М.: Языки славянской культуры, 2010. – 408 с.
20. Ребенок XVIII–XX столетий в мире слов: История российского букваря, книги для чтения и учебной хрестоматии: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Т.С. Маркарова, В.Г. Безрогов. – М.; Тверь: Научная книга, 2009. – 236 с.
21. Родная речь: Книга для чтения в 1 кл. / Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. – М.: Просвещение, 1980. – 139 с.

22. Родная речь: Книга для чтения в 3 кл. / Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. – М.: Просвещение, 1974 б. – 284 с.
23. Родная речь: Книга для чтения во 2 кл. / Васильева М.С., Горбушина Л.А., Никитина Е.И., Оморокова М.И. – М.: Просвещение, 1974 а. – 247 с.
24. Родная речь: Учеб. для 1 кл. нач. шк. / Под ред. Л.Ф. Климановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004 а. – 160 с.
25. Родная речь: Учеб. для 2 кл. нач. шк. / Под ред. Л.Ф. Климановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004 б. – 188 с.
26. Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн. / Сост. М.В. Голованова, В.Г. Горещкий, Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2004 с. – Кн. 3 (для 4 кл.), ч. 1. – 256 с.
27. Родная речь: Учеб. по чтению для учащихся нач. шк.: В 3 кн. / Сост. М.В. Голованова, В.Г. Горещкий, Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2004 д. – Кн. 3 (для 4 кл.), ч. 2. – 258 с.
28. *Рукавишников В.О., Эстер П., Халман Л.* Мораль в сравнительном измерении // СоцИс. – М., 1998. – № 6. – С. 88–101.
29. Учебный текст в советской школе: Сб. ст. / Под ред. С.Г. Леонтьевой, К.А. Маслинского. – М.: СПб.: ОИЛКРЛ, 2008. – 472 с.
30. *Хорсхаймер М., Адорно Т.* Диалектика просвещения: Философские фрагменты. – М.: СПб.: Медиум: Ювента, 1997. – 312 с.
31. Чтение и литература: 1 кл.: Учеб. для четырехлет. нач. шк.: В 2 ч. / Авт.-сост. О.В. Джежелей. – М.: Дрофа, 2002. – Ч. 1. – 144 с.
32. *Шведов С.* Сталинский букварь и воспитание нового человека // Сюжет и время: Сб. науч. тр.: К 70-летию Г.В. Краснова. – Коломна: Коломен. гос. пед. ин-т, 1991. – С. 56–61.
33. *Шведов С.* Счастливые люди, или Чему нас учили в школе // Горизонт. – М., 1991. – № 10. – С. 21–27.
34. *Шевченко В.А.* Юные безбожники против пионеров. – М.: Алгоритм, 2009. – 352 с.
35. *Шеффер Б., Скарабис М., Шлёдер Б.* Социально-психологическая модель восприятия чужого: Идентичность, знание, амбивалентность // Психология: Журнал Высшей школы экономики. – М., 2004. – № 1. – С. 25–51.
36. *Шербишин А.И.* С картинки в твоём букваре, или Аз, Веди, Глагол, Мыслете и Живете тоталитарной индоктринации // ПОЛИС. – М., 1999. – № 1. – С. 116–136.
37. *Шербишин А.И.* «Я русский бы выучил только за то...» (Изучение языка как средство конструирования картины тоталитарного мира в сознании советских школьников) // ПОЛИС. – М., 2000. – № 1. – С. 124–141.
38. *Юревич А.В., Ушаков Д.В.* Нравственность в современной России // Психологические исследования: Электронный научный журнал. – 2009. – № 1. – Режим доступа: <http://psystudy.ru/index.php/num/2009n1-3/41-yurevich3.html>
39. A Neo-Kohlbergian approach to morality research / Rest J.R., Narvaez D., Thoma S.J., Bebeau M.J. // *J. of moral education.* – L., 2000. – Vol. 29, N 4. – P. 381–395.
40. *Douglas M.* Natural symbols: Explorations in cosmology. – L.: Cresset, 1970. – XVII, 177 p.
41. *Finkelstein B.* Dollars and dreams: Classrooms as fictitious message systems, 1790–1930 // *History of education quart.* – Hoboken (NJ), 1991. – Vol. 31, N 4. – P. 463–487.
42. *Gilligan C.* In a different voice: Psychological theory and women's development. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1982. – VI, 184 p.
43. *Greene J.D., Cohen J.D.* For the law, neuroscience changes nothing and everything // *Philosophical transactions of the Royal Society of London B.* – L., 2004. – Vol. 359, N 1451 (spec. iss. on law and the brain). – P. 1775–1785.
44. *Haidt J.* The emotional dog and its rational tail // *Psychological rev.* – Wash., 2001. – Vol. 108, N 4. – P. 814–883.

45. *Haidt J., Graham J.* When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize // *Social justice research.* – N.Y., 2007. – Vol. 20, N 1. – P. 98–116.
46. *Keen S.* Faces of enemy: Reflections of the hostile imagination. – San Francisco (CA): Harper & Row, 1986. – 199 p.
47. *Kohlberg L.* Moral development and identification // *Child psychology: 62nd yearbook of the National society for the study of education / Ed. by H. Stevenson.* – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1963. – P. 277–332.
48. *Kohlberg L.* The psychology of moral development // *Kohlberg L. Essays on moral development.* – San Francisco (CA): Harper & Row, 1984. – Vol. 2. – XXXVI, 729 p.
49. *Langton K.P., Jennings M.K.* Political socialization and the high school civic curriculum in the United States // *American political science rev.* – N.Y., 1968. – Vol. 62, N 3. – P. 852–867.
50. *Miller J.G., Bersoff D.M.* Culture and moral judgment: How are conflicts between justice and interpersonal responsibilities resolved? // *J. of personality a. social psychology.* – Wash., 1992. – Vol. 62, N 3. – P. 541–554.
51. *Miller J.G., Bersoff D.M.* The role of liking in perceptions of the moral responsibility to help: A cultural perspective // *J. of experimental social psychology.* – San Diego (CA), 1998. – Vol. 34, N 5. – P. 443–469.
52. *Miller J.G., Bersoff D.M., Harwood R.L.* Perceptions of social responsibilities in India and the United States: Moral imperatives or personal decisions? // *J. of personality a. social psychology.* – Wash., 1990. – Vol. 58, N 4. – P. 33–47.
53. *Moroney S.* Birth of a canon: The historiography of early republican educational thought // *History of education quart.* – Hoboken (NJ), 1999. – Vol. 39, N 4. – P. 476–491.
54. *Мыры Л., Хелкама К.* Moral reasoning and the use of procedural justice rules in hypothetical and real-life dilemmas // *Social justice research.* – N.Y., 2002. – Vol. 15, N 3. – P. 373–391.
55. *Piaget J.* The moral judgment of the child. – L.: Routledge, 1932. – IX, 418 p.
56. Social moral reasoning in Chinese children: A developmental study / *Fang G., Fang F., Keller M., Edelstein W., Kehlet J., Bray M.A.* // *Psychology in the schools.* – Hoboken (NJ), 2003. – Vol. 40, N 1. – P. 125–138.
57. *Tiger L., Fox R.* The imperial animal. – N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1971. – XI, 308 p.
58. *Wendorf C.A., Alexander S., Firestone J.J.* Social justice and moral reasoning: An empirical integration of two paradigms in psychological research // *Social justice research.* – N.Y., 2002. – Vol. 15, N 1. – P. 19–39.
59. *Wong S.L.* Evaluating the content of textbooks: Public interests and professional authority // *Sociology of education.* – N.Y., 1991. – Vol. 64, N 1. – P. 11–18.
60. *Wong S.L.* Review of: Delfattore J. What Johnny shouldn't read: Textbook censorship in America (1992) // *Contemporary sociology: A j. of reviews.* – N.Y., 1994. – Vol. 23, N 2. – P. 291–292.
61. *Young M.F.D.* The curriculum of the future: From the «new sociology of education» to a critical theory of learning. – L.: Falmer press, 1998. – 204 p.

Л.М. Баскин
СОЦИОБИОЛОГИЯ: КОНФЛИКТ ПАРАДИГМ¹

Победа новой старой парадигмы

Основатель социобиологии как науки Э. Уилсон определяет ее как гибридную дисциплину, которая вобрала знания, полученные в этологии (натуралистические исследования целостных образцов поведения), экологии (изучение взаимоотношений организмов со средой) и генетики, чтобы вывести общие принципы биологических свойств сообществ [Wilson, 1978, p. 16]. Уилсон дал обзор установленных к тому времени фактов, касающихся социального поведения животных, и добавил к ним теорию кин-селекции² [Wilson, 1975]. Теория кин-селекции основывалась на теоретических работах и математическом моделировании, проведенном Хэлдэйном [Haldane, 1955] и Гамильтоном [Hamilton, 1964]. Замечу, что моделирование социального поведения популярно среди математиков. Вероятно, 20% публикаций по эволюции социального поведения – это попытки математического моделирования социального поведения.

В течение 40 лет теория кин-селекции оставалась парадигмой социобиологии. С середины 2000-х годов ряд видных исследователей, включая самого основателя социобиологии Э. Уилсона, отказались считать теорию кин-селекции единственной основой эволюции социального пове-

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Интеграция социобиологических и социологических методов в исследовании эволюционных оснований морали и альтруизма (в приложении к российским сообществам)», осуществляемого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00381 а).

² Кин-селекция – «отбор генов, благодаря индивидам, помогающим выживанию и репродукции непрямым потомков, владеющих теми же генами за счет общего происхождения» и «итоговой приспособленности» (сумма прямых и непрямы приспособленностей; прямая приспособленность – это мера, оценивающая потенциал индивида передать гены будущему поколению посредством персонального размножения; непрямая приспособленность – мера, оценивающая потенциал индивида передать копии гена, которыми он владеет, следующим поколениям посредством влияния на репродукцию непрямы потомков) [Drickamer, Vessey, Jakob, 2002, p. 413–415].

дения [Wilson, 2004; Wilson, Wilson, 2007; Nowak, Tarnita, Wilson, 2010]. Произошел возврат к идее отбора на нескольких уровнях, причем отбор по принципу кин-селекции признается лишь одним из механизмов эволюции.

Конфликт социобиологов не безразличен для социологии. Существование биологических корней социального поведения человека социологами под сомнение не ставится. Различными методами установлено, что около 50% поведения (млекопитающих) определяется генетически, т.е. оно является врожденным и определяется предшествующей эволюцией [Drickamer, Vessey, Jakob, 2002, p. 78]. Еще большую долю (до 3/4) эволюционных корней имеет социальное поведение человека [Wilson, 2012]. Эволюция социального поведения и социальной структуры сообществ находит гомологии в поведении человека [Баскин, 2012].

Теория кин-селекции утверждает, что лишь эгоистичный, жадный человек – единственная ценность для эволюции. Альтруизм имеет смысл только по отношению к родственникам. Утверждается, что nepотизм – социальное поведение, оправданное эволюцией, а самопожертвование во имя человечества и науки может быть оправдано лишь в рамках теории реципрокного альтруизма [Trivers, 1971]. Итоговая приспособленность (inclusive fitness) матери заключается в ее детях и внуках, а ее жизнь после рождения детей теряет эволюционный смысл. Очевидно, что моральные или иные экстраполяции парадигмы итоговой приспособленности на историю становления современного человека как вида и на современные социальные явления ведут к выводам, от ложности или истинности которых зависит и их применимость к изучаемым социальным явлениям.

Парадигма кин-селекции и итоговой приспособленности проста для понимания. Утверждается, что если появляется ген какого-либо типа альтруистического поведения, более частое появление этого гена в популяции будет зависеть от того, что поведение альтруиста приносит пользу его родственникам. Чем более дальнему родственнику альтруист приносит пользу, тем меньше вероятность распространения данного гена. Хэлдэйна [Haldane, 1955, p. 44] в качестве примера кин-селекции обсуждал ситуацию выбора – спасать или не спасать тонущего ребенка. Шутливый вывод состоял в том, что его (Хэлдэйна) жизнь стоит генов двух спасенных собственных детей (каждый несет гены отца и матери, т.е. 1/2 генотипа Хэлдэйна) или восьми племянников (каждый имеет 1/8 генотипа Хэлдэйна). Он отмечал, что у древнего человека такой ген мог сохраниться только в маленьких группах, в которые, скорее всего, входили только родственники.

Социобиология возникла изначально для объяснения «действительной социальности» (eusociality), которая подразумевает совместную заботу о молодых, заботу не размножающихся каст о размножающейся, помощь поколений (старшие дети заботятся о новорожденных). До 1990-х годов eusociality была известна лишь у термитов, муравьев, социальных ос и пчел. Соответственно, парадигма кин-селекции разрабатывалась для объяснения эволюции поведения социальных насекомых. В начале 1990-х го-

дов накопились новые факты. Eusociality была обнаружена у жуков из подсемейств *Scolytinae* и *Platypodinae* (жуки-плоскоходы; они носят с собой споры грибков, которые рассеивают в ходах, сделанных в древесине, и этими грибами питаются), шелкающих креветок (*Synalpheus regalis*) и у голых землякопов (*Heterocephalus glabe*). В последнем случае речь шла о грызунах, хотя и весьма специализированных, адаптированных к жизни под землей.

Накопление новых фактов и множество математических моделей, построенных, чтобы объяснить, как естественный отбор мог привести к появлению социального поведения, стали основой для пересмотра основной парадигмы. Основатель социобиологии Э. Уилсон и его коллеги провели обзор работ [Nowak, Tarnita, Wilson, 2010] и пришли к выводу, что стандартная теория естественного отбора предоставляет более простой и приемлемый подход, позволяя проверить больше гипотез и лучше интерпретировать наблюдения. Критики теории кин-селекции обратили внимание, что главной мерой в ней является степень родства, так что моделирование сводится к вычислениям меры родства в группах. Поскольку речь идет о передаче генов в ряду поколений, такие вычисления по мере усложнения поведения и числа определяющих его генов становятся нереальными.

Авторы обзора показали, что теория итоговой приспособленности требует ряда допущений, которые не могут существовать в реальности. Так, эта теория требует рассматривать только парные взаимодействия, но в природе имеет место и коллективное взаимодействие. Еще пример допущения, требуемого теорией итоговой приспособленности: индивиды должны или взаимодействовать, или не взаимодействовать, но не может существовать континуума взаимодействий. Существует множество аргументов, показывающих, почему математические допущения теории итоговой приспособленности не соответствуют наблюдаемым реалиям [Nowak, Tarnita, Wilson, 2010]. Идея, что групповой отбор сводится к кин-селекции, оказывается неверной или недоказуемой. Главный вывод: стандартная теория группового отбора, созданная Ч. Дарвиным, предлагает более простое и надежное объяснение того, как естественный отбор мог создать социальных насекомых. В то же время теория итоговой приспособленности предлагает лишь иной способ расчетов, однако она верна лишь при массе ограничений, что делает ее далекой от условий реального мира [Nowak, Tarnita, Wilson, 2010].

Противники парадигмы кин-селекции и итоговой приспособленности приводят множество аргументов против нее. Например, обращают внимание, что эта парадигма претендовала на объяснение эволюции социального поведения в животном мире, но не может объяснить, почему eusociality наблюдается весьма редко. Таких достижений эволюции насчитывается меньше, чем должно было бы быть при столь простой форме отбора, как близкородственный. Появились факты, что даже в колониях му-

равьев и пчел отбор может вести к увеличению генетического разнообразия, т.е. родственные отношения теряются. При работе естественного отбора в таком направлении увеличивается устойчивость колоний к паразитам и болезням. Известно, какими опустошительными бывают эпидемии и эпизоотии в пчеловодстве, когда вымирает большая часть семей.

Как же представляют себе Уилсон и его коллеги эволюцию, приводящую к *eusociality*? Первым шагом было формирование групп внутри свободно смешивающихся популяций. Одной из выгод существования в таких группировках могли быть преимущества в совместной защите гнезд. На втором этапе вступали в действия преадаптации поведения. На данном этапе такой преадаптацией, которая давала преимущество и послужила мостиком к дальнейшему развитию социальных отношений, могло быть описанное для некоторых видов перепончатокрылых насекомых разделение труда между особями при фуражировке, рытье туннелей, защите гнезда. Генетически наследуемым могло быть понижение порога при проявлении таких реакций. Третьим этапом эволюции могли быть мутации или даже одна мутация, которая не определяла какую-то новую реакцию, а подавляла стремление молодых особей к расселению. Самка и ее потомство должны были предпочитать оставаться в одном гнезде. Четвертым этапом могла служить совместная защита членов одной большой семьи от паразитов, хищников и конкурирующих семей. На пятом, заключительном, этапе происходил отбор наиболее приспособленных колоний, например с более подходящим для условий жизненным циклом, а также имевших систему каст. На этом этапе уже имела место *eusociality* (истинная социальность). Как мы видим, на заключительном этапе предполагается действие группового отбора, который полностью отрицается сторонниками теории кин-селекции¹.

Удивительно, как математическая модель эволюции Хэлдэйна и Гамильтона в течение 40 лет оставалась единственной парадигмой социобиологии. С 2005 г. и математики, и некоторые социобиологи вернулись к идее многоуровневого отбора – на уровне генов, индивидов, семей, групп и популяций. Сохраняется и противоположная точка зрения, согласно которой теория итоговой приспособленности сохраняет свое положение ведущей теории социобиологии [Vourke, 2011].

Одно из объяснений того, почему парадигма кин-селекции и итоговой приспособленности оставалась (и еще остается) популярной среди исследователей социального поведения животных и человека, состоит в ее предельной простоте. Формула, предложенная Гамильтоном для объяснения столь сложного и многообразного явления, как социальное поведение, брала в расчет лишь родственные отношения внутри группы. Возможно,

¹ Интересна такая деталь из области научной этики: в течение многих лет редакции научных журналов отказывались принимать к рассмотрению статьи, в которых хотя бы упоминался групповой отбор, полагая это в качестве показателя заведомо низкой квалификации автора [Wilson, Wilson, 2007].

именно эта простота, редуccionизм, на котором настаивали основатели социобиологии, как важнейший принцип научного исследования, была одной из причин столь большой популярности первой парадигмы социобиологии. Один из столпов социобиологии, Дж. Уильямс, утверждал, что задача науки – это наиболее полное представление фактов с наименьшими затратами мышления: «При объяснении адаптации каждый должен допустить адекватность простейшей формы естественного отбора, пока доказательство не покажет ясно, что эта теория недостаточна» [Williams, 1966, p. 4–5]. Как видим, Уильямс повторял здесь принцип «экономии мышления» Э. Маха [Mach, 1919, p. 490].

Э. Уилсон, в противоположность Гамильтону и Уильямсу, полагает, что при изучении социального поведения надо вовлекать все уровни объяснения – от молекулярных до социологических [Wilson, 2012]. Редуccionизм несостоятелен, когда речь идет о социальном поведении. Твердо установлена генетическая обусловленность уровня возбужденности животных и человека, эмоций, выражений лица, жестикуляции и многих других физиологических и этологических свойств организмов. Однако это не исключает возможность эволюции структур сообщества, сложных форм социального поведения эпигенетическим путем (например, импринтинг родителей как образцов животных своего вида, облигатное обучение и т.п.). Возврат к признанию возможности естественного отбора на разных уровнях организации позволяет принципиально по-иному объяснить, как структура сообществ и социальное поведение соотносятся с экологией вида, как может формироваться альтруистическое поведение, каковы гомологии сложных форм социального поведения животных и человека.

Эволюция и экология социального поведения животных и человека: Примеры

Голые землекопы

Дж. Джарвис [Jarvis, 1981] отловила группу голых землекопов (*Heterocephalus glaber*) в Кении и содержала их в лаборатории. При этом выяснилось, что у этих полуслепых, без шерсти, небольших (длина туловища 8–10 см) грызунов, питающихся корневищами и луковицами, размножается лишь одна «царица», которая спаривается с немногими самцами, тогда как остальные члены группы прокладывают подземные ходы, охраняют группу от змей и т.п. Таким образом, колонии голых землекопов стали первым примером «истинной социальности» («eusociality») у млекопитающих.

Стая рыб

У. Гамильтон создал и другие математические модели, объясняющие, как ему казалось, сложные явления социального поведения простыми

закономерностями. Приведу пример из истории исследований социального поведения рыб. Одним из видных ученых, работавших в этом направлении, был Д.В. Радаков. В акваланге, стоя на движущемся рыболовном трале (т.е. в глубине океана), Радаков наблюдал и снимал на кинокамеру, как сельди (а в стае их могли быть сотни тысяч) попадают в трал или огибают его, как возникают стаи рыб и как рассеиваются. Киносъемка позволяла проследить потоки рыб в стае, движущиеся в одном или разных направлениях. В отличие от млекопитающих, где имеется личное распознавание особей и, соответственно, стада (нередко тоже состоящие из тысяч животных) ведут отдельные животные, у океанических рыб вожаками бывают группы особей. В какой-то момент у них возникает сходная мотивация (например, повернуть в сторону от трала), и эта группа становится коллективным вожаком, за которым устремляется вся стая, весь миллион особей.

Результаты работ Радакова были опубликованы [Радаков, 1972]. Книга каким-то образом попала к У. Гамильтону. Радаков неожиданно получил от него письмо, которое оживленно обсуждалось на коллоквиуме в нашем Институте проблем экологии и эволюции. Гамильтон писал примерно следующее: «Оставьте вашу экологическую аргументацию, что рыбы собираются в стаи, потому что такая социальная структура соответствует их поведенческому синдрому, что стайное поведение рыб определяется экологическими факторами». По Гамильтону, скопление животных возникает потому, что они прячутся одно за другое. Предлагалась модель: пруд и лягушки, сидящие на берегу. Вот появился уж, и напуганные лягушки попрыгали в воду. Те, что оказались ближе к берегу, тотчас прыгнули через соседей, стремясь оказаться дальше от ужа. После нескольких повторений возникнет скопление лягушек. Эту механистическую модель формирования скопления Гамильтон опубликовал [Hamilton, 1971]. Интересно, что его рисунок, показывающий, как лягушки собираются вместе, нашел место и в современном учебнике по поведению животных, выдержавшем четыре издания [Drickamer, Vessey, Jakob, 2002, p. 363].

Редукционизм при объяснении социальных явлений сохраняет свою привлекательность и доныне. Если есть возможность описать элементы поведения механистическими моделями, которые оказываются «работающими», вряд ли следует возражать против этого. Впоследствии, работая с гидрологами, Радаков показал, что потоки рыб в стае и при огибании препятствий могут быть описаны формулами, разработанными для потоков жидкости. Подобные модели поведения масс людей теперь помогают управлять потоками людей, охваченных паническим поведением [Баскин, 2011, с. 55, 59–60].

Объяснение Гамильтона, если им ограничиться, оставляет в стороне огромный слой важных знаний о закономерностях социального поведения. Представление об этих закономерностях было заложено еще работами зоосоциологов, таких как Парр и Бридер [цит. по: Радаков, 1972]. Соглас-

но Парру, рыбы испытывают влияние двух факторов: силы взаимного притяжения, когда рыбы находятся на достаточном расстоянии друг от друга, и силы отталкивания, когда они сходятся ближе некоторого критического расстояния. Такая гипотеза позволила объяснить явление «мельницы» – круговое движение рыб в стае. Оно основано на том, что рыба, двигающаяся относительно данной особи, сильнее привлекает ее, чем неподвижная. Существует полный ряд переходов между скоплениями рыб и стаями.

По Бридеру, стая – это группа особей, находящихся в состоянии поступательного движения в определенном направлении. Примерно в те же годы я дал сходное определение стада северных оленей: «Группа оленей со сходным поведением, например одинаковым направлением движения» [Баскин, 1970, с. 32]. Исследовавший рыб Д.В. Радаков пришел к следующему заключению. Под термином «стая рыб без доминирования» следует понимать временную группу особей обычно одного вида, которая находится в одной фазе жизненного цикла и активно поддерживает взаимный контакт (в основном, зрительный), проявляет или может проявить организованность действия, биологически полезную большинству особей в стае. Нахождение в стае защищает рыб от хищников. Иногда стая вообще недоступна хищникам. В стае существует подражание, обучение, взаимная стимуляция. Например, стайка рыб, привлеченная крючком с наживкой, опущенным рыболовом в воду, после того как несколько рыбок несчастливо оказывается на этом крючке, больше на обман не попадает. Ночью стаи рассеиваются, а днем собираются в новом составе. Обмен особями обеспечивает передачу рефлексов от одной рыбы другим; такая рыба, оказавшись в другой стае, передает свой опыт новым соседям.

Как мы видим, существует огромная разница в объеме знаний, которые дают нам «модель лягушек» и реальная работа по изучению социального поведения рыб.

Помощники

Действительная социальность (eusociality) подразумевает совместную заботу о молодых, заботу не размножающихся каст о размножающейся, помощь поколений: старшие дети заботятся о новорожденных. Из этих трех признаков исследователей млекопитающих привлекла забота старших детей о младших, так называемые «помощники». Эти молодые особи присутствуют в группе, но не принимают участия в размножении. Отказ от размножения не связан с их физиологической способностью к спариванию. Если доминирующая особь гибнет, помощники могут занимать их место. Подобные события известны в стаях волков, гиеновых собак, лошадей. Помощники в гаремах домашних лошадей, содержащихся вольно, в гаремах равнинных зебр – обычное явление. Однако эти помощники неродственны доминирующему в группе самцу и самкам. Двухлетние самцы уходят из родной группы и присоединяются к группам холостяков. По прошествии нескольких лет молодое животное уходит из группы холо-

стяжков и присоединяется к одному из гаремов, где и проходит путь от помощника до вожака, свергнув постаревшего жеребца и став отцом родившихся жеребят [Баскин, 1976; Klingel, 1969]. Таким образом, говоря о помощниках, мы не имеем примера кин-селекции, как это предполагалось вначале.

Стада северных оленей

Северные олени – высокосоциальные животные в том смысле, что у них сильна мотивация к присоединению к другим оленям. Социальным поведением резко различаются северные олени, живущие в открытом ландшафте (в тундре и на открытых высокогорьях) и в лесу. Для первых характерно образование стад – от нескольких десятков особей до 2-3 тыс., которые, в свою очередь, образуют скопления до 100 тыс. Лесных оленей чаще можно встретить в составе маленьких групп (до четырех-пяти оленей вместе), а самки во время отела вообще предпочитают одиночество. Причина разобщенности: в лесу нарушается коммуникация между животными. Замечательный факт, что лесные олени, оказавшись на открытом месте, тотчас проявляют высокосоциальное поведение – образуют такие же большие стада, как и тундровые олени.

Важнейшая для проблем социобиологии оленей особенность: группы оленей объединяются и делятся в любом сочетании особей. Обычен обмен особями между группами, когда они сливаются, а потом делятся. У северных оленей существует острая конкуренция за кормовую лунку в снегу; слабый олень может ее выкопать, а более сильный его отогнать и воспользоваться чужим трудом. Вопрос о том, кто сильнее, решается за счет эволюционного приобретения – рогов. Кто с рогами, тот и победитель, другие и не пытаются защищать свою лунку. Сроки сбрасывания рогов отрегулированы так, что в каждый сезон рогами обладает определенная половая и возрастная группа оленей. Осенью в течение гона самцы имеют огромные рога, помогающие в турнирах одержать первенство наиболее жирному и крупному самцу. В конце периода гона быки сбрасывают рога и, оставшись комолами, не могут противостоять стельным самкам, которые носят рога вплоть до отела. Детали можно найти в моей книге [Баскин, 2009].

Северный олень – типичный вид-жертва. Волки и росомахи используют оленей как добычу. В наше время охотники – самый опасный хищник. Наибольшему преследованию олени подвергаются в горах Норвегии, где отведены всего лишь две недели на то, чтобы отстрелить оленя и вернуть деньги, уплаченные за лицензию. Соответственно, охотники преследуют оленей и днем и ночью. Олени убегают, увидев человека, в среднем, с 400 метров, во время отдыха осматриваются вокруг каждую минуту. Но там же в Норвегии, на островах Шпицбергена охота не ведется вовсе (или в очень малых масштабах). Здесь олени очень доверчивы, нередко подходят к человеку на два-три метра. Однако 40% оленей Шпицбергена

сохраняют высокую пугливость и бдительность [Баскин, 2009]. Легко представить себе, что если бы волки смогли добраться до Шпицбергена, именно особо пугливые олени выжили и основали бы популяцию со столь же интенсивным оборонительным поведением. Частоты генов, ответственных за пугливость, оказались бы иными. Имел бы место групповой отбор (выжили бы группы, где было бы больше пугливых оленей).

Социология: Попытки использовать обе парадигмы социобиологии

В течение 40 лет теория кин-селекции оставалась абстракцией, хотя сначала ей прочили большое будущее, возможность предсказания и открытия фактов, которые можно было бы проверить. Исследования зоологов, генетиков, этнологов и социологов развивались независимо от нее. Время от времени зоологи находили соответствие полученных и предсказанных теорией данных. Этот подход сохраняется и сейчас. Авторы обращаются к любым механизмам эволюции социального поведения, если они кажутся подходящими для объяснения наблюдаемых явлений.

В этом отношении характерны исследования того, как идеология кин-селекции противостояла главенствующим парадигмам общественной жизни. В СССР, как известно, преобладали идеи главенства общественного над личным и влияния среды на формирование человеческой личности. Теория кин-селекции, основанная на главенстве интересов индивида, конечно, мало соответствовала руководящей идеологии. И. Хауэлл [Howell, 2010] обратила внимание на публикацию в «Новом мире» статьи В.П. Эфроимсона «Родословная альтруизма» [Эфроимсон, 1971]. Эта статья была опубликована в 1971 г., в самый разгар консервативных настроений в правящей элите. Эфроимсон, ссылаясь на Гамильтона (хотя и называет его теорию «предельно упрощенной схемой»), говорит, что «ген, индивидуально невыгодный, но способствующий сохранению ближайших родственников и даже менее близких, будет распространяться особенно интенсивно, если своим самопожертвованием индивид спасает множество людей». Эфроимсон согласен с тем, что «прогресс человечества за последние десять тысяч лет и более определяется не естественным отбором (который в снятом виде, но действует постоянно), а социальной преемственностью, передачей опыта, умений, знаний от поколения к поколению, от одного стада, орды, племени, народа другому». Однако вслед за П.А. Кропоткиным [Кропоткин, 1922], которого он широко цитирует, Эфроимсон ставит задачу показать, что те огромные, хотя и противоречивые потенции к совершению добра, которые постоянно раскрываются в человеке, имеют свои основания также и в его наследственной природе, куда они вложены действием особых биологических факторов, игравших существенную роль в механизмах естественного отбора, в процессе эволюции наших предков.

В Китае социобиология (первая статья в Китае об этом научном направлении появилась в 1978 г.) была воспринята на волне стремления на-

учного сообщества приобщиться к «западной науке». Были изданы, а уже в XXI в. переизданы основные труды социобиологов. Но в целом какого-либо влияния на развитие биологических или социальных наук в Китае социобиология не оказала [Jianhui, Fan, 2003].

В начале данной статьи было указано, к каким неприемлемым для сегодняшней морали выводам приводит теория кин-селекции и итоговой приспособленности. Быть может, обращение к биологическим корням человека вообще непригодно для формирования морали, и надо, насколько это будет признано полезным, удалиться от них? Например, положиться на религию?

Ч. Дарвин писал: «Мы должны, однако, признать, что человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое он простирает не только на других людей, но и на последних из живых существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство солнечной системы, человек со всеми его высокими способностями, тем не менее носит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения. Как видим, взаимоотношения разных уровней организации исключительно важны для понимания поведения человека, включая и социальное» [Дарвин, 1953, с. 656].

Р. Доккинз в своей знаменитой книге, во многом способствовавшей популяризации теории кин-селекции, писал: «Мы – машины выживания, роботы, слепо запрограммированные на сохранение эгоистических молекул, известных как гены... Давайте попробуем научиться щедрости и альтруизму, потому что мы рождены эгоистами» [Dawkins, 1976]. Через 30 лет тот же автор писал: «...страсть к щедрости и состраданию – это осечка выстрела, следствие деревенской жизни наших предков» [Dawkins, 2008, p. 222]. Идея того, что мораль современного общества может иметь корни в поведении первобытного человека, широко обсуждается в социологической литературе.

В США был проведен опрос значительной группы респондентов об их отношении к существующей системе социальной защиты – помощи бедным, многодетным семьям и т.п. [Strong reciprocity..., 2008]. Результат был ошеломляюще непредсказуем. Четыре к одному высказались против помощи бедным, полагая, что так поощряются лень, асоциальный образ жизни, неверно тратятся деньги налогоплательщиков. Разительный контраст между общественной и индивидуальной моралью заставил исследователей искать его корни.

Р. Трайверс, один из основателей социобиологии, определял альтруистическое поведение как поведение, которое выгодно неродственному организму, но, очевидно, вредно для того, кто такое поведение осуществляет, причем выгода и вредность определяются с точки зрения итоговой приспособленности [Trivers, 1971, 2007]. Модель Трайверса исключала (возвращаясь к метафоре Хэлдэйна) спасение собственного ребенка, по-

сколькx в таком случае спасались свои собственные гены. Но зато Трайверс исследовал случай альтруистического поведения («реципрокного альтруизма») двух видов, которое при некоторых условиях служило увеличению итоговой приспособленности обоих (симбиоз). В той же работе он ввел понятие «обманщик» («cheater»), обозначающее особь, которая не выполняет обязательства, накладываемые реципрокным альтруизмом (например, не бросается в реку спасать своего спасителя).

Организаторы упомянутого опроса, полагая американское общество высокоэтичным, вдруг обнаружили, что персональное мнение соответствует духу кин-селекции, что люди готовы к альтруизму только для своих родственников или в духе реципрокного альтруизма. Причем налогоплательщики предполагают (в духе работ Трайверса), что нуждающиеся в социальной помощи – это gross cheaters, т.е. обманщики, от которых никогда не дождешься взаимной помощи. Трайверс еще выделял subtle cheaters, под которыми в данном случае можно бы подразумевать детей-сирот, вообще детей, поскольку на протяжении своей, возможно долгой, жизни они будут полезны обществу, т.е. налогоплательщикам.

Гинтис и его коллеги, пытаясь объяснить, как формируется альтруизм общества (в противовес эгоизму его отдельных членов), развили теорию «сильного реципрокного альтруизма», подразумевая под ним альтруизм, заведомо не предполагающий вознаграждения от того, кому помощь предназначена [Strong reciprocity... 2008]. При этом они отсылают нас к жизни первобытного человека в саваннах Африки, когда группы охотников / собирателей кочевали на большом пространстве и контактировали с неродственными группами. По мнению Гинтиса и его коллег, сильный реципрокный альтруизм помогал выживанию групп, а его проявления увеличивали частоту «своих» генов, в отличие от меньшей вероятности выживания групп, проявлявших альтруизм реже. Конструкция на первый взгляд кажется сомнительной. Однако вспомним, что кочующие группы северных оленей, объединившись и следуя за более опытными вожаками, лучше противостоят хищникам. А группа павианов гамадрилов, при всей агрессивности самца, готового сражаться с леопардами, защищая своих самок и потомство, мирно ночует на одних и те же скалах с другими группами гамадрилов. Другой вопрос, что здесь возникает сообщество более высокого уровня. Самцы знают друг друга. В эксперименте, когда группа гамадрилов была отловлена и выпущена далеко от дома, она попыталась ночевать на незнакомых скалах, где сейчас же самца с позором выгнали соперники, а его самок и детенышей отняли и разобрали по другим гаремам [Kummer, 1971]. Таким образом, точку зрения Гинтиса и его коллег следует понимать как альтруизм в широком смысле этого понятия, как всю структуру отношений между группами, реципрокными или возникающими как результат индивидуальных или внутригрупповых адаптаций.

М. Прайс также обращается к жизни первобытного человека, настаивая, что современное этическое поведение людей – это отголосок отно-

шений, которые существовали в плейстоцене между группами людей [Price, 2008]. По его мнению, теория кин-селекции правильно определяла механизм естественного отбора в популяциях первобытных людей. Как полагает Прайс, наш мозг чувствует себя как в каменном веке; мы не верим, что за нами кто-либо следит и оценивает наши поступки. Таким образом, вводится еще одна переменная – наказание за несоблюдение норм морали. Трайверс, развивая свою гипотезу о реципрокном альтруизме и ее применении в современном обществе, полагал, что неупорядоченное поведение может стоить очень дорого для итоговой приспособленности, и в этом смысле соответствие нормам и законам – в интересах самого субъекта [Trivers, 2007, p. 77].

* * *

Подводя итоги, мы делаем вывод, что конфликт парадигм в социобиологии пока не разрешился. Однако возвращение к старой новой парадигме многоуровневого отбора, включая групповой, расширяет спектр отсылки к эволюционной теории. Жесткое доминирование теории кин-селекции и итоговой приспособленности как меры адаптации ушло в прошлое. Эта теория не отрицается, но расценивается как частный случай стандартной дарвиновской теории естественного отбора. История борьбы парадигм ставит под вопрос методологию биологического и социологического исследования: насколько продуктивно и как правильно использовать модели, разработанные для низших уровней организации живой материи, для объяснения таких сложных явлений, как социальная жизнь животных и человека.

Список литературы

1. *Баскин Л.М.* Вожаки в группах животных и человека // Социологический ежегодник, 2011: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2012. – С. 52–69.
2. *Баскин Л.М.* Паническое поведение людей и животных // Социологический ежегодник, 2012: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ; Ред. Н.Е. Покровский, Ред.-сост. Д.В. Ефременко. – М., 2013. – С. 185–212.
3. *Баскин Л.М.* Поведение копытных животных. – М.: Наука, 1976. – 296 с.
4. *Баскин Л.М.* Северный олень: Управление поведением и популяциями. Оленеводство. Охота. – М.: КМК, 2009. – 284 с.
5. *Баскин Л.М.* Северный олень: Экология и поведение. – М.: Наука, 1970. – 148 с.
6. *Дарвин Ч.* Происхождение человека и половой отбор: Выражение эмоций у человека и животных // Дарвин Ч. Соч. в 9 т. – М.; Л.: АН СССР, 1953. – Т. 5. – 1040 с.
7. *Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И.* Основы этологии и генетики поведения: Учебник. – М.: Высшая школа, 2002. – 383 с.
8. *Кропоткин П.А.* Этика. – М.; Пг.: Голос труда, 1922. – Т. 1. – 83 с.
9. *Радаков Д.В.* Стайность рыб как экологическое явление. – М.: Наука, 1972. – 174 с.

10. Хайнд П. Поведение животных: Синтез этиологии и сравнительной психологии. – М.: Мир, 1975. – 855 с.
11. Эфроимсон В.И. Родословная альтруизма (Этика с позиций эволюционной генетики человека) // Новый мир. – М., 1971. – № 10. – С. 193–213.
12. Bourke A.F.G. The validity and value of inclusive fitness theory: Review // Proceedings of the Royal society. – L., 2011. – Vol. 278, N 1723. – P. 3313–3320.
13. Dawkins R. The God delusion. – Boston (MA); N.Y.: Houghton-Mifflin, 2008. – 463 p.
14. Dawkins R. The selfish gene. – N.Y.: Oxford univ. press, 1976. – XI, 224 p.
15. Drickamer L., Vessey S., Jakob E. Animal behavior: Mechanisms, ecology, evolution. – Boston (MA): McGraw-Hill, 2002. – X, 422 p.
16. Haldane J.B.S. Population genetics // New biology. – L.; N.Y., 1955. – Vol. 18. – P. 34–51.
17. Hamilton W.D. Geometry for the selfish herd // J. of theoretical biology. – Amsterdam, 1971. – Vol. 31, N 2. – P. 295–311.
18. Hamilton W.D. The genetical evolution of social behavior // J. of theoretical biology. – Amsterdam, 1964. – Vol. 7, N 1. – P. 1–52.
19. Howell Y. The liberal gene: Sociobiology as emancipatory discourse in the late Soviet Union // Slavic rev. – Seattle (WA), 2010. – Vol. 69, N 2. – P. 356–376.
20. Jarvis J.U.M. Eusociality in a mammal: Cooperative breeding in naked mole-rat colonies // Science: New series. – N.Y., 1981. – Vol. 212, N 4494. – P. 571–573.
21. Klingel H. The social organization and population ecology of the plain zebra (*Equus quagga*) // Zoologica Africana. – Cape Town, 1969. – Vol. 4, N 2. – P. 249–263.
22. Kummer H. Primate societies: Group techniques of ecological adaptations. – Chicago (IL): Aldine-Atherton, 1971. – 160 p.
23. Jianhui L., Fan H. Science as ideology: The rejection and reception of sociobiology in China // J. of the history of biology. – Cambridge (MA), 2003. – Vol. 36, N. 3. – P. 567–578.
24. Mach E. The science of mechanics: A critical and historical account of its development. – Chicago (IL): Open court, 1919. – XIX, 605 p.
25. Nowak M.A., Tarnita C.E., Wilson E.O. The evolution of eusociality // Nature. – L., 2010. – Vol. 466, N 7310. – P. 1057–1062.
26. Price M.E. The resurrection of group selection as a theory of human cooperation // Social justice research. – N.Y., 2008. – Vol. 21, N 2. – P. 228–240.
27. Strong reciprocity and the roots of human morality / Gintis H., Henrich J., Bowles S., Boyd R., Fehr E. // Social justice research. – N.Y.; Dordrecht, 2008. – Vol. 21, N 2. – P. 241–253.
28. Trivers R.L. Reciprocal altruism: 30 years later // Cooperation in primates and humans: Mechanisms and evolution / Ed. by P.K. Kappeler, C.P. van Schaik. – B.: Springer, 2007. – P. 67–85.
29. Trivers R.L. The evolution of reciprocal altruism // Quartely rev. of biology. – Chicago (IL), 1971. – Vol. 46, N 1. – P. 35–57.
30. Williams G.C. Adaptation and natural selection: A critique of some current evolutionary thought. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 1966. – X, 307 p.
31. Wilson D.S. What is wrong with absolute individual fitness? // Trends in ecology a. evolution. – Amsterdam, 2004. – Vol. 19, N 5. – P. 245–248.
32. Wilson D.S., Wilson E.O. Rethinking the theoretical foundation of sociobiology // Quarterly rev. of biology. – Chicago (IL), 2007. – Vol. 82, N 4. – P. 327–348.
33. Wilson E.O. On human nature. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1978. – XII, 260 p.
34. Wilson E.O. Sociobiology. – Cambridge (MA): Belknap press, 1975. – X, 697 p.
35. Wilson E.O. The social conquest of earth. – N.Y.: Liveright, 2012. – VIII, 330 p.

А.Ю. Долгов

**ИЗУЧЕНИЕ АЛЬТРУИЗМА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.:
СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ¹**

Сформулированные Ч. Дарвином положения об эволюции и естественном отборе оказали стимулирующее воздействие не только на биологию, но и на социальные науки, поскольку в рамках своих исследований обществоведы вынуждены были учитывать открытия биологов и пытаться интерпретировать их в дисциплинарном контексте социального знания. Одним из первых проводников идей Дарвина в социологии стал Герберт Спенсер. Подход Спенсера к исследованию общества часто называют «социальным дарвинизмом», так как он предполагает выживание наиболее приспособленных индивидов без предоставления каких-либо послаблений или помощи остальным. Вместе с тем английский социолог в своих работах уделил значительное внимание проблеме альтруизма. Его идеи вызвали бурные дискуссии в начале XX в. и в научном сообществе России.

Один из значимых аспектов работ Г. Спенсера заключается в попытке выведения формулы общей нравственности, которая соответствовала бы как интересам индивида, так и интересам вида. Как правило, говорит Спенсер, личные и общественные потребности в реальной жизни противопоставлены друг другу, что мешает созданию последовательной этической системы. Совместная жизнь людей, полагает Спенсер, ставит во главу угла общественные интересы, которые должны преобладать над индивидуальными, но на практике такая модель отношений не работает. Поэтому важно найти «золотую середину» в проблемах соотношения общего / частного и альтруизм / эгоизм.

Для создания непротиворечивой нравственной концепции, считает Спенсер, необходимо признать, что эгоизм первичен по отношению к альтруизму, поскольку, не заботясь о себе, человек умрет и не сможет при-

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Интеграция социобиологических и социологических методов в исследовании эволюционных оснований морали и альтруизма (в приложении к российским сообществам)», осуществляемого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00381 а).

нести пользу обществу [Спенсер, 2008, с. 208]. Спенсер показывает, что только эгоизм способствует увеличению «общего счастья». Он полагает, что «индивид, который эгоистичен в достаточной степени, сохраняет те силы, которые делают возможной альтруистическую деятельность», напротив, «индивид, который недостаточно эгоистичен, более или менее теряет свою способность быть альтруистичным» [там же, с. 215]. Любые попытки создать неэгоистическую модель поведения в конечном счете приводят к противоположному результату – к увеличению эгоистичности. Абсолютизация идеи альтруизма, таким образом, приводит к негативным социальным последствиям.

Тем не менее Спенсер называет альтруизм важным элементом общественных отношений. Под альтруизмом он понимает «совокупность всех действий, идущих при обычном ходе вещей на пользу не себе, а другим» [Спенсер, 2008, с. 221–222], и «действия, которыми сохраняется жизнь потомства и поддерживается существование вида» [там же, с. 222]. При этом первично альтруизм зависит от эгоизма, но вторично эгоизм зависит от альтруизма [там же]. Альтруизм как социальный феномен возмужен благодаря симпатии, которую Спенсер определяет как способность сопереживать и сочувствовать другому. Корни бескорыстного поведения восходят к биологической заботе о потомстве, а его эволюция как общественного явления связана с переходом от бессознательного родительского альтруизма к сознательному.

Спенсер рассматривает необходимость альтруизма с точки зрения пользы для каждого. Альтруизм, по мнению мыслителя, приносит материальную выгоду, поскольку «каждого лично касается физическое, умственное и нравственное улучшение других, ибо несовершенство других сказывается в повышении цены всех удобств, им покупаемых, в увеличении налогов, им платимых, и в потере времени, труда и денег...» [Спенсер, 2008, с. 231–232]. Кроме того, альтруизм приносит психологическое удовлетворение: «Альтруистические действия не только помогают материальному благосостоянию, но еще и приводят к эгоистическому удовольствию, вследствие создания приятной общественной среды» [там же, с. 232]. Таким образом, Спенсер указывает на эгоистическую составляющую альтруистического действия: человек, действуя во благо общего и жертвуя собственными интересами, должен понимать, что в конечном счете принесит выгоду себе.

Для Спенсера, как можно заметить, неприемлемы как позиция «живи для себя», так и позиция «живи для других». Противоречие между этими принципами, как считает английский социолог, будет снято благодаря социальному прогрессу и связанному с ним исторически закономерному увеличению симпатии между людьми. Переход к промышленной стадии развития общества, по Спенсеру, сопровождается такими процессами, как возрастание добровольной кооперации, усиление обмена услугами по взаимному соглашению, уменьшение взаимных обид и усиление взаимной

симпатии [Спенсер, 2008, с. 258]. В обществе будущего, полагает мыслитель, потребность в самопожертвовании постепенно снизится. Альтруизм в значительной степени сохранится лишь в семейных отношениях. Слабее и по мере требования альтруистические поступки будут совершаться при необходимости работы на общее благо и в условиях социальных и природных бедствий [там же, с. 268]. В целом для социолога, альтруизм – это выработанное в интересах вида социальное качество, являющееся составной частью эгоистических наклонностей индивида. Альтруистическое поведение, по Спенсеру, нельзя возводить в рамки преследуемой цели общественного развития и необходимо воспитывать в соответствии с ходом социального прогресса.

Именно социобиологическое объяснение альтруизма Спенсером стимулировало российских мыслителей начала XX в. сформулировать собственную точку зрения по этому вопросу. Резкой критике Спенсер был подвергнут со стороны отечественных философов, поскольку для них утилитарная концепция бескорыстного поведения была неприемлемой. В частности, Н.О. Лосский полагал, что, отрицая абсолютное божественное начало при объяснении добра, Спенсер превращает нравственность лишь в инструмент удовлетворения потребностей, что не дает возможности понятия истинное значение сопереживания, сострадания, взаимопомощи [Лосский, 1991, с. 180]. В целом для многих российских философов западноевропейское понятие «альтруизм» носило «безжизненный» и «механический» характер по сравнению с истинной всеобъемлющей христианской любовью. Такую точку зрения высказывали, например, Л.А. Тихомиров и Н.А. Бердяев [см.: Тихомиров, 1999; Бердяев, 1989].

Тем не менее представители российской общественной мысли вслед за Спенсером попытались найти основы нравственности, не приписывая ей сверхъестественное происхождение. Широкую популярность приобрели идеи П.А. Кропоткина, который, критикуя последователей Дарвина за редукцию открытых им закономерностей до уровня «борьбы всех против всех», указал на не менее важную роль закона взаимной помощи в природе. В работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» он описал позитивную роль взаимопомощи, как в различных группах животных, так и на разных исторических этапах развития человеческого общества [Кропоткин, 2011]. Отрицая борьбу за существование как единственный закон функционирования природы и общества, Кропоткин сделал простой, но важный вывод о том, что «практика взаимной помощи и ее последовательное развитие создали самые условия общественной жизни», и что «периоды, когда институты, имевшие целью взаимную помощь, достигали своего высшего развития, были также периодами величайшего прогресса в области искусств, промышленности и науки» [там же, с. 242].

П.А. Кропоткин, вписывая концепцию солидарности в анархическое направление, считал, что разрастание государственного механизма привело к усилению социальной разобщенности. «По мере того, как обязанно-

сти граждан по отношению к государству умножились, граждане, очевидно, освобождались от обязанностей по отношению друг к другу», – указывает мыслитель [Кропоткин, 2011, с. 190]. То есть, по мнению Кропоткина, государственные институты только препятствуют развитию естественно-обусловленного просоциального поведения и замедляют становление «низовых» форм самоорганизации, способствуя «развитию необузданного, узкого индивидуализма» [там же]. Социальная солидарность, считает теоретик анархизма, является продолжением природного закона, согласно которому только взаимопомощь позволяет видам успешно существовать и развиваться.

Благодаря тому что работы Кропоткина еще при жизни автора получили распространение на Западе, а затем неоднократно переиздавались, теория взаимной помощи приобрела последователей среди зарубежных социологов и антропологов. По мнению современного исследователя Ч. Марша, эволюционные идеи Дарвина и Кропоткина могут быть положены в основу парадигмы социальной гармонии, согласно которой различные проявления просоциального поведения объясняются через необходимость удовлетворения сильного социального инстинкта, закрепившегося в жизнедеятельности человека посредством естественного отбора [Marsh, 2013, p. 434].

К дискуссии об альтруизме подключились также и отечественные биологи, которые в своих рассуждениях вынуждены были выйти за пределы чисто медицинских или биологических проблем. Нобелевский лауреат, физиолог И.И. Мечников отмечает тот факт, что вера вследствие социального прогресса перестала быть базовой категорией, определяющей поведение человека, и что необходимо разработать концепцию рациональной нравственности [Мечников, 1961, с. 26]. Истоки нового типа нравственности Мечников находит в самой природе, приводя примеры гармонии и дисгармонии в животном и растительном мирах. Он показывает, что гармония способствует выживанию вида, дисгармония приводит к преждевременной смерти. Преодоление дисгармонии есть основная цель человеческого существования, но поскольку «общественный инстинкт» у человека развился сравнительно недавно по сравнению с природным, в нем еще существует множество несовершенств, которые необходимо искоренить¹, пользуясь, прежде всего, научным знанием [там же, с. 106].

Прогресс социальных наук способен обеспечить понимание того, что достижение блага для человека лежит через увеличение солидарности и уменьшение эгоизма. При этом становящаяся на ноги социология должна будет тесно сотрудничать с биологией [Мечников, 1988, с. 202–203]. Человек благодаря разуму способен сам задать идеал развития и посредством социальных технологий достичь этого идеала. Человек сможет изме-

¹ Для этой цели И.И. Мечников разработал учение об ортобиозе, под которым он понимал систему здорового образа жизни, включая питание, двигательную активность, режим работы и отдыха, культуру общения, гигиену и т.д.

нить свою природу, подобно тому, как он изменил окружающую среду. Наука в этих условиях является проводником и ориентиром. Таков прогноз Мечникова на будущее.

Что же касается природы альтруизма, то Мечников делает вывод о том, что человек в большей степени является индивидуальным существом и что «идеал, который так часто проповедают и по которому индивидуум должен быть, елико возможно, приносим в жертву обществу, не соответствует общему закону общественных организмов» [Мечников, 1988, с. 199]. Ситуации, когда жертвенность необходима, связаны, по мнению Мечникова, с особыми обстоятельствами, например с военным временем. Подобно Спенсеру биолог считает, что «по мере того, как человечество усовершенствует общественную жизнь, случаи, в которых понадобится принести в жертву отдельные личности, станут все реже и реже» [там же].

Мечников отмечает, что утилитарная и интуитивная модели нравственности обладают множеством недостатков. В утилитарной модели невозможно точно ограничить понятие блага, и поэтому понятие нравственности будет размыто. Но ученый также выступает против «необдуманного альтруизма», основанного только на чувстве симпатии, общности и доброты к ближним (интуитивная модель) [Мечников, 1988, с. 257–258]. С биологической точки зрения излишний альтруизм плодит социальный паразитизм и негативно влияет на того, кто жертвует собой, полагал Мечников.

Природу нравственного поведения ученый объяснял тем, что человек не может существовать изолированно, он «рождается слабым и беспомощным и поэтому должен быть связанным с существом, питающим и защищающим его» [Мечников, 1988, с. 265]. «Хотя ребенок эгоистичен, но он привязывается к своему покровителю, и таким образом возникает чувство симпатии. Под руководством последнего, а также вследствие сознания собственного интереса, ребенок рано начинает упражнять свою волю для обуздания некоторых, однако, вполне естественных инстинктов. Так, боязнь лишиться пищи заставляет его слушаться своих покровителей», – добавляет ученый [там же]. Основной вывод Мечникова можно сформулировать следующим образом: понимая взаимозависимость индивидов и используя данную закономерность в *рациональных* пределах, человек способен построить гармоничную общественную систему.

Другой ученый-медик, терапевт Александр Иванович Яроцкий (1866–1944), также задается вопросом о том, можно ли дать альтруистическим и нравственным явлениям рационалистическое объяснение, не прибегая к метафизическим категориям. Прежде всего, А.И. Яроцкий критикует точку зрения Спенсера, а также представителей узкоутилитарного и гедонистического направлений, для которых эгоизм является основополагающим компонентом человеческого поведения, а альтруизм – его производной [Яроцкий, 1914, с. 4–5]. «Эгоистическая модель» взаимодействия, по мнению ученого, является упрощенной и однобокой, поскольку она не принимает во внимание возможность бескорыстных актов. Он считает до-

казанным фактом влияние нравственно-духовных начал на физическое состояние организма человека. Иными словами, психологическое состояние, а следовательно, и социальное окружение оказывают влияние на биологические аспекты существования человека.

С точки зрения эволюционной биологии Яроцкий объясняет нравственность следующим образом: «Если нам приходится под давлением внешних обстоятельств многократно поступать определенным образом, то по прошествии некоторого времени в нас сложится чувство внутренней необходимости поступать таким образом...» [Яроцкий, 1914, с. 12]. «Если для сохранения вида полезно самопожертвование отдельного существа, то может выработаться и будет передаваться по наследству соответствующий инстинкт, заставляющий живое существо жертвовать собою за других», – добавляет исследователь [там же, с. 13]. Соглашаясь с П.А. Кропоткиным по вопросу значимости взаимопомощи в эволюции видов, А.И. Яроцкий полагает, что альтруистический компонент делает любое действие более интенсивным и продуктивным [там же, с. 33]. По его мнению, даже познание окажется более эффективным, если познающий субъект будет стремиться выйти за рамки своих интересов и сможет проникнуться интересами объекта познания [там же, с. 35].

Полное и непротиворечивое рациональное объяснение нравственности, по мнению Яроцкого, вполне возможно. Оно заключается в том, что «следовать велениям нравственного долга разумно, так как повиновение ему влечет за собой наибольшую полноту и развитие душевной жизни, что является наиболее ценным благом для человека» [Яроцкий, 1914, с. 49]. При этом Яроцкий отмечает, что такая позиция, хотя она и основана на принципе полезности для каждого, не является утилитарной, поскольку человек поступает нравственно в силу *внутреннего импульса*, а не исходя из сознательного корыстного расчета [там же, с. 5]. В таком случае задачи этики (и социальных наук) схожи с задачами медицины: медицина показывает, как улучшить физическое состояние организма, этика – как усовершенствовать духовную и социальную составляющие [там же, с. 47]. Свою позицию альтруистического преобразования человеческого поведения Яроцкий сравнивает с воззрениями Ницше, согласно которым сверхчеловек возникает после отказа от общепринятых моральных принципов. Для Яроцкого такой отказ означает создание новой морали, построенной на принципах всеобщего альтруизма.

Описанные выше идеи социобиологического обоснования просоциального поведения получили определенное продолжение в советской науке. Наряду с исследованиями роли социализации и воспитания здесь были популярны, прежде всего, эволюционные объяснения альтруистических поступков. В.П. Эфроимсон указывал на тот факт, что достижения современных естественных наук позволяют четко продемонстрировать наследственную природу нравственности. Так, из поколения в поколение в обществе вне зависимости от условий регенерируется идея справедливости,

что свидетельствует об универсальных истоках подобных представлений. Альтруизм, по мнению В.П. Эфроимсона, сначала был заложен в человеке биологически, а затем по мере эволюции был «подхвачен» социальной средой в качестве вспомогательного механизма. Таким образом, альтруизм – прежде всего продукт естественного отбора, а не социальных норм, поскольку «без генетической основы социальная преемственность не имела бы универсальности и стойкости» [Эфроимсон, 1971].

Следует отметить, что тема альтруизма в 50-е годы XX в. получила систематическое осмысление в творчестве социолога-эмигранта П.А. Сорокина. Отмечая идеи своих предшественников, он, в частности, очень высоко оценивал творческое наследие П.А. Кропоткина. В то же время в его работах можно обнаружить воспроизведение идей русской философии. Теория созидательного (или деятельного) альтруизма П.А. Сорокина представляет собой попытку интегрального обобщения проявлений любви, включающего социальный, психологический, биологический, а также религиозный, этический, физический и онтологический аспекты [см.: Sorokin, 2002]. Ученый не отрицает биологический альтруизм, считая его одним из важных компонентов феномена любви. В то же время Сорокин является последователем идей Дюркгейма, который наделял мораль и религию функцией сдерживания деструктивных биологических влечений индивида. Для социолога идеалом является полное преодоление эго, и для этого он предлагает использовать потенциал, накопленный не только наукой, но и философией, религией, искусством. Альтруизм для Сорокина обладает многомерным значением и не сводится к какому-либо одному фактору – исключительно биологическому или социальному.

Хотя социобиология получила признание в 70-е годы XX в. благодаря таким ученым, как Эдвард Уилсон, Ричард Докинз, Роберт Триверс и др., мы показали, что биологическое обоснование морали и альтруизма имеет глубокую аналитическую традицию в российской науке. Как видно из представленного обзора, российские исследователи в своих работах затрагивали основные проблемы объяснения альтруистического поведения, включая природу альтруизма (эволюционно-биологическую или сверхъестественную); позитивные и негативные последствия альтруистического поведения; сферы проявления альтруизма; роль альтруизма в обществе будущего. Утилитарный принцип не абсолютизировался как в западноевропейской традиции, а принимался за само собой разумеющееся последствие социальной гармонии, по направлению к которой постепенно движется человек как обладающее сознанием, созидающее существо. Практическое значение понимания альтруизма и смежных явлений ученые видели в четком осознании людьми важности стремления к кооперации и солидарности, поскольку это соответствует природным и социально-психологическим условиям их существования. Таким образом, признавалась особая роль научного познания природных и социальных процессов.

Один из главных результатов социобиологического изучения альтруизма заключается в том, что учеными была предложена альтернатива

односторонне утилитарному и религиозному пониманию просоциального поведения. Альтруизм получил универсальную эмпирически подтверждаемую основу. Современные достижения в биологии, в частности в генетике и нейронауке, позволили сформулировать и доказать ряд системных положений, объясняющих появление и воспроизведение тех или иных форм человеческого поведения через передачу наследственных механизмов. Но существует и вполне обоснованная критика социобиологических идей, сфокусированная преимущественно на редукции поведения человека до уровня «биологического механизма», который запрограммирован действовать исключительно в интересах «эгоистичного» гена, воспроизводства вида, максимизации жизненных ресурсов и т.п. При этом на последний план уходит фактор сознательного действия человека. Очень часто социокультурные аспекты альтруизма игнорируются, хотя на них основано огромное многообразие специфических форм просоциального взаимодействия. Иными словами, в социобиологических трактовках альтруизма, с одной стороны, возникает проблема свободы воли и свободы выбора, с другой – не учитывается влияние на человека социально-культурной среды. Поэтому очень важно на современном этапе развития социобиологического знания попытаться создать интегральную модель понимания альтруизма, учитывающую как предопределенные природные и наследственные факторы, так и когнитивные, психологические, социальные и культурные феномены.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви. – М.: Прометей, 1989. – С. 17–51.
2. Кротошкин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. – М.: Самообразование, 2011. – 256 с.
3. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М.: Политиздат, 1991. – 368 с.
4. Мечников И.И. Этюды о природе человека. – М.: АН СССР, 1961. – 290 с.
5. Мечников И.И. Этюды оптимизма. – М.: Наука, 1988. – 327 с.
6. Спенсер Г. Научные основания нравственности: Данные науки о нравственности. – М.: ЛКИ, 2008. – 336 с.
7. Тихомиров Л.А. Альтруизм и христианская любовь // Тихомиров Л.А. Христианство и политика. – М.: Облиздат: Алир, 1999. – Режим доступа: <http://apocalypse.orthodoxy.ru/policy/107.htm>
8. Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма: Этика с позиций эволюционной генетики человека // Новый мир. – М., 1971. – № 10. – Режим доступа: http://www.evolbiol.ru/efroimson_altru.htm
9. Яроцкий А.И. Альтруистическая мораль и ее индивидуалистическое обоснование. – Юрьев: Типография К. Маттисена, 1914. – 58 с.
10. Marsh Ch. Social harmony paradigms and natural selection: Darwin, Kropotkin and the metatheory of mutual aid // J. of public relations research. – Mahwah (NJ), 2013. – Vol. 25, N 5. – P. 426–441.
11. Sorokin P.A. The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral transformation. – Philadelphia (PA): Templeton foundation press, 2002. – XXVIII, 552 p.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Парсонс Т.

ВКЛАД ДЮРКГЕЙМА В ТЕОРИЮ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

(Перевод с англ.)

Перевод ст.: Durkheim's contribution to the theory of integration of social systems // Emile Durkheim, 1858–1917: A collection of essays, with translations and a bibliography / Ed. by K.H. Wolff. – Columbus: Ohio state univ. press, 1960. – P. 118–153.

Сегодня, когда со дня рождения Эмиля Дюркгейма миновало сто с лишним лет, самое время подытожить его вклад в то, что, возможно, было центральной областью его теоретического интереса. Развитие теоретического мышления, происходившее все эти годы, позволяет нам достичь большей ясности в определении и оценке этого вклада.

Думаю, можно сказать, что именно проблема интеграции социальной системы, того, что скрепляет общества, заботила Дюркгейма больше всего на протяжении всей его карьеры. В ситуации того времени нельзя было выбрать более стратегически верную точку фокусировки для вклада в социологическую теорию. Более того, работа Дюркгейма в этой области была, можно сказать, едва ли не эпохальной: он не был в этом совсем одинок, но его работа была гораздо более сфокусированной и глубокой, чем у любого из его современников. В силу этой глубины смысл его работы до сих пор не усвоен во всей полноте соответствующими профессиональными группами. Кроме того, вдобавок к внутренней сложности самого предмета, интерпретацию его вклада затрудняла весьма своеобразная схема сопоставления французского позитивизма, в которую он заключил свой анализ.

Настоящий очерк не претендует на доскональный обзор ни собственных печатных трудов Дюркгейма, ни вторичной литературы. Скорее, я попытаюсь – в свете многолетней занятости теми проблемами, которым Дюркгейм дал классические для своего времени формулировки, – оценить некоторые из основных направлений его особого вклада и показать, как необходимо и возможно попытаться пойти дальше той стадии, на которой он их оставил.

В исходной ориентации Дюркгейма есть две существенные точки отсчета: одна – позитивная, а другая – негативная. Позитивная – это контовская концепция «консенсуса» как средоточия единства в обществах.

Она была первоисточником знаменитого понятия *conscience collective*; именно ее, а не какую-то немецкую концепцию *Geist*, явно имел в виду Дюркгейм. Это была надежная отправная точка, но эта идея была слишком простой и недифференцированной, чтобы служить его целям, и прежде всего, наверное, потому, что она не могла объяснить фундаментальный феномен единства в разнообразии – феномен интеграции высокодифференцированной системы.

Негативной точкой отсчета служила утилитарная концепция взаимодействия дискретных индивидуальных интересов, выдвинутая впервые Гербертом Спенсером, который понимал промышленное общество как сеть «договорных отношений»¹. Важность отношений договора, т.е. отношений, условия которых устанавливаются тем или иным типом соглашения *ad hoc*, была прямым следствием разделения труда, выводимого на передний план в давней традиции утилитарной экономики, идущей от Локка и знаменитой главы из книги Адама Смита. Дюркгейм сделал эту традицию мишенью своей критики, вступив с нею в спор в одной из главных ее цитаделей; и, сделав это, он поднял проблему дифференцированной системы, с которой Конт, по существу, не работал.

В этой критике Дюркгейм с характерной основательностью и проницательностью показывает, что допущения Спенсера – которые были общими для всей либеральной ветви утилитарной традиции – не могут объяснить даже простейшего компонента порядка в системе социальных отношений, базирующейся предположительно на преследовании индивидуального корыстного интереса. Если сформулировать это несколько иначе, никто не мог ответить на фундаментальный вопрос Гоббса *изнутри этой традиции*², а ведь собственное решение Гоббса было явно неприемлемым. Как хорошо известно, Дюркгейм делал акцент на *институте* договора, который охарактеризовал в одном месте как состоящий из «недоговорных элементов» договора. Это не позиции, по поводу которых договаривающиеся стороны достигают соглашения в какой-либо частной ситуации, а нормы, установленные в обществе, нормы, лежащие в основе и независимые от любого частного договора. Они частично воплощены в формальном праве, хотя необязательно только в том, что в строгом техни-

¹ Я уже отмечал, что самая суть ранней работы Дюркгейма по этому вопросу содержится в главе «Органическая солидарность и солидарность договорная» (книга I, глава VII): Durkheim E. *The division of labor in society* / Trans. by G. Simpson. – Glencoe (IL): Free press, 1947. – Вк. 1, ch. 7 (рус. пер.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1996. – С. 207–237). Глава начинается как критика Спенсера, но в действительности явно возвращается к Гоббсу.

² Одна из причин этого состоит в том, что гипотетическая передача абсолютной власти ничем не ограниченному суверену была эмпирически несовместимой с существованием либеральных режимов правления, обычных для западного мира во времена Дюркгейма. Относительно этой стороны истории мысли лучшим источником до сих пор, несомненно, остается книга: Halévy E. *The growth of philosophic radicalism* / Trans. by M. Morris. – N.Y.: Macmillan, 1928. – (1st ed. 1901–1904).

ческом смысле называют договорным правом юристы, а также частично в более неформальных «пониманиях» и практике. Содержание этих норм можно суммировать следующим образом: они состоят, во-первых, в определениях того, какое содержание дозволяется, а какое запрещается в договорном соглашении (например, в западном обществе в последнее время запрещены договоры, посягающие на личную свободу любой из сторон или любой третьей стороны в ее частном качестве); во-вторых, в определениях того, какие средства достижения согласия другой стороны легитимны, а какие нелегитимны (в целом принуждение и обман считаются нелегитимными, как бы ни было трудно четко отграничить их от легитимных средств); в-третьих, в определениях сферы и пределов ответственности, которая может резонно (и законно) вменяться той или другой стороне договорного отношения либо изначально, на основе ее «способности» вступать в обязывающие соглашения (например, в качестве агента некоего коллектива), либо постфактум, на основе последствий заключенных соглашений для нее самой и для других; и, в-четвертых, в определениях степени, в которой интерес общества вовлекается в любое конкретное частное соглашение, степени, в которой частные договоры касаются интересов третьих сторон или интересов коллектива в целом¹.

Дюркгейм постулировал существование того, что он назвал органической солидарностью, как функциональной необходимости, лежащей в основе институционализации договора. Это можно охарактеризовать как интеграцию единиц – единиц, которыми являются в конечном счете выступающие в ролях индивидуальные лица, выполняющие качественно различающиеся функции в социальной системе. Такая дифференциация предполагает, что потребности единицы не могут быть удовлетворены только ее собственными деятельностями. Благодаря специализации ее функции единица становится зависимой от деятельностей других, которые должны удовлетворять потребности, не покрываемые этой специализированной функцией. Следовательно, есть особый тип взаимозависимости, порождаемый этой функциональной дифференциацией. Прототипом его является тот вид разделения труда, который описывается экономистами. Разумеется, концепция Дюркгейма шире. Например, он описывает дифференциацию функции между полами в биологических и социальных терминах как случай разделения труда в том смысле, который он имеет в виду.

На что указывает тогда «органическая солидарность»? Самая важная проблема при интерпретации смысла этого понятия состоит в определении его связи с концепцией *conscience collective*. Дюркгейма интересует в первую очередь тот факт, что единицы приходят к согласию относительно

¹ В своих более общих рассуждениях Дюркгейм, конечно, не ограничивается договором на правовом или на других уровнях. Он связывает органическую солидарность также с семейным, торговым, процессуальным, административным и конституционным правом. См.: Durkheim E. *The division of labor in society*. – Glencoe (IL): Free press, 1947. – P. 122.

норм, поскольку за ними стоят разделяемые этими единицами общие ценности, хотя интересы дифференцированных единиц неизбежно должны расколоться. Исходное определение *conscience collective* у Дюркгейма звучит следующим образом: «L'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société forme un système déterminé qui a sa vie propre; on peut l'appeler la conscience collective ou commune»¹. Основная идея данного определения – это, конечно же, верования и чувства, которыми обладают сообща. Эта формула содержит самую суть, ибо показывает, что проблема солидарности располагается в области того, что можно очень широко назвать мотивационными аспектами приверженности обществу и конформности к институционализированным внутри него ожиданиям. Взятая сама по себе, однако, она чересчур обща, чтобы служить чем-то большим, нежели отправной точкой для анализа проблем солидарности и, следовательно, социетальной интеграции. К тому же и сам Дюркгейм был всерьез смущен проблемой того, как связать *conscience collective* с дифференциацией, проистекающей из разделения труда.

Мне кажется, что формула Дюркгейма нуждается в дальнейшей разработке при помощи двух наборов различий. Сам он внес существенный вклад в один из них – в различие механической и органической солидарности; но один из основных источников трудностей с пониманием его работы – это его относительное пренебрежение вторым набором различий и склонность путать его с первым. Этот второй набор относится к уровням общности (*generality*), достигаемым культурными паттернами – ценностями, дифференцированными нормами, коллективами и ролями, – институционализированными в обществе. Он также относится к способам контроля, выделяющим эти уровни и определяющим направление, в котором соответствующие способы контроля работают. Обсуждение уровней общности этих четырех культурных паттернов обеспечит контекст для рассмотрения механической и органической солидарности и связей между ними.

Думаю, правильно будет сказать, что в ходе своей карьеры Дюркгейм постепенно кристаллизовывал и прояснял убеждение, которое можно сформулировать в терминах более современных, нежели те, которыми пользовался он: структура общества или любой человеческой социальной системы образуется из (а не просто находится под влиянием) паттернов

¹ Durkheim E. De la division du travail social. – P.: Alcan, 1893. – P. 84 (у Парсонса страница указана ошибочно. – Прим. пер.). Цитата в рус. пер.: «Совокупность верований и чувств, общих в среднем членам одного и того же общества, образует определенную систему, имеющую свою собственную жизнь; ее можно назвать коллективным или общим сознанием» (Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. – С. 87).

нормативной культуры¹, институционализированных в социальной системе и интернализированных (хотя и неодинаковым образом) в личности его индивидуальных членов. Культурные паттерны, только что схематично намеченные, – это четыре разных типа компонентов этой структуры. В других местах о них говорится как об «уровнях общности нормативной культуры». Хотя все они институционализированы, каждый из них по-разному связан со структурой и процессами общества. Социетальные ценности образуют компонент, достигающий высшего уровня общности; ведь это представления о желаемом обществе, разделяемые сообща его членами. Социетальные ценности, таким образом, отличны от других типов ценностей – таких как личные – тем, что оцениваемой категорией объекта является социальная система, а не личности, организмы, физические системы или культурные системы («теории», например).

Ценностная система общества, стало быть, есть множество нормативных суждений, разделяемых членами общества, которые определяют – особо относя это к собственному обществу, – что есть для них хорошее общество. Поскольку это множество ценностей действительно является общим и институционализированным, то оно описывает общество как эмпирическую сущность. Эта институционализация между тем происходит в разной степени: ведь члены движущегося общества будут в какой-то степени различаться в своих ценностях даже на уровне требований и будут в какой-то степени действовать не в соответствии с теми ценностями, которых они придерживаются. Однако при всех оговорках, все еще верно будет сказать, что сообща принимаемые ценности образуют первичную точку отсчета для анализа социальной системы как эмпирической системы².

Верховная ценностная система относится к описанию общества в целом, но она не различает нормативные суждения, относящиеся к дифференцированным частям или подсистемам внутри этого общества. Следовательно, когда различие ценностей вменяется двум полам, региональным группам, классовым группам и т.д., мы переходим от описания социетальных ценностей к описанию ценностей, характеризующих другую социальную систему, – систему, которую надлежит аналитически трактовать как подсистему общества, о котором идет речь. Когда предпринимается этот шаг, он становится существенным для проведения еще одного различия – различия между ценностью и дифференцированной нормой.

¹ Термин «нормативная культура» будет много раз использоваться ниже. Здесь слово «нормативная» относится к любому «уровню» культуры, оценочные суждения которой контролируют или определяют стандарты и аллокации на нижестоящем уровне. Это словопотребление следует отличать от тех, которые указывают на дифференцированные нормы, обозначающие в конкретной системе один из уровней в иерархии нормативной культуры.

² Такая система социетальных ценностей может, конечно, меняться с течением времени, но при этом она – самый стабильный компонент социальной структуры.

На подсистемном уровне у членов общества, участвующих в соответствующей подсистеме и не участвующих в ней, есть оценочные суждения, которые они применяют к качествам и исполнениям тех членов, которые, в отличие от неучаствующих, участвуют в ней. Эти суждения суть «спецификации», т.е. применения общих принципов общей социетальной ценностной системы на более конкретном уровне. Ожидания в отношении поведения тех, кто являются членами подсистемы, не совпадают с тем, что ожидается от нечленов. Так, в случае половой роли ценности, применяемые к поведению двух полов, разделяются обоими полами, но нормы, регулирующие это поведение, применяются к двум полам дифференциально. Поскольку паттерн поведения специфичен для пола, члены одной половой группы будут к нему конформны, а члены другой – нет. Это значит, что ценности разделяются предположительно всеми членами самой широкой релевантной системы, в то время как нормы – это функция той дифференциации социально значимого поведения, которая институционализируется в разных частях этой системы.

Отсюда вытекает, что ценности как таковые не предполагают соотнесения с ситуацией, или соотнесения с дифференциацией единиц той системы, в которой они институционализированы. Нормы, в свою очередь, делают эту дифференциацию эксплицитной. В некотором отношении они производны от оценочных суждений, которые институционализировались в ценностной системе; но, независимо от этого компонента, они включают, как ясно видно в случае правовых систем, еще три спецификации. Первая – уточняет категории единиц, к которым применяется норма; это проблема юрисдикции. Вторая – специфицирует, какими будут последствия для единицы, которая соответствует, и для единицы, которая не соответствует требованиям нормы (возможны, разумеется, вариации в степени соответствия); это проблема санкций, или принуждения. Наконец, третья – уточняет, что значение нормы будет интерпретироваться в свете характеристик и ситуаций единиц, к которым она применяется; это конституирует проблему толкования, которая в общих чертах эквивалентна апелляционной функции в праве. Следует заметить, что в этом случае соотнесение с ситуацией ограничивается ситуацией, в которой единица действует лицом к лицу с другими единицами. Оно, стало быть, внутрисистемное. Когда осуществляется соотнесение с ситуациями, внешними для системы, в картину должны быть введены уровни коллектива и ролевой структуры; о них пойдет речь ниже.

Следовательно, ценности – это «нормативные паттерны», описывающие позитивно оцениваемую социальную систему. Нормы – это генерализованные паттерны ожиданий, определяющие дифференцированные паттерны ожиданий для дифференцированных видов единиц внутри системы. В той или иной системе нормы всегда располагаются на низшем уровне культурной обобщенности, нежели ценности. Если сказать чуть иначе, нормы могут легитимироваться ценностями, но не наоборот.

Коллектив располагается на еще более низком уровне в иерархии нормативного контроля над поведением. Подчиненная более общим ценностям системы и нормам, регулирующим поведение соответствующих дифференцированных типов единиц внутри системы, нормативная культура коллектива определяет и регулирует конкретную систему координированной деятельности, которая может в любое данное время характеризоваться приверженностями особо обозначенных лиц и которая может быть понята как особая система коллективных целей в особой ситуации. Функциональная референция норм на уровне коллектива уже не является, следовательно, общей, а находит свою специфику в особых целях, ситуациях и ресурсах коллектива, включая его «долевое участие» в целях и ресурсах общества. Эта спецификация функции, хотя и проявляется в разной степени, подчеркивает тот факт, что уровень ее конкретности определяется целью коллектива, ведь именно цель единицы в системе – насколько эта система хорошо интегрирована – служит основанием для спецификации ее первичной функции в системе.

Нормативный характер коллективной цели точно задан этой спецификацией функции в системе, но подчиняется данным ситуационным требованиям, внешним для системы. Эта спецификация не является необходимой для определения нормы, но она существенна для дальнейшей спецификации на уровне организации коллектива.

Коллективы конституируют основные оперативные единицы социальных систем, причем настолько, что там, где внутри коллективов не существует связей кооперации и «солидарности» в отношении цели данной функциональной единицы и соответствующая функция выполняется единичным независимым индивидом – независимым мастерским, например, или профессионалом-практиком, – законно рассматривать это как пограничный случай коллектива: это коллектив, состоящий из одного члена.

Все социальные системы возникают из взаимодействия человеческих индивидов как единиц. Поэтому самыми важными требованиями ситуации, в которой коллективы как единицы выполняют социальные функции, являются условия эффективного исполнения со стороны образующих коллективы человеческих индивидов (включая их распоряжение физическими средствами). Но поскольку типичный индивид участвует в более чем одном коллективе, релевантной структурной единицей является не «целостный» индивид или личность, а индивид, выступающий в некоторой роли. Следовательно, в нормативном ее аспекте роль может рассматриваться как система нормативных ожиданий в отношении исполнения участвующего индивида, выступающего в качестве члена некоего коллектива. Роль – это первичный узел прямого сочленения между личностью индивида и структурой социальной системы.

Ценности, нормы и коллективные цели – все они в каком-то смысле контролируют, «направляют» и «регулируют» поведение индивидов в ролях. Но только на уровне роли нормативное содержание ожиданий оказы-

ваются специфически ориентированным на требования, предъявляемые личностями или «мотивами» индивидов (и их категорий, дифференцированных по полу, возрасту, уровню образования, месту проживания и т.д.) и органической и физической средой.

В своем функционировании социальные системы подвержены, конечно, и другим требованиям. Но такие требования не нормативны в том смысле, в каком мы их здесь обсуждаем; они не заключают в себе ни ориентации лиц на представления о желаемом, ни ориентации, опосредованной этими представлениями. Так, собственно факты физической среды просто есть; они не изменяются институционализацией человеческой культуры, хотя и могут, конечно, контролироваться через такие человеческие культурные средства, как технология. Этот контроль между тем предполагает ценности, нормы, коллективы и ролевые ожидания; и как часть социальной структуры он должен анализироваться в этих терминах.

Ценности, нормы, коллективы и роли – это категории, которые описывают только структурный аспект социальной системы. В добавление к таким категориям необходимо анализировать систему в функциональных терминах, чтобы проанализировать процессы дифференциации и оперирование этих процессов внутри структуры. Кроме того, процесс утилизирует ресурсы, прогоняя их через ряд стадий генезиса и либо «потребляя» их, либо комбинируя их в типы выхода, или продукта, такие, например, как культурное изменение. Структура институционализированных норм – главная точка сочленения между этими социетальными структурами и функциональными требованиями системы. Эти требования, в свою очередь, определяют механизмы и категории входа и выхода, соотносящиеся с интеграцией. Попытаемся связать эти мысли с категориями механической и органической солидарности.

Концепция механической солидарности Дюркгейма укоренена в том, что я назвал системой общих социетальных ценностей. Это ясно видно из того, насколько сильно он подчеркивает связь механической солидарности с *conscience collective*. Как система общепринятых «верований и чувств», дюркгеймовское *conscience collective* определяется шире, чем система социетальных ценностей, о которой я говорил выше. Но, несомненно, такая система включена в дюркгеймовское определение, и можно доказать, что система ценностей является структурным ядром системы верований и чувств, о которой он ведет речь. При этом должно быть ясно, что Дюркгейм не пытался систематически различить и классифицировать компоненты *conscience collective*, а сделать это, видимо, необходимо для удовлетворительного анализа его связи с проблемой солидарности.

Такой анализ предполагает, по крайней мере, две вещи. Прежде всего, ценностный компонент должен быть отличен от других, т.е. от когнитивных (экзистенциальных) верований, паттернов мотивационной приверженности (они близки к дюркгеймовским «чувствам») и паттернов

легитимации коллективного действия (они будут фигурировать в нашем обсуждении). Вторая задача включает определение вариаций в уровнях общности и степенях специфичности компонентов – в частности, ценностей, – которое увенчивается шкалой, соответствующей дифференциации общества на многочисленные подсистемы. Поскольку Дюркгейм не решил этих двух задач, ему не удалось точно определить связь *conscience collective* с механической солидарностью и пришлось прибегнуть к контрасту между этой связью и связью *conscience collective* с органической солидарностью – и эта связь привела его в затруднение.

Механическая солидарность укоренена в общем ценностном компоненте *conscience collective* и является его «выражением». Ее связь с другими компонентами проблематична. Есть, однако, еще один важный аспект механической солидарности, а именно ее связь со структурой общества как коллектива. Каждое общество организуется в рамках верховной структуры всей системы как коллектива. В высокодифференцированном современном обществе эта структура принимает форму правительственной организации. Вдобавок к ней есть, конечно, чрезвычайно сложная сеть коллективов низшего уровня; некоторые из них являются подразделениями правительственной структуры, другие разными способами и в разной степени от нее независимы. Проблема механической солидарности возникает всюду, где коллектив оказывается организованным, но важно понимать, какая система при этом рассматривается.

Средоточие дюркгеймовского анализа механической солидарности, поскольку он затрагивает структуру социальной системы, находится, как я предполагаю, в связи между высшими ценностями общества и организацией его как коллектива на требуемом уровне, т.е. на уровне правительственной организации общества, где референтной системой, как и у Дюркгейма, является общество в целом. Механическая солидарность есть интеграция общих ценностей общества с приверженностями единиц внутри него, вносящая вклад в достижение коллективных целей: либо негативно, через воздержание от действия, которое ощущалось бы как разрушительное для этой функции, либо позитивно, через принятие ответственности за нее.

Эта двойственность референции выступает с особой ясностью в дюркгеймовском обсуждении уголовного права как индекса, или выражения, механической солидарности. С одной стороны, он ссылается на общие «чувства», с другой – на обязательства перед организованным коллективом как таковым¹. Кроме того, поскольку во всех развитых обществах

¹ «Действительно, действия, которые оно [уголовное право] запрещает и квалифицирует как преступления, бывают двух родов: они либо прямо обнаруживают слишком сильное расхождение между совершающим их и коллективным типом, либо затрагивают орган общего сознания» (Durkheim E. *The division of labor in society*. – Glencoe (IL): Free press, 1947. – Р. 106. Цитата приводится в переводе А.Б. Гофмана: Дюркгейм Э. *О разделении общественного труда*. – М.: Канон, 1996. – С. 115). Из контекста ясно, что под «органом» Дюркгейм имеет в виду государство.

правительство является верховным агентом в применении принуждения, у Дюркгейма особенно подчеркивается роль элемента санкции в репрессивном типе права. Две из четырех первичных функциональных референций правовой системы, отмеченных выше, а именно легитимация и принуждение с помощью санкций, занимают важное место в том, что Дюркгейм называет репрессивным правом.

Приведенные соображения объясняют местоположение феномена механической солидарности относительно структуры социальной системы. Эта солидарность, или интеграция системы, вызывается взаимодействием системы общих ценностей, которая легитимирует организацию в интересах коллективных целей, с приверженностями единиц системы (которыми являются в конечном счете индивидуальные лица, выступающие в ролях) лояльности и ответственности. Эти лояльность и ответственность относятся не только к самим по себе ценностям, но также и к коллективу, функционирование которого управляется этими ценностями и который их институционализирует. Это местоположение в социальной структуре, однако, не говорит нам ничего о механизмах, с помощью которых генерируется интеграция.

Прежде чем подойти к вопросу о механизмах, производящих интеграцию, резонно будет поднять соответствующий вопрос о структурном местоположении «органической солидарности». Я предполагаю, что, в отличие от вопроса о механической солидарности, этот вопрос не касается ценностной системы напрямую, а относится скорее к системе институционализированных норм в ее связи со структурой ролей в обществе. Это иная, чем у Дюркгейма, постановка вопроса, ибо он не использовал понятие роли, ставшее очень важным для социологической теории в последнем поколении. Важность обращения к нормам в его анализе между тем совершенно очевидна.

Кроме того, обсуждение этого вопроса у Дюркгейма полностью согласуется с проведенным ранее различием между ценностями и дифференцированными нормами как структурными компонентами социальной системы, ибо он всячески подчеркивал связь органической солидарности с дифференциацией функций между единицами в системе, и особенно с дифференциацией ожиданий в отношении поведения¹.

¹ В каком-то смысле, конечно, уголовное право тоже устанавливает нормы. В сущности, эти нормы задают минимальные стандарты поведения, которые считаются приемлемыми для членов общества (независимо от их дифференцированных функций), не дисквалифицированных в этом своем качестве психической недееспособностью и иными причинами. В высокодифференцированном обществе, однако, преобладающий корпус норм все больше касается отношений между дифференцированными функциями в перечисленных у Дюркгейма областях, таких как: договор, семейная жизнь, коммерция, администрация и конституционная структура коллектива.

Хотя Дюркгейм перечислял и ряд других областей, ясно, что для него существует особая связь между органической солидарностью, договором и экономическими аспектами организации обществ. На мой взгляд, эта связь может дать главный ключ к тому, как сюда вовлечены роли. Коллективы, как было предположено выше, конституируют первичных оперативных агентов для исполнения социальной функции. Ресурсы, необходимые для этого исполнения, включают, в свою очередь, помимо самой солидарности и связанных с ней паттернов «организации», культурные ресурсы, физические средства и человеческие услуги. «Солидарность» при дюркгеймовских целях нельзя трактовать как компонент, так как она является у него зависимой переменной; его интересуют условия, от которых она зависит. Он не рассматривает культурные ресурсы – например знание. Вместе с тем он старается принять во внимание роль физических средств, обсуждая институционализацию прав собственности. Больше всего, однако, его интересуют человеческие услуги и то, как они могут быть интегрированы для выполнения социальной функции.

На центральную проблему, заключенную здесь, можно взглянуть, прежде всего, в контексте развития. Общей характеристикой «примитивных» обществ является то, что аллокация ресурсов между их структурно значимыми частями во всем объеме предписана. Это наиболее очевидно в экономической сфере. Факторы производства контролируются единицами, которые не имеют специализированной экономической функциональной первичности, и обычно непередаваемы от одной единицы к другой. На самом деле даже продукты редко обмениваются, а когда обмениваются, передача их осуществляется чаще всего как церемониальный обмен дарами, а не в виде бартера, в нашем его понимании, и тем более не в форме рыночного обмена. В особенности это касается труда – главного фактора экономического производства.

Разделение труда приносит свободу от аскриптивных связей как в пользовании потребительскими благами и услугами, так и в самих факторах производства. Таким образом, структурное местоположение органической солидарности затрагивает двойную проблему: процессов, посредством которых могут быть примирены без разрушительного конфликта порожденные развитием потенциально конфликтующие интересы (это ведет, конечно, к Гоббсовой проблеме), и того, как можно защитить и отстоять социальный интерес к эффективному производству.

Каждое общество должно – в качестве предпосылки своего функционирования – предполагать некоторую интеграцию интересов единиц с интересами общества; в другом месте я назвал это «институциональной интеграцией мотивации»¹. Но самого по себе этого недостаточно. Один из путей к дальнейшему развитию – использование органов коллективного достижения целей как средства для определения и навязывания интегра-

¹ Parsons T. The social system. – Glencoe (IL): Free press, 1951. – P. 36–45.

ции (или солидарности) этого типа. Это предполагает почти сплавление механических и органических оснований солидарности того рода, которое больше всего бросается в глаза в социалистических экономиках. Независимое основание интеграции может развиваться между тем из институционализации систем норм и механизмов, позволяющих аллокации подвижных ресурсов происходить позитивно интегрированным образом и в отсутствие централизованного управления.

Этот набор норм и механизмов организуется в терминах двух компонентарных точек отсчета. Одна из них – социологическая отсылка к экономическому анализу и интересам, к процессу, посредством которого создается обобщенная распоряжаемость ресурсами. Здесь важна в первую очередь институционализация договора, собственности и распоряжаемости трудовыми услугами через наем в профессиональных (occupational) ролях. Собственность и труд становятся в этом случае генерализованными ресурсами. Они могут аллоцироваться и контролироваться через процессы, которые устанавливают функционально специфичные требования, а не через прежние (и, следовательно, по всей вероятности, функционально нерелевантные) основания аскриптивных требований, такие, например, как членство в общем родственном подразделении. Конечно, это предполагает некоторый процесс обмена между функционально дифференцированными единицами в системе.

Существенным аспектом в аргументе Дюркгейма является то, что обобщаемость ресурсов и гибкая распоряжаемость ими требуют большего, чем просто освобождение от нерелевантных, обычно аскриптивных, ограничений. Они требуют еще и позитивной институционализации соотносящихся обязательств и прав, определяемых в терминах нормативной структуры. С точки зрения определения ресурсов этот тип нормативной регуляции становится тем императивнее, чем больше конечное использование ресурсов отходит от того, что можно было бы мыслить как «естественный», принимаемый как само собой разумеющийся набор прав на это использование. С точки зрения ресурса, стало быть, необходим двойной процесс: во-первых, ресурс должен быть «генерализован» (это означает освобождение его от аскриптивного контроля); и, во-вторых, должно быть установлено позитивное обязательство войти в обобщенную аллокативную систему. Так, в преимущественно аскриптивном обществе эквиваленты того, чем являются в нашем обществе профессиональные роли, исполнялись на основе родственных обязательств, как, например, в случае, когда сын наследовал своему отцу как собственник и возделыватель земли, которой владела продолжающаяся во времени родственная единица. В нашем обществе подготовка к занятию, в котором можно было бы конкурировать на рынке труда, и готовность попытаться свои шансы в нахождении удовлетворяющей занятости составляют позитивно институционализированное обязательство нормального взрослого мужчины и значительного числа членов противоположного пола. Следо-

вательно, имеется, в каком-то смысле, «спекулятивное» производство рабочей силы, которое предшествует любой спецификации каналов ее использования. Это, разумеется, даже еще больше относится к контролю над физическими средствами.

В то же время должен быть ряд механизмов, могущих определить паттерны, в которых используется такой генерализованный ресурс. По мере того как разделение труда становится все более высокоразвитым, доля таких ресурсов, которые используются в коллективах, имеющих особые функции, возрастает. Эти коллективы распоряжаются денежными ресурсами, которые могут, в свою очередь, использоваться для заключения договоров об оказании трудовых услуг и для закупки необходимых физических средств. Институционализация договора – это нормативная система, предоставляющая доступ к таким ресурсам, какой бы ни была функция самой организации. Институт собственности, следовательно, регулирует денежные ресурсы и физические средства; институт занятия контролирует человеческие услуги.

Здесь важно отметить сложную связь, существующую между экономическими и неэкономическими аспектами той констелляции факторов, которую я очерчиваю. Экономическое производство как таковое – лишь одна из первичных социетальных функций, обслуживаемых процессами производства и мобилизации подвижных ресурсов через институционализацию договора, рынков, денег, собственности и профессиональных ролей. Вообще говоря, таким образом может поддерживаться любая важная функция: образование, здравоохранение, научные исследования и государственное управление. Есть лишь некоторые особые пограничные случаи, такие как семья и некоторые аспекты политического процесса, которые не могут быть «бюрократизированы» в этом смысле.

В то же время верно будет сказать, что задействованные здесь механизмы – какую бы конечную функцию они в том или ином частном случае ни обслуживали – являются в первую очередь экономическими; а именно это договор, рынки, деньги и т.п. Поэтому мы должны действовать очень осторожно, употребляя в подобном анализе такой термин, как «экономический».

Следовательно, обобщенная распоряжаемость ресурсами – один из основных аспектов функционального комплекса, институционализируемого через органическую солидарность. Другой аспект – это стандарты и механизмы, посредством которых производится их аллокация между претендующими на них альтернативными единицами социальной структуры. В этом случае ясно, что в институциональной рамке договора, собственности и занятия первичные прямые механизмы связаны со структурированием рынков и институционализацией денег.

Это возвращает нас к неувольнимым способам вовлечения конвенциональных экономических и неэкономических элементов. Рынок можно рассматривать как структурный каркас для аллокации располагаемых ресур-

сов, поскольку механизм этой аллокации – в первую очередь свободно-договорной на уровне оперативной организации коллектива. Однако от этого типа механизма нужно отличать два других. Первый – это административное распределение, являющееся «свободным» распоряжением ресурсами со стороны тех, кто предположительно обладает почти полным контролем над ними. Теоретически так обстоит бы дело, если бы экономика была полностью обобществлена, ибо центральный планирующий орган просто принимал бы решения и распределял бюджетные квоты; по сути, он мог бы также напрямую распределять труд и физические средства. Второй механизм предполагает переговоры между высшими инстанциями, владеющими ресурсами, и их потенциальными пользователями; и здесь политическая власть играет ведущую роль в определении результата, независимо от того, вовлечены ли в дело в первую очередь правительственные структуры или нет. Примером этого было бы распределение через законодательное действие финансирования общественных работ на основе региональных и локальных интересов; эта процедура нередко включает в себе немалую долю «взаимной поддержки».

Эмпирически между этими типами обнаруживаются незаметные переходы. С точки зрения типологии, однако, на рынке рыночные позиции договаривающихся партнеров приблизительно равны; ни владельцам, ни пользователям не «говорят» просто, куда им идти и что им получать; а степень могущества, которым обладает высший уровень целеориентированной организации в структуре соответствующего коллектива, не является решающим механизмом в процессе аллокации. Рынок – это институционализированный механизм, нейтрализующий оба этих потенциальных механизма аллокации в нескольких областях и не дающий им стать первичными детерминантами более детальных аллокаций. Это по существу означает, что есть иерархия аллокативных механизмов, связи которых друг с другом упорядочены институционализированными нормами. Среди этих норм присутствуют нормы, определяющие области, в которых – и поводы по которым – более «жестким» контролям позволяет или не позволяет брать верх над «более свободным» механизмом рынка. Так, право обложения налогом, которым наделено правительство, определяет принудительную аллокацию денежных ресурсов; а некоторые аллокации подчинены законодательному контролю, когда накладываются ограничения на свободу индивидуальных единиц договариваться относительно них по собственной воле.

Между тем можно, в полном согласии со взглядами Дюркгейма на органическую солидарность, указать, что в рыночной сфере свобода уравновешивается и контролируется сложным набором институциональных норм, так что сами свободы и связанные с ними права и обязательства определяются в терминах таких институциональных норм. В этой области есть две основные категории таких институционализированных структур. Одна связана с институционализацией самого денежного механизма, оп-

ределением сферы его легитимного использования и, конечно, пределов этой сферы. Другая относится к институционализации условий, при которых можно вступать в рыночные трансакции, предполагающие разные подкатегории ресурсов. Рассмотрим сначала последний класс норм.

Вообще говоря, нормы высшего порядка в современном обществе явно имеют статус правил и принципов формального права. Они подчинены законодательной власти, а их интерпретация и проведение в жизнь – задача судов. Для органической солидарности, как уже отмечалось, главное значение имеет комплекс договора, собственности и занятия; для механической солидарности – лидерство, авторитет и то, что я в другом месте назвал «регуляцией».

Свобода договора, стало быть, включает свободу определять условия договора и заложенные в них ограничения, которые, как я раньше указал, заключены в договорной системе в связи с содержанием соглашений, средствами обеспечения согласия с ними, объемом ответственности и общественным интересом. Следовательно, и на правовом, и на неформальном уровнях эти условия и ограничения варьируют в соответствии с социальными функциями, которые выполняются договаривающимися единицами, различными аспектами ситуаций, в которых они действуют, и прочими соображениями. Так, санкционируется приватная связь между врачом и пациентом, установленная с целью служить интересам здоровья пациента. Между тем предложение некоторых типов услуг в области здравоохранения ограничено – отчасти законом, отчасти неформальной институционализацией, – и их могут выполнять только лицензированные и «адекватно подготовленные» врачи; и принятие таких услуг, если оно легитимно, ограничивается, в более неформальном смысле, лицами, которые действительно «больны». Имеется много свидетельств того, что есть широкая область, в которой болезнь не столько объективное «состояние», сколько социально определенная роль.

Следовательно, проблема содержания договорных отношений включает в себе дифференциацию между ролевыми категориями, которые считаются и не считаются легитимными носителями различных социальных функций. «Потребитель» или «клиент» могут договариваться относительно получения очень широкого круга благ и услуг, но они не полностью свободны выбирать агентов, с которыми будут договариваться, поскольку институциональные нормы определяют, какие функции могут выполняться теми или иными агентами.

Вдобавок к этому, по-разному институционализируются способы, с помощью которых вырабатываются условия договора, и это оказывает влияние на структуру рынка. Экономистов особенно интересовал один тип – «коммерческий» рынок, где цены устанавливаются на основе «конкуренции» и где имеется институционализированное ожидание, что право агента-поставщика продолжать операции является функцией его способности справляться с расходами и демонстрировать прибыль. Кроме того, клиент

ожидает, что цена, которую он платит, будет покрывать полную стоимость того, что он покупает. Однако структура рынка, на котором поставляется множество государственных, профессиональных и прочих услуг, совершенно иная. Хотя услуга может быть целиком бесплатной в денежном смысле, условия права на нее могут быть жестко определены, как в случае условий, регулирующих прием на лечение в государственные больницы. Или, как часто бывает в частной медицинской практике, может быть скользкая шкала расценок, и один из участников договора, пациент – в противоположность тому, что ожидается на коммерческом рынке от клиента, – выполняет только часть своих обязательств, ибо гонорар, который он платит, покрывает только часть стоимости выполнения договорной услуги.

Кроме того, есть проблема объема ответственности, заключенной в такой связи. Спенсеровская версия идеи договора тяготела к допущению, что вопрос о способностях участников к «выполнению» не составляет сложной проблемы. В качестве прототипа берется типичный экономический обмен, в котором у покупателя достаточно денег, а у продавца достаточно товаров. Но ситуация такова далеко не во всех случаях. Как пример приведем еще раз определенный тип профессиональной связи. Больного нельзя считать ответственным за прекращение его болезненного состояния путем простого волевого усилия: его беспомощность – первичный критерий, по которому определяются его нужда в профессиональной услуге и его право на ее получение. Но он ответствен за опоздание своей беспомощности и за активное сотрудничество с терапевтическими агентами в обеспечении своего выздоровления. Эти агенты, в свою очередь, хотя их роль может быть определена в терминах технической компетентности, должны признавать значительную изменчивость в способностях индивидов, так что если в каких-то случаях дело будет завершаться неудачей, врача не будут считать ответственным за нее при условии, что он сделал все возможное. Еще один хороший пример мы находим в образовании, где в силу юности несведущего человека его неведение не считается заслуживающим порицания. Да и не ожидается от ребенка, что он сам себя проведет без помощи школ. Однако от него ожидается, что, приобретая образование в стенах школы, он будет усердно трудиться. Кроме того, некоторые дети упорнее других в учебе, и неудачи в обучении не считаются всегда или всецело промахом учителя. Есть детально институционализированные нормы, охватывающие такие области, как эти.

Защита интереса общества в договорных отношениях институционализирована более диффузно; это в каком-то смысле аспект всех норм в этой области. На правовом уровне, однако, есть много положений, позволяющих судам и другим государственным службам, представляющим общественный интерес, вмешиваться с целью недопущения или модификации таких соглашений. В силу самой своей природы институционализация договорной системы предполагает навязывание целой системы ограничений на властные возможности правительства. Тем не менее остающиеся у

частных интересов возможности эксплуатации своей свободы в ущерб остальному обществу требуют сохранения тонко сбалансированного равновесия интеграции.

Денежный механизм существует, поскольку разделение труда не может развиться достаточно далеко, если все обмены ограничиваются уровнем бартера. В полностью развитой системе деньги выполняют четыре первичные функции. Во-первых, они служат мерой экономической ценности ресурсов и продуктов. Именно в связи с этим мы говорим о валовом национальном продукте как о денежной сумме. Во-вторых, они служат стандартом для рациональной аллокации ресурсов, для сравнения затрат и дохода. Только в «деловом» секторе, где производительная функция в экономическом смысле приоритетна, денежный стандарт применяется в первую очередь. Вместе с тем денежная стоимость является очень важным механизмом оценивания и в других функциональных областях, таких как образование и здравоохранение, ибо с точки зрения соответствующей единицы она служит основой для оценивания одного из основных компонентов условий, необходимых для осуществления любой цели, а с точки зрения более широкой системы – мерой приносимых в жертву применений, которые могли бы быть найдены привлеченным ресурсом.

Итак, важно отличать прибыль как меру резонности функции от использования денежной стоимости как одного из компонентов условий, которые должны быть учтены при вынесении суждения о резонности. Способность покрыть денежные издержки, как-то приумножить деньги – это, конечно, необходимое ограничивающее условие тех функций, которые требуют приобретаемых через рынок ресурсов.

Служа мерой и стандартом, деньги не обращаются; ничто тут не переходит из рук в руки. При выполнении двух других своих функций, однако, деньги служат средством (или посредником) обмена. В случае первой из них деньги являются существенным средством везде, где достижение целей зависит от ресурсов, добываемых через рыночные каналы. Их не только необходимо иметь, но и, следует заметить, в высокоразвитой рыночной системе чрезвычайно широк спектр выборов, открытых для единицы, обладающей достаточными фондами. Другая посредническая функция денег – служить вознаграждением. Здесь референция, по существу, сравнительная и релятивная; значение имеет сумма денежного дохода, получаемого одной единицей или ресурсом, по сравнению с суммой денежного дохода, получаемого другой. Именно эта функция денег является первичным средством регулирования процесса аллокации ресурсов, поскольку та оказывается результатом рыночных трансакций. Базовый принцип – экономический: ресурс перетекает в ту из ситуаций, в которых он используется, где предлагается относительно более высокое вознаграждение, в данном случае денежное.

Однако и здесь опять-таки важно настаивать на базовом различении, которое мы установили в связи со стандартами аллокации. Деньги – не

единственный компонент комплекса вознаграждений. Он обладает приоритетом над другими компонентами только там, где функция экономического производства обладает приоритетом над другими функциями, т.е. в «деловом» секторе организационной системы и системы занятий. В сущности, именно поэтому денежное вознаграждение за человеческие услуги в этом секторе выше, чем в других секторах, таких как государственное управление, образование и т.д. Однако даже в тех случаях, когда первичностью в данной подсистеме обладают другие компоненты вознаграждения – политическая власть, интегративное признание (или солидарность) или культурный престиж, – существенно, чтобы денежное вознаграждение соответствовало качеству выполняемых услуг, определяемому на основе преобладающих в подсистеме критериев. Например, в академической профессии, в противоположность ситуации в деловых занятиях, сумма чьего-то дохода не является надежной мерой его относительного престижа в общей профессиональной системе. Внутри профессии, однако, и особенно внутри одного факультета, присутствует сильное давление к установлению соответствия между профессиональной компетентностью и выплачиваемым жалованьем. Отсутствие этого соответствия – главный источник интегративного напряжения.

Я пространно и подробно обсудил связь между аллокацией подвижных ресурсов, институционализацией договора, собственности и занятия, а также рынком и деньгами, поскольку такой анализ полнее любого, который мог бы представить Дюркгейм, и, стало быть, дает более широкий контекст для оценки истинной важности его базовых прозрений об органической солидарности. Его главное прозрение состоит в том, что в этой области должен быть целый комплекс институционализированных норм, являющийся условием стабильности функционально дифференцированной системы. В книге «De la division du travail social»¹ Дюркгейм не очень далеко продвинулся в анализе мотиваций, лежащих в основе приверженности таким нормам. Но он высказался со всей определенностью в одном центральном пункте, а именно: что эта приверженность со стороны действующей единицы системы не может быть мотивирована прежде всего соображениями выгоды. И именно поэтому в первую очередь приобретает центральное значение понятие *conscience collective*, образованного из «общих верований и чувств». В последующей своей работе он сделал три существенных шага, значимых для этого вопроса о мотивации. Но прежде чем попытаться схематично их описать, стоит коротко обсудить связь *conscience collective* с органической солидарностью и связь органической и механической солидарности друг с другом.

В связи с первой из этих двух проблем Дюркгейм, видимо, пребывал в подлинном замешательстве, поскольку так и не прояснил структурного

¹ Durkheim E. De la division du travail social. – P.: F. Alcan, 1893. – Прим. ред.

различия между ценностями и нормами, представленного мной выше, и не увидел, что это различие в равной степени релевантно и применимо к органической и к механической солидарности. Вместо этого он увяз в отождествлении механической солидарности с недостаточной дифференциацией структуры и, следовательно, со сходством ролей как личных выражений общности верований и чувств. Поэтому у него не было ясных критериев для определения связи функционально дифференцированных норм с *conscience collective*. Трактовка концепции «динамической плотности» социальной системы и ее связи с конкуренцией была, по сути, как отмечает Шнор¹, попыткой Дюркгейма решить проблему процессов структурной дифференциации, однако связать ее со своим главным понятием *conscience collective* ему не удалось.

Теперь можно установить эту фундаментальную связь более адекватно: как уже отмечалось, ключевой компонент *conscience collective* – общие социальные ценности. Приверженность таким ценностям, осторожно трактуемым в связке с соответствующим объектом (т.е. обществом как таковым) и уровнем общности или спецификации, – один из основных компонентов общего феномена институционализации. Институционализация, в свою очередь, является первичной основой дюркгеймовской «солидарности» на уровне интеграции социальной системы. Но в отношении любой основополагающей функции социальной системы ценности должны быть специфицированы в терминах релевантности этой особой функции. Кроме того, ценности должны оказывать влияние на легитимацию дифференцированных институционализированных норм, необходимых для регулирования поведения в области этой функции, – для регулирования его, с одной стороны, в связи с конкретными требованиями условий, в которых оно разворачивается, и с другой – в связи с интересом общества как системы. Но одной легитимации недостаточно; должны быть вдобавок функции определения юрисдикции, определения и применения санкций и интерпретации самих норм.

Этот базовый комплекс связей и функций можно с полной ясностью разработать для разделения труда как экономического феномена и для группирующихся вокруг него институтов. К этому комплексу Дюркгейм прежде всего и обратился; и если не брать тот факт, что его формулировка связи этого комплекса с *conscience collective* так и осталась двусмысленной, он положил великолепное начало его анализу. Вместе с тем он не видел, что свойства договорного комплекса напрямую соответствуют свойствам комплекса, заключающего в себе механическую солидарность. Я предположил, что этот параллелизм относится прежде всего к связям между общими ценностями и институционализацией политической функции в обществе. Здесь ценности тоже должны быть специфицированы на

¹ См.: Schnore L.F. Social morphology and human ecology // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1958. – Vol. 63, N 6. – P. 620–634.

конкретном уровне, чтобы легитимировать не только общество в самом широком смысле, но и тот тип организации, который институционализирован в нем для достижения коллективных целей. Эта организация является дифференцированной функциональной областью, которая в некоторых принципиальных отношениях параллельна и соприродна области мобилизации подвижных ресурсов. Кроме того, она содержит внутри себя дифференцированные структуры на уровнях норм, коллективов и ролей. Поэтому связь ценностей с нормами в этой области такая же, как и в экономической. Нормы должны быть легитимированы, но они должны быть истолкованы; вдобавок к этому должны быть определены юрисдикции и специфицированы санкции. *Conscience collective* не выполняет этих функций напрямую и автоматически. Дифференцированный нормативный комплекс, сфокусированный на институционализации лидерства и авторитета, параллелен комплексу, сосредоточенному на договоре, собственности и профессиональной роли в экономической области. Власть есть мера и посредник и параллельна в соответствующих аспектах деньгам¹.

Дюркгеймовская трактовка предполагает еще одно усложнение, а именно проблему эволюционной последовательности. Он высказал в связи с этим две принципиально важные идеи: во-первых, что развитие паттернов органической солидарности, связанных с широким разделением труда, предполагает наличие системы социальной интеграции, характеризующейся механической солидарностью; во-вторых, что экономическое разделение труда и сложная дифференцированная правительственная организация развиваются рука об руку. Это не случай развития одного в ущерб другому.

Какими бы верными ни были эти два озарения, связь механической солидарности с отсутствием структурной дифференциации, проводившаяся Дюркгеймом, склоняла его к отождествлению этой ассоциации с примитивностью в эволюционном смысле и помешала ему установить существенную связь между общими ценностями и легитимацией политического порядка и организации в более дифференцированном, современном типе общества. Связь современных политических институтов с солидарностью – во многом похожая на связь экономических институтов с солидарностью – осталась просто висеть в воздухе.

Я бы, таким образом, предложил улучшить дюркгеймовскую классификацию. Если органическая и механическая солидарность – относи-

¹ К сожалению, недостаток места не позволяет развить дальше эту линию анализа. Несколько общих утверждений, пусть кратких и неполных, но все же более развернутых, чем то, которое приведено здесь, можно найти в статьях: Parsons T. Authority, legitimation and political process // *Authority* / Ed. by C.J. Friedrich. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 1958. – P. 28–48; Parsons T. «Voting» and the equilibrium of the American political system // *American voting behavior* / Ed. by E. Burdick, A.J. Brodbeck. – Glencoe (IL): Free press of Glencoe, 1958. – P. 80–120. Интерпретация господства (authority), предложенная Максом Вебером, образует существенное дополнение к дюркгеймовской интерпретации механической солидарности.

тельные термины, то в одном случае речь должна идти о типе солидарности, сфокусированном на легитимации политических институтов, а в другом – о типе, сфокусированном на экономических институтах. В самом широком смысле можно сказать, что хотя ситуация значительно варьирует в зависимости от типа социальной структуры, обе солидарности существуют одновременно в частях одной и той же социальной системы – частях, которые можно различить аналитически на основе структуры; и никакой общей тенденции к замещению одного типа солидарности другим быть не должно. Солидарность, существующая до развития любого из высших уровней социальной дифференциации, – не то же самое, что этот «политический» тип. Последний ближе к основному референту дюркгеймовской механической солидарности, но я бы предпочел другой термин, например «диффузная солидарность». Это общая матрица, из которой в процессе дифференциации возникли *оба* других типа.

Похоже, Дюркгейм столкнулся с обычной трудностью, с которой сталкиваются при рассмотрении процессов дифференциации. Когда компонент системы в поздней и более дифференцированной фазе развития системы сохраняет то же название, которое он имел в ранней, менее дифференцированной фазе, этот компонент, несущий исходное название, будет в позднейшей фазе обладать меньшей значимостью. Это неизбежно следует из того факта, что в ранней фазе он может обозначать, скажем, один из четырех родственных компонентов, а в поздней – один из восьми. Это убывание значимости часто приписывают «потере функций» или «уменьшению силы» именованного компонента. Прекрасными примерами этого в нынешнем западном обществе служат «семья» и «религия»¹. Эти названия использовались на протяжении последовательных фаз нашего развития, но компоненты, обозначавшиеся ими, не сохраняли однородность. Современная городская семья, функция экономического производства которой была передана профессиональным организациям, не однородна крестьянскому домохозяйству, которое является основной производственной единицей вдобавок к тому, что является, как и современная семья, единицей для воспитания детей и регуляции личности. Выступая как производственная единица, крестьянская семья является по сути «семейной фирмой», но термин «фирма» к ней обычно не применяется.

Следует привести одно уточнение к этому аргументу, касающееся иерархического упорядочения функций в социальных системах. Дело в том, что политическая организация в институционализированных рамках

¹ Я рассмотрел эти два случая, соответственно, в работах: Parsons T. Family, socialization and interaction process. – Glencoe (IL): Free press of Glencoe, 1956. – Ch. 1; Parsons T. Some reflections on religious organizations in the United States // Daedalus. – Cambridge (MA), 1958. – Vol. 87. – P. 65–85. Последняя статья и статья из книги «Authority», цитируемая выше (в предыдущем примечании. – *Прим. ред.*), включены в сборник моих очерков, вышедший под названием: Parsons T. Structure and process in modern societies. – Glencoe (IL): Free press of Glencoe, 1960.

порядка должна в действительности предшествовать в последовательности развития появлению высокодифференцированного рыночного типа экономики. Отсюда есть некоторое эмпирическое оправдание – даже в очерченных мной рамках – для утверждения Дюркгейма, что механическая солидарность предшествует органической солидарности.

Как уже отмечалось, в «*De la division du travail social*» Дюркгейм много говорил о роли институционализированных норм, но мало о характере мотивации, лежащей в основе приверженности ценностям и конформности к нормам. Вместе с тем его ясная мысль, что «рациональное преследование своекорыстного интереса», как оно интерпретируется в утилитарной и экономической теории, не объясняет этой приверженности, установила контекст для подхода к этой проблеме. На ранних этапах своей работы в интерпретации, трактующей нормы так, как если бы они просто входили в число «жизненных фактов» в ситуации индивида, Дюркгейм обычно довольствовался формулой «внешний характер и принудительность» – формулой, не помогавшей разрешить фундаментальное затруднение, представляемое утилитаризмом. Однако в книге «*Le suicide*»¹ и в работах по социологии образования он предпринял два важных шага, выводящих нас за рамки этой позиции, и я их коротко опишу.

Первый – это открытие и частичное развитие им идеи интернализации ценностей и норм. Второй – это проведенное им, особенно в связи с проблемой природы современного «индивидуализма», различие между двумя рядами изменчивости. Один ряд относится к типам институционализированных ценностно-нормативных комплексов, и примером его служит различие между эгоизмом и альтруизмом. Другой – относится к типам связей, которые могут быть у индивида с любыми институционализированными нормами и ценностями. Здесь ключевое значение имеет различие между «эгоизмом» и «аномией»; оно параллельно различию между «альтруизмом» и «фатализмом». Я коротко рассмотрю их по очереди.

Касательно интернализации ценностей и норм можно сказать, что в некоторых пределах действительное поведение в экономической и политической областях может быть относительно хорошо проинтерпретировано через процессы, посредством которых индивид рационально адаптируется к существованию норм и связанных с ними санкций таким образом, что они попросту становятся «правдой жизни». Дюркгейм ясно видел, что существование и функциональная необходимость институционализации этих норм не зависят от интересов единиц; но у него не было теории, которая объясняла бы в терминах мотивации процесс, посредством которого устанавливаются и сохраняются институты. Его «социологистский позитивизм»² не позволял ему сформулировать такую теорию.

¹ Durkheim E. *Le suicide*. – P.: F. Alcan, 1897. – *Прим. ред.*

² Parsons T. *The structure of social action*. – N.Y.: McGraw-Hill book co., 1937. – Ch. 8–9.

К исследованию самоубийства Дюркгейма привел парадокс: согласно утилитарной теории, рост уровня жизни должен вызывать общий рост «счастья»; между тем явный рост уровня жизни в западных странах сопровождался заметным ростом уровня самоубийств. Почему чем счастливее становились люди, тем большее их число кончало с собой?

Прежнее воззрение, которое ранний Дюркгейм разделял, полагало цели действия индивида локализованными внутри его личности, а социальные нормы, «внешние» для него, – локализованными в обществе как в «реальности *sui generis*». Будучи размещаемы в двух разных системах, цели индивида и нормы общества диссоциировались друг от друга. Дюркгеймовское понятие аномии было формулировкой его великого прозрения, что эта диссоциация несостоятельна, что цели индивида нельзя рассматривать как независимые от норм и ценностей общества и что они на самом деле «наделяются значением (смыслом)», т.е. легитимируются этими ценностями. Следовательно, они должны принадлежать той же системе. Если личные цели – часть личности, то ценности и нормы – *conscience collective* – тоже должны быть частью личности. В то же время Дюркгейм не мог отбросить доктрину независимости институциональных норм от «индивида». Она была самой сердцевинной его концепции солидарности, и отбросить ее значило бы откатиться к утилитарной позиции. Следовательно, единственным решением была концепция взаимопроникновения личности и социальной системы – концепция, утверждающая в известном смысле истинность того, что ценности и нормы являются частями «индивидуального сознания» и в то же время аналитически независимы от «индивида». На ранних стадиях Дюркгейм пытался решить эту проблему с помощью концепции наличия двух «сознаний» в одной и той же личности, но со временем он все больше склонялся к тому, чтобы отказаться от этого взгляда.

Стоит заметить, что, работая в социологии, Дюркгейм открыл по существу тот же базовый феномен интернализации и взаимопроникновения, который открыл, исследуя личность, Фрейд, и что это же самое открытие было сделано независимо от них Чарльзом Хортоном Кули и Джорджем Гербертом Мидом. Это схождение, на мой взгляд, есть одна из значительных вех в развитии современной социальной науки.

Переформулируем главный тезис Дюркгейма относительно воздействия аномии: индивид совершает самоубийство прежде всего не потому, что ему недостает «средств» для осуществления его целей, а потому, что его цели не могут быть осмысленно интегрированы с ожиданиями, институционализированными в ценностях и нормах. Факторами, ответственными за эту плохую интеграцию, могут быть факторы социальные, культурные или психологические в любой комбинации, но решающей точкой напряжения является бессмысленность ситуаций и альтернатив действия. Эта проблема смысла (или значения) не могла бы возникнуть, если бы

нормы и ценности были всего лишь частями внешней ситуации, а не действительными «верованиями и чувствами» индивида.

Многие проблемы, связанные с прояснением и интерпретацией аномии, Дюркгейм оставил нерешенными, но это его понятие указало путь к теории проблемы социального контроля, которая была нечувствительна к его критике утилитаризма, но могла, в связке с современным психологическим пониманием личности, привести к теории мотивации, лежащей в основе конформности и девиации, и, следовательно, к теории механизмов, посредством которых устанавливается и поддерживается солидарность.

Исходя из психологических оснований, можно сказать, что поскольку интернализированные ценности и нормы, как и некоторые из компонентов целей, включены в мотивацию к конформности, то некоторые ключевые компоненты этой мотивации и механизмов, посредством которых она устанавливается, поддерживается и восстанавливается, не могут быть полностью и напрямую приписаны «рассудку». Иными словами, для актора недостаточно просто прояснить, какова ситуация и какими, скорее всего, будут последствия альтернативных курсов действия; ибо механизмы и компоненты мотивации и компоненты механизмов социального контроля, отражающие различные аспекты этой мотивации, иррациональны. Это помещает механизмы социального контроля в класс, отличный от класса рынка, обычного осуществления политического лидерства и власти, законодательства и администрирования – в его высших судебных аспектах – правовой системы.

Те аспекты болезни, которые могут быть связаны с «психическими» факторами, и соответствующие элементы терапевтического процесса, которые их лечат, могут служить прототипом такого рода механизма и могут быть систематически связаны с процессами взаимодействия, заключенными в социализации ребенка¹. Однако также ясно и то, что есть потребность в разработке теории в этой области, сопоставимой с теорией, которую я очертил ранее для проблемной области органической солидарности, насколько она имеет отношение к экономическим институтам и рынкам. Разумеется, не весь социальный контроль, ориентированный на мотивацию, относится к болезни и терапии. Например, представляется весьма вероятным, что такого же рода функции для значительной области нашего общества выполняет правовая практика. Однако юристы – не врачи. Подсистемой общества, представляющей проблемы социального контроля, к которым имеют отношение юристы, является не индивидуальная личность, как в случае работы врача, а система, содержащая две или более стороны в их связях с нормативной системой, всех их регулирующей. Отсюда наличие больше чем одного адвоката и наличие судов. Аналогом аномии здесь служит ситуация, в которой нормы и, возможно, стоящие за ними ценности недостаточно хорошо определены и размещают клиентов в

¹ Parsonс T. The social system. – Glencoe (IL): Free press of Glencoe, 1951. – Ch. 7.

осмысленной ситуации для действия так, что давление этой ситуации мотивирует их действовать «иррационально». Но это вовсе не означает, что у них психопатологические личности. В приведении в порядок нуждается система отношений, а не индивид. Мне кажется, что дюркгеймовская трактовка религиозного ритуала дает еще один пример, но на нем я коротко остановлюсь позже.

Следует заметить также, что, придерживаясь этой линии рассуждения в годы после публикации книги «*Le suicide*», Дюркгейм в своих работах об образовании внес первый крупный вклад в социологический анализ социализации ребенка¹. Именно в связи с этим ему удалось полнее прояснить свою теорию природы интернализации ценностей и норм, переопределить принуждение как осуществление морального авторитета через *conscience collective* социален: во-первых, поскольку его образуют ценности, общие для членов общества и разделяемые ими; во-вторых, поскольку благодаря социализации члены общества переживают процесс, посредством которого эти ценности интернализируются; в-третьих, поскольку имеются особые механизмы, закрепляющие созданную тем самым приверженность ценностям способами, приводящими в действие нерациональные слои личностной структуры так, что девиациям противодействуют исправительные механизмы. Этим определением Дюркгейм дал новое понимание функционирования социальной системы, вряд ли предусмотренное в «*De la division du travail social*».

Другой основной вклад книги «*Le suicide*» в настоящее обсуждение – концепция того, что можно назвать «институционализированным индивидуализмом»; в центре ее стоит дюркгеймовское понятие *égoïsme* как чего-то отличного от аномии. Это расширение основной идеи книги «*De la division du travail social*», но здесь Дюркгейм применяет ее в совершенно новом контексте и связывает с только что рассмотренными проблемами социального контроля.

Утилитаризм и вместе с ним методологический индивидуализм (граничащий с редуccionизмом) нашей интеллектуальной традиции обычно толковали как центрирование сферы свободы и ожидаемого независимого достижения единицы системы в том духе, что единица свободна от контроля системы. Этим редуцировалась важность интеграции системы, независимо от позитивной или негативной ее оценки. Спенсеринский индивидуализм был отрицанием социального контроля в нынешнем смысле этого понятия.

В каком-то очевидном смысле, конечно, так и есть, ведь непосредственный контроль со стороны прямого авторитета несовместим с индиви-

¹ Прежде всего в работе: Durkheim E. *L'éducation morale*. – P.: F. Alcan, 1923; а также в сборнике очерков: Durkheim E. *Education and sociology* / Trans. S. Fox. – Glencoe (IL): Free press of Glencoe, 1956. – 1st ed. 1922.

дуальной свободой. Но в другом, более глубоком смысле это неверно. Институциональный порядок, в котором от индивидов ожидают принятия большой ответственности и тяги к высокому достижению и в котором их вознаграждают через социально организованные санкции такого поведения, нельзя объяснить, постулировав ослабление всех аспектов институционализированного контроля. Напротив, такой порядок, с его общими ценностями, его институционализированными нормами, его санкциями и посредниками, его механизмами социального контроля, являет особый способ институционального структурирования. Он подчеркнута не репрезентирует аномии, являющейся ослаблением контроля в смысле ослабления солидарности.

Классическая эмпирическая формулировка этого тезиса в книге «Le suicide» дается в связи с разницей между протестантами и католиками. Католик в религиозных вопросах подчинен прямому контролю авторитетов своей церкви: он должен принять официальную догму о наказании отлучением, должен принять освященный авторитет священника в деле собственного спасения и т.д. Протестантская церковь как коллектив не реализует такого авторитета. Протестант свободен от этих типов контроля. Но он не волен выбирать, принять ему такой контроль или нет, ведь он не может, желая остаться хорошим протестантом, отказаться от свободы принять религиозную ответственность, налагаемую на него в его прямой связи с Богом. Обязанность принять такую ответственность легитимируется общими ценностями протестантской группы и переводится в нормы, управляющие поведением.

Во многом по идеологическим причинам это фундаментальное прозрение до сих пор не вошло в полную меру в мышление социальных ученых. Но мало какие из [научных] достижений Дюркгейма так важны для связывания теоретического подхода к анализу социальных систем с эмпирической интерпретацией основных черт современного типа общества.

Эта проблема исподволь подводит нас к еще одной очень важной связи между двумя главными темами исходной дюркгеймовской трактовки проблем социальной интеграции, а именно к связи между органической и механической солидарностью. Ясно, что есть связь эгоистического фактора самоубийства с органической солидарностью и альтруистического фактора с механической солидарностью. Это становится очевидным в ассоциации между областями социальной структуры, где коллектив плотно интегрирован (например, в армии) и высока частота альтруистического самоубийства, и областями, где преобладают рыночные отношения (например, в профессиях и бизнесе) и высока частота эгоистического самоубийства. Можно увидеть и параллельное соотношение между типами обществ.

Однако подобные корреляции поднимают вопрос о типах механизмов, связанных с разными проблемами интеграции. Ранний Дюркгейм

подчеркивал важность определений некоторых актов как преступных, а предписаний к их наказанию – как механизмов, укрепляющих механическую солидарность. В книге «De la division du travail social» он использовал это укрепление прежде всего как фон, дабы по контрасту с ним подчеркнуть функционирование гражданского права в связке с органической солидарностью. При этом он явно имел в виду прежде всего солидарность коллектива как основной структурный фокус проблемы интеграции.

Стоит заметить, что в поздние годы жизни Дюркгейм приблизился к области, которая, в контексте вышеприведенного анализа, очень тесно связана с проблемами механической солидарности, но на этот раз эта связь выделась с точки зрения ценностей, а не с точки зрения их политического внедрения. Я говорю о его анализе религии и ее связи с обществом в книге «Les formes élémentaires de la vie religieuse»¹. В этой работе есть много примечательного, но особого интереса здесь заслуживает трактовка религиозного ритуала как механизма укрепления социальной солидарности.

Важнейшее связующее звено между этой работой и книгой «De la division du travail social», написанной двадцатью годами ранее, – непрерывающийся интерес Дюркгейма к *conscience collective*. Но если в ранней работе это понятие использовалось просто как точка отсчета для анализа экономического уровня социальной дифференциации и соответствующих проблем интеграции, то в позднейшей работе на авансцену выходит вопрос о первичной роли *conscience collective* в социальной системе в целом. Ритуал коммунального типа, в трактовке Дюркгейма, есть прямое выражение приверженности членов коллектива – т.е. релевантной социальной системы высшего уровня – тем ценностям, которых они сообща придерживаются. Но одновременно это и нечто большее, чем просто их выражение, ибо это способ, с помощью которого эти приверженности могут быть путем «драматизации» пробуждены заново и освежены, а любые ослабляющие их тенденции – предупреждены.

Совершенно ясно, что религиозный ритуал, как он понимается в этой работе, не связан прямо с формулировкой и применением норм, а связан скорее с «внутренними», интернализированными аспектами систем ценностей и норм, с их прямым включением в структуру личностей. Более того, тут затрагивается их связь с мотивацией в контексте указанных выше нерациональных компонентов. Следовательно, в этой последней важной фазе своей работы Дюркгейм явно опирался на результаты, полученные им раньше в исследованиях самоубийства и образования. Однако здесь он впервые взял под держание институционализированной ценностной системы в обществе как средоточие социального процесса, а не как точку отсчета для анализа других структур и процессов.

Есть в то же время интересный возврат к его первоначальному отправным точкам, ибо он эксплицитно поднимает проблему роли *conscience*

¹ Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. – P.: F. Alcan, 1912. – Прим. ред.

collective – т.е. коллективных ценностей – на уровне ценностной системы, а не на уровне структуры конкретного коллектива и обязательств перед ним. Соответственно, он завершает тем, что заключает свою исходную проблему органической солидарности в более общую рамку порядка, – рамку, в которой имеется политическая организация, способная навязать единообразное уголовное право, но в которой есть также система ценностей, способная легитимировать нормы, независимые от частного политического порядка и его «органов».

Это был важный шаг в дифференциации теоретических компонентов гидроголовой проблемы социальной интеграции. При этом, пожалуй, важно, что Дюркгейм разбирал проблему религиозного ритуала на уровне эмпирических деталей только в контексте примитивных религий. Я истолковываю это так, что его все еще мучила старая проблема отношения между генетическими и аналитическими аспектами проблемы различения компонентов. В каком-то смысле он просто вернул проблему механической солидарности на более генерализованный уровень, ища «исток» репрессивного права в религиозных приверженностях, ритуализированных в крупных племенных церемониях. Тем самым он внес колоссальный вклад в наше понимание процессов социального контроля на этом уровне – понимание, с определенностью включившее их мотивационную референцию. Но в силу своей неудачной путаницы он скорее затемнил, чем осветил проблему тех связей солидарности со структурной дифференциацией современного общества, анализ которых был для него изначальной отправной точкой.

Почти все согласятся с тем, что Дюркгейм принадлежал к очень небольшому кругу социологов-теоретиков, которые в критической фазе развития дисциплины проникли на более глубокие уровни анализа, чем любой из их предшественников, и сформулировали главные проблемы, над которыми мы с тех пор работаем. Темой этой статьи является, как мне кажется, самая суть дюркгеймовского вклада в теорию. Он был преимущественно теоретиком проблемной области социальной интеграции. Первичное ядро самой социальной системы занимало его больше, чем связи этой системы с системами, которые с ней граничат: культурой, личностью и организмом в физической среде. Вдобавок его в каком-то смысле не очень-то интересовали проблемы социальной структуры. Хотя он всегда сохранял интерес к сравнительным исследованиям, он не пытался прощупать проблемы сравнительной морфологической классификации так глубоко, как это делал его современник Макс Вебер.

Центральная проблема Дюркгейма, решения которой он с редким упорством искал, состояла в определении основных осей, вокруг которых организуются интегративные функции и процессы общества. Его анализ испорчен многочисленными непродуманными мыслями, и многие его аспекты устарели; но его критика утилитарной традиции и его концепции *conscience collective* и механической и органической солидарности – хотя и

создают много проблем для толкования – хорошо послужили и ему, и дисциплине.

Важно в этих концепциях то, что они преодолевают линии конвенционального структурного анализа социальных систем, членящие их на политические, экономические, религиозные и прочие категории. Только с такой концептуализацией, как у Дюркгейма, можно подойти к проблемам социальной интеграции на достаточно общем уровне, позволяющем установить новую теоретическую ориентацию. То, что Дюркгейму удалось развить эту концептуализацию, служит основой его высокого положения как теоретика.

Дюркгейм открыл конечные теоретические связи между целым рядом эмпирических предметов, которые обычно расплывались между разными дисциплинами и специальностями внутри дисциплин. В книге «*De la division du travail social*» он установил связи между правом и традиционным эмпирическим предметом экономики, подведя их под более широкую теоретическую перспективу. Он также включил в нее плодотворное обсуждение политических вопросов, в котором заметил, что правительство развивалось параллельно экономике частного предпринимательства. В позднейшей своей работе он перенес свой анализ связей в область психологической теории; его привела к этому логика проблем, которые он хотел решить, хотя первоначально он говорил, что психологические соображения irrelevantны социологическим проблемам. Его исследования в области психологической теории позволили ему не только обогатить собственный анализ, но и установить основу для замечательного сближения с Фрейдом, дав тем самым средство, с помощью которого можно было связать концепции рациональности, разработанные в экономической традиции мысли, с ролью нерациональных компонентов мотивации в психоаналитической традиции. Наконец, в поздней своей работе он проанализировал релевантность религии секулярным аспектам социальной организации.

Эта замечательная способность видеть связи между областями, рассматриваемыми обычно как не связанные друг с другом, стала возможной лишь потому, что Дюркгейм постоянно удерживал в поле зрения тот факт, что он работает с проблемой интеграции одной системы, а не со скоплениями дискретных подсистем. Он был в первую очередь теоретиком функционирования систем.

Выше я подчеркнул многие из осложнений и трудностей, заложенных в анализе Дюркгейма. Он был, несомненно, очень избирательным и, следовательно, в каком-то смысле «предвзятым»; взять, например, путаницу эволюционных и аналитических проблем в связи со статусом механической солидарности. Структурные проблемы могут быть в значительной мере прояснены, если взять за основу традицию Вебера, а связи с личностью можно существенно прояснить, мобилизовав психологическое знание, либо не существовавшее во времена Дюркгейма, либо содержав-

шееся в работах, к которым он (как и к ранним работам Фрейда) не выказывал интереса.

Такой критический анализ ведет к существенному пересмотру дюркгеймовских положений. Однако он не ведет к отказу от них. Он предполагает лишь расширение и уточнение, поскольку Дюркгейм заложил фундамент для развития плодотворной теории социальной интеграции.

Пер. с англ. *В.Г. Николаева*

РЕФЕРАТЫ

Николс Л.Т.

**ОБНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ: ИНТЕГРАЛЬНАЯ НАУКА,
СОЛИДАРНОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ:
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СЕВЕРО-ЦЕНТРАЛЬНОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ**

**Реф. ст.: Nichols L.T. Renewing sociology: Integral science, solidarity
and loving kindness: North Central sociological association presidential
address // Sociological focus. – Kalamazoo (OH), 2012. – Vol. 45, N 4. –
P. 261–273.**

*Ключевые слова: этос социологии; академическая солидарность;
социологическое сообщество; интегральный подход.*

В основе статьи Лоуренса Николса (Университет Западной Виргинии, США) лежит его президентская речь, произнесенная весной 2012 г. на Ежегодном собрании Северо-Центральной социологической ассоциации США. Сфера социологии, по мнению Николса, представляет собой непрерывный творческий процесс, который постоянно требует новой энергии и новых идей. При этом социология должна активно обращаться к накопленному ранее потенциалу. Нельзя абсолютизировать изменение, необходимо учитывать традицию и брать лучшее из нее, считает социолог. Параллельной задачей обновления дисциплины на современном этапе является увеличение солидарности среди ее представителей. Хотя обращение направлено к американской аудитории, советы Николса носят универсальный характер. Кроме того, особый интерес представляет тот факт, что для обновления социологии он призывает воспользоваться идеями русской философской традиции (в частности, опытом жизни и творчества Л.Н. Толстого и П.А. Сорокина). Автор, таким образом, находит возможность применения социологической теории не только для решения социальных проблем, но и для развития научного сообщества.

Социология, отмечает Николс, нужна не только как инструмент социальных изменений или как индикатор обнаружения актуальных проблем в «несовершенном» обществе. Она нужна везде и всегда, она самодостаточна, и даже в случае достижения общественного идеала она

продолжит развиваться как самостоятельная сфера деятельности. Социология, продолжает Николс, – это форма сознания, которая помогает нам понять и оценить нашу общую жизнь, параллельно обеспечивая понимание коллективных проблем и конфликтов [с. 261–262].

На современном этапе развития, указывает автор, для социологического сообщества опасны перегибы как в количественных, так и в качественных исследованиях. Поэтому он призывает к более широкому видению сферы социологии, характеризующемуся свежестью взглядов, интеллектуальным совершенствованием, творческим подходом, социальной полезностью, духом партнерства, сопереживанием и позитивными эмоциями [с. 261]. Путь обновления социологии для Николса лежит, прежде всего, в применении интегрального подхода и включении в область научного анализа и научной практики духовно-нравственного измерения. Использование интегрализма должно затронуть не только методологический и прикладной аспекты науки, но также организационный (укрепление сотрудничества между социологами) и образовательный. Программу обновления дисциплины Николс видит в «оживлении» через признание и внедрение таких семи взаимосвязанных ценностей как: интегральная наука, красота, счастье, совершенство, солидарность, духовность и милосердие. Социологи должны продолжить развивать то, что Р. Мертон назвал «этимологией науки»¹.

Интегральная наука. Эта тема для Николса связана с постижением творчества Питирима Сорокина, который внес значительный вклад в становление социологии. Знакомясь с работами Сорокина, Николс узнал об интегральной методологии мыслителя и его исследованиях альтруизма. Интегрализм – это способ познания, корни которого уходят в русскую философию XIX – начала XX в. Критикуя западноевропейский рационализм за ограниченные возможности, ряд мыслителей, включая Ивана Киреевского, Владимира Соловьева и Николая Лосского, разработали модель познания, основанную преимущественно на интуиции, по отношению к которой рациональное знание было второстепенным. Сорокин выделил три канала познания – чувства, разум, интуиция. Взятый по отдельности, каждый из них имеет свои недостатки и ограничения, поскольку способен обеспечить познание лишь части реальности. Поэтому Сорокин выступал за интегральное (совместное) использования разума, чувств и интуиции, когда каждый из элементов дополняет и контролирует другие. Будущее Сорокин также связывал с возрождением духовности [с. 263]. Такой подход, констатирует Николс, мог бы стать основой для обновления социологии.

Один из главных принципов, который можно извлечь из интегрализма, заключается в том, чтобы научиться избегать упрощенных и, как правило, ложных дихотомий, таких как либерализм против консерватизма, капитализм против социализма и др. Интегральная эпистемология может

¹ Merton R.K. On social structure and science. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1996. – P. 267–276.

нацелить социологов на достижение «всей полноты истины», не ограничиваясь рамками какой-либо идеологической позиции, научной теории или методологии [с. 263].

Интегрализм Сорокина имеет также ценностный компонент, заключающийся в необходимости воссоединения «истины, красоты и добра» в противовес эгоистическим ценностям современной чувственной культуры. Николс считает, что если о стремлении к истине и добру можно услышать в современной социологии, то «красота», как правило, не является элементом научного дискурса. Возможно, говорит исследователь, современные социологи могли бы использовать элемент красоты в работе и начать ценить творческий аспект работы. Наука требует метода самопознания, но он не должен быть механическим и лишенным воображения, что можно увидеть на примере количественных процедур. Лучшая социология, замечает Л. Николс, исходит из «ощущения реальной жизни» [с. 264]. Например, в поле социологического анализа должно быть внедрено понятие «справедливость». По мнению Николса, ученые должны выйти за рамки исключительной концентрации на распределительной справедливости и признать продуктивные, процедурные и содержательные компоненты универсальной справедливости. Интегральный подход к справедливости позволит рассматривать ее не изолированно, а в совокупности с другими добродетелями. Это позволит сделать понятие справедливости более «нравственным» [с. 264–265].

Солидарность. Николс считает, что нельзя говорить о социологии как об унифицированном единстве без общего этоса науки. Нельзя рассматривать социологию лишь как определенный вид дискурса. Этос является основой солидарности ученых, без него они превращаются в «блогеров», которые способны только на создание субъективных и самопроизвольных мнений. Субъективизм не дает никаких положительных сдвигов для дисциплины, в частности, из-за него социология не получит доверие и не сможет оказывать влияние на государственную политику [с. 265].

При этом, замечает автор, нельзя не признать, что еще несколько десятилетий назад социология была охвачена еще большей борьбой мнений, направлений, теорий. Сегодня враждебности значительно меньше, но сегрегация и сепаратистские тенденции продолжают проявляться (в качестве примера Николс указывает на роль этнометодологии и феминизма в социологии).

Интегральный подход позволит утвердить единство в разнообразии и предотвратить центробежные тенденции в дисциплине. Попыткой со схожими целями Николс называет продвижение модели Майкла Буравого¹, который попытался представить дисциплину в виде матрицы из четырех взаимосвязанных типов социологической деятельности, создающей общее пространство для широкого спектра научных проектов. Споры в

¹ Burawoy M. For public sociology // American sociological rev. – Wash., 2005. – Vol. 70, N 1. – P. 4–28.

основном сконцентрировались вокруг «публичной социологии», и из виду был упущен тот факт, что Буравой предложен экуменический подход, способствующий увеличению солидарности в социологии [с. 265–266].

Милосердие. В конце 40–50-х годов XX в. П.А. Сорокин опубликовал ряд работ, касающихся проблем альтруизма и солидарности, но социологическое сообщество проявило к ним слабый интерес. На протяжении своего «альтруистического периода» творчества Сорокин особо подчеркивал два положения. Во-первых, социология должна изучать как патологические, так и позитивные явления. Во-вторых, только «таинственная энергия любви» может справиться с «кризисом нашего времени» (конфликтами, аномией). В рамках своих исследований по увеличению межличностной и межгрупповой солидарности Сорокин призывал использовать не только научный опыт, но также опыт религии, философии, этики. Таким образом, Сорокин в духе Льва Толстого, который оказал на творчество социолога заметное влияние, боролся за преобразование социальных наук.

Николс полагает, что для преобразования социологии нужно совершить переход от социологии любви как предмета исследований к социологии «с любовью», имея в виду применение теорий в профессиональной практике. Для этого необходимо предпринять ряд конкретных мер. Во-первых, требуется по-иному взглянуть на обучение социологии. Многие ученые сегодня озабочены многочисленными проблемами и испытывают стресс из-за сокращения средств, большого объема работы, неотзывчивых учеников и т.п. В такой ситуации легко стать равнодушным по отношению к научным поискам и отчужденным по отношению к исследовательскому сообществу. Николс призывает коллег не терять творческого энтузиазма и заниматься тем, что они любят, получая от этого удовольствие. Кроме того, одним из важных шагов в преподавании «социологии с любовью» Николс считает предоставление студентам интеллектуальной и академической свободы, что должно помочь раскрыть потенциал учеников. Хотя при этом социолог не питает иллюзий, указывая на существование противодействующих этому факторов: борьба преподавателей за студентов, погоня за успеваемостью, рыночные интересы. Но несмотря ни на что, считает автор статьи, социологи должны сопротивляться понижению стандартов в социологии.

Во-вторых, продолжает рассуждения социолог, необходимы изменения в академическом мире. Николс настаивает на необходимости более тесных личных отношений внутри коллективов разных социологических институтов. Классики социологии призывали ориентироваться на общественные идеалы, такие как «религия человечества» (О. Конт), «солидарность» (Э. Дюркгейм), «гемайншафт» (Ф. Тённис), «соседские отношения» (Дж. Адамс). Социологи XX в. отстаивали положения «коммунитарного»

этоса (А. Этциони), «персонализма» (Э. Мунье)¹, «Я–Ты»-отношений (М. Бубер)² и др. И хотя эти идеалы признаются базовыми ценностями, на практике они не поддерживаются и не реализуются даже среди социологов.

Чтобы применять идеи на практике, ученым нужны большие уровни взаимодействия, взаимоуважения и соучастия, которые позволят ценить каждого коллегу. Социологи должны делиться достижениями и поддерживать друг друга в тяжелые времена. На сегодняшний момент, считает Николс, академические отделы представляют собой в лучшем случае «очень хрупкое единство». Зачастую это связано с тем, что система поощрения в высшем образовании построена в первую очередь на индивидуалистических принципах. Такой институциональный компонент препятствует укреплению «командного духа» и коллективной эффективности. Автор подчеркивает, что коллективная атмосфера способствует внедрению передового опыта в образовании и исследовательской работе эффективнее, чем деятельность «чужого среди чужих» [с. 268].

В-третьих, необходимо развивать профессиональные ассоциации. Здесь также требуется больший уровень уважения и терпимости к существующим различиям. Чувство общности должно развиваться как по отношению к членам иных ассоциаций, так и по отношению к своим коллегам. Внутри ассоциаций необходимо повысить уровень взаимодействия между членами в периоды между ежегодными конференциями и собраниями, а также сделать сами мероприятия более оживленными и неофициальными.

Отдельное внимание Николс уделяет уже упомянутой модели публичной социологии Майкла Буравого, которая, по его мнению, может способствовать созданию «социологии с любовью» за счет того, что она подразумевает готовность делиться своим опытом за пределами академических кругов. При этом необходимо избегать предвзятости и антагонизма по отношению к традиционной «профессиональной социологии». Николс считает модель Буравого вполне приемлемой с точки зрения терпимости к различным сферам социологической деятельности. Он призывает коллег прекратить противостояние «традиционной» и «публичной» социологии. Он указывает на то, что традиционный подход является безучастным и дистанцированным от объекта исследования, в то время как публичный аспект социологии нацелен на практическую помощь тем социальным группам, которые испытывают проблемы. С этой точки зрения модель Буравого выглядит благороднее [с. 269]. В качестве примера деятельности «публичного интеллектуала» Николс ссылается на Л.Н. Толстого. При жизни философ принимал непосредственное участие в поддержке страдающих и обездоленных, а его работы оказали влияние на многих мыслителей и общественных деятелей (например, на Махатму Ганди, борьба которого затем вдохновила Мартина Лютера Кинга и многих других борцов за права и свободу). Таким

¹ Mounier E. A personalist manifesto. – N.Y.: Longmans, 1938; Mounier E. Personalism. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 1950.

² Buber M. I and Thou. – N.Y.: Scribner, 1958.

образом, Толстой в своей деятельности применял обе модели активности, и если его «публичные» усилия помогли многим тысячам, то «традиционная» деятельность принесла пользу миллионам. Если «публичный» аспект ограничен рамками жизни, то «традиционный» продолжается до тех пор, пока произведения автора читаются [с. 269]. Иными словами, Николс опять призывает к использованию интегрального подхода, с помощью которого можно объединить положительные черты каждой модели.

Духовность. По мнению Л. Николса, в последнее время наблюдается возрастание интереса к проблеме духовности во многих сферах, даже со стороны бизнес-сообществ. Один из важных моментов в этом контексте, по мнению автора, – это проблема враждебности. Сегодня, полагает исследователь, подавляющее большинство социологов думают, что если они не будут агрессивными, то станут соучастниками в поддержке несправедливых и репрессивных социальных институтов. Но в то же время эффективность деятельности без гнева к противнику доказана опытом М. Ганди, Н. Манделы, Матери Терезы и др. Проявление враждебности в научном сообществе, по мнению Николса, в долгосрочной перспективе приводит к ее редукции до уровня банальной мести, что явно препятствует развитию «здоровой» социологии.

Сопереживание и позитивные эмоции. По аналогии с «позитивной психологией»¹, считает исследователь, можно ориентироваться на построение «позитивной социологии», нацеленной на изучение и внедрение добродетелей, а не только на анализ социальных патологий. По мнению Николса, «лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту», поэтому ключ к обновлению дисциплины лежит в творении «социологии от сердца». Здесь социология может использовать полезный потенциал, который накоплен писателями, философами и религиозными деятелями [с. 270–271].

Заключая свое обращение, Лоуренс Николс еще раз формулирует главный тезис своих размышлений. Он состоит в том, что социология – это творческий процесс, в котором поддерживается и в который встраивается все положительное из прошлого, и при этом всегда идут поиски новых начинаний. «Если мы сможем принять такое интегральное видение и создавать социологию “от сердца”, то мы сумеем найти самореализацию в нашей образовательной деятельности, в исследованиях и на практике, совместно с нашими академическими или прикладными установками...» – пишет исследователь [цит. по: с. 271]. По словам Николса, это не просто желаемый идеал, но и насущная необходимость для социологии, которая должна быть созидательной дисциплиной. Только так, в условиях сокращения ресурсов, которое скорее всего последует в ближайшие годы, творчество для социологов может остаться волнующим и радостным, а не превратиться в «гонку на выживание».

А.Ю. Долгов

¹ Peterson C., Seligman S. Character strengths and virtues: A handbook and classification. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004.

СТОЛКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР, СОЛИДАРНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (Сводный реферат)

Ключевые слова: социальные представления; социальные отношения; межкультурные контакты; глобализация; солидарность.

Специальный выпуск журнала «Papers on social representations» (PSR) посвящен феномену солидарности (его социальным, гражданским, межгрупповым и межличностным аспектам) в контексте межкультурных контактов в эпоху глобализации. В предисловии к тематической подборке статей редакторы Г. Саммут и А. Гиллеспи подчеркивают, что проблема солидарности – как следствие гетерогенной природы любого общества – является ровесницей самого общества [5]. В исторических условиях позднего модерна эта проблема проявляет себя как равнозначность глобального и локального в повседневной жизни и структуре идентичности (личностной, групповой, культурной), привнося в них «эффект раздробленной глобализации» [5, с. 1.1]. Авторы имеют в виду конституирование социальной реальности через призму плюралистического мировосприятия или множественных несовпадающих картин мира, которые не исчерпываются совокупностью местных культурных практик и обычаев. Поэтому «столкновение культур становится самой яркой особенностью социальных отношений в наши дни» [5, с. 1.2]. Другими словами, достижение социальной солидарности, или, по выражению Саммута и Гиллеспи, формирование гармоничных общественных отношений доброй воли, сегодня с необходимостью опосредуется «встречей культур» и, по возможности, элиминацией межкультурных конфликтов на уровне общества в целом, больших и малых социальных групп и даже отдельных индивидов.

Одним из пионеров осмысления солидарности в терминах социальной науки был Э. Дюркгейм, который акцентировал роль структур социального знания, названных им коллективными представлениями, как фундамента смылосодержащих социальных интеракций и ментальных паттернов толкования реальности. Сегодня термин «коллективные представления» практически вышел из употребления, поскольку он не соответствует реалиям общества позднего модерна, находящегося в состоянии

перманентной трансформации. Тем не менее традиции Дюркгейма наследуют те социологи и психологи, которые оперируют понятиями «социальное сплочение», «социальный капитал» и, в особенности, «социальные представления», считают Саммут и Гиллеспи. Общим для этих теоретических подходов является понимание того, что успешное взаимодействие культурных групп предполагает присутствие той или иной единой ментальной перспективы, или «оснований интеллигибельности», которые служат исходной (либо конечной) точкой смыслодержающих интеракций. В настоящий выпуск PSR вошли статьи социальных психологов, в той или иной мере ориентирующихся на концепцию социальных представлений С. Московиси. Хотя эта концепция вполне заслуженно считается наиболее удачной трансформацией идеи Дюркгейма применительно к современному обществу, она лишь в самое последнее время стала использоваться при осмыслении не известных прежде механизмов социального сплочения, интеграции и солидарности, замечают Саммут и Гиллеспи¹. В связи с этим они считают необходимым «пробудить творческое воображение социальных исследователей, работающих в рамках концепции социальных представлений и близких к ней теоретических направлений», с тем, чтобы дополнить описание общезначимых культурных смыслов и практик (как контекста культурных взаимодействий) интерпретацией новых измерений солидарности и способов ее формирования в межкультурном глобальном пространстве III тысячелетия [5, с. 1.4]. Как свидетельствуют публикации в PSR, такие интерпретации должны сохранять верность комплексному социально-психологическому пониманию человеческой природы и в то же время иметь практический выход на проблемы межкультурной социальной политики.

Именно в таком ключе написана статья Джона Берри – одного из авторитетных специалистов в области кросскультурной и когнитивной психологии, почетного профессора Королевского университета Канады, члена Международной ассоциации кросскультурной психологии и Международной академии межкультурных исследований [1]. Обобщая результаты количественного анализа процессов культурной адаптации в разных странах мира (в том числе – собственных исследований аккультурации молодых иммигрантов в Канаде)², Берри выстраивает формальную модель межкультурных отношений (на уровне индивидов и социальных групп) и выявляет политические стратегии, которые обеспечивают социальную солидарность в плюралистических обществах XXI в. Таковыми, по его мнению, являются интеграция и мультикультурализм.

Исходный тезис автора состоит в том, что любое современное общество с необходимостью плюралистично, т.е. включает в себя более чем

¹ Duvén G. Social actors and social groups: A return to heterogeneity in social psychology // J. for the theory of social behaviour. – Oxford, 2008. – Vol. 38, N 4. – P. 370–374.

² Immigrant youth in cultural transition: Assimilation, identity and adaptation across national contexts / Berry J.W., Phinney J.S., Sam D.L., Vedder P. – Mahwah (NJ): Erlbaum, 2006.

одну культурную группу. Берри скептически относится к гипотезе о постепенной культурной гомогенизации социальной жизни в глобальной перспективе, настаивая на «сохраняющейся множественности культур как реальном факте современности» [1, с. 2.2]. В этих условиях теоретически возможны два варианта межкультурных отношений на уровне групп – модель «плавильного котла» и схема «культурного плюрализма». В первом случае речь идет о взаимоотношениях общества мейнстрима (доминантная культурная группа, выступающая от лица общества в целом) и маргинальных культурных меньшинств; последние пребывают на периферии мейнстрима до тех пор, пока не согласятся раствориться в нем полностью. Во втором случае субъектами взаимодействия выступают гражданская организация в рамках национального пространства (социальные институты и управленческие структуры), которая представляет общество в целом, и этнокультурные группы, обладающие равными правами и социальным весом вне зависимости от своей численности, культурного багажа и гражданского статуса (аборигены / беженцы, иммигранты, переселенцы и пр.). Общество в целом в этом случае становится агентом согласования интересов всех социальных групп, среди которых нет доминантных либо маргинальных, а есть равнозначные этнокультурные субъекты общественной жизни. Эти субъекты строят свои отношения на принципах реципрокности и взаимности и стремятся организовать свою жизнедеятельность путем обоюдного приспособления, компромиссов, согласований и изменений.

В зависимости от того, насколько та или иная группа заинтересована в сохранении своей культурной идентичности и / или соучастия в жизни общества в целом, включая контакты с иными (доминантными и недоминантными) культурными сообществами, возможны четыре стратегии межкультурных отношений:

1) *ассимиляция*: индивиды и группы не стремятся к сохранению своего культурного лица, но готовы к повседневному взаимодействию с другими сообществами;

2) *сепаратизм*: индивиды и группы демонстрируют верность своим культурным истокам и пытаются избежать контактов с «иными»;

3) *интеграция*: индивиды и группы настаивают на сохранении своей культурной самобытности на фоне активного взаимодействия с прочими культурными субъектами и участия в гражданских структурах общества в целом;

4) *маргинализация*: индивиды и группы не заинтересованы ни в сохранении собственной культурной идентичности, ни в контактах с прочими культурными сообществами (вследствие исторической «утраты корней» либо социальной дискриминации).

Перечисленные стратегии, поясняет автор, могут быть также названы формами аккультурации или включения недоминантных культурных образований в контекст общества в целом. В социальной психологии эти формы рассматривают преимущественно с позиций тех этнокультурных

сообществ и индивидов, которые поставлены перед необходимостью найти свое место в сложившемся социальном пространстве. Между тем исходное – антропологическое – понимание аккультурации учитывало двусторонний, взаимный характер этого процесса, выдвигая на первый план опосредованность отношений доминантной и недоминантных групп фактором власти. Очевидно, что такие отношения асимметричны: один из участников располагает реальной возможностью и правом навязывать другому ту или иную форму межкультурных отношений (например, сегрегацию), тогда как вторая сторона чаще всего не свободна в своем выборе способа мультикультурного сосуществования. С учетом этого обстоятельства, замечает автор, перечисленные выше характеристики стратегий межкультурных отношений (как предпочтений недоминантных групп) следует дополнить их толкованием в терминах политических предпочтений общества в целом. Тогда *ассимиляция* (как несвободный выбор этнокультурных субъектов) будет тождественна политике «плавильного котла»; *маргинализация*, навязанная «меньшинству» доминантной группой, – остракизму; *интеграция* – на фоне признания культурной диверсификации в качестве базовой характеристики общества в целом всеми его культурными субъектами – политике мультикультурализма.

В заключение Берри обращается к анализу социально-психологической структуры интеграции как наиболее перспективной формы межкультурных контактов в современном мире. На уровне индивида (психологические процессы, компетентность, поведенческие паттерны) интеграция сопряжена с научением (язык, нормы, ценности и правила общества в целом) и памятью (собственное этнокультурное наследие). В качестве межличностной культурной стратегии интеграция предполагает максимальный уровень культурного научения и минимальную степень «забвения корней» (для примера – ассимиляция требует максимального научения при минимальной культурной памяти, сепаратизм – минимума обучения и максимума «верности истокам», маргинализация – минимума того и другого). Аффективная (эмоциональная) компетентность индивида, ориентированного на культурную интеграцию, базируется на признании и уважении ценностей, установок и идентичности всех без исключения этнокультурных субъектов в рамках общества в целом; когнитивная – касается культурного знания применительно к правилам повседневной жизни и законам жизни гражданской. Наконец, поведенческий аспект интеграции означает практическую демонстрацию индивидом общезначимых компетенций и навыков во всех сферах общественной жизни.

Социокультурный уровень интеграции сопряжен с политикой мультикультурализма, которая базируется на принципах культурной диверсификации, равнозначности всех групп, составляющих общество, и их равного участия в социальной жизни. Именно эти аспекты межкультурных отношений нашли отражение в принятых Евросоюзом «Общих принципах интеграционной политики по отношению к иммигрантам», считает Берри.

Важнейшей составляющей мультикультурализма служат постоянное движение всех социальных субъектов, а также общества в целом, его институтов и структур, навстречу друг другу, готовность к эволюции и взаимной адаптации в границах единого поликультурного контекста. Разнообразие и равенство, как базовые основания интеграции, могут стать эффективными способами достижения социальной солидарности в плюралистическом мультикультурном пространстве XXI в., уверен автор.

Тему межкультурных контактов индивидов и групп, но уже с привлечением количественных методов исследования, продолжает Риа О'Салливан-Лаго (Университет Лимерика, Ирландия) [2]. Используя данные, полученные в ходе серии интервью (2007–2010) среди коренных ирландцев – жителей небольшого городка, обосновавшихся там иммигрантов и беженцев, автор выявляет социопсихологические стратегии их взаимной репрезентации, которые помогают сделать «понятными» и «знакомыми» инокультурные способы мировосприятия и жизнедеятельности. Согласно ее гипотезе, именно такие стратегии, нацеленные на преодоление различий Я и Другого (в том числе на уровне этнокультурных групп), в перспективе могут перерасти в отношения социальной солидарности.

Опыт поликультурного сосуществования является совершенно новым для Ирландии, которая до 90-х годов прошлого века отличалась культурной гомогенностью, замечает О'Салливан-Лаго. Экономические успехи страны повлекли за собой массовый приток мигрантов и политических беженцев, к чему ирландское общество оказалось совершенно не готово. В 2007 г. Ирландия занимала третье место среди стран ЕС по темпам иммиграции, так что число ее жителей, родившихся вне пределов страны, составляло 11,4% (от общего населения в 3,8 млн человек); если в 1991 г. в Ирландии насчитывалось всего 39 беженцев, то в 2002 г. – уже 12 тыс. [2, с. 3.3]. За очень короткий срок ирландское общество «приобрело стремительный и вынужденный опыт крупномасштабных культурных трансформаций» [там же]. Внезапность и массовость притока в страну людей другой культуры вызвали негативную социально-психологическую реакцию коренных ирландцев, о чем, в частности, свидетельствуют итоги общенационального референдума по вопросам гражданства. Если в ФРГ с недавних пор гражданином страны считается любой, родившийся на ее территории, то в Ирландии отдали предпочтение таким поправкам к Конституции, которые ужесточают условия получения гражданства (гражданином Ирландии сегодня можно стать только «по крови»). Таким образом, резюмирует автор, если статистика однозначно указывает на то, что Ирландия является зоной мультикультурных контактов, то общественная психология ее граждан это опровергает, так что «мультикультурная инклюзивность в этой стране пока не стала реальностью» [2, с. 3.4].

В связи с этим цель своего исследования О'Салливан-Лаго видит в том, чтобы описать те способы психологического преодоления межкультурных барьеров между «мы» и «они» на пути к общегражданской соли-

дарности, которые намечаются в ирландском обществе хотя бы в качестве желательной перспективы. Солидарность автор понимает как взаимную привязанность индивидов и / или групп, которая реализуется на двух уровнях: фактуальном (как общность реальных жизненных оснований для взаимных контактов) и нормативном (как обоюдные обязательства взаимопомощи вследствие общих основ жизнедеятельности). При разработке дизайна настоящего исследования были использованы две теоретические перспективы: классическая гипотеза Г. Оллпорта о природе предрассудков и способах их элиминации¹ и более современная модель «всекультурного общества» Ф. Мохаддама². Согласно Оллпорту, предпосылкой преодоления негативных межгрупповых стереотипов и взаимных предрассудков может стать «правильный контакт» отдельных индивидов, воспринимающих друг друга в качестве типичных представителей соответствующих социальных сообществ. Это должен быть контакт людей, имеющих одинаковый ингрупповой статус, разделяющих общие цели, склонных к кооперации и пользующихся институциональной поддержкой. При соблюдении данных условий контакт Я и Другого (а также стоящих за ними социальных групп, разделенных предрассудками) может перерасти в отношения подлинной солидарности. Согласно Мохаддаму, современные плюралистические общества должны стремиться не к мульти-, а к омникультурализму, т.е. к всекультурной организации социальных групп на основании первичной идентичности. Таковой в его понимании является гуманистическая идентичность человечества, или идентичность человека как такового, по отношению к которой все прочие виды идентичности (этнокультурная, гендерная, профессиональная и т.п.) вторичны и второстепенны.

В целях эмпирической проверки гипотезы «омникультурализма» О'Салливан-Лаго и ее коллеги провели серию интервью среди ирландских иммигрантов и беженцев, предложив им использовать эту категорию как основание для налаживания межличностных отношений с ближайшим сообществом коренных жителей страны. Исследователи хотели выяснить, насколько апелляция к общечеловеческому в качестве средства культурной ассимиляции окажется действенной в ситуации вынужденного группового признания «этнокультурных Других». Оказалось, что эта стратегия, во-первых, провоцирует дегуманизацию и унижение социальных меньшинств; во-вторых, усугубляет асимметрию власти и неравенства между «своими» и «чужими»; в-третьих, оказывается бесполезной вне активации идентичностей второго плана. Обращение за поддержкой только на основании того, что «все мы – люди», усиливало социальную зависимость меньшинства, поэтому «при всей своей привлекательности идея омникультурализма как базиса человеческой солидарности представляет со-

¹ Allport G.W. The nature of prejudice. – Cambridge (MA): Addison-Wesley, 1954.

² Moghaddam F. Omniculturalism: Policy solutions to fundamentalism in the era of fractured globalization // Culture a. psychology. – L., 2009. – Vol. 15, N 3. – P. 337–347.

бой стратегию ассимиляции, которая не может противостоять реальным различиям вторичных идентичностей», – констатирует автор [2, с. 3.9].

В проекте О'Салливан-Лаго участвовали 12 коренных ирландцев, 17 иммигрантов (преимущественно из стран Европы) и 15 беженцев из африканских государств. В ходе дискурсивного анализа содержание интервью подлежало интерпретации в терминах социальных представлений респондента о себе и других – с учетом его «позициональной идентичности» (иммигрант, беженец, местный житель) и объяснения в рамках этой идентичности самого себя и других (например: я – политический беженец, обладаю достаточно либеральным мышлением, но всегда ношу в своем сердце свою культуру). При характеристике других испытуемые должны были исходить только из групповой принадлежности своего *vis-a-vis*, не сбиваясь на личностные оценки (например: моя хозяйка была так добра ко мне, что никто бы и не подумал, что она ирландка). В качестве рабочей гипотезы было принято положение о том, что иммиграция является одним из способов конституирования (путем переговоров и компромиссов) новой инклюзивной идентичности в мультикультурном социальном пространстве, которое уже стало реальностью Ирландии XXI в. В интервью были использованы следующие абстрактные понятия как фундамент желаемых и / или фактических отношений солидарности:

- 1) гуманизм (общечеловеческое как первичная или базовая идентичность);
- 2) коллективная история и память (факты массовой эмиграции ирландцев в Америку в XIX столетии);
- 3) европейская идентичность как общая судьба (Европа – наш общий дом);
- 4) религия (вера в Бога независимо от конфессиональных различий).

Анализ полученных данных позволил сделать следующие (предварительные) выводы. Несмотря на то что большинство участников предприняли попытки установить отношения межгрупповой солидарности и устранить пропасть между Я и Другими («иными»), «общим опытом интервьюируемых были неприятие, расизм и сегрегация». Вместе с тем даже в самых неблагоприятных обстоятельствах представители иммигрантов и беженцев находили способы «принять точку зрения оппонента, сохраняя таким образом свое Я открытым и готовым к контактам» [2, с. 3.20]. По мнению О'Салливан-Лаго, представления о себе и Других через призму таких категорий, как гуманист, переселенец, европеец и верующий, являются отражением очень широких по своему содержанию идентичностей, которые, по всей вероятности, не могут сохранить своей социальной значимости в ситуации, когда реальные различия (культуры, юридического статуса или этноса) ставят под сомнение соблюдение взаимных обязательств, без которых нет и не может быть солидарности.

Представление о солидарности в эпоху глобализации как о форме инклюзивной идентичности, преодолевающей различие своего и иного,

которое намечено О'Салливан-Лаго, находит теоретическое обоснование в статье Гордона Саммута (Университет Мальты) [4]. Саммут полагает, что в III тысячелетии человечеству предстоит открыть для себя новую форму социального единения – гражданскую солидарность, которая сменит органическую солидарность модерна точно так же, как последняя в свое время вытеснила механическую солидарность традиционного общества. Это будет всегражданская интеграция индивидов и групп как обитателей «мировой деревни». В связи с этим автор предлагает разработанную им социопсихологическую модель солидарности, базирующуюся на расширенном толковании идентичности как договорного процесса в контексте «культурных столкновений, полифонии и полифазии самых разных мировоззренческих перспектив» [4, с. 4.11].

Обзор классической и новейшей литературы, посвященной межгрупповым и межкультурным контактам, позволяет сделать вывод о том, что «в самом сердце межгрупповых отношений лежат стратегии формирования идентичности» [4, с. 4.11]. В эпоху «раздробленной глобализации» идентичность индивидов и целых сообществ пребывает в состоянии постоянной трансформации и взаимного пересечения интересов, отражая принадлежность своих субъектов более чем к одной (локальной) культуре. Предложенная автором модель идентичности как договора «позволяет понять природу связей, обеспечивающих успешное сосуществование современных сообществ вопреки постоянно множасьщимся различиям и, более того, превращающих сам факт различий в социальную ценность нового образца» [4, с. 4.5].

При разработке своей модели Саммут использовал типологию социальных представлений С. Московиси, концепцию аккультурации Дж. Берри, идею омникультурализма Ф. Мохаддама и понятие социального капитала (в интерпретации Р. Гиттеля и А. Видала как объединяющего внутригруппового и присоединяющего межгруппового ресурсов¹). Таким образом, элементами его теоретической схемы выступают социальные представления, идентичность, стратегии аккультурации как формы межгрупповых отношений и институциональные ресурсы в виде социального капитала. Прежде всего, автор уточняет свое понимание социальной природы идентичности. Интерпретация своего Я в терминах группы («значимых других») всегда включает в себе нечто большее, чем демонстрацию своей индивидуальности. Идентичность формируется извне, предлагая либо навязывая индивиду определенную позицию в рамках социально-культурной иерархии. Индивид, в свою очередь, «обговаривает» свою принадлежность к тому или иному сообществу, защищая и отстаивая свой более или менее свободный выбор. Важнейшими элементами всего процесса являются представления группы или сообщества о разных аспектах общественной жизни, или социальные представления, которые, в сущно-

¹ Gittel R., Vidal A. Community organizing: Building social capital as a development strategy. – Thousand Oaks (CA): SAGE, 1998.

сти, и создают социальную реальность для членов группы. Представления могут иметь как инклюзивную направленность, включая индивида в общество, так и характер исключения, изымая его из других социальных образований; в обоих случаях они наделяют его определенной позицией, заданной его групповой принадлежностью. При этом социальные представления несут с собой некоторые императивные обязательства, так что индивид вынужден либо принять предписанную ему идентичность, либо выбрать «договорные» обязательства, определив для себя контекст групповой принадлежности и тем самым свою идентичность. Саммута интересуется именно договорной, или контрактной, сценарий конституирования идентичности, для реализации которого существуют разные стратегии. Индивид может отдать предпочтение одной-единственной группе; он вправе также избрать в качестве контекста принадлежности две группы и более (интегративная, или дуалистическая, идентичность), причем в одном случае это будут равнозначные принадлежности, в другом – выстроенные в виде иерархии; наконец, он способен намеренно лишиться каких бы то ни было групповых привязанностей путем декатегоризации себя и других, избрав в итоге стратегию индивидуализма.

Представительницы Лондонской школы экономики и политических наук С. Цироджианни (Методологический институт) и Е. Андреоли (Институт социальной психологии) выступают за коренной пересмотр понимания солидарности в эпоху позднего модерна как состояния социального единения, элиминирующего межкультурные различия [6]. Авторы называют себя противниками «контактной» (оллпортовской) модели солидарности, на которую в той или иной степени ориентировались все предыдущие участники дискуссии на страницах PSR. Они выступают против тезиса о социальном тождестве поликультурных сообществ в глобальном мире только на том основании, что «другие – такие же, как мы». Цироджианни и Андреоли предлагают отказаться от ложной дихотомии солидарности и культурной диверсификации, которая лежит в основе британской политики мультикультурализма. Они убеждены в том, что солидарность не является ни универсальным социально-экономическим либо правовым состоянием общества, ни константой социального порядка, ни желанной целью общественного развития в III тысячелетии. Солидарность – это «подвижный и прерывный возвратно-поступательный процесс межгруппового взаимопонимания, обусловленный и ограниченный временными и пространственными рамками, а также – принципиальной неполнотой социального знания» [6, с. 5.1]. Опираясь на идеи Х.-Г. Гадамера и У. Бека, Цироджианни и Андреоли утверждают, что социальная солидарность сообществ и групп – это не статичные отношения устойчивой интеграции, взаимопомощи и взаимопонимания, возникшие раз и навсегда, а постоянно воспроизводящиеся контакты, которые уже существуют в данном контексте (либо существовали в историческом прошлом), но нуждаются в актуализации и осмыслении посредством целенаправленного выявления

самых разных исторических, культурных, социальных и личностных обстоятельств, которые очерчивают пространство взаимных связей. Гадамер назвал этот процесс, стержнем которого служит «принятие перспективы другого», слиянием культурных горизонтов. Таким образом, в новой социально-психологической трактовке солидарности акцент сделан на ее неконстантных аспектах (как процесса, а не состояния либо социального атрибута), во-первых, и на первостепенном значении структур социального знания (социальных представлений) для понимания культурного разнообразия в терминах общего горизонта – во-вторых.

Новая интерпретация феномена солидарности продиктована не только теоретическими соображениями, но и практическими задачами, связанными с трудностями реализации правительством Великобритании политики мультикультурализма, подчеркивают Цироджанни и Андреоли. Историческое прошлое Британской империи сделало ее общество крайне чувствительным ко всему, что связано с расовыми и этнокультурными контактами, которые до сих пор считаются лакмусовой бумажкой социального благополучия страны. Именно поэтому в Великобритании политика мультикультурализма приняла столь категоричную форму по сравнению с более умеренными ассимиляционными стратегиями других европейских государств. Однако этнические и расовые волнения 2001 и 2005 гг. поставили под сомнение эффективность избранных путей упорядочивания межкультурных отношений в стране. По мнению многих британских аналитиков, установка на социальное и правовое равенство всех без исключения этнокультурных сообществ на самом деле подрывает основы социального сплочения, акцентируя групповые различия и отодвигая на задний план идею социальной общности. В качестве альтернативной стратегии достижения социального сплочения была выдвинута идея «общезначимых британских ценностей»; однако и этот вариант общественной интеграции сегодня признан неудовлетворительным. Политика объединения локальных сообществ под знаменем национальных ценностей оказалась направленной против этнокультурных и религиозных меньшинств и потому может рассматриваться исключительно в качестве стратегии снижения рисков в ситуации межкультурной напряженности, считают авторы статьи.

Дискуссии вокруг политических стратегий, касающихся проблем иммиграции, культурной диверсификации и социальной интеграции британского общества, свидетельствуют о том, что «противоречие между тождеством и различием в межкультурных контактах сохраняется по-прежнему», – констатируют авторы [6, с. 5.4]. Не разделяя официальной точки зрения на солидарность как состояние общественного сознания, противостоящее культурной диверсификации, они настаивают на реконцептуализации понятия «солидарность в плюралистических обществах эпохи глобализации», что должно способствовать установлению искомого баланса тождества и различий в пространстве межкультурных контактов.

Идея общенациональных ценностей как главная составляющая политики социального сплочения в Великобритании воскрешает модель органической солидарности Дюркгейма, которая уже не работает в условиях позднего модерна, утверждают авторы статьи. Сегодня требуется такая интерпретация (и социальная практика) отношений солидарности, в которой найдется место плюрализму культурных перспектив и альтернативных социальных представлений, равно как и неизбежным противоречиям между ними. Эти аспекты принципиальной мировоззренческой множественности эпохи глобализации нашли отражение в концепции космополитизма У. Бека¹, которую Цироджианни и Андреоли считают исчерпывающей теоретической характеристикой процесса «принятия перспективы другого» [6, с. 5.5]. Согласно Беку, космополитизм – это способ мировосприятия, который помогает справиться с различиями в мире множасьихся взаимосвязей. Космополитический взгляд на вещи отрицает дуализм тождественного и иного, постулируя тождество в различии; он заменяет логику исключения (или / или) логикой «инклюзивных оппозиций» (и / и), которая способна сблизить и даже примирить соперничающие типы суждений о мире. Космополитизм, таким образом, базируется на «дуалистическом воображении», что позволяет признать обоснованность альтернативных способов мышления, «интернализировать иное» и тем самым сравнивать, сопоставлять и даже комбинировать разные способы мировосприятия [6, с. 5.5].

Проблема, однако, заключается в том, продолжают Цироджианни и Андреоли, что космополитическое видение реальности и другого не возникает само по себе и не сопровождается необходимостью плюрализма знания в современном глобальном пространстве. «Множественность социальных представлений, – поясняют свою мысль авторы, – не означает обязательной открытости людей для прочих перспектив» [6, с. 5.6]. Более того, в исторических условиях позднего модерна возникает и воспроизводится «фундаментальное напряжение между Я и другим в том, что касается взаимного признания и дефицита такого признания» [там же]. С одной стороны, гетерогенность мировоззренческих перспектив и отсутствие консенсуса выступают стимулом для диалога и координации способов восприятия реальности; с другой – та же гетерогенность провоцирует онтологическое беспокойство и ощущение фрагментации идентичности, требуя держать «иное» на расстоянии и всячески утверждать собственное понимание вещей. Эти и подобные им вызовы глобализации, резюмируют свою мысль авторы, еще раз доказывают сложность процесса солидарности, который не исчерпывается признанием одновременного сходства и различия между Я и Другим. Такое признание только укрепляет их отделенность друг от друга, так как суждения одного не принимают во внимание суждений другого в качестве «иного» способа определения себя и мира.

¹ Beck U. *Cosmopolitan vision*. – Cambridge: Polity, 2006.

Выход из этого тупика, предложенный Гадамером¹, состоит в трактовке солидарности как процесса, не имеющего отношения ни к абстрактному понятию общего блага, ни к близости интересов социальных групп. Для Гадамера ключевым условием опыта солидарности выступают «выявление и осмысление случайных исторических обстоятельств, которые так или иначе связывают людей в определенных рамках при определенных условиях» [6, с. 5.7]. Поэтому, с его точки зрения (которую разделяют авторы настоящей статьи), нет и не может быть никакой универсальной солидарности, а только временные, прерывные связи, уже существующие в наличном контексте взаимодействия и нуждающиеся только в том, чтобы их «привнесли в сознание... путем слияния горизонтов» [там же]. Горизонты понимания мира и самого себя, по Гадамеру, включают ценности, верования, нормы, опыт и переживания, которые формируют и ограничивают наше восприятие реальности, представления и ожидания, касающиеся себя, других и мира в целом. «Горизонт – это диапазон нашего видения, охватывающий все, что может быть увидено с определенной точки зрения» [цит. по: 6, с. 5.7]. Несмотря на то что наше понимание всегда ограничено нашими горизонтами, последние могут двигаться навстречу друг другу, сближаться и даже сливаться воедино, при условии, что мы стремимся понять другого именно в терминах этого другого, т.е. в рамках заявленных им требований к реальности и ее трактовке, замечают Цироджанни и Андреоли. Следствием слияния горизонтов становится более широкое понимание себя и другого как укорененное в тотальности их взаимных связей, включая меняющийся мир как общее пространство их существования.

Важнейшим аспектом концепции слияния горизонтов, имеющим практически-политическое значение, авторы статьи считают толкование происходящего не как синтеза альтернативных или соперничающих точек зрения, а как процесса, осложненного эпизодами взаимного непонимания или неверного истолкования позиции другого. В результате постепенного прояснения разнообразных контекстов, в которых разворачивается процесс кристаллизации солидарности, возникает «со-понимание» того, что является общим для его участников и чего не существовало прежде, т.е. новое знание о себе, Другом и мире в целом. «Иначе говоря, реанимация солидарностей требует от ее участников открытости переменам, неопределенности и возможным неудачам» [6, с. 5.8].

На этом глобальном теоретическом фундаменте, принадлежащем скорее сфере социальной философии, чем психологической рефлексии, авторы статьи разработали собственный проект эмпирического качественного исследования социальных представлений британцев о социальной и культурной роли иммиграции в их стране и политике мультикультурализма. С этой целью они провели серию интервью (октябрь 2006 г. – апрель

¹ Gadamer H.-G. Truth and method. – L.: Sheed & Ward, 1989.

2007 г.) среди коренных жителей Лондона. В проекте участвовали десять мужчин и десять женщин (средний возраст – 45 лет) самых разных профессий (от банковского клерка и дизайнера до топ-менеджера солидной фирмы и ученого-химика). Цель интервью состояла в том, чтобы выяснить степень готовности британцев к открытому диалогу с иными культурами в терминах самих этих культур. При обсуждении темы участники проекта продемонстрировали три коммуникативные стратегии, соответствовавшие трем типам социальных представлений о мигрантах. Большинство из них были готовы (с теми или иными оговорками) принять иммиграцию как позитивный факт современной общественной и экономической жизни страны, но самих мигрантов рассматривали исключительно с точки зрения их «пользы» для экономики и, в меньшей степени, культуры Великобритании. Мигранты расценивались как инструмент или объект безотносительно к их собственным желаниям, намерениям, целям и интересам. Подобная «объективация» представителей иной культуры, которая не оставляла места для какой-либо «перспективы другого», вполне укладывается в официальную трактовку темы в терминах «грамотного управления иммиграцией», замечают авторы. Значительная часть интервьюируемых проявила заинтересованность внутренними побуждениями и мотивами иммигрантов, пыталась встать на их точку зрения, интерпретировать ее так или иначе, однако без всякого намерения разделить позицию другого. Лишь несколько участников проекта продемонстрировали осознанную готовность принять во внимание «иную перспективу» и рассмотреть проблему иммиграции с более инклюзивной точки зрения, ссылаясь на эпизоды национальной истории и те или иные сходные социально-экономические контексты. В заключение Цироджианни и Андреоли подчеркивают, что качественное изменение социальных представлений британцев об иммигрантах (как путь к процессу социальной солидарности) возможно только посредством создания специальных институциональных (образовательных и социально-политических) структур, которые помогут людям получить новое знание и преодолеть ограниченность эксклюзивных мировоззренческих перспектив.

Роль социальных представлений о Другом в коллективном воображении составляет предмет исследований Эри Парк (Академия Рузвельта, Утрехтский университет, Нидерланды), которая анализирует конституирование европейского морального Я позднего модерна в связи с проблемой социально-экономической депривации народов Африки [3]. В своей эмпирической работе (дискурсивный анализ интервью с активистами европейских неправительственных организаций в африканских странах) автор использовала модель социальных представлений, концепцию идентичности и социально-психологического позиционирования, а также постколониальную теорию. Согласно последней, африканский континент

является для Европы ее «фундаментальным другим»¹. Поэтому формирование моральной идентичности европейца целесообразно рассматривать через призму понимания им своей ответственности за судьбы народов, ущемленных в естественном (и социальном) праве на достойную жизнь. Парк далека от мысли, что в развитых странах Европы все люди определяют для себя нравственные критерии с оглядкой на проблемы Черного континента. Вслед за Э. Саидом и С. Холлом она апеллирует исключительно к носителям космополитического мировоззрения, т.е. к тем, кто намеренно избрал для себя в качестве морального императива противостояние социальной несправедливости.

В философии морали можно найти самые разные толкования космополитизма – от умеренного (все люди одинаково достойны уважения) до жестко прагматичного (все люди достойны уважения и потому нет оснований помогать кому-либо из нуждающихся в большей степени, чем другим). Парк выбирает так называемый посреднический вариант космополитической установки, базирующийся на дифференциации позитивного и негативного долга. Позитивные моральные обязательства предписывают помощь и содействие всем нуждающимся, негативный долг требует такого отношения к другим, которое не нанесет им беспричинного либо неоправданного вреда. В последнем случае космополитическая позиция высоко-развитых («богатых») европейских стран (их негативные обязательства перед странами Третьего мира) заключается в отказе от поддержания несправедливого глобального институционального порядка, уходящего своими корнями в эпоху рабовладения и по сей день ущемляющего универсальные человеческие права граждан африканских государств. Приводя данные мировой статистики, которые демонстрируют разрыв между западными и незападными обществами в уровне доходов, обеспеченности медицинской помощью, доступности образования и высоких технологий, Парк настаивает на том, что в глобальном пространстве позднего модерна имеются все предпосылки для формирования европейской моральной ответственности за судьбы человечества [3, с. 6.3]. К таким предпосылкам автор относит: а) объединение усилий развитых стран для принуждения прочих государств, права которых ущемлены, к участию в глобальном институциональном порядке; б) специфическую организацию такого порядка, демонстрирующую неизбежный рост дефицита человеческих и гражданских прав в будущем; в) прозрачность возможной институциональной альтернативы, которая исключит последующее ущемление прав; г) реалистичность и практическую достижимость подобной альтернативы.

На этом фоне космополитическая позиция борца против социального неравенства должна удовлетворять ряду критериев, настаивает Парк. Необходимы: 1) констатация очевидных фактов нарушения негативных

¹ Said D. *Orientalism: Western concepts of the orient.* – Harmondsworth: Penguin, 1978; Hall S. *Introduction: Who needs identity? // Questions of cultural identity / Ed. by S. Hall, P. du Gay.* – L.: SAGE, 1996. – P. 1–17.

обязательств западных стран применительно к глобальному институциональному порядку, признанному несправедливым; 2) опыт соответствующих эмоциональных реакций (стыд, вина, гнев, ярость) в ответ на тяжелые последствия этого порядка (голод, болезни, унижение человеческого достоинства, смерть); 3) действия и поступки, продиктованные пониманием причин происходящего в мировом масштабе. Именно этими критериями руководствовалась Парк при осмыслении материалов, собранных методом полуструктурированного интервью с 12 мужчинами и 8 женщинами, согласившимися участвовать в ее проекте. Респонденты (белые, выходцы из стран «Старой Европы», в возрасте 25–40 лет, имеющие университетский диплом и свободные от финансовых обязательств перед детьми или родственниками) являлись профессиональными работниками благотворительных неправительственных организаций (половина участников) либо опытными волонтерами. Длительность интервью (однократных либо повторявшихся) составляла от одного до двух с половиной часов. Главная тема проекта была обозначена как процесс конструирования космополитической позиции современного европейца, что в понимании автора равнозначно «формированию и проявлению социальной солидарности в транснациональных рамках». «Вопрос состоит в том, – поясняет свою мысль Парк, – как мы, люди, живущие в современной Европе, конструируем себя в качестве моральных субъектов в контексте глобальной бедности» [3, с. 6.7].

Анализируя материалы бесед с респондентами, автор идентифицирует следующие социально-психологические параметры космополитизма как этической составляющей транснациональной солидарности: социальные представления о причинах глобальной бедности; конструирование своей личной ответственности за происходящее в мире в самых широких географических и политических границах; связь этих процессов с формированием «образа Другого» как жертвы массовой нищеты. Фундаментом перечисленных социально-психологических составляющих, участвующих в рождении морально ответственного Я, служит отказ от трактовки населения африканского континента в качестве «негативного другого» Старого Света. Социальные представления о мире, питающие космополитическую установку, открывают дорогу солидарности с обездоленными и позиционированию себя как сознательного гражданского либо политического активиста в транснациональных контекстах. Это позиция, побуждающая к практическим действиям солидарности, предполагающая уважение обездоленного африканского Другого и признание его сущностно тождественным европейскому *vis-a-vis*.

Среди 20 собеседников Парк только двое отвечали выдвинутым ею моральным критериями подлинного носителя космополитической мировоззренческой установки – 33-летний британский учитель, проработавший девять месяцев в школах Танзании, и 28-летний итальянец, чиновник неправительственной британской организации защиты прав человека, кото-

рый еще студентом избрал для себя профессию борца с социальным злом и имел опыт практической работы волонтером в Индии и Африке. Дискурсивный анализ их интервью позволил Парк сделать вывод о том, что для европейца, способного задуматься о причинах глобальной социальной несправедливости, конституирование себя как морального субъекта в условиях настоящего институционального порядка возможно только путем отрицания этого порядка в актах социальной солидарности с обездоленными. Транснациональная солидарность, принимающая самые различные, но непременно практические формы, приводит к пониманию того, что глобальный социально-политический порядок позднего модерна может быть трансформирован в более справедливое мироустройство политическими и гражданскими усилиями моральных активистов во всем мире.

В заключительном слове к материалам спецвыпуска PSR Г. Саммут и А. Гиллеспі подчеркивают, что обнаружившееся разнообразие трактовок солидарности в терминах социальных представлений позднего модерна имеет общую практическую направленность. В большинстве статей так или иначе прозвучал призыв к признанию Другого в качестве равноценного культурного субъекта и равноправного участника глобального межкультурного диалога.

Список литературы

1. *Berry J.W.* Integration and multiculturalism: Ways towards social solidarity // *Papers on social representations*. – L., 2011. – Vol. 20, N 1. – P. 2.1–2.21.
2. *O'Sullivan-Lago R.* «I think they're just the same as us»: Building solidarity across the self / other divide // *Ibid.* – P. 3.1–3.27.
3. *Park E.* Social solidarity in a transnational setting: The cosmopolitan position // *Ibid.* – P. 6.1–6.19.
4. *Sammut G.* Civic solidarity: The negotiation of identity in modern societies // *Ibid.* – P. 4.1–4.24.
5. *Sammut G., Gillespie A.* Cultural encounters and social solidarity: Editorial // *Ibid.* – P. 1.1–1.7.
6. *Tsirogianni S., Andreouli E.* Beyond social cohesion: The role of «fusion of horizons» in inter-group solidarities // *Ibid.* – P. 5.1–5.25.

Е.В. Якимова

IV. ОБЩЕСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ

СТАТЬИ

Д.В. Ефременко

ГЛАС ЭКСПЕРТА, ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ: РЕФОРМА РАН И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ОЦЕНКАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА¹

В 2013 г., ознаменованном радикальным преобразованием Российской академии наук, только ленивый не вспоминал о «подвиге» последнего градоначальника города Глупова, который въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Непреклонность реформаторов, демонстративно игнорировавших протесты научной общественности, и первые практические последствия «переворота в российской науке» не оставляли сомнений, что Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин и сегодня живее всех живых.

После распада СССР Российская академия наук сумела сохраниться в качестве иерархически организованной системы фундаментальных исследований. Однако выживание и самосохранение во многом стали смыслом ее существования. Основное направление процессов, происходивших в рамках этой системы, трудно характеризовать иначе, чем стагнация. Некоторые проявления кризиса системы Академии наук активно дискутировались еще в период перестройки [см., например: Франк-Каменецкий, 1988]. Вопросы предстоящего реформирования РАН обсуждались российским научным сообществом и в последние годы. Финальная стадия этих дискуссий вполне логично совпала с развернувшейся весной 2013 г. кампанией по избранию нового президента РАН. Предвыборные программы всех трех претендентов – Ж.И. Алферова, А.Д. Некипелова и В.Е. Фортова – были программами внутреннего реформирования Академии. Убедитель-

¹ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Роль экспертно-аналитических сообществ в формировании общественной повестки дня в современной России». Проект реализуется при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 13-03-00553.

ная победа В.Е. Фортова означала, что предложенная им программа преобразований обретает легитимность для всего академического сообщества, – легитимность, основанную на результатах свободных и альтернативных выборов президента РАН. Однако внесенный в конце июня 2013 г. Правительством РФ в Государственную думу проект федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹ явился, по сути, демонстративной попыткой отбросить эту программу академической реформы, показать всему научному сообществу, сколь мал его вес в глазах людей, принимающих в России значимые политические решения.

Попытка реформы РАН, осуществленная в манере спецоперации, вызвала волну сопротивления, прежде всего, в среде сотрудников академических институтов [см.: Российская академия наук, 2013]. Произошла консолидация научного сообщества на почве неприятия планов преобразования Академии наук в «клуб ученых», не имеющий рычагов реального влияния на организацию исследовательской деятельности. В ряду многочисленных протестных инициатив сотрудников РАН большой резонанс получило сделанное 1 июля 2013 г. заявление более 70 академиков и членов-корреспондентов РАН об отказе вступать в новую «Академию наук», учреждаемую согласно правительственному законопроекту. Возникшее таким образом неформальное объединение «академиков-отказников» – «Клуб 1 июля» – совместно с другими объединениями представителей научного сообщества (Профсоюз работников РАН, Общество научных работников, Совет молодых ученых и др.) выступили инициаторами широкой дискуссии об альтернативных вариантах реформирования Академии наук и в целом системы управления научной сферой.

Опрос представителей российского научного сообщества в связи с проектом реформы РАН (июль-август 2013 г.)

Одним из шагов, направленных на подготовку конструктивных предложений по реорганизации системы управления наукой в России, стало проведение в июле-августе 2013 г. экспертного опроса по этой проблематике. Опрос был организован инициативной группой в составе академика РАН А.В. Кряжмского (Математический институт им. В.А. Стеклова), к.ф.н. В.И. Герасимова (ИНИОН РАН) и д. полит. н. Д.В. Ефременко (ИНИОН РАН). Разработка вопросника анкеты была осуществлена участниками группы в первой половине июля; формулировка и уточнение ряда

¹ Федеральный закон Российской Федерации № 253-ФЗ от 27 сентября 2013 г. «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. – М., 2013. – 30 сентября. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2013/09/27/ran-site-dok.html>

вопросов происходили с учетом многочисленных консультаций с сотрудниками академических институтов и вузов.

16 июля один из участников инициативной группы, А.В. Кряжимский, во время встречи представителей «Клуба 1 июля» с президентом РАН В.Е. Фортовым сообщил о предлагаемом опросе. Инициатива получила поддержку президента РАН. 19 июля началась рассылка анкеты экспертам по электронной почте. В общей сложности анкета была разослана более чем на 1,5 тыс. электронных адресов. Вскоре анкета была также размещена на ряде сетевых ресурсов (в том числе на сайтах нескольких институтов РАН¹ и на портале Полит. ру²).

Результаты анкетирования существенно превосходили ожидания участников инициативной группы. В результате проведения опроса было получено 973 анкеты. Даже за вычетом респондентов, не работающих в институтах и организациях РАН, это почти 2% всех научных сотрудников Российской академии наук.

Здесь следует вновь подчеркнуть: инициативная группа проводила анкетирование экспертов, а не социологический опрос. Мы не ставили перед собой задачи сформировать репрезентативную выборку; рассылка анкет осуществлялась по контактными адресам, содержащимся в обширной базе данных Отдела научного сотрудничества и международных связей ИНИОН РАН. Структура анкеты, включающая как односложные ответы на вопросы, так и развернутые высказывания по ключевым проблемам реформирования РАН, была рассчитана на ученых, являющихся признанными специалистами в различных отраслях знания и организации научной деятельности.

В опросе приняли участие 30 академиков РАН, 32 члена-корреспондента РАН, 498 докторов наук, 51 директор, 42 заместителя директора по научной работе, 28 ученых секретарей институтов и других учреждений РАН.

Предварительные результаты опроса были представлены в статье А.В. Кряжимского, Д.В. Ефременко и В.И. Герасимова, опубликованной в начале сентября 2013 г. в газете «Поиск» [Кряжимский, Ефременко, Герасимов, 2013]. Кроме того, на основе материалов опроса к открытию конференции «Настоящее и будущее науки в России: Место и роль Российской академии наук» (29–30 августа 2013 г.) пресс-секретарем Президиума РАН, к. филос. н. С.А. Шаракшанэ была подготовлена брошюра, в которой представлены высказывания респондентов, сгруппированные по основным тематическим направлениям [О реформировании Российской академии

¹ Например, на сайте: Дальневосточное отделение Российской академии наук. – Режим доступа: <http://www.febras.ru/instituty/primorskij-nauchnyj-tsentr/19-novosti/novosti-na-sajte/601-dorozhnaya-karta-samoreformirovaniya-ran.html>

² Дорожная карта самореформирования РАН: Инициативный опрос научных сотрудников // Полит. ру. – 25.07.2013. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2013/07/25/road_map_ras/

наук, 2013 а]. Спустя два месяца вышло второе издание этой брошюры [О реформировании Российской академии наук, 2013 б], по объему включенных материалов четверо превысившее первое издание.

В настоящей статье предпринята попытка соотнести оценки экспертов по проблемам реформирования науки, сделанные вскоре после объявления правительством планов преобразования РАН, с фактическим ходом и первыми последствиями этих преобразований.

Реформа управления наукой и проблема доверия

Вопрос о доверии – ключевой для любой реформы. Необходимые, но болезненные преобразования могут осуществляться только теми людьми, которые хотя бы на начальном этапе реформ пользуются доверием и авторитетом у тех, чьи условия жизни и труда могут претерпеть существенные изменения в результате намеченных трансформаций. Государственный деятель или чиновник, уже на старте своей миссии имеющий отрицательный рейтинг доверия, может быть терминатором, но не реформатором. К сожалению, первоначальный правительственный законопроект о реформе РАН был явно ориентирован на то, чтобы вверить судьбу Академии в руки терминаторов. Реакция наших респондентов на эту перспективу была практически единодушной: доверие к «чиновничьей» версии реорганизации РАН – немногим более 1%. Альтернативный вариант – самореформирование РАН – получил, напротив, почти единодушную поддержку (см. табл. 1).

Таблица 1

Вопросы	Да	Нет	Не знаю
Велико ли, по Вашему мнению, отставание России от развитых стран в области науки?	334	505	67
Считаете ли Вы возможным доверить реформирование РАН чиновникам, не имеющим отношения к академической науке?	15	893	16
Нуждается ли РАН в самореформировании с целью повышения своей научной эффективности?	883	27	12

(Суммарное количество ответов «да», «нет», «не знаю» варьирует от вопроса к вопросу в связи с тем, что на некоторые вопросы отдельные респонденты не отвечали.)

Но здесь возникает вопрос о том, что понимать под «самореформированием». Лишь незначительная часть высказываний респондентов свидетельствовала о стремлении сохранить «осиповское» status-quo. Большинство же экспертов исходило из того, что самореформирование ни в коей мере не означает искусственной изоляции РАН от других частей российского научно-образовательного сообщества. Равным образом оно не означает игнорирования зарубежного опыта модернизации деятельности научных организаций (ряд коллег в своих комментариях отмечали целесообразность привлечения ведущих зарубежных ученых к процедурам оценки научной эффективности организаций РАН и их подразделений). При

таким понимании «самореформирование» предполагает, что импульс преобразованиям должен быть дан самим академическим сообществом, а программа реформирования и ее исполнители должны иметь мандат доверия научных сотрудников РАН. Следует отметить также, что на момент проведения опроса многие респонденты связывали перспективы внутреннего преобразования Академии с программой, с которой весной 2013 г. шел на выборы президента РАН академик В.Е. Фортвов.

Значительно больший разброс мнений обнаружился при ответе респондентов на вопрос анкеты об оценке масштабов отставания России от передовых стран в области научных исследований. В сочетании с оценками причин, побуждающих к проведению реформы РАН, картина получается более нюансированной (см. табл. 2).

Таблица 2

Вопросы	Да	Нет	Не знаю
Самореформирование нужно ввиду:			
Отсутствия стратегического планирования?	425	283	126
Чрезмерно централизованного управления?	352	369	109
Чрезмерно забюрократизированной отчетности?	663	164	48
Низкой зарплаты сотрудников?	775	74	29
Отсутствия приборов, оборудования?	651	103	87
Отсутствия системы поддержки инициативных проектов?	579	206	78
Отсутствия системы поддержки молодежи?	547	338	59
Отсутствия спроса со стороны государства?	735	90	66
Изолированности от общества?	406	356	79
Изолированности от зарубежных научных программ?	402	333	92
Непрозрачности процедур распределения денег?	648	127	93
Чрезмерного разрыва в доходах руководства и сотрудников?	419	231	184
Нецелевого использования имущества руководством?	179	334	289

Эти ответы, дополненные развернутыми высказываниями респондентов, позволяют выявить основные болевые точки, на которых необходимо было сосредоточиться при разработке комплекса мер по реформированию РАН. При этом многие из опрошенных экспертов, высказывая неприятие предложенного правительством варианта реформы, весьма негативно оценивали положение дел в Академии наук. Характерным примером такого рода критических суждений служит высказывание заместителя директора Института Дальнего Востока, д.э.н. А.В. Островского:

«Феодалная система управления в системе РАН (имеется в виду наличие различных сословий в РАН – аспирант, м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с., г.н.с., зав. сектором (лабораторией), зам. директора, директора, члены-корреспонденты, академики, члены бюро Отделений РАН, члены Президиума РАН, члены Бюро Президиума РАН), у каждого из этих сословий различные интересы. К этому надо добавить огромный аппарат Президиума РАН и в самих институтах РАН, который не занят в научной деятельности, но фактически стоит над учеными. В этой ситуации ученый

не является основным действующим лицом в науке, над ним стоит громоздкий бюрократический аппарат с требованием постоянных отчетов о проделанной работе и составлением многостраничных обоснований на финансирование НИИР, написание которых занимает едва ли не больше времени, чем проведение научных исследований. После реформы РАН с появлением специализированного Агентства ситуация ухудшится, и основная масса ученых – докторов, кандидатов и аспирантов постепенно переместится либо в другую сферу деятельности, либо за рубеж. Формально в РАН останутся только академики, члены-корреспонденты и обслуживающий персонал, который будет управлять имуществом Академии по указанию Агентства. При этом, как показывает практика, в настоящее время роль научных работников в принятии решений по Академии наук никакая и от их мнения в настоящее время ничего не зависит»¹.

По оценке главного редактора журнала «Атомная энергия» академика Н.Н. Пономарева-Степного, в последние годы наблюдаются «пассивное отношение Академии к важнейшим проблемам страны и слабая роль Академии в анализе и разработке предложений, способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию России».

Весьма часто в анкетах высказывались опасения, связанные с преклонным возрастом большинства членов и членов-корреспондентов РАН, а также руководителей научных организаций. Для решения этой проблемы некоторые респонденты предлагали ввести возрастной ценз:

«Введение пенсии для академиков при достижении 75 лет. При выходе на пенсию выдается видная госнаграда, но теряется право голоса в том числе и в ученых советах институтов, остается право вести научную работу и активно участвовать в экспертных советах. Ограничение возраста кандидатов на выборах в академики до 65 лет. Ограничение возраста руководящих сотрудников до 75 лет. При выборах на новую должность директора института кандидат не должен быть старше 65 лет» (д. ф.-м. н., зав. криогенным отделом ФИАН Е.И. Демихов).

Вместе с тем, как следует из комментариев опрошенных экспертов, наиболее серьезные факторы негативных тенденций в развитии российской науки имеют политико-экономический характер. Один из основных связан с тем, что следствием проводимого на протяжении всего постсоветского периода российской истории социально-экономического курса становится неуклонное сокращение спроса на результаты прикладных и фундаментальных исследований, неоправданно низкая доля расходов на НИОКР в ВВП по сравнению с ведущими индустриально развитыми и развивающимися странами. Сюда же следует добавить явное нежелание ряда структур исполнительной власти осуществлять регулярное взаимо-

¹ Здесь и далее курсивом выделены фрагменты развернутых высказываний респондентов.

действие с Академией наук как крупнейшим экспертным сообществом России.

Единство Академии, самоуправление и выборность руководства научных учреждений

В момент проведения опроса необходимыми условиями успешного внутреннего реформирования Академии виделись сохранение научной и организационной связи РАН и институтов, входивших в то время в ее состав, а также гарантии решающего участия научных коллективов в процедурах избрания руководителей научных учреждений. С тем, что без соблюдения этих условий у Академии нет будущего, соглашалось подавляющее большинство участников опроса (см. табл. 3).

Таблица 3

Вопросы	Да	Нет	Не знаю
Считаете ли Вы необходимым, чтобы Российская академия наук и в будущем осуществляла научное и организационное руководство институтами, входящими в ее состав в настоящее время?	853	19	34
Согласны ли Вы с тем, что ключевой составляющей процедуры назначения руководителей научных учреждений РАН должно быть тайное голосование полномочных представителей научных коллективов по кандидатурам всех претендентов на соответствующую должность?	815	52	43
Считаете ли Вы необходимым расширение полномочий ученых советов научных учреждений?	573	175	156

Вместе с тем поддержка идеи расширения полномочий ученых советов научных учреждений оказалась менее уверенной. Это обстоятельство, очевидно, указывало на целесообразность более тщательного обсуждения данной проблемы. С одной стороны, в условиях, когда выборность директоров институтов сменится их фактическим назначением (выборностью после многочисленных согласований и прохождения нескольких бюрократических фильтров), именно ученые советы могли остаться основными органами самоуправления научных коллективов (впрочем, принятые весной 2014 г. изменения в уставах институтов, вошедших в результате реформы в состав Федерального агентства научных организаций, привели к тому, что эта функция оказалась практически выхолащенной). С другой стороны, еще до принятия закона о реформе РАН ряд экспертов, включая и автора настоящей статьи [см.: Кряжимский, Ефременко, Герасимов, 2013], указывали на возможность того, что после «отчуждения» от РАН именно ученые советы либо общие собрания научных коллективов институтов смогут делегировать своих представителей для воссоздания структуры, объединяющей все академическое сообщество, от аспиранта до академика. В конечном счете эту логику приняла и Вторая сессия

конференции научных работников России (25 марта 2014 г.), в резолюции которой содержалось следующее обращение: «Конференция подтверждает, что она является постоянно действующей, и поручает Оргкомитету продолжить свою работу и созвать третью сессию не позже октября 2014 г. Для закрепления соответствующего статуса конференция обращается к научным коллективам институтов с предложением делегировать в ее состав представителей, избранных из числа научных сотрудников институтов» [Резолюция «Организация науки в России...», 2014].

Проблемы информационной открытости и подотчетности

Широкую поддержку участников экспертного опроса получили предложения, направленные на развитие информационной открытости и подотчетности как в рамках Академии наук, так и в структурах управления, материального обеспечения и финансирования научной деятельности, создание которых предусматривалось в планах реформаторов. Вместе с тем немало респондентов сомневались в том, что Наблюдательные советы смогут быть действенным инструментом контроля над деятельностью чиновников со стороны научного сообщества. Некоторые коллеги решительно высказывались против создания правительственного агентства в любой форме, поскольку это ослабит позиции РАН, создаст в институтах ситуацию «двойной лояльности», породит организационную неразбериху и приведет к кумулятивному росту бюрократической отчетности. Следует отметить, что период «междувластия» от принятия закона о реформе РАН до фактического перехода академических институтов под эгиду ФАНО, а также первые месяцы функционирования научных организаций в рамках Агентства во многом подтвердили эти опасения (см. табл. 4).

Таблица 4

Вопросы	Да	Нет	Не знаю
В случае создания Агентства научных институтов и Российского научного фонда считаете ли Вы необходимым, чтобы систематический контроль их деятельности осуществлялся Наблюдательными советами, в состав которых войдут представители научного сообщества?	802	44	63
Следует ли, по Вашему мнению, создать открытый электронный ресурс, где будет выкладываться вся доступная информация о любых решениях в отношении имущественных активов, финансирования научных организаций, оплаты труда и социального обеспечения сотрудников РАН, реорганизации институтов и лабораторий?	819	48	56

Возможность использования современных сетевых технологий для информационной поддержки процесса внутреннего реформирования РАН весьма высоко оценивалась участниками опроса. Так, заведующий сектором Института математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН, к.т.н. В.Л. Авербух, подчеркивая важность самоуправле-

ния работников науки, отмечал: «Самоуправление должно учитывать голоса всех желающих участвовать научных сотрудников, в том числе и путем интернет-опросов». Заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией Института ядерных исследований РАН, д.ф.-м.н. В.В. Кузьминов обращал внимание на необходимость создания «сетевого портала для приема и обсуждения мнений и предложений научных сотрудников институтов РАН и других научных и образовательных организаций».

В своих комментариях эксперты не только указывали на потребность в формировании открытой базы данных о реформировании РАН и создании интерактивной площадки для обсуждения возможных вариантов преобразований, но и подчеркивали, что сетевой ресурс может стать инструментом мобилизации научного сообщества для отстаивания принципов академической автономии, самоуправления и социальной защиты членов трудовых коллективов институтов, а также общественного контроля в отношении действий, связанных с имущественными активами, в настоящее время находящимися в ведении РАН. В конце 2013 – начале 2014 г. многие из этих идей были реализованы созданной по инициативе наиболее активных критиков реформы Комиссией общественного контроля в сфере науки¹.

Проблемы оценки научной эффективности работы учреждений РАН, научных коллективов и отдельных исследователей. Организация экспертной деятельности

Разработка надежного инструментария, определение принципов и методов оценки научной эффективности относятся к числу важнейших направлений реформирования российской науки (отнюдь не только академической!). Большинство респондентов согласны с тем, что такие критерии должны быть дифференцированными, учитывающими дисциплинарную, функциональную и структурную специфику подлежащих оценке научных организаций и лабораторий (см. табл. 5).

Гораздо больше разногласий вызвало определение оптимального баланса между экспертными оценками и измеряемыми показателями научной деятельности. Как говорится, дьявол в деталях. Комментарии по этому поводу демонстрируют достаточно широкий разброс мнений и предлагаемых стратегий действия. Так, например, д.т.н. А.Б. Антопольский (МСЦ РАН / ИНИПИ РАО) выдвигает следующую инициативу:

«Требуется постоянно действующая система, которая бы осуществляла мониторинг всех существенных информационных потоков российской науки: вероятно, это некоторое объединение ресурсов АСУ РИД РАН, РИНЦ, ЦИТИС, электронной библиотеки диссертаций и, возможно, некоторых других ресурсов. Эта система должна быть независима от

¹ Комиссия общественного контроля в сфере науки. – Режим доступа: <http://www.gascommission.ru>

институтов и руководства РАН. Библиометрические показатели этой системы совместно с системой экспертных оценок должны стать реальным инструментом управления в системе РАН и, возможно, во всей российской науке... Второй важнейший элемент – это организация экспертизы и формирование корпуса экспертов – независимых, квалифицированных и мотивированных. Очевидно, это должны быть эксперты не только российские, и не только академические и с обязательной регулярной ротацией».

Таблица 5

Вопросы	Да	Нет	Не знаю
Следует ли для оценки эффективности работы научных организаций РАН разработать дифференцированные критерии, учитывающие их специфику (преобладание фундаментальных или прикладных исследований, научно-информационные центры, научные музеи, научные библиотеки и т.д.)?	801	66	45
Следует ли при разработке критериев оценки научной результативности ориентироваться на достижение оптимального баланса экспертных оценок, наукометрических и библиометрических показателей?	676	117	110
Считаете ли Вы, что русский язык должен и впредь оставаться одним из языков мирового научного сообщества, а публикации в признанных русскоязычных научных изданиях иметь вес, сопоставимый с публикациями на английском языке?	712	129	71
Следует ли разработать комплекс мер, способствующих включению большего числа российских научных изданий в международные базы данных Scopus, Web of science и др.?	786	85	42

Иначе видит проблему д.ф.-м.н. М.А. Семенов-Тян-Шанский (Санкт-Петербургское отделение Математического института РАН):

«Использование наукометрических и библиометрических показателей для оценки научной работы в целом малоудовлетворительно, хотя именно для министерства и назначенных им “менеджеров” такой формальный подход представляет большие удобства. Такой подход особенно опасен при сравнении разных дисциплин, в которых и исторически обусловленные стандарты цитирования, и стандарты публикаций могут весьма существенно отличаться. Между тем именно такое сравнение, как можно опасаться, будет фактически применено при выделении “неперспективных” направлений и институтов, подлежащих, согласно предварительному проекту реформы, передаче муниципальным органам власти или ликвидации. Решения такого рода могут приниматься только широкими панелями специалистов без всякого участия министерских чиновников, на основе мнения экспертов и при тщательных мерах во избежание конфликта интересов».

Разногласия по вопросам оценки результатов научной деятельности являются ярко выраженными. По всей видимости, достижение консенсуса едва ли возможно; скорее, можно надеяться на достижение той или иной

формы прагматического компромисса. В любом случае, необходим взвешенный подход к использованию того или иного набора критериев оценки научной деятельности. Эта позиция вполне убедительно сформулирована д.и.н., главным научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН В.А. Шнирельманом:

«Думаю, что с оценкой надо быть предельно осторожным и подходить дифференцированно к разным наукам – в теоретических и прикладных, естественных и гуманитарных и т.д. эффективность должна считываться по-разному. Не всегда можно полагаться на число публикаций, ибо качество много важнее количества. Кроме того, в любом коллективе хорошо знают, кто имеет авторитет, а кто нет, и это не зависит от числа публикаций. Число ссылок тоже не всегда служит надежным критерием: здесь, во-первых, присутствует влияние административного ресурса, во-вторых, часто могут ссылаться на весьма спорную работу, чтобы лишний раз показать, как не стоит работать. Есть и вопрос к коллективным работам, особенно если там много авторов, – как определить и оценить вклад каждого?».

Вопрос об увеличении числа публикаций российских ученых в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of science и Scopus, также является весьма неоднозначным. Скажем, увеличение количества российских научных изданий в этих базах данных является задачей не столько научно-организационной, сколько финансовой. В связи с этим директор Библиотеки по естественным наукам РАН, д.т.н. Н.Е. Каленов отмечает: *«Указанные системы являются чисто коммерческими, обработка дополнительных источников для них – лишние затраты. Они должны быть заинтересованы в отражении российской информации, поэтому без увеличения объема средств на приобретение доступа к ним российских пользователей они ничего дополнительно вводить не будут (сколько бы ни говорили о каких-то критериях)».*

Что касается экспертных механизмов оценки научной эффективности, то здесь одним из ключевых моментов становится организация экспертизы и ее транспарентность. На это обращает особое внимание к.т.н., заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института РАН С.Я. Чернавский:

«Прежде всего, следует провести ревизию всех экспертных групп и организаций, в ведении которых будет функция оценки эффективности деятельности институтов РАН. Вероятно, эту ревизию должны выполнять научные советы институтов с привлечением экспертов других институтов (желательно также из ведущих специалистов зарубежных научных организаций), чтобы снизить вероятность сговора участников обсуждений. Обсуждение должно быть открытым и точно протоколированным (видеозапись). Таким образом, на “рынке экспертов” должна быть организована конкуренция и устранена рыночная власть каких-либо участников обсуждений.

Выделенные в результате обсуждений эксперты должны знать, что время их функционирования ограничено, и право быть экспертом должно периодически подтверждаться открытой и публичной процедурой.

Нет никаких оснований предполагать, что шоковые реформы организации работы РАН в виде горизонтального перестроения оргструктуры ("Роснано", "Сколково", присоединения институтов к ВШЭ, Курчатовскому институту и пр.) являются научно обоснованными. Оснований для сомнений много, их можно привести в специальном обсуждении. Укажу только на негибкость существующей системы, которую, конечно, можно сломать, но сломав при этом весь научный процесс. Реформа должна быть постепенной. Вначале выбранным экспертам следует провести скрининг существующих работ и научных коллективов, чтобы выделить четыре слоя: безнадежно отсталых (в отношении них надо продумать схемы их трансформации и, возможно, ликвидации), имеющих перспективы развития (для них надо определить конкретные селективные меры поддержки), эффективные, но нуждающиеся в какой-то поддержке, эффективные и не нуждающиеся в поддержке (может быть, таких окажется очень мало). Для последних трех слоев должны быть разработаны специфические формы самоорганизации».

Экспертная оценка научной эффективности в сфере социальных и гуманитарных наук имеет свою специфику, учет которой возможен только на основе науковедческих исследований данной сферы научного знания. Главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, д.филол.н. А.И. Ракитов, ставит эту задачу следующим образом:

«Разработка системы показателей, организация системы экспертных, наукометрических, библиометрических, интеллектуально-психологических критериев и индикаторов повышения продуктивности научных исследований в социогуманитарной сфере. Это особенно важно потому, что большинство науковедческих и наукометрических исследований рассматривают, как правило, естественные, технические и прикладные науки, в то время как для современного общества крайне важна интенсификация исследования социальных, интеллектуальных проблем, когнитологии, эффективного менеджмента на государственном и региональном уровнях и т.д. Очень важно исследование методов управления, планирования, организации и стимулирования научных исследований не только с помощью рубля и палки, но также на основе повышения социального статуса и престижа научно-исследовательской работы».

Респонденты затрагивали и ряд общих проблем организации экспертной деятельности в России. В частности, главный ученый секретарь Кольского научного центра, к.г.-м.н. В.А. Виноградов отметил следующее:

«Нечеткость механизмов и правил государственного финансирования работ по проведению научной экспертизы крупных технических программ и социально значимых проектов, а также отсутствие правовой

регламентации в вопросах реагирования органов управления на результаты научной экспертизы – необходимо прописать в законах правила “обратной связи” между органами управления и экспертным сообществом и тарифицировать экспертные услуги как особый вид профессиональной деятельности».

Вопрос о русском языке как о языке науки в комментариях респондентов также получил существенно отличающиеся друг от друга интерпретации. Здесь основные расхождения проходят по дисциплинарному признаку. Для подавляющего большинства опрошенных нормой является ситуация двуязычия, предполагающая научные публикации активно действующего ученого как в русскоязычных, так и в англоязычных изданиях. Свободное владение английским языком относится к числу необходимых условий активного участия ученого в международном научном сотрудничестве.

«Де-факто международным языком научного общения сегодня является английский, на нем издается большинство международных научных журналов. Никого из членов академического сообщества, для которых родными являются другие языки, это не смущает, вероятно потому, что владение английским языком научных публикаций для них является нормой. Чтобы российская наука полностью интегрировалась в международное сообщество и получила дополнительный импульс развития, публикацию работ отечественных ученых в международных англоязычных журналах следует только поощрять. Вероятно, Академии следует взять под свой контроль обучение аспирантов английскому языку для научных сотрудников, а также методикам подготовки научных публикаций» (старший научный сотрудник ИНИОН РАН, к.т.н. А.Н. Кулик).

Вместе с тем для представителей социально-гуманитарных наук чрезвычайно важен научный дискурс, существующий и развивающийся во многом благодаря наличию авторитетных научных изданий на русском языке. Кроме того, по целому ряду научных направлений приоритетным языком публикации должен оставаться русский. Например, было бы весьма странно, если бы научная валидность исследования летописных сводов Северо-Восточной Руси получала признание только после публикации статьи авторов исследования в каком-нибудь американском журнале, индексируемом Web of science.

Очевидно, и на это обращают внимание некоторые из опрошенных коллег, решение данного круга проблем должно быть многоплановым. Помимо различных форм стимулирования публикаций в высокорейтинговых научных изданиях, необходим комплекс мер, способствующих попаданию большего количества русскоязычных научных изданий в базы данных Web of science и Scopus. В частности, речь может идти о целевых грантах для редакций научных журналов, а также о финансовой поддержке, направленной на расширение круга подписчиков этих и других зарубежных баз данных. Одновременно необходимо увеличение количества

издаваемых в России научных журналов на английском языке. В то же время чрезвычайно актуальной задачей является совершенствование Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) в качестве инструмента научной библиометрии.

Научная молодежь, развитие кадрового потенциала академических институтов, образовательная деятельность

В комментариях участников опроса много внимания было уделено проблемам работы с научной молодежью, развития кадрового потенциала РАН и образовательной деятельности. Серьезные опасения ряда респондентов вызвала ситуация с аспирантурой и докторантурой в институтах РАН, сложившаяся в связи со вступлением в силу Закона об образовании. Аспирантура как «третья ступень образования» оказалась фактически изолированной от докторантуры, между которыми прежде существовала и организационная, и логическая взаимосвязь. Новые процедуры аккредитации практически игнорируют исследовательский характер подготовки аспирантов, традиционный для академических институтов (см. табл. 6).

Таблица 6

Вопросы	Да	Нет	Не знаю
Считаете ли Вы, что вопросы аспирантуры и докторантуры в системе РАН должны быть отражены в новом Законе о Российской академии наук?	765	54	87

Многие участники опроса выдвигали предложения по дальнейшему развитию образовательной деятельности в системе научных организаций РАН. Так, академик РАН д.и.н., декан исторического факультета МГУ С.П. Карпов называл следующие перспективные направления:

- *Преимущественное развитие аспирантуры и магистратуры (не бакалавриата!) в учебных подразделениях РАН.*
- *Сохранение научных школ в составе всех поколений ученых.*
- *Создание совместной аспирантуры и совместных диссертационных советов РАН и ведущих университетов.*
- *Обязательное внедрение системы co-tutelle (совместного руководства отечественных и зарубежных ученых диссертантами при взаимном признании степеней и процедур защиты).*
- *Развертывание и финансирование системы постдоков – отличного резерва подготовки кадров.*

В пользу институционализации и развития системы постдоков выдвигались следующие аргументы:

«Это нужно, в первую очередь, для обеспечения мобильности провинциальной молодежи, которая в противном случае никогда не вольется в общемировую науку. Кроме того, степень постдока даст дополнительный стимул для активной работы молодого ученого, позволит отсечь лю-

дей, не заинтересованных в исследовательской деятельности, и на этой стадии тоже. Хорошо бы выделять деньги на заграничные семестровые / годовые поездки молодых ученых, официально оформлять постдоговские заграничные командировки. Это опять же нужно в наших условиях общего отставания России» (д. ф.-м. н., ведущий научный сотрудник Математического института РАН И.Д. Шкретов).

Респонденты (в частности, к. филос. н., старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники Г.Г. Дюментон, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН В.В. Ключков) приводили положительные примеры создания профильных университетов при академических институтах, ссылаясь при этом на соответствующие инициативы Ж.И. Алферова, В.А. Ядова и др., положительный опыт МФТИ, включающий создание базовых кафедр при институтах РАН. В то же время радикальная реформаторская позиция, предполагающая перенос основной исследовательской активности в университеты, зачастую подвергалась критике:

«Перетягивание “центра тяжести” науки в вузы – занятие абсолютно бессмысленное и требующее невероятных денег. Нет ни единого серьезного аргумента в пользу приоритетного развития науки в вузах в России. Приоритет университетской науки в США и некоторых европейских странах имеет сузубо исторические корни и на эффективности науки сказывается, скорее, отрицательно: крупные ученые отвлекаются на чтение лекций, с чем прекрасно могут справиться высококлассные преподаватели. Исследователи и преподаватели – люди двух разных специальностей» (заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, д.б.н. Д.А. Крамеров).

«Сильные институты РАН и с вузами дружат (мы тоже), и мегагранты выигрывают. Вряд ли последняя программа мегагрантов (если ее оценивать по той же шкале, что и институты РАН) может быть признана эффективной. В вузах (даже в федеральных и национальных исследовательских), где уровень фундаментальных исследований в среднем заметно ниже, чем в РАН (судя хотя бы по библиометрическим показателям), чтобы вложить в оборудование громадные средства заработали, тоже должно смениться хотя бы полпоколение ученых. Да и что видим – оборудование дали, а средства на работу научные сотрудники ННГУ добывают в РФФИ. А там финансирование начинается с июня. Вот и уходят на 4–5 месяцев в неоплачиваемый отпуск каждый год. Резюме: при всех реформах не надо подрывать основ существования работоспособных коллективов, т.е. лишать базового (зарплата существующего контингента бюджетных сотрудников + коммуналка) бюджетного финансирования. В противном случае государство (а не институты) должно провести по закону массовые сокращения и объясняться с профсоюзами. Все остальные средства можно и должно распределять на конкурсной основе. Ставка на поддержку сильных лабораторий, а не инсти-

тутов может быть сделана только в том случае, если институт, в котором эта лаборатория живет, не разваливается, т.е. имеет базовые средства на инфраструктуру и персонал на действующих бюджетных трудовых договорах» (заместитель директора Института физики микро-структур РАН, д. ф.-м. н. В.И. Гавриленко).

Вопросы финансирования научных исследований и научных организаций

Ссылки на систематическое недофинансирование РАН встречаются едва ли не в большинстве анкет. Респонденты указывают на остроту проблемы закупки лабораторного оборудования и материалов, в особенности отмечая трудности со своевременным поступлением бюджетных средств, чрезмерно усложненной документацией по оформлению закупок и отчетности по ним, таможенным оформлением и т.д. Одновременно участники опроса высказали и конкретные предложения, направленные на стимулирование научной эффективности, рост закупок современного экспериментального оборудования, улучшение материального положения сотрудников академических институтов. Основным инструментом повышения научной эффективности, по мнению многих респондентов, должно быть расширение программ конкурсного финансирования, которое, однако, не должно означать одновременного сокращения базового бюджетного финансирования по отношению к уровню текущего года. Например, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН О.В. Будницкий выдвигал предложения внести изменения в налоговый кодекс, стимулирующие вложения / пожертвования в научные фонды, а также создать эндаументы при институтах.

Следует подчеркнуть, что параллельно с реформой РАН в этом направлении был сделан крупный шаг – создан Российский научный фонд (РНФ), который уже в 2014 г. запустил пять крупных грантовых программ. Учитывая, что размеры грантов РНФ на порядок превосходят размеры грантов «старых фондов» – Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, – можно было бы рассчитывать, что проведение таких конкурсов на протяжении нескольких лет позволит сформировать пул наиболее перспективных и работоспособных научных коллективов. Однако условием этого должно быть не только устойчивое финансирование, но и максимальная объективность экспертизы и транспарентность принятия решений о финансировании научных проектов. Вместе с тем можно предположить, что в ближайшие 1–2 года конкуренция за гранты РНФ приведет к некоторому усилению поляризации внутри научного сообщества.

В высказываниях нескольких участников нашего опроса содержались инициативы, направленные на развитие различных форм партнерства между академической наукой и бизнесом. Так, например, проф., д.б.н., главный научный сотрудник Института теоретической и эксперименталь-

ной биофизики РАН С.Э. Шноль в своих комментариях в анкете призвал к созданию Союза по поддержке науки российскими предпринимателями, образцом для которого могло бы служить известное Леденцовское общество, в последнее предреволюционное десятилетие оказывавшее активную поддержку научным исследованиям. Директор Фонда содействия отечественной науке, член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н. М.Ю. Каган, в числе необходимых мер по развитию партнерства между РАН и бизнесом называл следующие:

«Создание совместных научно-технических и научно-образовательных центров РАН и ведущих российских компаний по работе на стратегических направлениях развития науки и высоких технологий и подготовке кадров высшей квалификации. Восстановление и развитие конструкторских бюро, опытного производства и научного приборостроения. В настоящее время очень сложно завершить НИОКР в системе РАН без внешнего субподрядчика».

Еще одно перспективное направление сотрудничества – создание Делового совета при РАН, в который могли бы войти представители ведущих российских госкорпораций и частных бизнес-структур. Участие представителей крупного бизнеса в таком совете могло бы не только свидетельствовать о готовности к поддержке академической науки на уровне благотворительности, но и способствовало бы становлению новой модели партнерства, направленной на возрождение инфраструктуры прикладных исследований в современной России.

Вместе с тем нельзя не признать, что «экономизация» исследовательского процесса, жесткая привязка научной деятельности к сложной динамике спроса / предложения ставит в уязвимое положение науку в целом, но в наибольшей степени – фундаментальные исследования, нуждающиеся в устойчивом государственном финансировании. В то же время прикладные исследования, обещающие быструю экономическую отдачу, должны финансироваться преимущественно бизнес-структурами. В случае России, где в 1990-е годы была практически ликвидирована советская институциональная система прикладных исследований, пока еще сохраняется шанс создать современную инфраструктуру прикладных исследований на основе новой модели партнерства между академическими институтами, государством и бизнесом. При этом РАН как институциональная система организации фундаментальных исследований могла бы выступить в качестве своеобразного инкубатора для новых междисциплинарных исследовательских проектов прикладной направленности, которые затем, получив поддержку со стороны власти и бизнеса, могли бы развиваться автономно и служить драйверами перехода российской экономики к новейшему технологическому укладу. Однако отрыв исследовательских институтов от Академии практически перечеркивает такой вариант развития.

Эксперты и власть: Несостоявшийся диалог

Проведенный опрос высветил амбивалентное положение, в котором в данном случае оказались представители научного сообщества. С одной стороны, они высказывались как эксперты, т.е. специалисты, способные дать обоснованные и объективные рекомендации лицам, принимающим политические решения. С другой стороны, высказывания респондентов отражали их позицию как представителей научной корпорации, интересы которой непосредственным образом затрагиваются предложенной российской властью реформой РАН. Для инициаторов и исполнителей академической реформы такая двойственность могла служить оправданием нежелания прислушиваться к голосам протестующих, позволяя изначально ставить под сомнение объективность исходящих от них экспертных оценок.

Как известно, экспертные оценки выполняют функции как рационализации, так и легитимации тех или иных политических решений. Вместе с тем экспертное знание способно привести и к делегитимации, мобилизовать общественность для противостояния соответствующим решениям [Weingart, 2003, p. 54]. В этом смысле экспертный вклад в дискуссии о реформе РАН способствовал дальнейшему подрыву и без того шаткой легитимности наступления власти на Академию наук. Может показаться странным, но на протяжении 2013 г. инициаторы реформы не захотели или не смогли противопоставить аргументам критиков полного огосударствления научной деятельности собственную контрэкспертизу. Так, Совет по науке Министерства образования и науки РФ, по сути, призванный способствовать экспертной легитимации решений этого ведомства, уже в день представления законопроекта о реформе РАН на заседании российского правительства сделал следующее заявление: «Мы считаем неправильным, что закон, коренным образом меняющий систему организации науки в Российской Федерации, готовился и рассматривался без обсуждения с научной общественностью. Совет по науке, созданный Министерством образования и науки для консультаций с представителями научного сообщества, не только не привлекался для обсуждения проекта этого закона, но даже не был проинформирован о его существовании. О существовании проекта не были информированы и сами подвергающиеся коренной реорганизации Академии. Считаем необходимым проведение обсуждения этого проекта научным сообществом и, в частности, привлечение к его подготовке Российской академии наук и других государственных академий. Считаем возможным вынесение проекта этого закона на рассмотрение правительства РФ и Государственной думы только после проведения такого обсуждения» [Заявление Совета по науке..., 2013]. Последующие заявления этого Совета, содержавшие как критику, так и указания на возможность улучшения правительственного законопроекта, лишь в ограниченной степени «работали» на легитимацию реформы.

Наиболее красноречивым проявлением дефицита экспертной поддержки легитимности реформы РАН стало нежелание группы специали-

стов, готовивших правительственный законопроект, признать свое авторство и с открытым забралом вступить в дискуссию о путях реформирования академической науки. Лишь единичные участники самой дискуссии полностью солидаризировались с духом и буквой реформы (пожалуй, наиболее ярким проponentом действий власти в отношении РАН выступил д.б.н., профессор Ратгерского университета (США), зав. лабораториями в Институте молекулярной генетики и Институте биологии гена РАН К.В. Северинов [Северинов, 2013]). Даже сейчас, когда реформа состоялась, никто из экспертов так и не решился заявить о своем прямом или косвенном вкладе в ее подготовку.

По сути дела, до конца не прояснен вопрос и о том, чего же добивалась российская власть, иницируя такого рода преобразование системы организации научной деятельности. Наиболее популярная версия – стремление влиятельных лоббистских групп перехватить контроль над имущественными активами РАН, РАМН и РАСХН – могла бы быть проверена в процессе мониторинга движения этих активов после их вывода из ведения трех академий. Однако годичный мораторий, наложенный президентом В.В. Путиным на имущественные и кадровые изменения в реформируемых структурах, отложил и проверку этой гипотезы. Другая версия, фокусирующая внимание на личных амбициях ряда деятелей, входящих в «ближний круг» российского руководства, и их конфликтах со «старой» РАН [см., например: Иванчик, 2014], также не получила пока явных фактических подтверждений.

Вместе с тем «политическое» объяснение событий лета-осени 2013 г. вполне подтверждается дальнейшим ходом событий. По мнению ведущего кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения Волгоградского государственного университета, д.и.н. И.И. Куриллы, «Российская академия наук к лету 2013 г. осталась единственным институтом гражданского общества, обладающим серьезным авторитетом и независимостью в принятии решений... Именно это мне видится главной причиной “реформы”. В стране не должно остаться независимых и авторитетных сил» [Курилла, 2013]. Проведенное в результате реформы «встраивание» институтов и учреждений, ранее входивших в состав РАН, РАМН и РАСХН, во властную вертикаль означало лишение научного сообщества юридической, материальной и организационной основ академической автономии. По всей видимости, в 2013 г. рост протестных настроений в научной среде не был сочтен слишком высокой платой за установление прямого контроля чиновников над исследовательскими организациями.

Deus ex machina?

Накануне первой годовщины «скальпельной» реформы академической науки научное сообщество по-прежнему оставалось в неведении относительно дальнейшей судьбы научных организаций, прежде входивших

в состав трех государственных академий. Однако само это ощущение неуверенности многократно усилилось в связи с международным кризисом вокруг Украины, который фактически привел к возобновлению «холодной войны». Нарастание конфронтации и в особенности санкции Запада в отношении России сформировали принципиально иной политический контекст для проведения реформ управления в сфере науки и техники. То направление развития, которое должна была придать российской науке академическая реформа образца 2013 г., оказалось движением в пустоту. Декларируемые ориентиры – достижение более высоких показателей цитируемости в изданиях, индексируемых международными базами данных, а также интеграция науки и образования по образцу некоего идеального (реально нигде не существующего) американского университета, – оказались совершенно irrelevantны новой политической реальности, требующей мобилизационной модели развития. Об этом приходится говорить с огромным сожалением, поскольку подобная модель неизбежно деформирует структуру и содержание научной деятельности, подрывает свободу научного творчества. Похоже, однако, что если в положении «осажденной крепости» у России и ее ученых еще остается какая-то свобода выбора, то это выбор между большей или меньшей степенью жесткости мобилизационной модели. То межумочное состояние, в котором пребывает сейчас российская наука, когда одно ведомство отвечает за административно-хозяйственную деятельность исследовательских организаций, другое – за регламентацию и оценку их научной деятельности, третье (в новом фактическом качестве «клуба ученых») – за экспертизу и долгосрочные приоритеты исследований, является пагубным. О приоритетах исследований можно было бы в обычных условиях дискутировать очень долго, но в «посткрымский» период приоритеты оказались четко прописаны в санкционных списках администрации Барака Обамы: лазерная техника, спутниковые технологии, атомная энергетика, IT, технологии для нефте- и газодобычи и т.д. Приоритетность еще одного направления – комплексные междисциплинарные исследования Арктики, на которые указывали и некоторые участники нашего опроса (в частности, председатель Кольского научного центра, академик РАН В.Т. Калинин) – в обстоятельствах геополитического кризиса была «подкреплена» авторитетом Пентагона, объявившего Арктику потенциальной зоной военно-политического соперничества [The United States Navy Arctic roadmap... 2014]. По всей видимости, внешние факторы уже в ближайшее время заставят переформатировать весь дизайн реформы управления наукой. Определение перспективных направлений научных исследований и разработок, скорее всего, будет привязано к процедурам и институтам политического планирования, а управление научными организациями и программами – централизовано. Возможно, будет воссоздан некоторый аналог советского ГКНТ либо частично заимствованная более диверсифицированная, но исходящая из примата политических интересов схема управления наукой, существующая в настоящее время в

КНР. Соответственно, для значительной части научных коллективов предпосылкой продолжения и устойчивого финансирования их работы станет участие в программах и проектах, продиктованных мобилизационной логикой. По всей вероятности, это окажется особенно болезненным для общественных наук, развитие которых в постсоветские десятилетия происходило в условиях деидеологизации. Дальнейший ход событий в области управления наукой и техникой в России будет определяться тем, насколько длительным и интенсивным окажется геополитическое противостояние.

Список литературы

1. Заявление Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ. – 27.06.2013. – Режим доступа: <http://sovet-po-nauke.ru/info/27062013-declaration>
2. *Иванчик А.И.* Как реформировали Российскую академию наук. – 08.05.2014. – Режим доступа: <http://www.colta.ru/articles/specials/3133>
3. *Кряжмиский А.В., Ефременко Д.В., Герасимов В.И.* На пути к обновлению: Предварительные итоги экспертного опроса по поводу реформирования РАН // Поиск: Ежедневная газета научного сообщества. – М., 2013. – 6 сентября. – С. 8–9.
4. *Курилла И.И.* Нужно остановить законопроект // Троицкий вариант. – М., 2013. – 30 июля. – С. 3.
5. О реформировании Российской академии наук: По материалам экспертного опроса / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей. – М.: ИНИОН РАН, 2013 а. – 48 с.
6. О реформировании Российской академии наук: По материалам экспертного опроса / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей. – 2-е изд., доп. – М.: ИНИОН РАН, 2013 б. – 186 с.
7. Резолюция «Организация науки в России: Первоочередные задачи» // Вторая сессия Конференции научных работников России. – Москва, 25 марта 2014 г. – Режим доступа: <http://www.rasconference.ru/index.php/program/resolution1>
8. Российская Академия наук: Хроника протеста, июнь-июль 2013 г. / Сост. А.Н. Паршин. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Русский репортер, 2013. – 368 с.
9. *Северинов К.В.* «В РАН заниматься наукой плохо и неудобно» // Polit.ru. – 2013. – 29.07.2013. – Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2013/07/29/severinov_about_ras_1/
10. *Франк-Каменецкий М.Д.* Механизмы торможения в науке // Иного не дано: Сб. науч. тр. / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. – М.: Прогресс, 1988. – С. 634–647.
11. The United States Navy Arctic roadmap for 2014 to 2030. – Feb. 2014. – Mode of access: http://www.navy.mil/docs/USN_arctic_roadmap.pdf
12. *Weingart P.* Paradox of scientific advising // Expertise and its interfaces: The tense relationship of science and politics / Ed. by G. Bechmann, I. Hronszky. – В.: Sigma, 2003. – P. 53–90.

В.В. Клочков, С.М. Рождественская
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
НАУКОМЕТРИИ И КОНКУРЕНТНЫХ НАЧАЛ В РОССИЙСКОЙ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКЕ

Введение

В настоящее время в специальной литературе, СМИ и обществе в целом активно обсуждаются пути реформирования отечественной науки. В связи с этим особое внимание уделяется усилению конкурентных (конкурсных) принципов финансирования научных исследований. Авторы настоящей статьи берут на себя смелость утверждать, что значительное число сотрудников Российской академии наук, в особенности молодых, которые сегодня настроены против реформы РАН, на самом деле придерживается той же точки зрения, которую декларируют Правительство РФ, Министерство образования и науки. Одна из главных претензий к российской (а ранее – советской) науке – это уравнительный подход к финансированию отдельных ученых и научных коллективов. Суть реформаторских предложений в этом направлении сводится к следующему: *«Необходимо уйти от советской уравниловки, провести (тем или иным способом) жесткий аудит как учреждений РАН, так и лабораторий и отдельных научных работников, чтобы отсеять балласт и сконцентрировать ресурсы у действительно высокопродуктивных ученых и научных групп».*

Тот факт, что именно это «необходимо», не подвергается сомнению, спор идет об инструментах и деталях процесса. Господствующая концепция реформирования российской науки и ее ресурсного обеспечения предусматривает усиление ранжирования ученых и научных коллективов по тем или иным критериям (научометрическим, формальным, экспертным) и перераспределение в пользу «лидеров» материальных и прочих дефицитных ресурсов. При этом в отношении остальных научных работников и учреждений предлагаются различные решения – от поддержки их обеспечения на некотором базовом минимальном уровне до радикального сокращения в качестве балласта.

Разумеется, любые из указанных предложений затрагивают интересы значительной части научного сообщества и потому становятся предметом ожесточенных дискуссий. Однако в этом вопросе желателен придерживаться научного подхода и, по возможности, руководствоваться не эмоциями и стереотипами, а результатами расчета и анализа. Иными словами, следует придать более научный характер науковедческим дискуссиям, которые сегодня имеют место внутри российской науки и вокруг нее.

В данной статье рассматриваются следующие вопросы.

1. Насколько эффективно ранжирование ученых по наукометрическим критериям, если их точность и достоверность, по признанию самих апологетов наукометрии, далеки от 100%-ных?

2. Насколько значительного прироста продуктивности следует ожидать от выделенной «научной элиты» после перераспределения ресурсов, выделяемых на науку, в ее пользу?

3. К каким социально-экономическим последствиям для российских научных работников приведет переход к конкурентным принципам финансирования фундаментальной науки?

4. Как усиление конкуренции и роли наукометрических показателей скажется на поведении ученых, моральном климате в научном сообществе и развитии различных научных направлений?

Предварительные ответы на эти вопросы получены авторами на основе математического моделирования. В данной статье оставлены за скобками чисто формальные аспекты исследования и сделан акцент на качественных выводах, полученных при анализе математических моделей.

Анализ эффективности ранжирования ученых по наукометрическим критериям

Критерии ранжирования ученых сами по себе, разумеется, не идеальны и могут давать значительные погрешности при оценке реальной продуктивности конкретного ученого или научного коллектива и, тем более, ценности научных результатов [см.: Игра в цифирь, 2011; Управление большими системами, 2013]. Целесообразно ли выделять элиту, усиленно обеспечивая ее дефицитными ресурсами и сокращая неэффективных ученых и научные коллективы, если точность и надежность такого ранжирования невелика? Для ответа на этот вопрос авторы статьи построили простые математические модели [Клочков, Крупина, 2013 а; Клочков, Крупина, 2013 б].

При простейшей, примитивной квалификации проблемы в качестве индикатора результативности отдельного ученого или науки в целом можно выбрать количество условных научных результатов (публикаций в ведущих научных журналах или ссылок на них) в единицу времени (год), а в качестве критерия эффективности науки – использовать уровень удельных затрат в расчете на один результат (одно «открытие»). Авторы отдают себе отчет в крайней механистичности такого подхода к измерению результа-

тивности и эффективности науки, в несопоставимости между собой целого ряда научных результатов и принципиальной неформализуемости их реального значения для науки и практики. Однако господствующая в органах государственного управления и в определенной части профессионального сообщества точка зрения на науку, ее результативность и эффективность не менее механистична. То же самое можно сказать и о любых формальных наукометрических показателях. Поэтому данный язык представляется вполне уместным в ходе критической проверки обоснованности предложенной концепции реформы отечественной науки.

Ранжирование ученых на основе наукометрических показателей с формальной точки зрения можно рассматривать как задачу статистической классификации, поскольку ранжировать ученых предстоит на основе случайных, подверженных искажениям «измерений», их публикационной активности, цитируемости и т.п. Рассмотрим для начала простейший вариант разделения ученых только на два класса – высокопродуктивных и низкопродуктивных («лидеров» и «посредственных ученых»), причем избранный критерий будет считаться абсолютным (ученые, преодолевшие определенный порог формальных показателей, считаются высокопродуктивными, и наоборот). Качество критерия ранжирования можно измерить вероятностями ошибок первого и второго рода, состоящих в том, что истинно высокопродуктивный ученый будет отсеян, а «посредственный» попадет в элиту.

Проведенные параметрические расчеты показывают, что существенный прирост эффективности науки, т.е. многократное снижение затрат при относительно небольших потерях суммарной результативности научной сферы, достигим только: а) в некоторых специальных условиях, а именно при резкой сегрегации научного сообщества на относительно малочисленную (не более 10–20%) элиту и многочисленный балласт, уступающий ей в продуктивности в несколько раз или даже на порядок; б) при использовании высокоточных критериев ранжирования, с вероятностями ошибок первого и второго рода порядка 10% и менее, что при нынешнем качестве наукометрических методов вряд ли достижимо.

В связи с этим ранжирование ученых по формальным наукометрическим критериям и передача всего объема финансирования выделенным «лидерам», вероятнее всего, не принесет российской науке заметного роста ее эффективности. При этом ее абсолютная результативность, вероятнее всего, снизится пропорционально сокращению затрат. Таким образом, отбор ученых по формальным наукометрическим критериям по своим результатам будет слабо отличаться от механического сокращения их числа.

Подчеркнем, что в построенных упрощенных моделях не учитывались: а) системный характер научной работы, сложные взаимосвязи между учеными и научными коллективами, процессы кооперации, необходимые для получения значимых научных результатов во многих областях современной науки; б) так называемый *закон Гудхарта*, выражающийся в де-

формации сути научной работы, ее качества и морального климата в научном сообществе под влиянием внешних критериев «успешности»; в) эффект «критической массы» ученых и растущей отдачи от масштаба в сфере науки (отраженной, например, в гипотезе Кузнецца-Кремера). С учетом этих и подобных им факторов прогнозы последствий усиления конкуренции, «отсева неэффективного балласта» и т.п. мер реорганизации отечественной науки будут еще более пессимистическими.

Как свидетельствуют данные, приведенные в обстоятельном докладе академика С.М. Рогова, российская наука по абсолютным своим размерам (и, тем более, по объемам финансирования) категорически недостаточна для решения национальных задач [Рогов, 2013]. Поэтому некорректно думать, что, сократив ее путем «жесткого аудита», можно в итоге получить «компактную, но эффективную науку»: если абсолютный результат не будет достигнут, любые удельные показатели эффективности теряют смысл.

Прирост финансирования и прирост продуктивности научных работников

В описанных выше моделях по умолчанию предполагалось, что продуктивность отобранной научной элиты вырастет после ранжирования ученых и перераспределения в ее пользу дефицитных материальных ресурсов. Однако вполне возможно, что концентрация ресурсов у высокопродуктивных лидеров приведет к столь значимому росту их продуктивности, что это компенсирует потери значительной части научного потенциала страны, предсказанные в предыдущем разделе. В отличие от прочих факторов, не учтенных в простейших моделях реформирования российской фундаментальной науки, это вероятное обстоятельство свидетельствует как раз в пользу ранжирования ученых и усиления конкуренции между ними, а не против этой меры.

Поскольку предполагается повысить отдачу от науки путем концентрации финансовых ресурсов у немногочисленных лидеров, целесообразно оценить уровень возможного значимого прироста их индивидуальной продуктивности и итоговой суммарной продуктивности российской науки в целом в случае реализации предложенных стратегий. Аналогичный вопрос будет правомерен и в отношении отсеянного балласта. Вполне возможно, что низкая продуктивность работы многих научных сотрудников в настоящее время в первую очередь вызвана низким уровнем их финансирования, и простое его повышение позволит существенно повысить их научную результативность.

Для ответа на эти вопросы авторы настоящей статьи также предложили простую математическую модель, исходными параметрами которой выступают:

- 1) уровень дохода, получаемого ученым непосредственно за НИР;
- 2) уровень его базовых материальных потребностей;

3) альтернативная ставка зарплаты (за подработку, не связанную непосредственно с фундаментальными НИР).

Основанием предложенной авторами модели служит следующая гипотеза: дефицит базового финансирования, выделенного ученому для его свободных научных поисков, побуждает его искать подработку, отрывая его от основной исследовательской работы. Также предположим, что задача максимизации денежного дохода для ученого не актуальна – он нацелен, прежде всего, на научный поиск при условии достойного удовлетворения базовых материальных потребностей. При 100%-ном удовлетворении этих потребностей за счет зарплаты, получаемой за НИР, ученый будет посвящать фундаментальным исследованиям весь календарный фонд своего рабочего времени. Напротив, при значительном дефиците базового финансирования и при низкой ставке оплаты альтернативной работы ученый будет вынужден практически все свое время посвящать подработке в ущерб основной профессии. В то же время, именно у сотрудников, работающих «на стороне» по низким ставкам, наиболее высок потенциал *относительного* роста производительности их труда в качестве ученых при возможном повышении зарплаты по основному месту работы: базовое финансирование будет покрывать большую долю потребностей, так что появится возможность отказаться от низкооплачиваемой рутинной подработки в пользу НИР. В эту категорию работников, в частности, попадают молодые ученые, которые еще не имеют авторитета, деловых связей и опыта работы во внеученых сферах деятельности (соответственно, их ставки оплаты альтернативных работ крайне низки). Основным видом подработки для многих из них, как правило, становится преподавание.

Особо подчеркнем, что уровень базовых материальных потребностей индивидуален и существенно меняется на протяжении жизненного цикла ученого. Так, наивысшая объективная потребность в средствах характерна для молодых ученых, которым необходимо обзавестись жильем и прочим имуществом, создать семью, воспитывать детей. Именно в этом возрасте, при данном уровне базового финансирования, ученый в большей степени (по сравнению со своими зрелыми коллегами) будет озабочен поиском дополнительных источников дохода в ущерб основной исследовательской деятельности. В то же время как раз молодой возраст считается наиболее продуктивным для генерации оригинальных идей и осуществления «прорывного» научного поиска. Такое противоречие настоятельно требует специального решения материальных проблем именно молодых научных сотрудников.

Рассмотрим теперь вероятные эффекты позиции, согласно которой научное сообщество состоит из лидеров и малопродуктивного балласта, притом что и те и другие могут находиться в разных материальных условиях. Разумеется, при одинаковых базовых потребностях и ставках оплаты «рутинной» работы истинные лидеры всегда будут продуктивнее своих ординарных коллег. Тем не менее, как показывают результаты расчетов по

описанной модели, истинно высокопродуктивный ученый при недостаточности благоприятных условиях может сравняться по текущей результативности с посредственным или даже уступать ему. Такое может иметь место, если уровень базовых потребностей лидера высок, либо он вынужден подрабатывать по относительно низким ставкам. Этот факт свидетельствует о том, что текущая результативность может вовсе не соответствовать истинному научному потенциалу работника при достаточном базовом финансировании.

Наконец, проанализируем, к каким последствиям может привести увеличение базового финансирования: поможет ли оно выявить истинное превосходство лидеров с точки зрения научной результативности и каков ожидаемый прирост числа научных результатов для лидеров и балласта. Простые примеры показывают, что вполне возможны ситуации, когда потенциально продуктивный ученый, вынужденный прежде тратить большую часть своего времени на подработку, благодаря повышению основной зарплаты многократно увеличивает фонд времени для НИР, и наоборот – его более результативный коллега, который и прежде практически полностью удовлетворял свои базовые потребности, это время существенно не увеличит. В итоге изначальное многократное превосходство второго над первым сменится многократным же превосходством первого над вторым.

Таким образом, и сама продуктивность исследовательской деятельности ученых, и влияние на нее увеличенных базовых ставок финансирования зависят от материального положения этих ученых, их квалификации и прочих факторов. Учет этих различий является дополнительным контраргументом против усиления роли наукометрических критериев оценки эффективности работы ученого: строго говоря, неясно, что именно эти критерии измеряют и что подлежит сопоставлению применительно к разным ученым в процессе ранжирования.

В интервью от 10 февраля 2014 г. [Ливанов, 2014] министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов сказал: «Надо провести реструктуризацию научного сектора – чтобы дать ресурсы тем ученым, которые способны работать на высоком уровне». Однако, как показывает проведенный здесь простейший анализ, до тех пор, пока ученым не будут предоставлены необходимые ресурсы, не представляется возможным определить, кто из них «способен работать на высоком уровне». Мы приходим здесь к тому же выводу, что и в предыдущем разделе статьи: если Россия ставит задачу иметь развитую науку мирового уровня, ей не избежать многократного увеличения *абсолютных* затрат на науку – до уровня, который позволит сделать удельное подушевое финансирование ученых и научных коллективов сопоставимым с мировым (в соответствующей области науки). Только после этого можно будет приступить к отбору и ранжированию ученых, тем более что задача количественного сокращения в сфере науки для нашей страны неактуальна, так что на самом деле придется решать

разве что задачу отбора наиболее перспективных молодых исследователей на смену старшему поколению ученых.

Прогнозирование социально-экономических последствий усиления конкурентных принципов финансирования российской науки

Выделение элиты в научном сообществе, в той или иной форме, приведет на практике к резким социальным изменениям. В базовых моделях реформирования отечественной науки предусматривалась возможность увольнения всех не вошедших в элиту ученых, либо – финансирования части из них. Однако все ученые, получившие финансирование, рассматривались как равноправные атомарные единицы. Вместе с тем подчеркивалось, что подобное «равноправие» не учитывает системного характера научной деятельности и принципа взаимодополняемости участников научных коллективов. В связи с этим можно задать риторический вопрос: почему в ведущих научных державах мира, располагающих достаточным количеством нобелевских лауреатов, не увольняют всех ученых, помимо этих признанных лидеров?

На самом деле, малочисленная элита, в отсутствие уволенного балласта, не сможет не только поддерживать абсолютный уровень продуктивности национальной науки, но и сохранить свою удельную эффективность, поскольку последняя во многом была обусловлена взаимодействием с «малопродуктивными» коллегами. Это понимают, судя по их предложениям, и сами реформаторы науки, и предполагаемые бенефициары – кандидаты в элиту. Конкретные предложения, как правило, предусматривают выделение малочисленной элиты именно как адресата и распорядителя выделяемых на науку средств; в рамках же своего бюджета ее субъекты вольны нанимать любое число помощников и исполнителей. Такова суть идеи о «1000 лабораторий», а также предложения о введении института постоянных сотрудников РАН и нанимаемых на временные контракты прочих научных работников.

Таким образом, в реальности полного увольнения научного балласта не произойдет, но его роль и социальная структура научного сообщества существенно изменятся. Можно утверждать, что с социальной точки зрения подобные институциональные изменения приведут к глубокому экономическому, правовому и статусному неравенству ученых. По сути, узаконивается «научный феодализм» и даже «научное рабство». Единичный распорядитель бюджетных средств сам волен выбирать исполнителей, не обладающих аналогичной рыночной властью, и заключать с ними соглашения на более выгодных ему условиях. Они могут – и, вероятнее всего, будут (как показывает опыт работы российских ученых за рубежом в сходных условиях) – практиковать в отношении наемных помощников существенное «поражение в правах», даже по сравнению с нынешним низкооплачиваемым, но самостоятельным научным работни-

ком. Это коснется не только уровня зарплаты, но и профессионального статуса ученых, а также авторства научных результатов.

Не следует путать такое положение дел с традиционной для нашей страны организацией науки, в рамках которой младшие по должности научные сотрудники подчинялись старшим, но пользовались определенными правами именно как самостоятельные ученые, как сотрудники государственных НИИ (нарушения этих прав не отменяют того факта, что официально эти права за ними признавались). По сути дела, вместо большого количества обладающих соответствующими правами научных работников (подотчетных государству, официально получающих от него средства, а также подчиненных руководителям институтов и их подразделений исключительно в рамках прозрачных должностных обязанностей) в научном сообществе предлагается идентифицировать полноправную элиту и ущемленное в правах с помощью экономических механизмов большинство. Являются ли такие социальные изменения в российской науке желательными – вопрос, выходящий за рамки данной работы, однако необходимо недвусмысленным образом заявить о возможности таких изменений.

С учетом сказанного, можно более точно прогнозировать, как изменится суммарная продуктивность научной работы в России вследствие реализации исследуемых здесь реформаторских предложений. Даже без учета эффектов наподобие закона Гудхарта¹ этот показатель не будет существенно меняться (или не изменится вовсе), поскольку отсеянный научный балласт будет по-прежнему продолжать работу, пусть и в ином качестве. Также можно прогнозировать резкое повышение формальной продуктивности (а вслед за этим – и профессионального статуса) выделенной элиты, поскольку распорядитель средств сможет рассчитывать на соавторство в тех работах, которых он непосредственно не выполнял, на приоритетное и даже на единоличное авторство. Подобная практика и прежде имела место в отечественной науке, когда даже младшие научные сотрудники формально обладали теми же правами, что и более авторитетные их коллеги, однако эти явления воспринимались именно как нарушения этического и юридического характера. В то же время в условиях подлинного «научного феодализма» (закрепленного на уровне системы экономических взаимоотношений, а не декларируемого) уже не будет формальных оснований для порицания подобных явлений².

¹ С учетом же этого фактора, продуктивность научной деятельности в России определенно возрастет, поскольку критерии отбора теперь будут непосредственно связаны с публикациями в зарубежных журналах. Относительно малое число таких публикаций у российских ученых позволяет сравнительно быстро повысить их количество благодаря эффекту «низкой базы».

² Говорить о «научном феодализме» в отношении отечественной, советской и постсоветской академической науки стало чрезвычайно модно в рамках информационной кампании за ее радикальное реформирование.

Влияние конкуренции на поведение ученых и моральный климат в научном сообществе

Специального анализа требует активно пропагандируемое представителями власти и самого научного сообщества требование преимущественно конкурсного финансирования науки по сравнению с базовым. Тем самым, не только премии и прибавки к достаточному уровню базового финансирования, но и просто выживание ученого ставится в зависимость от итогов конкурентной борьбы. При этом маловероятно, что участники этой борьбы будут следовать правилам и этическим нормам и руководствоваться стремлением к научной истине, а не соображениями личного выигрыша любой ценой. Следовательно, в соответствии все с тем же законом Гудхарта, усилия ученых будут нацелены именно на успех в конкурентной борьбе, а не на достижение значимых научных результатов. В зависимости от ситуации это может выразиться: а) в отказе от прорывных исследований, связанных с высокими рисками, в пользу более «надежных» (с точки зрения выигрыша), но более консервативных; б) в активизации псевдонаучной деятельности по «накрутке» разнообразных индексов и рейтингов; в) в непосредственном нарушении научной этики, в том числе – путем организованной травли оппонентов, формирования блоков, призванных обеспечить выигрыш «своих», и т.п.

При этом в отношении научных оппонентов неизбежным окажется радикальный антагонизм, стремление во что бы то ни стало их «подавить». Такая ситуация в любом случае способствует упрочению позиций «мейнстрима» в той или иной дисциплине, поскольку любые точки зрения, выходящие за его рамки, – удобная и «допустимая» цель для уничтожения их апологетов на фоне снижения стимулов к научным рискам и инсайтам. В такой обстановке рождение и развитие действительно инновационных научных концепций практически невозможно.

При необходимости можно обосновать формально, почему антагонистическая конкуренция провоцирует неэтичное поведение (причем на любых, не только научных, рынках). Можно представить данную ситуацию как биматричную игру отдельного ученого с научным сообществом. Ученый имеет возможность выбрать одну из двух стратегий:

- 1) добросовестно заниматься исследованиями, опираясь на работы коллег и соперничая с ними в рамках научной этики;
- 2) заниматься преимущественно конкурентной борьбой, подчиняя научную работу и поведенческие принципы конечному выигрышу.

Согласно классической пирамиде мотиваций А. Маслоу, на нижней ее ступени находятся базовые потребности, на последующих – нематериальные, в том числе моральные стимулы. К последним относятся самоуважение и уважение коллег, а также удовлетворенное честолюбие (например, вследствие приоритетного авторства или научного открытия). К подобным «благам второй очереди» можно отнести и материальные премии, дополняющие достойный базовый уровень оплаты труда ученого.

Если от выигрыша в конкурентной борьбе зависит только распределение благ второй очереди, а базовый уровень имеет гарантированное обеспечение, то для многих ее участников антистимулы к нечестному поведению (общественное порицание, совесть) вполне могут взять верх над мотивацией к удовлетворению честолюбия или получению дополнительных материальных бонусов. Такие ученые предпочтут честно искать научную истину, хотя, разумеется, найдутся и такие, кто выберет победу в конкурентной борьбе. В этом случае ситуация с формальной точки зрения выступает аналогом известной «дилеммы заключенного». Здесь *равновесие Нэша* (т.е. сочетание стратегий), нарушение которого в одностороннем порядке невыгодно никому из участников (в нашем случае это всеобщая жесткая конкуренция, где и ученый, и его коллеги выбирают стратегию № 2 данной игры), не является тем не менее оптимальным состоянием по Парето (когда уже нельзя улучшить ничье положение, не ухудшив чье-либо еще). Если все игроки поведут себя «неправильно», т.е. откажутся от жесткой антагонистической конкуренции, они одновременно выиграют, поскольку нематериальные стимулы при мирном сосуществовании выше, а ожидаемый материальный выигрыш – как минимум не меньше того, который возможен в условиях жесткой конкуренции, поглощающей часть выделяемых ученых ресурсов. Как и в других ситуациях данного типа, общество (в данном случае – научное сообщество) может установить правила, предписывающие всем игрокам выбирать «общественно оптимальную» стратегию, и наказывать за их нарушение.

Если же ученые поставлены в условия «игры на выбывание», антистимулы к нечестному выигрышу в конкуренции для всех ученых, независимо от их индивидуальных предпочтений, априори окажутся слабее желания выжить (по крайней мере, оставаясь в профессии)¹. При этом следует подчеркнуть, что стратегия № 2 уже никому не гарантирует выживания и продолжения работы, она только дает шанс выиграть необходимые для этого материальные ресурсы, тогда как стратегия № 1, избранная в одностороннем порядке, такого шанса ученому заведомо не оставляет. Подчеркнем, что такая ситуация не обязательно вызвана общим дефицитом финансирования науки. Даже при достаточном объеме выделяемых средств сами правила распределения финансирования вполне могут искусственно вовлечь ученых в такую ситуацию («победитель получает все»), хотя средний уровень ресурсной обеспеченности и позволяет этого избежать. Очень часто «бои гладиаторов» между учеными устраиваются преднамеренно, с ясным пониманием их последствий для научного сообщества и для общества, ориентированного на научный результат в целом.

¹ Впрочем, и в таких ситуациях всегда находились люди, ставящие благо окружающих выше своего физического выживания; в то же время, такое поведение вряд ли может считаться массовым.

Влияние наукометрических показателей на развитие различных научных направлений

Как повлияет усиление роли наукометрии на процессы развития самой науки, зарождения научных школ, смену научных концепций и т.п.? В качестве примера мы обратимся к экономической науке.

Прежде всего, следует отметить, что экономика не является «нормальной наукой» в терминологии Т. Куна, т.е. такой наукой, в которой существует единственная общепризнанная парадигма. Причина этого – в высокой неопределенности экономических научных знаний. На ранних стадиях исследования данной области неопределенность оценок (значений) тех или иных величин, возможной эффективности той или иной политики) настолько высока, что нельзя сказать, что какая-то концепция более верна, чем прочие. Это обстоятельство предоставляет заинтересованным сторонам широкие возможности для манипулирования общественным мнением и информационного управления (в том числе – посредством образования, экспертно-аналитической деятельности, пропаганды своих взглядов в СМИ и научно-популярной литературе). Заинтересованные стороны и политизированные группы ученых акцентируют внимание на «желательных» для себя аспектах изучаемых явлений. Когда выявляются отношения доминирования между альтернативными концепциями, одна из них может быть признана истинной и принята в качестве парадигмы. Именно в этот момент наука, строго говоря, становится «нормальной». Важно подчеркнуть, что сам этот термин имеет еще и тот смысл, что в такой науке оправданно установление жестких норм, отсекающих заведомо ошибочные суждения и ненаучные подходы [Сокулер, 2001].

В то же время, как показано в ряде работ, вполне возможно, что высокая неопределенность знаний имманентно присуща экономике и другим общественным наукам не только в силу сложности объекта изучения, но, главным образом, вследствие его изменчивости; именно эта особенность исключает последовательное уточнение моделей и теорий на протяжении исторического времени, характерное для естественных наук. Экономисты зачастую не успевают выявить отношения доминирования между разными концепциями, прежде чем произойдет очередная структурная перестройка системы, в результате чего все оценки приходится выстраивать заново. При этом на ранних стадиях своего развития принятая парадигма еще не успевает доказать свое объективное превосходство над прочими, однако она принимается, а разногласия между учеными сходят на нет. Как пишет Т. Кун, «их исчезновение обычно вызвано триумфом одной из допарадигмальных школ, которая, в силу ее собственных характерных убеждений и предубеждений, делает упор только на некоторой особой стороне известных фактов» [Кун, 2001, с. 36].

За счет чего же удастся навязать научному сообществу, образовательной системе и обществу в целом еще или в принципе несовершенную парадигму? В работе З.А. Сокулер [Сокулер, 2001] справедливо, на наш

взгляд, отмечено, что такая ситуация «воспроизводится всякий раз, когда в борьбе различных групп с различными мнениями одна из них получает доступ к власти». Именно этим объясняется преобладание либерально-неоклассического мейнстрима в российской экономической науке и в сфере образования. Впрочем, усиление позиций мейнстрима благодаря внедрению формальных наукометрических показателей свойственно любой отрасли науки. Поскольку эти показатели (главным образом, библиометрические) основаны на количестве публикаций и случаях их цитирования, мейнстрим, по определению (как «основное течение»), имеет более сильные позиции, чем прочие научные школы. В то же время ранжирование ученых, «фильтрация» научного сообщества подразумевают выделение относительно немногочисленных «лидеров», так что представители мейнстрима объективно имеют большие шансы попасть в число отобранных по сравнению с прочими научными школами. Включается положительная обратная связь, которая усиливает позиции и без того лидирующей научной школы и приводит к монополизации ею «права на истину».

Таким образом, применительно к экономике и некоторым другим политизированным дисциплинам с высокой неопределенностью оценок (т.е. не относящимся, по крайней мере на данном этапе, к «нормальным наукам») можно утверждать, что введение формальных библиометрических показателей приведет к упрочению господства «мейнстрима» без достаточных на то научных оснований. Такая монополизация права на истину в «ненормальных» науках принципиально недопустима. В то же время введение библиометрических критериев не без оснований рассматривается неолиберальным крылом российской экономической науки как возможность окончательно монополизировать право на истину в экономике, а его оппонентами – как угроза гармоничному развитию научного знания, свободе научного поиска, объективности научных результатов.

Упования на то, что формальные наукометрические показатели вводятся лишь как вспомогательные и справочные индикаторы и критерии, представляются совершенно не обоснованными. Напротив, с точки зрения теории управления в социально-экономических системах вполне логично, что введение этих формальных показателей преследует определенные цели, а именно – служит для того, чтобы таким образом обосновать вытеснение из профессии определенной части научного сообщества (в первую очередь – оппонентов). Здесь уместно процитировать высказывание одного из ведущих экономистов институциональной школы Д. Норта: «Институты не обязательно – и даже далеко не всегда – создаются для того, чтобы быть социально эффективными; институты или, по крайней мере, формальные правила, создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил» [Норт, 1997, с. 17].

Именно с этой точки зрения и следует рассматривать предложения, нацеленные на усиление конкуренции и роли наукометрии в российской

науке. Как свидетельствует анализ, предпринятый авторами настоящей статьи, эффективность таких институциональных изменений с точки зрения количества и качества научных результатов не бесспорна. В то же время предлагаемые наукометрические новации чреваты целым рядом социальных и нравственных рисков применительно к морально-психологическому климату в научном сообществе, а также с точки зрения качества и объективности научных результатов, устойчивого развития научных направлений.

Список литературы

1. Игра в цифирь, или Как теперь оценивают труд ученого (сборник статей о библиометрике). – М.: МЦНМО, 2011. – 72 с.
2. *Клочков В.В., Крутина С.М.* Анализ экономической эффективности и рисков применения наукометрических критериев в управлении наукой // Вестник экономической интеграции. – М., 2013 а. – № 8. – С. 79–90.
3. *Клочков В.В., Крутина С.М.* Экономический анализ эффективности ранжирования научных работников по наукометрическим критериям // Экономический анализ: Теория и практика. – М., 2013 б. – № 44. – С. 14–29.
4. *Кун Т.* Структура научных революций. – М.: АСТ, 2001. – 606 с.
5. *Ливанов Д.В.* Я понимал, что надо делать достаточно серьезные и непопулярные шаги // Коммерсантъ. – М., 2014. – 10 февраля. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2404422>
6. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
7. *Рогов С.М.* Шоковая терапия и «реформа РАН»: Реалии российской науки. – М.: ИСКРАН, 2013. – 48 с.
8. *Сокулер З.А.* Знание и власть: Наука в обществе модерна. – СПб.: РХГИ, 2001. – 239 с.
9. Управление большими системами: Сб. трудов / Под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева. – М.: ИПУ РАН, 2013. – Спец. вып. № 44: Наукометрия и экспертиза в управлении наукой. – 568 с. – Режим доступа: http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=19079

Е.А. Володарская

**РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КАК ПРЕДМЕТ НАУКОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

Некоторое время назад стало модным, подводя итоги года, выбирать слово года. Словом-победителем в 2013 г., по версии американского словаря Merriam-Webster, стало слово «наука». Список слов-победителей прошедшего года был составлен на основе поисковых запросов пользователей в онлайн-словаре Merriam-Webster Online¹. Основным интерес вызывали слова, получившие значительное увеличение запросов по сравнению с предыдущим годом. Согласно информации, размещенной на сайте Merriam-Webster Online, слово «наука» получило увеличение на 176%. Такой удивительный, на первый взгляд, выбор отражает социально-культурный контекст, актуальные дискуссии об изменении климата, образовательной политике, псевдонауке. Иными словами, интерес к познанию, поиску нового, открытиям, интуиции в обществе не ослабевает.

Если представить себе аналогичный список слов года, составленный по результатам опроса отечественных ученых, то с большой долей вероятности призовое место также займет слово «наука». Но если в американском словаре на второе место в этом рейтинге вышло слово «познание», то в нашем гипотетическом списке слов года серебряную медаль, без сомнения, получит словосочетание «реформа РАН».

Хотя одно и то же слово занимает первую строчку, но, по версии американского словаря, фокус внимания сосредоточен на предметной логике науки, научном познании, содержании исследовательской деятельности ученых, в то время как распределение приоритетов в предполагаемом отечественном списке слов года связано, в первую очередь, с формой, моделью организации научных исследований и разработок.

Осуществляемая правительством реформа РАН, безусловно, касается не только профессионального научного сообщества, работавшего в рамках Российской академии наук (в настоящее время – в структуре Феде-

¹ Merriam-Webster Online: Dictionary and thesaurus. – Mode of access: <http://www.merriam-webster.com/>

рального агентства научных организаций), но и всей российской науки в целом, а также широких слоев нашего общества, интересующихся научными исследованиями. Реформа РАН становится новым предметом анализа, теоретического осмысления и формулировки ответов на практические вопросы для тех дисциплин, в предметное поле которых входит наука как особый исследовательский объект. Речь идет о цикле науковедческих дисциплин, одной из которых является социальная психология науки.

Осуществление реформы РАН можно рассматривать как новый практический запрос, который требует конструктивного теоретического обоснования. В данном контексте необходимым становится и всесторонний социально-психологический анализ проблемы взаимодействия науки и общества в новых условиях. Переход от конфронтации к кооперации предполагает отлаживание механизмов эффективного диалога между отечественной наукой в лице РАН и обществом, что является залогом как выживания и развития РАН, так и процветания общества, для которого наука выступает основой конкурентоспособности экономики и научно-технического потенциала страны.

В сложившейся ситуации конфронтации науки и власти использование знаний о переговорном процессе представляется уместным и своевременным. Переговоры отражают взаимодействие социальных субъектов в форме диалога, предполагающего согласование интересов и направленное на разрешение реального конфликта [Спэнгл, Айзенхарт, 2009]. В условиях конфликта процесс переговоров осложняется угрозами, ультиматумами со стороны участников взаимодействия, а поведение сторон отличается «жесткостью» – они ориентированы на продвижение, усиление своей позиции.

Предметом обсуждения на переговорах является значимая для обеих сторон проблема, а интересы сторон, ведущих переговоры, частично совпадают, а частично расходятся. Это делает переговоры противоречивыми, поскольку привносит в них одновременно элементы кооперации и конфронтации. Переплетение интересов и невозможность реализовать их в одиночку делает участников переговоров взаимозависимыми. Важно отметить, что стороны должны понимать свою взаимозависимость, в противном случае будут доминировать попытки разрешить конфликт путем односторонних действий. Каждая из сторон имеет свою позицию и в процессе переговоров стремится ее отстаивать, приводит соответствующие аргументы и доводы в свою пользу.

Структурно-содержательное своеобразие феномена переговоров раскрывается через использование понятия «стратегия» переговорного процесса. Важно уметь выбирать стратегию переговоров, адекватную запросам взаимодействующих социальных групп. Хотя это очень непростая задача. Например, в ходе обсуждения закона о реформировании РАН академик Ж.И. Алферов критиковал позицию нового президента РАН В.Е. Фортова за используемую им стратегию уступок при переговорах с

властью о содержании проекта документа. Нобелевский лауреат настаивал на использовании более эффективной, по его мнению, стратегии конкуренции, предполагающей отстаивание собственной точки зрения.

Главная функция переговоров состоит в совместном решении проблемы. Продуктивность данного решения зависит от степени заинтересованности участников в поиске взаимоприемлемого решения. Факт того, что реализация наиболее болезненных составляющих реформы РАН была отложена на один год, свидетельствует о некотором «замораживании» дальнейшего развития конфликтных отношений академического сообщества и власти. Возможно, это было связано с тем, что обе стороны признали, что пока не готовы к совместным решениям или считают их преждевременными. Отсрочка может способствовать частичному пересмотру решения, поскольку сторона науки осталась не удовлетворена ранее достигнутым соглашением и заявляет о стремлении изменить его в свою пользу. Также в результате продолжения переговоров возможна выработка нового соглашения, например на основе воздействия на общественное мнение с целью разъяснения широким кругам своей позиции, оправдания собственных действий.

Вопрос выбора адекватной стратегии переговорного процесса – это теоретический вопрос, решать который надо с обязательным учетом социально-психологических особенностей этого феномена. Поэтому выстраивание эффективного диалога в форме переговоров между РАН и обществом представляется чрезвычайно важным и актуальным. Для социальной психологии научной деятельности открываются новые перспективы, позволяющие выйти на макроуровень анализа с акцентом на осмысление проблем больших социальных групп.

Важно учитывать целевые аудитории взаимодействия науки с более широким социальным окружением. Общение с бизнесом, государством, субъектами образовательного процесса намечает разные направления построения диалога исходя из ожиданий, потребностей, интересов разных социальных групп. Бизнес заинтересован, в первую очередь, в извлечении прибыли из нового научного знания. Научная сфера способствует притоку в бизнес высококвалифицированных творческих специалистов, способных к поиску новых, нетривиальных, рискованных решений, продуктивных в условиях нестабильности среды. Следовательно, ученые при взаимодействии с представителями этих групп должны делать акцент на экономической составляющей использования достижений своей исследовательской деятельности.

Государство, власть оценивают, насколько фундаментальное знание способствует созданию опоры для прогресса и поддержания конкурентоспособности страны. Наука способствует росту благосостояния и безопасности граждан, обеспечение которых является основной задачей государства. Поэтому наука является важным социальным механизмом, который требует государственной поддержки. Ученые в подобном диалоге высту-

пают, прежде всего, в качестве экспертов при принятии управленческих политических решений.

Включение открытий и изобретений в образовательный процесс нацелено на формирование научной культуры и мировоззрения граждан. Педагогическая функция науки реализуется в процессе передачи полученного знания, в обучении, формировании научного мировоззрения и культуры молодых поколений. Новые научные знания транслируются в педагогическом общении ученика и учителя, студента и преподавателя. Наука участвует в формировании образовательных траекторий, предполагающих индивидуальные пути постижения нового и развития интеллектуального капитала молодых людей. В данном случае речь идет о необходимости понятного, интересного, творческого изложения материала.

Интересной для науковедческого знания проблемой является эмоциональная составляющая исследовательского поиска. Научная деятельность, помимо внутренней предметной логики, должна способствовать получению удовольствия от продуцирования и использования нового знания. Идея должна доставлять ученому удовольствие.

Условия научной продуктивности надо искать в чувствах, которые испытывает ученый в своей деятельности и которые делают эту деятельность привлекательной для него. Научная мысль – не сухая логика и рациональность, она насыщена чувственным содержанием. Наука как набор знаний подвержена конфликту чувств [Мирошников, 1976]. Ведь наука – это борьба за доказательство того, что есть правда, а что – ложь. Психологическая основа научной деятельности выступает движущей силой развития науки. Выделяются, например, интерес к проблеме, спонтанность мысли, преданность делу, доверие к результатам, удовлетворенность, гордость, «красота мысли», «музыкальность фраз» [Nouvel, 1998].

Идея чувственной основы науки содержится в трудах М. Полани. Он говорит о чувстве крайнего возбуждения, которое испытывает ученый в момент открытия. «Только эти эмоции может испытать ученый, которые только наука и может ему дать», – отмечает исследователь [Полани, 1985, с. 134].

После посещения научных библиотек, выставок у людей должно остаться чувство удовольствия от вида технических средств, машин, инструментов научного исследования. Надо, чтобы наука не только просвещала, но и очаровывала, например, как произведения искусства. Именно это чувство удовольствия ведет к поддержанию дальнейшего интереса, желания продолжить знакомство с наукой.

Возвращаясь к проблеме стратегий переговорного процесса в системе «наука – общество», стоит выделить эмоциональную составляющую исследовательской деятельности как элемент более широкого проблемного поля эмоционального интеллекта участников диалога. Интерес психологии к особенностям, формам, механизмам познания людьми друг друга обусловлен не только развитием теоретического научного знания, но и

практической потребностью повышения эффективности межличностного и межгруппового общения.

Эмоциональный интеллект отражает осознание субъектом собственных эмоциональных реакций и состояний, индивидуальное отношение к происходящему [Люсин, Марютина, Степанова, 2004]. Умение разбираться в многочисленных нюансах эмоциональных проявлений и воспроизводить их необходимо также и ученым при трансляции, продвижении полученного нового знания.

Подход к оценке исследовательской деятельности, ориентированный, в первую очередь, на экономический результат, в полной мере проявился в реформе Российской академии наук. Доминирующими чувствами в рядах научного сообщества стали уныние, безысходность, страх и т.д. Ученые видят в реформе угрозу предметному содержанию исследовательской деятельности, внутренней логике развития науки. Государство, власть акцентируют внимание на внешних, экономических, статистических показателях научной результативности. Налицо конфронтация научного сообщества и государства, вызванная непониманием, а значит, неуспешной двусторонней коммуникацией.

Наука в СМИ: Методологический подход

Изучение системы коммуникации между наукой и обществом представляет собой пример междисциплинарного синтеза социально-гуманитарного и естественно-научного знания. Наука существует не ради поиска нового знания для самой себя, а ради того, чтобы это знание было принято и присвоено не только коллегами-учеными, но и обществом. Большую роль в трансляции научного знания играют средства массовой информации.

В социальной психологии традиционно применяется модель коммуникативного процесса Г. Лассуэла [Андреева, 1994]. Модель включает в себя пять элементов:

- 1) кто передает сообщение – Коммуникатор;
- 2) что передается – Сообщение;
- 3) как осуществляется – Канал;
- 4) кому направлено сообщение – Аудитория;
- 5) с каким эффектом – Эффективность.

Такая модель очень эффективна при трансляции, трансфере нового знания за пределы научного сообщества.

Рассмотрим возможности применения социально-психологической модели коммуникации на примере научной популяризации в системе взаимоотношений между наукой и обществом.

Коммуникатор. Среди ученых распространено представление о том, что наука непонятна широкой общественности, а перевод строго научного языка на повседневный язык изменит смысл и суть научного знания. На самом деле научная популяризация возможна и необходима. Ученые

должны делать усилия, чтобы быть понятыми обществом. Ведь научные результаты необходимы для технического и социального прогресса, а значит, важен диалог науки и общества, которое питает науку и имеет право интересоваться результатами ее деятельности.

Вопрос о том, кто должен рассказывать о науке, остается открытым. Ученый не всегда может понятно и интересно передать суть своей профессиональной деятельности неподготовленному читателю. Но и журналист, владеющий навыками работы с текстом, не может обладать глубокими знаниями содержательной дисциплинарной специфики. На наш взгляд, коммуникация науки и общества станет более эффективной, если научная популяризация будет осуществляться совместными усилиями научного и журналистского сообществ.

Журналист, социально-перцептивный ряд которого имеет субъективный характер, может определенным образом отбирать информацию, подтверждая выдвигаемые им гипотезы. Это влияет на используемые источники информации; вопросы, задаваемые ученым; выбор наиболее значимых, с точки зрения журналиста, аспектов научного факта, события, личности ученого. Затем выбранная информация о науке интегрируется в целостный, внутренне непротиворечивый конструкт, который транслируется обществу.

Журналист рассматривается как воспринимающий, вовлеченный в исследовательский процесс субъект. Возникают проблемы компетентности журналиста в материале, так как он осуществляет категоризацию, конструирование социальной реальности, о которой рассказывает. СМИ, рассказывающие о науке, вовлекают аудиторию в процесс формулирования умозаключений, собственных выводов по поводу описываемого события или научного факта, непосредственным свидетелем которых люди не были.

Сообщение. Структура процесса научной популяризации включает в себя, во-первых, отбор необходимой, с точки зрения журналиста, информации и, во-вторых, конструирование социальной реальности науки в обществе. Популяризация науки как форма распространения научного знания материализуется в трех формах: тексты (учебники, пресса, передачи на радио), картинки (фильмы, картины, схемы), вещественные объекты (экспонаты в музеях или на выставках). Популяризация есть плод коллективного труда, где личностное влияние ученого гораздо меньше по сравнению с авторской статьей в специализированном научном журнале. При популяризации науки встает вопрос специфических средств подачи материала, форм и способов информирования неспециалистов. Фокус интереса должен быть сосредоточен на принципах отбора, восприятия, передачи аудитории информации о науке.

Наука представляет собой сосредоточение произведенных учеными научных знаний. Научное знание материализуется, прежде всего, в печатанных текстах, где есть буквы, знаки и картинки, в которых кодируется содержание, нацеленное на понимание небольшого числа специалистов.

Словарь научного языка очень богат и очень специфичен: каждая микродисциплина имеет свой жаргон, непонятный всем ученым. Сленговость дисциплинарного языка науки расширяется все больше и больше и выступает препятствием для развития междисциплинарности в качестве источника прогресса самой науки. Ученые при изложении материала тщательно следуют требованиям и давлению языка. Научный язык все чаще становится недостаточным для описания новых научных концептов. Поэтому используются знаки, математические формулы и другие символы.

Необходимость выхода научного результата за рамки научных учреждений способствует развитию помимо строго научных трудов другой формы фиксации научного знания – информации о научных достижениях в широкой прессе, научно-популярных книг, отчетов научных учреждений, заявок на гранты и т.д. В целом эти материалы написаны учеными-специалистами для других ученых – неспециалистов и являются попыткой объяснить открытие, сделанное в узкой предметной области.

В силу того что в процессе распространения научного знания передается только часть слов, картинок, меньше графиков и очень редко формулы, то возникает упрощение первоначального смысла, что вызывает критику в адрес популяризации науки.

Важно выделять проблему знаний как составную часть научной культуры. Акцент на воображение, метафоричность при восприятии научной информации продуктивнее при опоре на уже существующие научные знания. Популяризация не сводится к упрощению, тривиальности. Она базируется на обыденных представлениях, мифах, идеях, которые сформировались у не посвященного в науку человека.

Но нужно требовать усилий и от публики, показывать ей границы непознанного. Должна быть дифференциация способов представления материала. Например, места для продвинутых специалистов с более абстрактным материалом, для начинающих с конкретными фактами, для просто любопытных, чтобы можно было попробовать самим.

Канал коммуникации. Разные технические средства, используемые в научно-популярных СМИ, находятся в фокусе внимания исследователей. Выявлены приемы реконструкции научной реальности, отличающейся от истинного содержания научного знания средствами телевидения. В качестве значимых параметров освещения науки на телевидении описаны характеристики текста (содержания сообщения, форма подачи материала, аргументированность, приукрашивание, свойства риторики); особенности создания программ (сочетание информационной насыщенности и литературной фабулы сюжета, параметры визуального ряда, мера заинтересованности создателей в теме программы, субъективное отношение к сюжету); параметры восприятия программы (понятность темы, доверие к ведущим, интерес к ученым и к журналистам, личная привлекательность ведущих и участников программы) [Silverstone, 1989].

Использование возможностей радио для популяризации науки предполагает акцент на форму подачи информации о содержании деятельности ученого, раскрытие индивидуально-личностных особенностей человека науки, умение просто и интересно рассказывать о сложном. Для поддержания интереса слушателей используются следующие приемы: раскрытие социокультурных или философских предпосылок исследовательской ситуации, взгляд на научный текст как на литературное произведение, соотнесение обыденного и научного взглядов на один и тот же предмет [Русская наука и СМИ, 2004].

Важным каналом распространения научного знания выступает научная библиотека. Будучи уникальным социальным организмом распространения, посредничества и обсуждения, научная библиотека вносит значительный вклад в повышение научного уровня общества. Среди перспективных направлений деятельности научной библиотеки можно указать на создание дистанционного доступа для пользователя. Это увеличивает целевую аудиторию, так как не будет необходимости личного присутствия в библиотеке. Научная библиотека все более играет роль посредника, помощника, медиатора научного общения читателя и источника информации. Речь идет о развитии новых информационных технологий, становящихся средствами связи читателя и библиотеки, распространения, продвижения научных знаний. Итогом деятельности научной библиотеки должно стать ее индивидуальное лицо не массовика-затейника, развлекающего потенциального пользователя, а лицо умного собеседника, заинтересованного в диалоге с читателем, отвечающего его познавательным потребностям современными информационно-коммуникационными технологиями, побуждающего к поиску и развитию [Володарская, 2012].

В настоящее время речь идет об интегрированных технических возможностях коммуникации науки и общества. Можно говорить о появлении нового измерения, новой реальности существования научного факта.

Например, медиатека, как новая форма технически опосредованного общения читателя и научных фондов, может быть построена с учетом глубины интереса, уровня подготовки. Начиная с доступных форм поиска простой информации на экране компьютера, можно постепенно углублять и расширять поле поиска, усиливать специализированность и специфичность запроса, делая его увлекательным, полезным, интересным.

Аудитория. Средства научной популяризации имеют разную адресность, что необходимо учитывать при изложении материала. Можно говорить о специфических научных изданиях, предназначенных для специалистов-ученых. Подобные издания являются ареной научного общения исследователей, развития и распространения научного знания, сохранения и приумножения интеллектуальной традиции. В силу существования институтов редакторства и экспертизы статей научные издания выступают средством кристаллизации качества исследований.

Другой вид СМИ, посвященных науке, предназначен не для специалистов, а для людей, интересующихся проблемами науки. Это собственно научно-популярные издания, нацеленные на перевод строго научных объяснительных схем на язык обыденного восприятия, который способствует повышению у читателей интереса к научному знанию и, следовательно, расширению аудитории. Учитывая разноплановость интересов социальных групп, научная популяризация должна обладать спектром стратегий адаптации научного знания к разным культурным уровням и запросам потребителя.

Эффективность. Важно формировать потребность в научных знаниях у разных целевых аудиторий. В процессе коммуникации науки и общества у отдельных целевых групп существуют неодинаковые критерии оценки научной деятельности. Для ученых, вовлеченных в исследовательскую практику, фокус внимания сосредоточен на самом процессе познания, на предметной логике развития научной дисциплины. Поэтому они обращают внимание, в первую очередь, на актуальность, новизну, устойчивость полученного нового факта, идеи, теории.

Для внешних по отношению к науке групп, плохо разбирающихся в сути исследуемых явлений, центр тяжести в оценке переносится на прикладной аспект, практическую ценность полученного результата. В современных условиях функционирования отечественной науки прагматический подход стал преобладающим. В концентрированном виде утилитарный подход к исследовательской деятельности, особенно к фундаментальной науке, проявился в реформе Российской академии наук.

Научное исследование, фундаментальное или прикладное, первоначально представляет собой специфический интеллектуальный продукт. Новое знание, получаемое в результате исследования, не только претендует на включение в педагогический процесс, но и становится информацией, которая позволит создать нужные потребителю продукты и технологии. Потребитель не задумывается о том, как был получен тот или иной продукт, на основе каких закономерностей была разработана та или иная технология. Ученый в данном случае уподобляется иллюзионисту, умеющему делать интригующие фокусы, а наука в глазах общества, с одной стороны, вызывает восхищение, а с другой – уменьшает силу магического мышления [Саго, 1990].

Наука как субъект национальной инновационной системы

Важным направлением социально-психологического анализа эффективного взаимодействия между наукой и обществом является изучение особенностей коммуникаций науки в рамках национальной инновационной системы. Отношение к науке, инновациям – важная составляющая инновационного климата той или иной страны.

Нормативно-правовая база государственного управления определяет ряд коммуникационных механизмов, которые нацелены на кооперацию

между бизнесом, государством и наукой как субъектами инновационного процесса. Так, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. речь идет о механизме технологических платформ, предполагающем, что наука, государство, бизнес-структуры и потребители выработают общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или направления, а также сформируют и реализуют перспективную программу исследований и разработок [Распоряжение Правительства РФ № 2227-р... 2011].

Другой возможной формой коммуникации в рамках национальной инновационной системы выступает обмен информацией о перспективных инновационных проектах между государственными органами и организациями, финансирующими исследования и разработки, и созданными государством институтами развития, способствующими коммерциализации проектов. В последнее время получила признание необходимость организации технико-внедренческих особых экономических зон, наукоградов, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием, кластеров. Поэтому социальная психология должна обратить свое внимание на выстраивание эффективной коммуникации по каналам «государство – наука», «бизнес – государство», «наука – бизнес».

Исследование инновационной деятельности, производства, внедрения инноваций, специфики инновационного мышления, социальной потребности в инновациях, психологических особенностей новатора, характеристик инновационного лидерства и инновационного менеджмента – все эти и другие вопросы не должны остаться без психологического участия и осмысления. Российская академия наук способна сыграть значительную роль в формировании положительного общественного мнения об инновационной активности. Решению этой задачи могут способствовать организация широкой общественной дискуссии, связанной с необходимостью выработки творческого отношения к инновационной деятельности, более активное включение в образовательную политику и новые образовательные стандарты психолого-педагогических знаний и дидактических приемов развития у новых поколений, стремление к творческой самореализации, снижение страха перед принятием рискованных решений.

Мы переживаем ситуацию слома социального консенсуса и возникновения нового видения мира, где неопределенность и изменчивость становятся своеобразной константой. Перед образовательной системой стоит задача формирования инновационного мышления выпускника, нового видения мира, основанного не на ценностях устойчивости и неизменности существования профессиональной сферы, а на использовании творческого потенциала для постоянного движения вперед и адекватного реагирования на изменение условий профессиональной деятельности.

В рамках обучения и воспитания закладывается общее отношение к науке и технике, творчеству, умение и желание учитывать разные точки

зрения и оценивать ситуацию многомерно. Необходимо ставить вопрос об усилении системы непрерывного профессионального образования с учетом постоянно изменяющихся социально-экономических условий, что способствовало бы поддержанию и обогащению новаторского, творческого, культурного уровня профессионала. Стоит внести изменения в программы подготовки будущих педагогов, которые призваны транслировать, воспитывать ценность инновационного мышления и мировоззрения, а значит, и сами должны обладать этими необходимыми профессиональными качествами. Очень важно создать условия для знакомства и участия учащихся в инновационной деятельности на всех стадиях реализации инновационного проекта, требующего решения разнообразных содержательных задач. Включение в программы подготовки специалистов с высшим образованием дисциплин, связанных с инновационной сферой, будет способствовать формированию обобщенного представления об участниках и специфике инновационного процесса, развитию навыков продуктивной коммуникации. Социальная психология должна принимать активное участие в изучении социальных представлений об инновационной сфере, восприятию инновационной сферы как психологического мотора принятия изменений, которые влекут за собой инновации.

Цель предпринятого автором статьи исследования заключалась в изучении особенностей восприятия инноваций в России. Объект исследования – инновационная сфера. Предмет – семантическое наполнение восприятия инноваций. Выборку составили студенты старших курсов разных форм обучения: специалитет, магистратура, бакалавриат.

Для сбора эмпирического материала были использованы метод ассоциаций, направленный на выделение ассоциативного ряда, состоящего из слов, которые начинаются с первой буквы слова-стимула «инновация» (что было осуществлено в форме группового интервью), и метод контент-анализа ассоциаций, полученных в ходе первого этапа исследования. Общий объем полученных ассоциаций составил 47 высказываний. Из них – 27 ассоциаций-существительных (57%) и 20 ассоциаций-прилагательных (43%).

Ассоциации-прилагательные указывают на оценочно-эмоциональные компоненты семантического ряда и могут выступить показателями отношения респондентов к инновациям. 12 ассоциаций-прилагательных были отнесены к группе, описывающей положительное отношение респондентов. Это следующие слова: «идеальный», «новый», «неординарный», «оригинальный», «всесторонний», «амбициозный», «актуальный», «целевой», «целенаправленный», «ценный», «ясный», «яркий».

Отрицательных определений выявлено не было. Восемь ассоциаций носили нейтральный или неявный характер, описывающий неопределенное отношение к инновациям. Это такие определения, как «интеллектуальный», «общественный», «объективный», «вариативный», «амбивалентный», «централизованный», «исторический», «интерактивный».

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что ассоциативный ряд отражает по преимуществу положительное отношение к инновациям со стороны молодого поколения (3/5 всех оценочных утверждений). Хотя 2/5 прилагательных показывают, что отношение только формируется и предполагает специально организованную деятельность по дальнейшему структурированию общественного сознания.

Ассоциации-существительные включают в себя описание содержательных элементов понятия «инновация» (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение содержания ассоциаций-существительных

Категория	Ассоциации
Тип инновации	Идея, Открытие, Информация, Игра, Яндекс
Мотивы, побуждающие к инновациям	Интерес, Незнание, Выигрыш, Власть, Независимость, Исключительность
Требования к инновациям	Образ, Видение, Организация, Востребованность, Цена, Ясность
Издержки инноваций	Алогичность, Циничность, Асимметрия, Апатия

Предварительные результаты эмпирического изучения особенностей восприятия студентами инноваций показывают, что инновационная сфера вошла в содержание общественного сознания молодых поколений россиян, которым предстоит жить и работать в инновационной среде и осуществлять инновационную деятельность. Полученные данные, безусловно, нуждаются в дальнейшей верификации и углублении. Тем не менее они позволяют выявить структурно-содержательное и эмоционально-оценочное своеобразие исследованного семантического конструкта особенностей восприятия инноваций.

Грантовая поддержка научной деятельности

В контексте осуществления реформы РАН важно проанализировать силами социальной психологии, каким образом государственная научная политика способствует реализации наукой своих когнитивно-социальных функций по воспитанию новых поколений ученых, сохранению традиций и преемственности в процессе производства нового научного знания. В связи с этим хотелось бы остановиться подробнее на результатах изучения форм дополнительного стимулирования научной деятельности, рассмотрев в качестве примеров гранты Президента РФ и негосударственного Благотворительного фонда В. Потанина. Статистическое изучение реализации различных форм поддержки научной деятельности раскрывает особенности грантовой помощи научно-педагогическому составу учреждений Российской академии наук и вузов, а также студентам.

Выделение грантов Президентом Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и

докторов наук – осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации». Статистические данные по конкурсу молодых ученых – кандидатов наук (табл. 2) показывают неуклонный рост популярности данного вида грантов, так как общее число заявок за анализируемый период выросло в 4,9 раза (с 700 заявок в 2003 г. до 3440 в 2011 г.).

Таблица 2

Статистика по конкурсу молодых кандидатов наук

Область знания	2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.	
	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки
Математика и механика	28	65	25	121	41	128	40	155	39	139	39	153	30	174	29	183	29	149
Физика и астрономия	50	136	41	183	75	234	74	215	73	212	73	264	58	331	52	303	52	297
Химия	36	78	35	206	70	214	69	265	69	293	69	326	54	386	55	407	55	384
Биология, сельское хозяйство	33	118	34	165	62	192	61	291	60	419	60	363	48	401	48	420	48	463
Науки о Земле, экология	19	54	15	108	47	140	46	177	45	191	45	201	36	197	36	262	36	303
Социальные науки	39	93	40	241	83	276	83	600	83	700	83	673	66	710	66	1252	66	952
Медицина	15	30	15	74	20	66	20	126	24	149	24	142	19	145	19	148	19	142
Технические науки	50	106	70	171	80	244	80	386	80	401	80	438	65	515	69	674	69	594
Информационные технологии	15	20	10	39	16	48	15	98	15	91	15	103	12	111	16	136	16	156
ИТОГО	285	700	285	1308	494	1542	488	2313	488	2595	488	2663	388	2970	390	3785	390	3440

Информированность научного сообщества о подобной форме государственной поддержки науки значительно возросла. Помимо распространения информации и роста интереса к этому виду грантового финансирования прослеживается динамика усиления охвата грантами Президента РФ

молодых ученых. В частности, наибольшее количество грантов было выделено в 2005 г. (494), что в 1,7 раза превышает исходное количество грантов в 2003 г. (285). В 2009 г. общее число грантов несколько снизилось, что, вероятно, связано с финансовым кризисом 2008 г., который не мог не сказаться на финансировании отечественной науки. Но все-таки выделяемое в последний год количество грантов остается значительно выше их первоначального числа. Вместе с тем подсчет соотношения числа заявок и выделяемых грантов показывает значительное отставание выделяемых грантов от потребности в них со стороны молодых ученых.

Таблица 3

Статистика по конкурсу молодых докторов наук

Область знания	2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.		2010 г.		2011 г.	
	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки	Квота	Заявки
Математика и механика	6	16	3	22	15	18	11	14	8	10	10	23	6	25	6	26	6	33
Физика и астрономия	9	16	4	20	9	14	6	10	10	14	8	10	5	21	5	25	5	19
Химия	6	11	2	21	4	10	4	13	6	9	6	19	4	24	4	27	4	21
Биология, сельское хозяйство	6	22	5	28	14	21	5	14	10	27	10	23	6	41	6	41	6	54
Науки о Земле, экология	3	8	3	8	4	7	6	11	5	7	5	11	3	12	3	16	3	20
Социальные науки	6	26	3	47	24	42	25	58	18	68	16	86	9	98	9	137	9	144
Медицина	3	21	2	19	19	22	28	42	22	41	22	42	13	49	13	55	13	64
Технические науки	9	17	2	20	7	11	8	12	16	23	16	35	10	45	10	46	10	55
Информационные технологии	3	3	2	20	4	7	5	7	5	7	8	19	3	19	3	23	3	20
ИТОГО	51	156	20	196	100	152	98	181	100	206	98	258	59	334	59	396	59	430

Результаты распределения данных по конкурсу молодых докторов наук (табл. 3) показывают, что, хотя в первые годы существования этого вида грантовой поддержки отечественной науки наблюдалось двукратное увеличение числа выделяемых грантов (100 грантов в 2005 г. по сравне-

нию с 51 грантом в 2003 г.), в последние годы фактическое количество грантов снизилось практически до первоначальной величины и составляет на протяжении последних трех лет 59 грантов. Но число подаваемых заявок неуклонно возрастает год от года.

Разрыв в количестве представленных на рассмотрение конкурсной комиссии заявок в 2003 и в 2011 гг. составляет 2,8 раза. Этот факт свидетельствует о росте информированности и популярности в научном сообществе подобной формы поддержки.

Анализ распределения статистических показателей грантов по поддержке ведущих научных школ позволил выявить тенденцию значительного снижения (в 1,9 раза) величины выделяемых грантов по данному виду конкурса. При этом количество поданных заявок увеличилось в 1,5 раза.

Было подсчитано количество выделяемых грантов по областям знаний, что можно рассматривать как показатель государственных предпочтений отраслей науки. Результаты свидетельствуют о приоритете технических и инженерных наук по конкурсу молодых кандидатов наук (на последнем месте оказались науки о Земле, экология и природопользование). В конкурсе молодых докторов наук первое место заняли медицинские науки, а последнее – поделили химические науки, науки о Земле и телекоммуникационные системы и технологии. В конкурсе ведущих научных школ приоритет отдан физике и астрономии, а замыкают список информационно-телекоммуникационные системы. В целом явно прослеживается повышенный интерес государства к естественно-научным дисциплинам.

Распределение грантов между федеральными государственными бюджетными учреждениями науки и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, а также региональное распределение между учреждениями РАН и вузами показывает преимущество в 2,9 раза учреждений РАН по сравнению с образовательными учреждениями. Это, вероятно, можно объяснить тем, что фундаментальные исследования сосредоточены в основном в институтах Российской академии наук. Наука в вузах выступает в качестве дополнения к основной функции образовательного учреждения – обучению и подготовке молодых поколений.

Распределение грантов по регионам свидетельствует о приоритете учреждений РАН Москвы (65%); солидно представлены такие региональные отделения, как Сибирское, Дальневосточное, Уральское (35%). В вузовской науке наблюдается незначительный перевес региональных вузов (57%), тогда как общее количество грантов, поддерживающих ведущие научные школы в образовательных учреждениях Москвы, составляет 43%.

С целью углубления содержательного анализа государственной поддержки ведущих научных школ нами было изучено распределение грантов Президента РФ в области социальных и гуманитарных наук отдельно по дисциплинам. В группу лидеров попали такие науки, как филология, исто-

рия и экономика. Группу аутсайдеров составили право, педагогика и социология. Важно, что не все дисциплины, входящие в группу социогуманитарных наук, попали в список грантополучателей. Динамика выделения грантов по годам показывает, что существуют так называемые дисциплинарные приоритеты или предпочтения. Иными словами, научные школы не по всем дисциплинам имеют равные возможности в получении грантов.

Проводимая государством система поддержки молодых научно-педагогических кадров и ведущих научных школ России показала свою действенность и эффективность, что проявилось в представленных статистических показателях. Но остается открытым вопрос о критериях оценки, а также прозрачности и объективности процедуры экспертизы заявок. Ведь критерии, на которые опирается экспертный Совет, определены достаточно обобщенно. А именно: научный задел по заявленному исследованию за последние три года, планируемая активность научной деятельности соискателя гранта, оценка научного исследования, включающая новизну и прикладную значимость, достижимость результатов научного исследования. Уточнение этих параметров сделало бы процедуру подготовки и отбора заявок более доступной и понятной для соискателей.

Примером негосударственной поддержки научной деятельности может выступить Благотворительный фонд В. Потанина – некоммерческая благотворительная организация, созданная в 1999 г. для реализации программ в сфере образования и культуры в России. Поддержка науки осуществляется на основе конкурса индивидуальных проектов преподавателей государственных высших учебных заведений «Преподаватель онлайн»¹, нацеленного на помощь в осуществлении индивидуальных инициатив преподавателей высших учебных заведений России по применению в учебном процессе инновационных образовательных технологий и, в частности, использовании для обучения возможностей Интернета. На разработку собственных учебных сайтов нацелена программа «Профессор МГУ онлайн»². Цель программы – поддержка индивидуальных инициатив ведущих профессоров МГУ, направленных на использование в учебном процессе возможностей всемирной сети Интернет. Сформировать и поддерживать мотивацию исследовательской и педагогической деятельности призван конкурс грантов молодых преподавателей государственных вузов России.

Анализ распределения выделенных грантов молодым преподавателям вузов разных федеральных округов России показал, что программа оказывает существенное влияние на стимулирование научно-педагогической деятельности молодых преподавателей (табл. 4). Среди победителей конкурса доминируют преподаватели московских вузов.

¹ Фонд В. Потанина назвал победителей конкурса «Преподаватель онлайн». – 07.06.2013. – Режим доступа: <http://www.fondpotanin.ru/novosti/fond-v-potantina-nazval-pobeditelej-konkursa-prepodavatel-onlajn-362>

² Профессор МГУ онлайн. – Режим доступа: <http://www.fondpotanin.ru/programs/387010/about>

Таблица 4

Распределение грантов фонда В. Потанина для молодых преподавателей вузов по федеральным округам России

Федеральный Округ	Год									Итого
	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	
Северо-Запад- ный	8	16	17	17	17	16	16	19	15	141
Приволжский	8	16	17	17	17	17	17	19	15	143
Уральский	6	12	13	13	13	13	13	17	12	112
Москва	10	26	26	23	26	26	26	16	24	203
Центральный	6	12	13	13	13	13	12	14	13	109
Сибирский	8	16	16	17	17	17	18	13	15	137
Южный	7	14	15	15	15	15	15	17	13	126
Дальневосточ- ный	7	14	15	15	15	15	16	13	13	123
Итого	60	126	132	133	133	132	133	133	120	

Описанные выше формы поддержки научно-педагогической деятельности в России можно отнести к целевой поддержке представителей профессионального сообщества ученых и преподавателей. Помимо этого Благотворительный фонд В. Потанина выделяет гранты для студентов, составляющих внешнюю аудиторию науки.

Примерами поддержки студентов выступают Федеральная стипендиальная программа В. Потанина, учрежденная для студентов дневных отделений ведущих государственных высших учебных заведений России, а также программа зарубежной практики студентов Норильского индустриального института. С 2000 по 2010 г. победителями этой программы стали 69 студентов (в среднем по шесть человек в год). Далее нами было подсчитано распределение стипендий по программе поддержки победителей международных олимпиад (см. табл. 5).

Таблица 5

Стипендии победителям международных олимпиад

Предмет	Год				Итого
	2004	2005	2006	2007	
Химия	4	4	4	4	16
Математика	6	6	6	6	24
Физика	5	5	5	4	19
Информатика	4	4	4	4	16
Биология	4	4	4	2	14
География	2	3	–	–	5
Итого	25	26	23	20	94

В целом можно говорить о значительных усилиях, предпринимаемых как государством, так и негосударственными организациями по поддержке отечественной науки и образования. Пример грантов Президента РФ показывает, что государство в большей степени поддерживает ученых, профессионально занимающихся научной деятельностью. В качестве основной целевой аудитории негосударственного сектора поддержки науки и образования в лице, в частности, фонда В. Потанина рассматриваются субъекты образовательного процесса – студенты и преподаватели. Эти различия в целевых аудиториях показывают многогранность и многоаспектность деятельности по поддержке современной отечественной науки и образования. Проблемой остается недостаточная информированность потенциальных грантополучателей о возможностях участия в различных программах.

Безусловно, развитие кадрового потенциала современной российской науки может быть обеспечено, в первую очередь, за счет притока молодых поколений ученых. С целью вывода на мировой уровень образовательных организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования, развитие и коммерциализацию в Российской Федерации высоких технологий, в последние годы начали реализовываться такие инициативы, как присвоение высшим учебным заведениям категории «Национальный исследовательский университет» и приглашение ведущих ученых в российские вузы [Постановление Правительства РФ № 220... 2010; Указ Президента РФ № 1448... 2008].

Для повышения уровня регионального образования и обеспечения потребностей экономики квалифицированными специалистами, интеграции науки и образования создаются федеральные государственные университеты. Первые федеральные университеты были созданы в 2007 г. в Южном и Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров в Ростове-на-Дону и Красноярске. Каждый университет получил на реализацию своих программ развития в 2007–2009 гг. около 6 млрд руб. Помимо федерального финансирования в проектах предусматривается активное участие бизнеса и региональных властей. На основании указа Президента РФ от 21 октября 2009 г. «О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах» созданы пять новых федеральных университетов – Северный (Арктический), Казанский (Приволжский), Уральский, Дальневосточный и Северо-Восточный [Указ Президента РФ № 1172... 2009]. Наконец, наиболее талантливым молодым ученым присуждаются премии Президента РФ в области науки и инноваций в размере 2,5 млн руб. каждая [Указ Президента РФ № 939... 2008].

Несмотря на предпринимаемые государством меры по поддержке молодых ученых, интеграции науки и образования, наука не становится для выпускника вуза мотивирующим стимулом для вхождения в профессию-

нальное научное сообщество и выбора карьеры ученого. Эффективность решения проблемы воспроизводства научного потенциала опосредована особенностями восприятия молодыми учеными и студентами форм государственной поддержки научных кадров.

В подготовленной под руководством автора статьи выпускной квалификационной работе студентки факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ П.Д. Захаренко на материале опроса 201 студента и молодого ученого сделана попытка выявить особенности восприятия и оценки эффективности программ государственной поддержки молодых научных кадров в России [Захаренко 2012].

Данные об известности государственных программ среди молодых ученых показывают, что подобная информация достаточно широко распространена среди студентов и ученых. Только 14 ученых не знают о возможности получения грантов на свои исследования, 83 – ими пользуются и еще 104 респондента знают о такой возможности. Хотя принимали участие в программах поддержки малых инновационных предприятий только десять человек, 84 респондента знают о такой возможности. 107 студентов и молодых ученых (больше 50% опрошенных) вообще не знают о таких программах.

Анализ эффективности осуществляемых государством мер по поддержке молодых поколений ученых позволяет констатировать, что программа приглашения ведущих ученых в российские вузы оценивается респондентами наиболее позитивно, что свидетельствует о приобретении российской молодежью нового ценного опыта. Несмотря на значительные усилия по интеграции науки и образования, эффективность программ поддержки федеральных университетов оценивается наиболее низко.

Изучение барьеров для участия в программах поддержки молодых научных кадров показало, что излишние бюрократические процедуры являются главной проблемой, препятствующей участию в таких программах (отмечено 144 учеными). Другим важным фактором, снижающим эффективность государственной помощи молодым ученым, является отсутствие прозрачности и системности программ. Это значимая структурная проблема, так же как и отсутствие конкретных направлений научной карьеры для молодого ученого после участия в программе государственной поддержки науки. В частности, респонденты в ходе интервью отмечали, что при помощи ФЦП «Кадры»¹ молодежи становится действительно интересно заниматься наукой, однако в дальнейшем для них не находится рабочих мест в научных организациях. 61 респондент отметил проблему сложности процессов государственных закупок, а 38 – неудобство сайтов государственных программ.

¹ Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». – *Прим. ред.*

Изучение проблем, с которыми сталкиваются ученые в процессе научной деятельности, показало, что наиболее существенными трудностями для профессиональной научной деятельности являются нехватка рабочих мест для молодых кадров (29 упоминаний), устаревшая или отсутствующая материально-техническая база исследований (26 упоминаний) и низкие заработная плата или стипендия (24 упоминания). По сути дела, поощрение молодых ученых и попытки повысить их заинтересованность в научной деятельности оказываются тщетными, если в дальнейшем для них не находится рабочих мест.

Выявлено, что с точки зрения опрошенных наилучшим образом их мотивировало бы повышение ставки базовой заработной платы – 169 ответов, а также выделение жилья для молодых ученых – 140 ответов. Другие популярные меры – это возможность поехать на международную стажировку с покрытием расходов (123 ответа) и повышение количества возможных надбавок и стипендий (106 ответов).

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области воспроизводства и изменения возрастной структуры научных и научно-педагогических кадров показывает, что реализуемый комплекс государственных мер по привлечению и закреплению кадров является недостаточным для изменения ситуации в науке. Реформа РАН сможет показать свою жизнеспособность и эффективность в том случае, если в результате ее реализации часть из выявленных особенностей восприятия молодежью мер государственной поддержки науки перейдет в положительный полюс оценки.

Реформа РАН в зеркале социального движения

Важная для социально-психологического анализа тема, показавшая свою актуальность и остроту после начала реформирования РАН, – это проблематика коллективных действий разных групп научного сообщества. Как известно, объявление о реформе повлекло за собой активные протестные действия со стороны ученых. Мы стали свидетелями нескольких широкомасштабных акций, имевших место в течение короткого промежутка времени лета и осени 2013 г., позитивным итогом которых стало решение о годичном моратории на реализацию предложенных правительством мероприятий в части кадрового потенциала и имущественных активов институтов РАН.

Факты активизации коллективных социальных действий в рамках профессионального научного сообщества с необходимостью предполагают теоретическое осмысление разных аспектов этого процесса. К их числу относятся усиление вовлеченности ученых в социальные взаимодействия и связи, рост солидарности представителей научного сообщества, формы, механизмы, условия формирования и реализации гражданских инициатив.

Решения правительства по реформированию фундаментальной науки в России дали толчок к психологическому объединению отечественных

ученых, к формированию чувства «мы», являющегося индикатором становления социальной группы как субъекта деятельности. Можно говорить о создании продуктивно работающих социальных связей внутри научного сообщества, не сводимых к уже существующим неформальным малым социальным группам поддержки и взаимопомощи. В связи с этим важно понять мотивы вовлечения ранее достаточно пассивных людей в эти социальные связи, предполагающие активную социальную деятельность, формирование доверия к этим структурам и их лидерам. Развитие навыков коллективного действия влечет за собой возникновение чувства социальной ответственности и гражданственности, что должно стать предметом дальнейшего социально-психологического анализа.

Специального исследования заслуживает проблематика целеполагания, выработки совместных решений, параметров эффективного управления социально активными действиями ученых, тактика и стратегия протестной активности, признаки ее продуктивности. Отдельно следует обратить внимание на роль профсоюзов в формировании коллективной солидарности и вовлеченности ученых в процессы отстаивания своих прав и защиты Российской академии наук.

Анализ подобной проблематики позволит расширить представление об особенностях социальной активности, протестного движения, динамике современного российского гражданского общества в целом. Понимание логики объединения и взаимодействия членов научного сообщества будет способствовать изучению особенностей становления коллективного субъекта и общей характеристике современных социальных движений в России. Решение этих исследовательских задач позволит социальной психологии науки внести вклад в решение проблем, имеющих большое значение для российского общества.

Список литературы

1. *Андреева Г.М.* Социальная психология. – М.: Наука, 1994. – 325 с.
2. *Володарская Е.А.* Вопросы имиджа научной библиотеки // Имиджелогия-2012: Драйвер развития: Материалы X Международного симпозиума по имиджелогии / Под ред. Е.А. Петровой. – М.: РИЦ АИМ, 2012. – С. 96–103.
3. *Захаренко П.Д.* Организационно-управленческие условия привлечения молодежи в научно-инновационную сферу в системе государственной политики: Выпускная квалификационная работа / НИУ ВШЭ: Факультет государственного и муниципального управления. – М., 2012. – Рукопись.
4. *Люсин Д.В., Марютина О.О., Степанова А.С.* Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями: Эмпирический анализ // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: ИП РАН, 2004. – С. 128–140.
5. *Мирошников Ю.И.* Объект эмоционального отражения // Проблемы теории познания: Сб. статей / Под ред. С.М. Шалютина. – Челябинск: Челябинский пединститут, 1976. – С. 235–246.
6. *Полани М.* Личностное знание. – М.: Прогресс, 1985. – 344 с.

7. Постановление Правительства РФ № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» // Российская газета. – М., 2010. – 16 апреля. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2010/04/16/grant-dok.html>
8. Распоряжение Правительства РФ № 2227-р от 8 декабря 2011 г. «Об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Минкомсвязь России. – М., 2011. – 8 декабря. – Режим доступа: http://minsvyaz.ru/doc/?id_4=685
9. Российская наука и СМИ: Сб. статей / Под ред. Ю.Ю. Черного, К.Н. Костюка. – М.: Изд-во фонда им. К. Аденауэра, 2004. – 448 с.
10. *Спэнгл М., Айзенхарт М.* Переговоры: Решение проблем в разном контексте. – Харьков: Гуманитарный центр, 2009. – 592 с.
11. Указ Президента РФ № 1144 от 30 июля 2008 г. «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых» // Российская газета. – М., 2008. – 1 августа. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2008/08/01/uchenie-premii-dok.html>
12. Указ Президента РФ № 1448 от 7 октября 2008 г. «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов» // Kremlin.ru. – 08.10.2008. – Режим доступа: <http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?977443>
13. Указ Президента РФ № 1172 от 21 октября 2009 г. «О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах» // Kremlin.ru. – 21.10.2009. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/5793>
14. *Caro P.* La vulgarisation scientifique est-elle possible? – Nancy: Presses univ. de Nancy, 1990. – 45 p.
15. *Nouvel P.* La science et la métaphore: Introduction à l'idée d'une psychologie de la science: Mémoire de thèse de doctorat en philosophie psychologie. – Dijon: Ed. univ. de Dijon, 1998. – 407 p.
16. *Silverstone R.* Science and the media: The case of television // Images of science: Scientific practice and the public / Ed. by S.J. Doorman. – Aldershot: Gower, 1989. – P. 187–211.

М.В. Загидуллина

**«МАКДОНАЛДИЗАЦИЯ» ЭКСПЕРТНОГО ЗНАНИЯ В РОССИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ**

«Власть экспертов»: Утопия и реальность

Особенности экспертного знания многократно и глубоко исследовались в истории науки, в частности, в истории наук социальных [Козырьков 2007; Toward a general theory... 1991; Bereiter, Scardamalia 1993]. Понятие «власть экспертов», сопровождавшее расцвет экспертной деятельности, рассматривалось в разных аспектах, в том числе в русле философии науки или концепции перехода к «обществу знания». Пока в России обсуждаются особенности экспертного знания в целом, в западной науке дискутируется проблема генерализации такой компетенции, как «владение экспертным знанием». В 2006 г. Р. Сойер доказывал, что навык экспертного анализа не может далее оставаться прерогативой «немногих избранных», эта компетенция должна стать массовой и охватывать все отрасли – только тогда станет реальностью новое поколение студентов, способных к переходу к «экономике знаний» [Sawyer, 2006].

Исторически концепция власти экспертов может быть соотнесена с архаическими формами управления обществом старейшинами, олицетворявшими мудрость и жизненный опыт поколений. Основные управленческие утопии такого типа (например, «мандаринат» как своеобразная конституционная монархия ученых, «аристократия духа» Г. Флобера¹) периодически возникали как в Новое, так и в Новейшее время, однако сегодня мы имеем дело не с утопией, а с воплощенной реальностью, имеющей серьезные философские основания и космополитическую устремленность. Повышение социального статуса экспертов сопровождается

¹ Флобер разворачивает эту мысль в одном из писем к Жорж Санд (3 августа 1870 г.); само выражение «аристократия духа» заимствовано им из ранней немецкой романтической философии (согласно свидетельствам современников, выражение принадлежит Генриху Стефенсу, назвавшему «аристократами духа» последователей философии романтизма А.В. Шлегеля) [Флобер, 1984, с. 90, 415–416].

институционализацией экспертного знания, которое начинает оказывать все большее влияние на другие сферы человеческой деятельности. Это проявляется в первую очередь в «нисхождении» экспертного знания в массовые слои населения. М. Вебер в свое время говорил о «сползании харизмы» («божьей искры нации») применительно к историческому месту и роли отдельных личностей в истории, подразумевая присвоение ярких знаний и откровений все более широкими массами, в результате чего харизма «рутинизируется» [Weber, 1969]. Подобный методологический подход может быть применен к осмыслению нисходящего движения любого элитарного феномена или процесса: будучи вначале эксклюзивным маркером «немногих избранных», элитарное начинает неизбежное движение вниз по социальной лестнице, теряя четкие очертания, расплываясь и бледнея, а иногда и превращаясь в пародию на самое себя. Однако даже в такой ситуации, следуя выражению М. Элиаде, профанное дышит сакральным [Элиаде, 1994, с. 17].

Эта линия рассуждений помогает понять, как экспертное знание и власть экспертов наполняют повседневность среднестатистического обывателя. Так, рассчитанные на массового зрителя телепередачи, где «эксперты» определяют качество продуктов, готовят еду, решают, идет ли героине шоу платье, высказывают свое мнение о модных трендах сезона и т.п., создают условия для полного разрыва с исходным понятием «опытный» и превращают в эксперта любого, кого награждают этим титулом журналисты-ведущие. Тот же эффект «размывания сути» можно обнаружить и в новейших медиа, где экспертным мнением называется практически любая точка зрения. В интернет-форумах широкое распространение получила такая разновидность троллинга, как дварфинг (от англ. *dwarf* – гном), когда участник коммуникации скрупулезно собирает все доступные знания по теме и представляет их в виде развернутых и подробнейших комментариев – с выписками из архивов и цитированием забытых документов. Такая тактика по сути все равно является троллингом (т.е. способом «сломасть» коммуникационный процесс с тем, чтобы отвлечь собеседника от темы)¹, но формально она выглядит как чистая экспертиза. Когда экспертное знание становится всеобщим, его сакральный компонент трансформируется в профанный: любое знание получает статус экспертного, следовательно, характеристика «экспертное» дезавуируется и фактически аннулируется.

«Макдоналдизация» экспертного знания как часть всеобщей «макдоналдизации»

Феномен размывания понятия присутствует на уровне оценки и в таких системах, где требуется сравнение интеллектуальных либо матери-

¹ См.: Patel N. Internet trolling. – Mode of access: <http://slodive.com/web-development/internet-trolling/>

альных продуктов. Здесь может быть уместным термин «макдоналдизация экспертного знания», предполагающий процесс его нисходящей эволюции от персонального сверхзнания старейшин и гуру к имперсональным системам оценки объекта по формальным критериям. Дж. Ритцер в своем многократно переизданном, дополненном и исправленном труде «Макдоналдизация общества» продемонстрировал, что основной вектор развития современного общества следует четырем философским принципам сети «Макдоналдс». Чтобы реализовать идеальную модель функционирования, всякое предприятие, занятое производством материальных благ и предоставлением услуг, должно быть ориентировано на эффективность (в основе которой, по Ритцеру, лежит норма «максимального насыщения за минимально короткое время»); калькулируемость (много – значит, хорошо, т.е. количественное доминирует над качественным, подменяет и замещает его); предсказуемость-стандартизируемость (человек получает предсказуемую, уже известную ему еду в условиях, которые ему также знакомы, поэтому все «Макдоналдсы» мира одинаковы – от униформы служащих до калорий гамбургера); подконтрольность, качество которой достигает максимума в системах «non-human», когда все функции выполняют автоматы и контролируют приборы [Ритцер, 2011].

По мнению Ритцера, подобное развитие веберовской идеи «рационализации» приводит к особому эффекту – иррациональности самих систем, покидающих рамки причинности. Стандартизированный мир путешествий человека из одного предсказуемого и просчитываемого пространства в другое, не менее предсказуемое, чреват подобной иррациональностью.

Метод: Экспертиза в научных проектах

«Макдоналдизация» экспертного знания является второй тенденцией после «размывания сути» в ситуации его «сползания в массы» или демократизации (профанизации). Иллюстрацией тому может служить процесс конкурсной документации государственных программ поддержки развития науки («Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий для юридических лиц из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 годы (I очередь – мероприятие 1.1, гуманитарные науки)», утвержденная 23 марта 2012 г. и размещенная на сайте¹. Поскольку конкурсная документация других очередей и линий строится по тому же

¹ См.: Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий для юридических лиц из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. – Режим доступа: <http://old.mon.gov.ru/files/materials/9366/12.03.23-kadry-kd.PDF>

Далее страницы указываются в скобках после цитат из этого документа.

шаблону, достаточно рассмотреть один пример, чтобы увидеть тенденцию в целом.

Перед конкурсной комиссией стоит задача – отобрать лучшие заявки на финансирование научных проектов. Для решения этой задачи необходимо привлечь экспертное знание, что позволит оценить по избранным критериям качество предлагаемых проектов в одних и тех же сопоставимых единицах. Уже сама задача «калькуляции качества» представляется вполне соответствующей духу и принципам «макдоналдизации». Но интересен подход разработчиков документации к решению поставленной задачи. Так, пункт 15.2 конкурсной документации гласит: «Оценка конкурсных заявок осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня окончания рассмотрения конкурсных заявок, в целях выявления участника, предложившего для финансирования лучшую научно-исследовательскую работу (проект)... По решению конкурсной комиссии может быть проведена экспертиза представленных на конкурс заявок. Мнение экспертов носит рекомендательный характер. При проведении экспертизы могут быть использованы сведения из документов конкурсной заявки, размещенных участником конкурса в Компьютеризированной системе подготовки заявок на участие в конкурсе (с учетом изменений в конкурсную заявку, внесенных в установленном порядке)» [с. 12].

Таким образом, при оценке заявок конкурсная комиссия может обойтись и без экспертов (специалистов в той конкретной сфере знания, к которой относится заявка). Поскольку одна и та же комиссия должна была оценивать и работы по истории, и заявки по лингвистике и прочим гуманитарным наукам, то налицо «универсалистский» подход к формализованному тексту заявки. Экспертное знание и оценка позиционируются как возможные, но не обязательные условия анализа конкурсных заявок, причем мнение экспертов рассматривается только в качестве рекомендации или факультативного элемента. Отказ от экспертного знания в данном конкретном случае обеспечивается особой системой оценивания, которую мы и рассмотрим.

Как работают критерии экспертной оценки в условиях «немакдоналдизации»

Предлагается три критерия оценки качества заявки: запрашиваемая сумма гранта (20%), научное качество проекта (40%) и квалификация участника (40%). На долю «научной креативности» выпадает менее половины общей суммы оценки, а содержание проекта приравнивается к квалификации участника. Это означает, что «новичок», предложивший смелый инновационный проект, но еще не имеющий опыта выполнения требуемой работы, будет приравнен к исполнителю, который имеет хорошие «прошлые» показатели, но предлагает слабый научный проект.

Каждый из трех критериев «макдоналдизируется» по-своему. Подход «non-human» и принцип «калькулируемости» наиболее очевидны в

случае с первым критерием; конкурсная документация предлагает формулу для расчета баллов по первому критерию: «оценивается снижение запрашиваемой суммы гранта по сравнению с установленной в объявлении о проведении конкурса и конкурсной документации предельной суммой гранта. По критерию “запрашиваемая сумма гранта” ценовые баллы присуждаются по формуле:

$$B_c = \frac{C_{\max} - C_i}{C_{\max}} \times 50$$

где:

B_c – ценовые баллы, присуждаемые i -й заявке по указанному критерию;

C_{\max} – предельная сумма гранта, установленная в объявлении о проведении конкурса;

C_i – сумма гранта, запрашиваемая i -м участником конкурса» [с. 12].

Таким образом, при наличии специальной программы обчет первого критерия может производиться автоматически, что позволяет в принципе исключить из процесса оценивания человеческий фактор, чреватый иррациональностью. Наибольший балл получит участник, готовый выполнить свой качественный научный проект за сумму, наименьшую от заявленной.

Второй критерий («научное качество проекта») оценивается по следующим показателям:

– актуальность и научная значимость выполнения научно-исследовательской работы (проекта);

– наличие научного задела по предлагаемой научно-исследовательской работе (проекту);

– достижимость заявленного результата (обоснованность применяемых в исследовании методов и / или технических решений).

Этот критерий менее всего годится для «макдоналдизации», к которой тяготеет процесс оценивания конкурсных заявок в целом. Каким же образом конкурсная комиссия может обойтись без экспертного знания в этом случае? Такую возможность еще раз подчеркивает пункт 15.5.2, гласящий: «По каждому из критериев “научное качество проекта” и “квалификация участника” каждым членам конкурсной комиссии присваивается от 0 до 100 баллов каждой заявке. При присвоении баллов члены конкурсной комиссии могут принимать во внимание результаты экспертизы заявок. Затем вычисляется средний балл заявки по каждому из критериев “научное качество проекта” и “квалификация участника”: сумма баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии оцениваемой заявке, делится на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в оценке» [с. 13].

Ответ содержится в «формах, предлагаемых к заполнению», где научное качество проекта представлено в виде калькулируемых позиций: это число участников – исполнителей проекта, их возраст (причем оценивает-

ся и стимулируется молодость коллектива участников), ученые степени, принадлежность к вузу и аспирантуре или студенческий статус. Квантитативные характеристики здесь акцентируют преимущества заявок молодых ученых (а не тех, кто «умудрен опытом»), что соответствует главным стратегическим направлениям развития науки и образования. Однако эти показатели не имеют отношения к качеству проекта: «молодой коллектив» заведомо будет более успешным в конкурсе, чем более «возрастной».

Другой ряд параметров тесно связан с определением приоритетных областей исследования и направлений модернизации, которое дается на основе специальных приказов соответствующих министерств и правительства. Принцип соотнесения заявки с такими параметрами прост и тоже может быть выявлен «автоматически» (совпадает / не совпадает).

Примечательно, что квантитативные характеристики предшествуют характеристикам качественным (описанию качества научного проекта). В то же время собственно описание научного проекта создает определенные сложности для «макдоналдизации» экспертизы, поскольку требует индивидуального подхода и неформализуемых знаний (т.е. знаний, которые не могут стать основой простого сопоставления варианта, предложенного в заявке, с «эталоном»). Это касается актуальности исследования, его цели, задач, краткой характеристики объекта. Разумеется, внутри качественных показателей присутствуют и квантитативные (например, количество создаваемых документов или моделей, образцов, макетов, регламентов). Очевидно, что конкурсная документация гранта в сфере «гуманитарные науки» не отличается от «технических наук», что создает своеобразный перекос в сторону точных наук. Таков в принципе общий тренд развития современной науки, однако дело не столько в этом тренде, сколько в нежелании замечать новые тенденции в гуманитарном знании (например, так называемые «digital humanities», в рамках которых правильнее было бы говорить не о приборах и инструментах, которыми располагает НОЦ, являющийся базой выполнения конкурсной работы, а о программном обеспечении и необходимых лицензиях)¹. Освоение новых программ, переводящих гуманитарные науки на более высокий уровень успешной аналитики крупных баз данных, вполне могло бы быть таким «квантитативным» индикатором. В современном виде конкурсная заявка гуманитария оказывается заведомо «хуже» (в ракурсе ее экспертизы), чем заявка естественника или представителя точных наук.

Вернемся к неформализуемой части заявки, подлежащей оцениванию. Сама установка конкурсной документации на факультативность экспертного знания (необязательность экспертной оценки заявки, во-первых, и ее заведомо рекомендательный характер для членов конкурсной комиссии – во-вторых) предполагает достаточность самого *наличия* содержательных пунктов без внимательного отношения к содержанию и способов

¹ О современном состоянии цифровой гуманитаристики см.: [Журавлева, 2012].

его оценки. Очевидно, что задаются условия для приблизительных содержательных оценок заявки. Интересна и институциональная сторона этого конкретного примера: конкурсная комиссия включала всего четверых (из шести утвержденных приказом) работников, при этом итоги подводились в течение 30 минут по 196 заявкам, уже получившим рекомендательные оценки экспертов. Кто и как производил экспертизу, остается непрозрачной частью конкурса, но в итоге все 196 заявок были ранжированы внутри своих лотов по количеству баллов.

Перечисленные выше параметры сложны для экспертной оценки, несмотря на попытки их квантификации (например, «достижимость», помимо прочего, определяется по показателю «использование специального оборудования, имеющегося в НОЦ»). Это значит, что эксперт должен понимать, насколько основательно готов конкурсант к осуществлению своего проекта. Но установить такую готовность сможет только специалист по конкретной теме (как, в противном случае, можно оценить, например, «краткий анализ состояния исследований» по теме?). При этом в конкурсе, о котором идет речь, было шесть лотов по основным отраслям гуманитарного знания: история; экономика; философия, социология и культурология, филология и искусствоведение; психология и педагогика; юридические и политические науки (членов же комиссии, как было указано выше, насчитывалось всего четверо).

То же самое можно сказать и в отношении квалификации участника – третьего критерия, предполагающего оценку:

– опыта выполнения работ и достигнутых результатов по тематике конкурса;

– образования и профессиональных показателей.

Следует отметить, что при оценке заявки по данному критерию целевой аспирант (как претендент на грант в этом конкретном случае) предоставляет информацию об исследованиях, проведенных им ранее, а также о полученных прежде грантах (если учесть, что заявка подается на два года, то он должен быть не старше второго курса аспирантуры); оцениваются не только количество публикаций претендента, но и индекс цитирования (а это означает, что основная часть исследовательской работы уже должна была состояться); предлагается указать три высокорейтинговые публикации с учетом импакт-фактора журнала. Анализируя символический подтекст данного критерия, можно увидеть, что он стимулирует раннюю включенность аспиранта в научно-исследовательское поле, предлагая ему (возможно, подспудно) активизировать публикационную активность еще на стадии магистерской диссертации. Эти рекомендации имеют и свои подводные камни – предполагается, что аспирант заявляет совершенно новое исследование (см. в «Декларации участника»: «Информирую, что заявленная в составе заявки на участие в конкурсе научно-исследовательская работа (проект) не является повторением научно-исследовательских работ (проектов), выполненных мной (с моим участием) в предшест-

вующие периоды за счет бюджетов различных уровней и иных источников» [с. 19]), что создает противоречие между логикой подготовки диссертации в аспирантуре и требованиями к участию в конкурсе.

Здесь очевиден простой количественный подход: наличие трех публикаций, значение импакт-фактора, наличие индекса цитируемости. Это числовые показатели, которые легко могут быть сопоставлены друг с другом и вполне пригодны для автоматического считывания (без учета содержательной стороны – тематики опубликованных работ или знакомства с ними и с уровнем их качества). Предполагается, что высокий импакт-фактор журнала гарантирует качество любой опубликованной в нем статьи. Между тем принцип расчета импакт-фактора журналов тоже должен стать специальным объектом рассмотрения, поскольку фактически речь идет о подмене понятия «качество публикации» понятием «высота импакт-фактора журнала, осуществившего публикацию». Как известно, импакт-фактор – это «число цитирований в текущем году статей, опубликованных в журнале за предшествующие два года (пять лет), поделенное на число этих статей». Очевидно, что при таком подходе самыми высокорейтинговыми окажутся журналы, имеющие наибольшее число статей (например, многоотраслевые, напоминающие прежние сборники статей, именуемые на жаргоне научного сообщества «братскими могилами»). Убедиться в правильности такого предположения можно, заглянув на сайт elibrary.ru, где высокие показатели импакт-фактора имеют мультидисциплинарные и высокочастотные по выходу в свет журналы. Можно предположить, что это не так, поскольку импакт-фактор не зависит от количества статей, представляющего собой знаменатель дроби. Тем не менее простой сравнительный анализ заставляет убедиться в обратном. Кроме того, принцип «среднего арифметического» позволяет компенсировать нецитируемые статьи высокоцитируемыми, что при смешении разных отраслей в тематике журнала и дает соответствующий результат. Интересно, что в зарубежных журнальных индексируемых базах обнаруживается и такой показатель, как соотношение статей, процитированных хотя бы один раз, и статей, которые в течение года не получили ни одного цитирования. Это стимулирует редакции журналов к тщательному анализу качества поступающих работ; при таком подходе к формированию импакт-фактора он действительно может выступать гарантом качества публикации. Впрочем, и эта позиция может быть оспорена – особенно в случае публикации инновационной работы, открывающей новые ракурсы исследования или материала, что может исключить статью из сферы интересов научного сообщества, работающего в рамках привычных «ключевых позиций».

Если соотнести квалификационные требования со статусом заявителя («целевой аспирант»), то мы оказываемся в ситуации заведомо завышенного критерия, что, впрочем, само по себе вполне объяснимо (планка высока, но «нижний порог» не указан).

Конкретный анализ данной конкурсной заявки показывает, что «макдоналдизация» экспертного знания завоевывает все более значимые позиции; по-видимому, количественные характеристики будут становиться все более значимыми, а качественные – отступать в тень. Это приведет к тому, что «эффективность» (по Ритцеру) начнет работать как принцип вынесения оценки в минимально возможные сроки. При высокой формализации и стандартизации заявок на конкурсы подобная практика действительно станет возможной. Сегодняшняя ситуация оценивания конкурсных заявок остается «немакдоналдизированной» и находится в состоянии постепенного «оцифровывания».

Институциональность экспертной «макдоналдизации»

Каковы преимущества «макдоналдизированного» подхода к оценке научных проектов?

1. Четкая объективная система оценивания по просчитываемым показателям.

2. Высокая рациональность оценки и уменьшение субъективного фактора.

3. Скорость оценивания, отвечающая требованиям к современному научному процессу, не терпящему проволочек и замедлений.

В то же время следует помнить о рисках. Наука – это не матрица, любой участок которой может быть рационализирован и просчитан. Здесь должно быть место субъективному «чутью» эксперта¹, достаточному для того, чтобы оценить оригинальность и смелость научного проекта, а также – экспертной эрудиции, пониманию глубины замысла и готовности исполнителя с ним справиться. Кроме того, критике может подлежать и система количественных методов оценивания качества проекта (о чем говорилось выше). Возможно, современная российская система формализации оценок в сфере принятия решений по научным проектам и их финансированию может быть усовершенствована, если начнет в большей мере учитывать аналогичные зарубежные практики. Там особое значение придается ситуации «столкновения» эксперта и проекта в свободном оценочном поле, когда конкретные позиции помогают выразить общее впечатление, а не формализовать его, как в случае с российскими конкурсами научных проектов.

Другим серьезным недостатком «макдоналдизированной» системы оценивания научных проектов является отсутствие обратной связи, т.е. предпосылок для повышения квалификации и личностного роста, что было бы полезно для организации процесса реального обмена мнениями и доведения «живой оценки» до каждого участника конкурса. Эксперт (или член конкурсной комиссии) в таком случае может действительно помочь конкурсанту усовершенствовать свою заявку и в следующий раз выступить

¹ Об интуиции эксперта см. подробнее: [Dreyfus, Dreyfus, 1989].

пить увереннее. Это важнейшая проблема современной системы научной интеракции в сфере «эксперт – проект». Отсутствие прозрачности оценки, понимания того, почему один проект находит поддержку, а другой нет, способствует воспроизводству случайности в процессе принятия соответствующих решений финансирующими организациями.

Таким образом, формализация экспертной оценки конкурсных проектов могла бы способствовать объективности в том случае, если бы работала на уровне формул (как критерий № 1 в приведенном выше примере). Поскольку же подобная формализация практически невозможна при оценке готовности заявителя к выполнению проекта, то остается несколько релевантных вариантов: формирование экспертного заключения по каждому проекту в соответствии с четко разработанными критериями оценки (как, например, оценка творческой части ЕГЭ по русскому языку) либо подготовка свободного экспертного эссе, касающегося сути самого проекта, – без всякой привязки к критерию «квалификация исполнителя» (слепое рецензирование). Однако такое «корректирование» экспертной оценки предполагает разработку специальных конвенций в институциональном поле науки.

Философия экспертной оценки

Для анализа проблемы экспертных оценок научных проектов особое значение приобретает методологический подход Бруно Латура, изложенный в его эссе «Научные объекты и правовая объективность». Латур сравнивает деятельность юристов и ученых, выявляя разнонаправленность векторов их интенций. Вместе с тем «и для юриста, и для ученого возможность уверенно говорить о мире возникает только тогда, когда он трансформирован – словом ли Божьим, математическим ли кодом, показаниями приборов, устами предшественников, естественным или позитивным законом – в Великую Книгу, которая в равной степени может быть как книгой природы, так и книгой культуры, и страницы которой были порваны или перепутаны каким-нибудь приспешником дьявола, а сейчас они должны быть собраны, истолкованы, отредактированы и сшиты заново» [Латур, 2010, с. 85].

Применительно к экспертному знанию подход Латура может оказаться чрезвычайно успешным, поскольку эксперт – это не кто иной, как юрист в сфере науки. Его задача состоит в том, чтобы, руководствуясь исключительно предоставленными данными, дать оценку потенциалу исследователя, стремящегося получить поддержку своего научного проекта, – причем оценку не всестороннюю, но касающуюся только тех качеств, которые могут гарантировать исполнение проекта. Ориентируясь на эту продуктивную параллель с рассуждениями Латура, можно развивать такие совершенно не активные в науке формы, как питчинг, – публичное представление автором своего проекта, его презентацию вероятным инвесторам. Тогда экспертное знание столкнулось бы с вызовами, генерируемыми подобной «медиатизацией» науки. Здесь пришлось бы преодолевать принцип «сшитой книги» и добавлять все новые страницы; кроме того, мог бы возрасти и искажающий эффект межличностного общения. Тем не менее в

этом случае появился бы реальный шанс преодолеть «макдоналдизацию» экспертного знания и переориентировать его на эзотерические первоисточки – мудрость и интуицию, – что помогло бы талантливым ученым пробиться сквозь «естественный отбор» науки как социального института.

Несовершенство «немакдоналдизированных» экспертных оценок

Мы можем продемонстрировать еще одно наблюдение, подтверждающее несовершенство нынешней «полумакдоналдизированной» отечественной системы экспертной оценки. В том же примере (июль 2012 г.) мы выбрали семерых победителей с наивысшими показателями в каждом лоте (в лоте № 1 было две номинации). В январе 2014 г. мы проследили публикационную активность аспирантов-победителей. Выяснилось, что заявленные ими темы были не слишком востребованы в реальной научной практике, что отражено в табл. 1 (фамилии авторов не указаны по этическим соображениям).

Таблица 1

	Тема	Количество статей по теме за время гранта (РИНЦ)	Общее количество статей за 2012–2013 гг.	Защита диссертации
1.	Политика США в Корее в 1876–1910 гг.	3	3	Нет
2.	Кладовискательство и любительская археология как угроза национальным интересам России в сфере культуры, образования и науки. Методы противодействия фальсификации археологических данных	0	8	да; с темой связи нет
3.	Формирование организационно-экономического механизма разработки и внедрения инновационных проектов вузов на предприятиях минерально-сырьевого комплекса России	0	4	да; с темой связь не просматривается
4.	Толерантность как фактор выбора модели аккультурации мигрантов (на примере детско-подростково-молодежной среды г. Ярославля)	2	2	нет
5.	Конструирование энциклопедической личности Андрея Белого по данным его метапоэтики	0 (обнаружено три статьи в интернет-ресурсах, не включенных в РИНЦ)	0	нет
6.	Переживание одиночества: Структура и диагностика	0	0	нет
7.	Реализация норм международного «мягкого права» в правовой системе Российской Федерации	0 (есть четыре статьи в журналах, не включенных в РИНЦ)	0	нет

Для сравнения обратимся к результатам других целевых аспирантов, чьи заявки были последними в ранжированных экспертных списках (табл. 2).

Таблица 2

	Тема	Количество статей по теме гранта (РИНЦ)	Общее количество статей за 2012–2013 гг.	Защита диссертации
1.	Русские консерваторы и их либеральные оппоненты в спорах о путях модернизации России (вторая половина XIX – начало XX в.)	3	3	да, по теме
2.	Эффективная система статистического учета и анализа для целей информационного обеспечения устойчивого развития государства на основе ретроспективной оценки опыта развитых стран	2	2	нет
3.	Онтология и гносеология художественного образа в постмодернистских романах Дж. Хеллера: Проблема изживания деструктивности	0 (в Интернете есть две публикации)	0	нет
4.	Проблемы отражения идиостиля в переводных текстах (на примере пьес англоязычных драматургов XX в. и их перевода на русский язык)	0	0	нет
5.	Роль субъектной активности в повышении жизнестойкости студенческой молодежи	0	0	нет
6.	Деятельность иностранных компаний в стратегии развития российской экономики (административно-правовой аспект)	4	4	нет

Во втором списке на одну позицию меньше, поскольку одна из номинаций в исторических науках была представлена только одной заявкой (победителем).

Как видим, сравнение «авангарда» и «арьергарда» научных проектов аспирантов не демонстрирует существенных отличий. Поддержка исследований в виде грантов оказывается недостаточным стимулом для написания статей по теме и защиты диссертации. «Арьергард» (низкорейтинговые заявки в каждой номинации) демонстрирует примерно такую же успешность как по публикационной активности, так и по защите диссертаций, что и «авангард» (и даже выше, поскольку защищенная диссертация представляет именно ту тему, которая фигурировала в заявке конкурсанта). Семь участников первой группы опубликовали в рейтинговых журналах пять статей, шесть участников второй (неуспешной) группы – девять.

Таким образом, в этом конкретном случае экспертная оценка оказалась неудачной. Общая задача, поставленная перед всеми участниками конкурса (индикатор: количество исследователей – исполнителей НИР,

результаты работы которых в рамках НИР опубликованы в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах), была выполнена ровно в той мере, в какой она могла бы быть реализована и без поощрения грантом. Таким образом, экспертное знание в том формате, как оно представлено в оценке конкурсных работ, малоэффективно.

Заключение

Наблюдения, представленные в настоящей статье, позволяют уточнить проблему и наметить дальнейшие пути ее исследования в рамках социологии науки. Во-первых, представляется необходимой консолидация усилий по преодолению половинчатости современной системы экспертного знания в сфере науки в его институциональном статусе. Здесь были бы полезны исследования, которые позволят понять, возможен ли (и, если возможен, то в каких конкретных случаях) переход к «макдоналдизированным» экспертным оценкам, а также помогут уточнить, какие типы экспертной оценки дают максимально успешный прогноз в сфере оценивания научных проектов.

Во-вторых, большое значение имеют исследования форм и жанров экспертных заключений (эссе, заключение, оценка, анализ, рецензия и т.п.), что могло бы способствовать созданию стройной теории гуманитарной экспертизы.

В-третьих, экспертное видение должно лежать в основании критериев конкурса, а не наоборот (сейчас эксперт подстраивается под предложенные критерии). Необходима «обратная оптика»: конкурсная документация разрабатывается так, чтобы выявлять истинный научный потенциал заявителя.

Заслуживает внимания также и тезис о массовой «экспертизации» специалистов с высшим образованием, обучении студентов приемам и методам экспертной оценки. При этом сами подходы и методы не должны быть безликим набором слов; очевидно, что польза для экспертного знания и создания особого экспертного ландшафта информационного пространства будет достаточно ощутимой.

Список литературы

1. *Журавлева Е.Ю.* Эпистемический статус цифровых данных в современных научных исследованиях // Вопросы философии. – М., 2012. – № 2. – С. 113–123.
2. *Козырьков В.П.* Гуманитарная экспертиза в контексте культуры // Вестник Нижегородского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки. – Нижний Новгород, 2007. – № 2. – С. 310–314.
3. *Латур Б.* Научные объекты и правовая объективность // Культиватор. – М., 2010. – № 2. – С. 74–95.
4. *Ритцер Дж.* Макдоналдизация общества 5. – М.: Практис, 2011. – 592 с.
5. *Флобер Г.* О литературе, искусстве, писательском труде: Письма, статьи: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1984. – Т. 2. – 503 с.

6. *Элиаде М.* Священное и мирское. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 144 с.
7. *Bereiter C., Scardamalia M.* Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise. – Chicago (IL): Open court, 1993. – XIII, 279 p.
8. *Dreyfus H., Dreyfus R.* Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of computer. – Oxford: Basil Blackwell, 1989. – XVIII, 231 p.
9. *Sawyer R.K.* Educating for innovation // Thinking skills a. creativity. – Amsterdam, 2006. – Vol. 1, N 1. – P. 41–48.
10. Toward a general theory of expertise: Prospects and limits // Ed. by K. Ericsson, J. Smith. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1991. – X, 344 p.
11. *Weber M.* The theory of social and economic organization. – N.Y.: Free press, 1969. – IX, 436 p.

РЕФЕРАТЫ

НАУКА И ОБЩЕСТВО: ОТ ИНФОРМАЦИИ К УЧАСТИЮ (Сводный реферат)

1. Bogner A. Wissenschaft und Öffentlichkeit: Von Information zu Partizipation // Handbuch Wissenschaftssoziologie / Hrsg. von S. Maasen, M. Kaiser, M. Reinhart, B. Sutter. – Wiesbaden: Springer, 2012. – S. 379–392.
2. Weingart P. Die Wissenschaft der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit der Wissenschaft // Wissenschaft und Hochschulbildung im Kontext von Wirtschaft und Medien / Hrsg. von B. Hölscher, J. Suchanek. – Wiesbaden: VS, 2011. – S. 45–61.

Ключевые слова: история науки; взаимоотношения науки и общества; гражданская экспертиза научных проектов; партисипаторные исследования.

Реферируемые статьи проблематизируют положение науки в начале XXI столетия, ее меняющиеся взаимоотношения с окружающим обществом.

По словам известного немецкого социолога науки, профессора Билефельдского университета Петера Вайнгарта, ничто в обществе не обладало на протяжении веков таким амбивалентным статусом, как наука, порождая как глубокую веру, так и крайнее недоверие [2]. Эйнштейн и Франкенштейн – это два противоположных лица науки. Наука стремилась к независимости, неподконтрольности обществу; в результате между наукой и широкой общественностью образовалась дистанция, которую общество на разных этапах пыталось компенсировать с помощью той или иной политики. В XVII–XVIII вв. с помощью ученых правители воплощали в жизнь свои политические, экономические, военные устремления. С XVIII в. наука постепенно профессионализируется, что ведет к формализации ее отношений с окружающим обществом. Затем от имени общественности с наукой начинает говорить государство. Автор прослеживает, как на протяжении последних четырех столетий складывались взаимоотношения науки и общества.

Положение науки в XVII–XVIII вв. отличалось от того, каким мы его обнаруживаем в XIX столетии. В XVII в. ученые нуждались в покрови-

телях, каковых они находили в лице знати. Так, Галилей был придворным Медичи и благодаря их покровительству мог заниматься независимыми изысканиями. Он стал первым ученым в современном смысле этого слова. А придворная публика оказалась первым зрителем экспериментов тогдашних естествоиспытателей. В этот же период и бюргерская общественность начинает проявлять интерес к деятельности ученых.

Вплоть до XIX в. еще не оформилось разделение на ученых и неученых, в связи с чем XVIII столетие стало известно как «золотой век ученых-любителей»¹. Демонстрации проходили и в университетских аудиториях, и в кофейнях, и на ярмарочных площадях. В XIX в., однако, происходит разграничение мест, где должно и, соответственно, не должно заниматься исследованиями. Наука институционализируется. Образуется узкий круг посвященных, за пределами которого располагаются все остальные, – публика, широкая общественность. Для непосвященных, но интересующихся научными вопросами становится необходимой популяризация науки. В то же время возникают и разного рода непрофессиональные организации вроде обществ любителей природы и пр. Подобные организации позволяют их членам смягчить ощущение растущей дистанции между любителями и профессиональной наукой.

К середине XIX столетия наука входит в моду. Развиваются разнообразные научно-популярные медиа – от журналов и специальной литературы до музейных комплексов. И если в начале XIX в. интерес к науке, как и в веке предшествующем, еще имел вид эстетического наслаждения «единством природы», то во второй половине столетия он приобрел характер увлечения научно-техническим прогрессом. В литературе описываются различные способы практического применения научных разработок.

Новой вехой стала Первая мировая война – первая война индустриализированной науки. После нее на историческую сцену выходит новая общественность – массовая, общественность массового общества. В утопически-социалистических программах наука виделась важным инструментом дальнейшего общественного развития и освобождения пролетариата. Создавались организации рабочего образования. Менее образованные читали в первую очередь именно научно-популярные статьи, рассматривая их в качестве образовательного ресурса. Знание виделось важным, нужным и увлекательным.

В авангарде научного развития находилась физика, идеальная наука, задававшая стандарт остальным дисциплинам и получившая во время Второй мировой и «холодной войн» политический вес. При этом сами ученые, чьи разработки сыграли столь значительную роль в истории XX столетия, на публике часто предпочитали держаться подчеркнуто аполитично.

С начала XX в. общественность все больше формируется медиа. В период между войнами возникает профессиональная научная журнали-

¹ Hochadel O. Öffentliche Wissenschaft: Elektrizität in der deutschen Aufklärung. – Göttingen: Wallstein, 2003. – S. 41.

стика. Наука становится новостью. Эйнштейн обращается к публике по радио. Вскоре он превратится в публичную фигуру и объект карикатур в крупных газетах. Репрезентация науки в СМИ следует принятым медийным канонам. От нее требуется драматургичность, нарративность, визуальность. Однако реализовать на практике это оказывается не так просто, в том числе потому, что наука далека от остального общества не только институционально, но также коммуникативно и дискурсивно. Журналисты, освещающие научные темы, пользуются меньшей популярностью, чем их коллеги, занимающиеся политическими и экономическими вопросами.

С 1970-х годов на первый план среди научных областей выдвигаются так называемые науки о жизни (life sciences) – биомедицинский комплекс вкпе с естественно-научными дисциплинами. Лидировавшая ранее физика оказалась в некотором смысле дискредитированной. Нарастает движение противников использования атомной энергии. В свою очередь, с точки зрения ученых, многие аспекты поведения общественности свидетельствуют о ее иррациональности и неосведомленности.

В 1985 г. увидел свет доклад Лондонского королевского (научного) общества, получивший название «The public understanding of science»¹. В соответствии с заявленной целью, он должен был способствовать лучшему пониманию науки в глазах окружающего общества. В данном документе наука и общественность еще представлены как две равноположенные силы, находящиеся на разных чашах весов. Уже в последующее десятилетие этот подход начнет меняться. Автор приводит данные исследования, в котором изучается динамика образа науки в школьных учебниках в XX столетии. В начале века наука предстает как сумма фактов, которыми человечество обязано нескольким выдающимся умам, затем ученый эволюционирует в эксперта, а к концу столетия утверждается идея, что в научных исследованиях, в той или иной форме, может принимать участие каждый². ЮНЕСКО и Американская ассоциация содействия развитию науки (American association for the advancement of science, AAAS) с 1990-х годов руководствуются девизом: «Наука для всех» («Science for all»). Таков и новый стиль саморепрезентации науки: например, современные научные музеи уже в меньшей степени дидактично-образовательные, а все больше интерактивные и ориентированные на такое явление, как *edutainment* (от англ. *education* – образование и *entertainment* – развлечение).

Начиная с 1990-х годов, в том числе в контексте пропагандируемого «общества знаний», статус науки несколько повышается. Тем не менее коммуникация науки и общества все еще по большей части остается опосредованной. Общаясь с публикой посредством медиа, ученые не всегда

¹ The public understanding of science: Report. – L.: Royal society, 1985.

² McEneaney E.H. Elements of a contemporary primary school science // Science in the modern world polity / Ed. by G. Drori, J. Meyer, F. Ramirez, E. Schofer. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 2003. – P. 139.

вполне осознают, кто те конкретные люди, к которым они обращаются. В умах же людей продолжают жить стереотипные образы науки и ученых. За XX столетие ученые успели побывать творцами и разрушителями, героями и экспертами. В результате, заключает П. Вайнгатт, продолжают иметь место сконструированные, искаженные представления.

О путях к взаимопониманию и более непосредственному взаимодействию науки и общества пишет в своей статье Александр Богнер, научный сотрудник Института оценки техники (г. Вена, Австрия) [1].

За точку отсчета автор принимает подготовленный в 2000 г. британской Палатой лордов доклад «Science and society»¹. После упоминавшегося выше доклада «Public understanding of science» и последовавших за ним докладов «Public awareness of science» и «Public engagement with science and technology», которые дали слово внеученой общественности, данный документ делает акцент на диалоге и рассматривает науку и общество в качестве партнеров в исследованиях. От общественных конференций (Bürgerkonferenzen) до интернет-коммуникации, рядовые граждане вовлекаются в научный процесс. На данном этапе гражданское участие находит свое отражение, прежде всего, в решении таких животрепещущих и затрагивающих каждого вопросов, как применение нанотехнологий, изучение стволовых клеток, развитие нейронаук. Подобный подход, по мысли автора, является гарантом демократической саморегуляции общества.

Предваряя анализ текущей ситуации, автор прослеживает развитие ситуации начиная со второй половины XX столетия. Как он отмечает, после Второй мировой войны наука поддерживала конкуренцию и конфликт двух супердержав, двух политических блоков. В этот период наука и техника, по словам Ю. Хабермаса, превратились в идеологию. На Западе они фактически служили легитимации капитализма. В 1970-е годы, однако, ситуация претерпевает изменения. После появления клонированной овечки Долли, катастрофы на Чернобыльской АЭС и ряда других событий остро встала проблема рисков и моральной допустимости научно-технических разработок. Общество задалось вопросом, какой оно хочет видеть науку. Оказалось, что наука, какой она сложилась на тот момент, узкодисциплинарна и не способна оперативно и адекватно реагировать на такие вызовы современности, как бедность, деградация окружающей среды и угрозы человеческому здоровью. Одним из ответов на подобное положение вещей стало развитие меж- и трансдисциплинарных исследований.

Наиболее актуальный тренд, с точки зрения автора, состоит в активном взаимодействии науки и общества. Гражданское участие может выражаться, например, в экспертизе тех или иных проектов (за счет привлечения местного, практического опыта) и в формировании определенной научной политики. Речь, однако, идет не о внешнем регулировании науки,

¹ Science and society: Report of the House of Lords select committee. – L.: UK Parliament, 2000.

а скорее о совместном генерировании, «копродукции» знания и паритетном управлении научным процессом.

Автор демонстрирует, как со времен «Public understanding of science» эволюционировали представления об участии общественности в научных исследованиях. В данном докладе наука представлена важным общественным проектом, а скепсис в отношении научно-технического развития связывается с отсутствием необходимых знаний. Гражданам предписывается иметь базовые знания в таких областях, как атомная энергия, кислотные дожди, искусственное оплодотворение, тесты на животных. В последующих основополагающих докладах, таких, как «Public engagement with science and technology», ученых призывают не издавать директивы для общественного ознакомления, а вступать с общественностью в активный диалог. В Германии, в частности, в рамках этой тенденции был внедрен ряд инициатив, приближающих науку к людям. С 1990-х годов проводятся различные научные фестивали, дни и ночи науки, работают передвижные научные выставки. В числе последних – курсирующий между Германией и Австрией «научный паром», экспозиция которого каждый год посвящена новой теме (энергия, медицина, устойчивое развитие), и «наногрузовик» (выставка разработок в области нанотехнологий на площади около 100 м² внутри 37-тонного грузовика). Используются для диалога науки и общества и технологии Web 2.0. Наука доходит до потребителя на сетевых платформах, в блогах, подкастах и на видеопорталах.

С целью демократизации диалога науки и общества организуются общественные конференции (Bürgerkonferenzen). Зародившись в конце 1980-х годов в Дании, они ставят себе задачу оптимизировать принятие решений, прежде всего в таких областях, как биомедицина, геновая инженерия, информационные технологии. Сценарий работы конференции таков. Сначала формулируется тема для обсуждения. Затем в рамках данной темы намечаются ключевые вопросы и выбираются эксперты, которым эти вопросы будут заданы. По итогам дискуссии выносится решение, которое затем реализуется на практике. Конференции уже были проведены во многих странах Европы, а также в Японии, Индии и Южной Корее. В 2009 г. впервые была проведена трансконтинентальная конференция. Она была посвящена проблемам изменения климата и собрала около 4400 участников из 38 стран. Как отмечает автор, важно обсуждать научные проекты на раннем этапе. И несмотря на неприятие со стороны ряда ученых, придерживающихся более традиционных взглядов, данное движение нарастает. Так, в этом году граждане принимали участие в разработке политики ЕС в области науки и техники на 2014 г. Адресаты этой политики – университеты и научно-исследовательские центры.

Следующее направление гражданского участия – общественная экспертиза. Росту интереса к данной практике способствовало появление ряда эмпирических исследований, проблематизирующих автономность научного процесса и акцентирующих необходимость взгляда извне. Так,

С. Эпштейн в своем получившем широкую известность исследовании пишет о той роли, которую сыграли активисты в исследованиях и лечении СПИДа¹. Ранее для тестирования новых препаратов отбирались добровольцы из числа больных СПИДом; их делили на две группы, одна из которых принимала экспериментальный препарат, а другая – плацебо, причем испытуемых не ставили в известность, в какую группу они попали. В результате борьбы активистов больше пациентов стали получать экспериментальные препараты, тем самым большее число людей получили шанс на выживание. Еще в одном исследовании, разрушающем научную тайну, было продемонстрировано, что многие очаги голода в мире появились в результате того, что формы хозяйствования насаждались без учета местных условий и мнения местных жителей². Теперь различные исследовательские центры и коммерческие предприятия привлекают мнение непрофессионалов, в частности по вопросам устойчивого развития, в качестве общественной экспертизы и источника новых идей. Популярной формой участия общественности в эпоху Интернета становится краудсорсинг. Эта практика позволяет осуществлять комплексные исследования и коллективно решать сложные проблемы, представляющие трудность для индивидуального пользователя. Волонтеры краудсорсинга занимаются сбором данных, обработкой документации, работают с программами распознавания информации и интерпретации графических файлов и т.п.

Генеральная тенденция, как отмечает автор, состоит в том, что наука от информирования движется в сторону партиципаторных, совместных с общественностью исследований. Это соответствует имеющему место в настоящее время более общему повороту к диалогу, участию, партиципаторной демократии, а также политике обучения в течение всей жизни. Субъектом этого нового жизненного стиля должен стать самостоятельный индивид, отвечающий за себя и свою жизнь. Неомарксистской критике, однако, гражданское участие представляется не более чем инструментом неолиберализма и оправданием технических инноваций. Другие авторы указывают на разрыв между проектами и действительностью, в которой взаимодействие науки и общества имеет еще очень небольшой вес, а наблюдаемые инициативы напоминают скорее лабораторный эксперимент³. Тем не менее трансдисциплинарность, внешняя экспертиза и диалог с общественностью становятся своего рода модой и могут обеспечить финансирование; в результате, начиная тот или иной исследовательский проект, ученые все чаще ориентируются на данные тенденции. Следовательно, наука должна быть доступной и привлекательной для окружающего обще-

¹ Epstein S. Impure science: AIDS, activism and the politics of knowledge. – Berkeley: Univ. of California press, 1996.

² Scott J.C. Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1998.

³ Bogner A. Partizipation als Laborexperiment: Paradoxien der Laiendeliberation in Technikfragen // Ztschr. für Soziologie. – Stuttgart, 2010. – Jg. 39, H. 2. – S. 87–105.

ства. Новый тип исследователя – это, по словам автора, исследователь, который умеет находить общий язык с непрофессионалами. А. Богнер в связи с этим приводит следующий любопытный пример. В 2008 г. журнал «Science» объявил в Интернете конкурс на лучшую танцевальную интерпретацию своей диссертации («Dance your PhD»). Поступившие на конкурс видеоролики доступны в YouTube. Таким образом, современный ученый должен уметь проявлять и демонстрировать миру не только интеллект, но и эмоции. Требуется не просто ученый, а целостный человек. Наука, в свою очередь, должна приносить удовольствие. По мере того как будут меняться отношения науки и общества, у исследователей науки будет появляться новый материал для изучения, подводит итог А. Богнер.

Я.В. Евсеева

Бьелса Э., Касельяс А., Верхер А.
**ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ КАК ПЕРЕЕЗД В ЧУЖОЕ МЕСТО:
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВЕРНУВШИХСЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

**Реф. ст.: Bielsa E., Casellas A., Verger A. Homecoming as displacement:
An analysis from the perspective of returning social scientists // Current
sociology. – L., 2014. – Vol. 62, N 1. – P. 63–80.**

Ключевые слова: профессиональная мобильность; глобализация; миграция.

Тема международной академической мобильности вызывает оживленный интерес со стороны исследователей миграционных процессов современного глобального мира. Однако существует и обратная, малоизученная сторона этого феномена, связанная с тем, что определенная часть ученых, побыв долгое время за границей, возвращается домой. К изучению этой проблемы обратилась группа испанских социологов из Университета Барселоны: Эсперанса Бьелса, Антония Касельяс и Антони Верхер. Представленное исследование основано на самоанализе их карьерных траекторий и опыта академической мобильности.

Возвращение в Испанию стало возможным благодаря запуску национальной исследовательской программы Ramón y Cajal (RuC). С 2001 г. по условиям проекта с грантополучателем заключался пятилетний контракт на проведение исследований в одном из испанских университетов. Как отмечают авторы статьи, в последние годы в связи с последствиями экономического кризиса финансирование программы находится под вопросом, что заставляет испанских ученых задумываться о своем дальнейшем будущем. Участие в программе RuC объединило исследователей вокруг общей проблемы, которой посвящена статья. Траектории, профессиональные позиции, временные рамки поездок ученых были различными. Э. Бьелса вернулась после 14 лет работы в Великобритании, А. Касельяс прожила 12 лет в США, А. Верхер провел четыре года в Нидерландах. Каждый из авторов представил свое видение проблемы академического возвращения, хотя ученые не отрицают, что их восприятие влияло друг на

друга в ходе реализации проекта. В итоге они разработали общие теоретические рамки исследования относительно концептов возвращения и переезда.

Э. Бьелса с коллегами отмечают, что в социологии существует устойчивая традиция изучения феномена «чужака», начиная с Г. Зиммеля и заканчивая З. Бауманом. Переезд можно описать с позиции «отчуждения», но возвращение домой заслуживает особой концептуализации, поскольку оно имеет позитивную коннотацию, связанную с преодолением социального разрыва. Выделяя современные подходы к изучению жизненных путей вернувшихся ученых, авторы делают акцент на следующих аспектах. Во-первых, возвращение домой анализируется не как абстрактная тяга на родину, а как реализация обдуманного решения. То есть это не просто дань ностальгии, а стратегический выбор в пользу будущих социальных проектов, направленных на улучшение собственной позиции в контексте глобализации¹. Во-вторых, отмечается значимость внедрения в места дислокации социального и культурного (в частности, научного) капитала, носителями которого становятся возвращающиеся «агенты преобразований и обновлений» [с. 65]. В таком случае, отмечают авторы, проблема миграции ученых связана не только с транснациональной мобильностью или пересечением границ, но и с психологической открытостью индивида перед миром и другими². Третий важный момент, на который обращают внимание ученые, заключается в том, что возвращение – это сложный и дестабилизирующий процесс как для вовлеченных в него индивидов, так и для принимающих сообществ, в которых «новички» могут столкнуться с сопротивлением и амбивалентностью [с. 66].

Учитывая все сложности феномена международной академической мобильности, исследователи останавливаются на дуальном подходе, основанном на сочетании понятий «возвращение» и «переезд». Возвращение понимается как позитивный процесс восстановления своих социальных связей; переезд – как необходимость построения социальных связей «с нуля». В данном контексте переезд характеризуется по четырем направлениям: пространственно-территориальное перемещение (географическое измерение); темпоральное перемещение (анализ биографических перемещений в зависимости от возраста и пола); языковое перемещение (лингвистические барьеры и адаптация); дисциплинарно-академическое перемещение (тематика исследований и академические установки) [с. 67].

¹ Stefansson A. Homecomings to the future: From diasporic mythographies to social projects of return // Homecomings: Unsettling paths of return / Ed. by F. Markowitz, A. Stefansson. – Lanham (MD): Lexington books, 2004. – P. 2–20; Darieva T. Rethinking homecoming: Diasporic cosmopolitanism in post-Soviet Armenia // Ethnic a. racial studies. – Abingdon, 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 492; Bude H., Dürschmidt J. What's wrong with globalization? Contra «flow speak» – towards an existential turn in the theory of globalization // European j. of social theory. – Thousand Oaks (CA), 2010. – Vol. 13, N 4. – P. 493.

² Delanty G. The cosmopolitan imagination. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2009.

Заметка первой участницы исследования, Э. Бьелсы, получила название «Возвращение как незавершенный проект». Жизнь и работа в Великобритании стали для исследовательницы в области социологии культуры очень плодотворными и весьма успешными. Описывая свой случай, автор отмечает, что для мобильного человека, не имеющего никаких обязательств перед своим сообществом (особенно семейных), глобализация открывает заманчивый выбор возможностей. Для нее, как для молодой незамужней девушки, главной целью академической мобильности стало получение образования и повышение своего социального статуса. Одно из негативных последствий глобализации, таким образом, заключается в ослаблении традиционных семейных связей. В дальнейшем рождение сына и сложность поддержания транснациональной семьи стали важными факторами, предопределившими выбор в пользу возвращения на родину [с. 68–69].

Главная проблема переезда для Э. Бьелсы в том, что после долгого пребывания в Великобритании у себя дома в Испании она стала чувствовать себя чужой. Автор отмечает, что положение «чужого среди своих» намного тяжелее положения иностранца за границей. На родине чувство отчуждения подкрепляется реакцией со стороны окружающих коллег, для которых новый исследователь выглядит как «свалившийся с неба» малоизвестный субъект, получающий деньги от правительства с целью улучшить эффективность рабочей группы [с. 69]. Сгладить чувство тревоги помогало то, что дома исследовательская и преподавательская работа ведется на родном языке, тогда как в другой стране приходится бороться с чувством неловкости из-за акцента. Из-за глобальной интеллектуальной асимметрии знание английского и связи в международном научном сообществе дают весомое преимущество перед другими учеными дома, что также постепенно смягчает позицию «чужака», но может послужить и причиной неприятия со стороны коллег. Завершая заметку о своем опыте академической мобильности, автор указывает, что успех ее возвращения домой будет оцениваться в зависимости от того, сможет ли дом снова стать домом, и от того, как окружающая социальная среда будет реагировать на новые взгляды и практики, которые привнесит своей деятельностью вернувшийся из другой страны исследователь [с. 70].

Случай А. Верхера озаглавлен «Возвращение в старую / новую университетскую среду». После получения PhD в Испании в период с 2007 по 2011 г. он проживал в Амстердаме, работая по постдокторской программе и занимаясь исследованиями в области образовательной политики и социально-экономического развития. Работа также складывалась удачно, сформировавшийся коллектив ученых не имел трудностей с финансированием, организацией и проведением исследовательских проектов и научных мероприятий. Главное, что требовалось от участника, замечает автор, – это высокий уровень владения английским языком и умение работать в междисциплинарной и межкультурной обстановке [с. 70–71]. В значительной степени участие в испанском проекте RuC было продиктовано желанием

«импортировать» и протестировать полученные знания на испанской почве. Реализация этой идеи в Испании для исследователя была связана с убеждением, что имеющаяся там научная группа и человеческий потенциал лучше всего будут способствовать ходу научной работы. Другим важным обстоятельством возвращения домой стало рождение первой дочери.

Свое перемещение из одной страны в другую, в отличие от коллег, А. Верхер не склонен называть резким разрывом. Географическая близость Испании и Нидерландов не вызвала серьезных помех для частых посещений своей страны, что, в свою очередь, позволило постоянно поддерживать сотрудничество с коллегами в родном университете, а потом беспрепятственно снова влиться в их коллектив уже в новом качестве. В то же время выбор в пользу новой позиции имел определенные сложности. Для автора это, прежде всего, было связано с анализом карьерных перспектив «там» и «здесь», поскольку после четырех лет пребывания в другой стране нужно было снова привыкать к правилам испанской системы образования и науки. Опасения подтвердились: на новом / старом месте в первые месяцы работы имелись трудности организационного, бюрократического и административно-хозяйственного характера.

По замечанию А. Верхера, большинство испанских вузов сосредоточены на продвижении профессионально-ориентированной модели образования и не стремятся к созданию «исследовательских университетов». В связи с этим автор признается, что самым сложным аспектом возвращения стала смена условий и переход из неограниченного в ресурсах и связанного с глобальными научными дискуссиями университета в полупериферийное академическое пространство [с. 72]. Недостатки полупериферии для исследователя связаны не только с возможными материальными трудностями, но и с (само-) ограничением интеллектуальных амбиций, которое ученые вынуждены накладывать на себя в поощряемой администрациями погоне за англосаксонскими теориями. Научное творчество в таком случае превращается в умение адаптировать иностранные научные модели к испанскому опыту развития. Тем не менее, полагает автор, фокусирование на своей исследовательской группе единомышленников и отказ от сетований на помощь со стороны помогли достичь определенных успехов в привлечении материальных ресурсов и новых людей. Родные пенаты предоставили большую свободу в выборе научной тематики и придали динамизм научной работе, чему в чужой стране существенно препятствуют различия в культурном коде, политике и языке. Автору также помогает убежденность в том, что революционные научные открытия и парадигмы рождаются скорее не в центре, а на периферии, там где проблемы господства и социальной несправедливости проявляются наиболее отчетливо [с. 72].

Третья участница проекта, А. Касельяс, назвала свою заметку «Гибридность как сфера существования». Исследовательница вернулась в Барселону в 2007 г. после 12 лет проживания в США, где она окончила маги-

стерскую программу и получила степень PhD. Решение в пользу переезда обратно в Испанию было принято после долгих раздумий и сомнений в правильности отказа от полученной за рубежом академической позиции. На уровне личного восприятия потеря в доходах и статусе для ученого была сбалансирована возможностью внести вклад в развитие общества, в котором она выросла, а также более близким общением ее детей с испанскими родственниками.

На протяжении жизни в США А. Касельяс сохраняла личные контакты с коллегами из Барселоны и по возможности посещала город в рамках работы над одним из исследовательских проектов. В свое время переезд и адаптация в США дались ей довольно легко, поэтому возвращение домой также не казалось проблематичным. Как выяснилось, культурный шок от повторного включения в сообщество может сильно усложнить период адаптации. Именно несовпадение ценностей и ожиданий с реальностью «местных правил» подтолкнуло исследовательницу к изучению проблемы возвращения и связанных с ней вопросов повторной ассимиляции, культурного шока, депрессии (в том числе, ее постканикулярных форм).

Трудность встраивания в новый ритм жизни дополнялась тем, что А. Касельяс вернулась в Университет Барселоны, не имея четко определенной профессиональной идентичности. В США она «распределяла» свои научные интересы по нескольким направлениям, таким как городское планирование, география, политология, философия. Вернувшись в Испанию, она обратилась к изучению и преподаванию в области географии. Автор признает, что ее ошибкой стала недооценка роли профессиональной идентичности, формированию которой люди уделяют многие годы. Она также подчеркивает, что ее культурное столкновение с испанским обществом является результатом слияния с американскими ценностями и моделью поведения до такой степени, что испанская система ценностей оказалась для нее чужой [с. 74–75]. На основании этого исследовательница делает вывод, что ее нынешнее положение представляет собой незавершенный процесс восстановления идентичности и чувства принадлежности в условиях гибридности существования, которое стало результатом глубокого проникновения в иностранную культуру.

В заключение социологи обобщают опыт представленных размышлений, используя предложенную сначала координирующую схему исследования. Что касается пространственно-территориального перемещения, то все участники проекта имели опыт международной мобильности еще в период получения образования. Такая ранняя мобильность позволила получить необходимый позитивный опыт переездов с места на место. Свое возвращение домой участники склонны признавать самым драматическим перемещением из-за культурного шока и сложной адаптации, которые им пришлось испытать.

Проблема усиливалась темпоральным фактором перемещения. «Потратив» время за границей, по приезде ученые приобрели непостоянные

позиции в своем университете, что уравнивает их положение с положением более молодых коллег, которые получали образование в Испании и планомерно строили карьеру на одном месте. Экономический кризис еще более усугубляет ситуацию, задерживая вернувшихся в положении аутсайдеров. Главный положительный момент своего возвращения они видят в воссоединении с расширенной семьей, что высоко ценится в средиземноморской культуре, и в разрыве зависимости от материальных привилегий глобализации [с. 75–76].

В контексте языкового перемещения однозначно преобладают позитивные последствия. Прежде всего, живя за границей и используя английский язык, исследователи смогли принимать участие в основных международных научных дискуссиях. Восстановление возможности использования испанского языка после возвращения также стало источником психологического удовлетворения. Наконец, преимущества свободного владения английским в научной сфере обеспечили им весомый академический капитал в испанской системе образования и науки.

Фактор академического перемещения из богатых ведущих университетов, предоставляющих любому возможности для научной работы, в более консервативные исследовательские организации Испании продемонстрировал косность существующих научно-образовательных систем. Существенную сложность для вернувшихся представляли не финансовые трудности, к которым ученые были готовы, а нематериальные и субъективные факторы, которые заставляли их чувствовать себя «чужими среди своих». Позитивный момент заключается в том, что международные стандарты постепенно все же проникают в испанскую науку, что со временем может обеспечить вернувшимся исследователям выигрышное положение.

Основной вывод, который авторы формулируют в конце статьи, заключается в том, что путь к успеху возвращения ученых на родину предполагает создание новых продуктивных связей между их нынешним локальным контекстом и прошлым международным опытом. Только так можно обеспечить свое приемлемое положение в академической среде и внести вклад в развитие национальной науки.

А.Ю. Долгов

**АННОТАЦИИ СТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ABSTRACTS AND KEYWORDS**

**Н.Е. Покровский, У.Г. Николаева
Парадоксальная глобализация:
Вперед к прошлому или назад к будущему?**

В статье рассматривается эволюция представлений о глобализации в социальных науках. Анализ существующих определений глобализации показывает, что реальная сложность этого феномена не поддается теоретическому осмыслению старыми средствами социально-научного познания. В условиях России и ряда других трансформирующихся обществ процессы глобализации выявляют симбиоз новейших капиталистических и докапиталистических экономических отношений. Все это делает особенно ценным знание о механизмах и закономерностях функционирования докапиталистических экономических систем, элементы которых продолжают воспроизводиться в рамках единого мирового экономического пространства.

Ключевые слова: глобализация; теории глобализации; глобальные изменения; культура; периферийный капитализм; Россия.

*N.E. Pokrovsky, U.G. Nikolaeva
Paradoxical globalization: Forward to the past or back to the future?*

The article considers the evolution of ideas regarding globalization in social sciences. Analysis of the existing definitions of globalization demonstrates that the true complexity of this phenomenon cannot be theoretically comprehended by means of customary methods of social science research. In the context of Russia and several other societies in transition, processes of globalization reveal a symbiosis of newest capitalist and pre-capitalist economic relations. All this makes especially valuable the knowledge of mechanisms and patterns of the functioning of pre-capitalist economic systems whose elements continue to be reproduced within the common world economic space.

Keywords: globalization; theories of globalization; global change; culture; peripheral capitalism; Russia.

О.Н. Яницкий

Изменение климата и социологическая наука

В статье рассматривается состояние российской социологии в отношении глобального изменения климата. Отмечается, что до сих пор эта тематика не стала приоритетной для данной отрасли знания, равно как и для политиков, бизнеса и СМИ. Недостаточное внимание к этой проблеме объясняется, прежде всего, доминирующим взглядом на мир как на неиссякаемый источник ресурсов, а не как на пространство жизни людей и других живых существ, междисциплинарными и межсекторальными размежеваниями и недоверием натуралистов к социологии как к науке в целом. Экосоциология до сих пор не имеет самостоятельного институционального статуса. Некоммерческие организации (НКО) играют существенную роль в альтернативных исследованиях, но они не могут заменить государственные организации. Тем не менее российские социологи осознают эту глобальную угрозу и развивают исследования в этом направлении.

Ключевые слова: глобальное изменение климата; его социальные аспекты; междисциплинарные исследования; политика; СМИ; Россия.

O.N. Yanitsky

Climate change and sociological science

The article considers the state of sociology in Russia versus global climate change. It is pointed out that until now, this subject has not become a priority for the branch of knowledge in question, nor for politicians, business or media. Lack of attention to this issue is primarily due to the dominant view of the world as an unquenchable source of resources rather than as a living space of humans and other living beings, as well as interdisciplinary and intersectoral disengagement and distrust of naturalists for sociology as a science in general. Environmental sociology still has no independent institutional status. Nonprofit organizations (NPOs) play a significant role in alternative studies, but they cannot replace government organizations. Nevertheless, Russian sociologists are aware of this global threat and develop research in the given direction.

Keywords: global climate change and its social aspects; interdisciplinary research; politics; media; Russia.

О.Н. Яницкий

Концепция экокатастрофы

Данная статья имеет своей целью очертить круг вопросов, касающихся теоретического и эмпирического анализа феномена катастроф и процессов социальной реабилитации нарушенных ими социобиотехнических систем. Подчеркивается зависимость этих процессов от господствующей в данном обществе идеологии. Затем предлагаются возможные «идеальные типы» процесса реабилитации: «чистый лист» («бульдозер-

ный»); частичная реабилитация, с изменением или без предшествующих функций пострадавшего сообщества; обновление плюс реконструкция; и наконец, естественный распад. В заключение экокатастрофы рассматриваются как возможность частичной или полной модернизации нарушенных систем.

Ключевые слова: геополитика; идеальные типы; реабилитация; социобиотехнические системы; социология; экокатастрофы.

O.N. Yanitsky
Concept of eco-disaster

The article is aimed to outline the scope of theoretical and practical issues of the phenomenon of eco-disaster and processes of rehabilitation of affected sociobiotechnical systems. The «ideal types» of the rehabilitation process are analyzed. The author comes to a conclusion a geopolitical analysis of an eco-disaster is as important as a sociological one.

Keywords: eco-disaster; geopolitics; ideal types; rehabilitation; sociobiotechnical systems; sociology.

Р.Н. Абрамов
Классификация исследовательских направлений
в изучении занятий и профессий

Статья посвящена классификации исследовательских направлений в изучении занятий и профессий. В ситуации активного развития этой социологической дисциплины в России ощущается потребность в более полной картине имеющихся теоретических подходов и анализ их взаимосвязи. Представленная в настоящей работе классификация опирается на разные основания и учитывает как влияние социологических парадигм на исследования занятий и профессий, так и теории среднего диапазона, появившиеся в пределах данной дисциплинарной области. Классификация носит предварительный поисковый характер.

Ключевые слова: профессии; социология занятий и профессий; функционализм; интеракционизм; неомарксизм; социальная история.

R.N. Abramov
Classification of research directions in occupations and professions studies

The article is devoted to the classification of research directions in occupations and professions studies. With the sociology of occupations and professions actively developing in Russia, there is a need for a detailed map of current theoretical approaches and an analysis of their interrelation. The present classification bases on several sources and pays attention to the influence of sociological paradigms on occupations and professions studies. This review also de-

scribes middle-range theories which appeared in the sociology of professions during the last century. The classification is of a preliminary character.

Keywords: professions; sociology of occupations and professions; functionalism; interactionism; neo-Marxism; social history.

М. Сакс

Социология профессий – развивающаяся область исследований

Данная обзорная статья очерчивает географию нарастающего интереса к социологии профессий, в которой Майк Сакс является одной из центральных фигур. В начале статьи автор делает акцент на своих научных связях с Россией и освещает различные аспекты российской социологии профессий в советский и постсоветский периоды. Российский опыт он сравнивает и противопоставляет теоретическим и иным процессам в социологии профессий в англо-американском контексте за последние 50 лет. Далее М. Сакс характеризует исключительно влиятельный неовеберинский подход к изучению профессий, на котором основывается его собственная работа, и приводит примеры его применения в Великобритании, Европе и Северной Америке. В заключительной части статьи автор высказывает свое мнение по поводу последних тенденций и будущих направлений в социологии профессий в России и других современных обществах.

Ключевые слова: социология профессий; англо-американская социология; советская и постсоветская социология; неовеберинский подход.

M. Saks

The sociology of professions – a developing field of study

This overview paper charts the fast developing interest in the sociology of professions globally, in which Mike Saks has been centrally involved. It begins by highlighting his research links with Russia, as well as aspects of the Russian sociology of professions in Soviet and post-Soviet times. The Russian experience is compared and contrasted with theoretical and other developments in the sociology of professions in the Anglo-American context over the past fifty years. Following this critical review, Mike Saks turns to outline the highly influential neo-Weberian approach to professions, on which his work has been predominantly based, and illustrates its application in the UK, Europe and North America. The paper concludes by commenting on the latest trends and future directions in the sociology of professions in Russia and other modern societies.

Keywords: sociology of professions; Anglo-American sociology; Soviet and post-Soviet sociology; neo-Weberian approach.

В.А. Аникин, Р.А. Соловьев
Трудоспособные на паперти:
Феномен люмпенизации рабочей силы в России

Данная работа представляет собой количественное исследование причин, приводящих трудоспособных граждан на паперть в г. Москве. Показано, что люмпенизация экономически активного населения начинается еще задолго до вступления на стезю попрошайничества – с опыта взаимодействия с тотальными институтами (тюрьмами, детскими домами), а также с нисходящей профессиональной мобильностью в рамках классовой ситуации, определяемой низкоквалифицированным физическим трудом. В этой профессиональной среде наиболее типичным триггером перехода к попрошайничеству является совокупность факторов, связанных преимущественно с личностными особенностями, а не с потерей работы или дискриминацией при поиске работы. К таким факторам относятся потеря документов, разрыв отношений с близкими родственниками, пристрастие к алкоголю, т.е. причины, обусловленные особым типом мышления и образом жизни, укоренившимся в рабочей среде. В статье делается вывод, что попрошайничество можно рассматривать как возникающую на временной основе смежную область (квази) профессиональной деятельности для низко- и неквалифицированных рабочих.

Ключевые слова: *попрошайничество; паперть; нищие; разнорабочие; люмпенизация рабочих; нисходящая профессиональная мобильность; классовая ситуация.*

V.A. Anikin, R.A. Soloviev
The employable at the church porch:
Phenomenon of labour force lumpenization in Russia

The paper aims to study the main reasons that force working-age population to ask alms at church porches in Moscow. This paper provides evidence that lumpenization of labour force begins long before these people pop up in mendicancy – it begins with a) socialization through total institutions, like prisons and orphan homes; b) downward occupational mobility within the class situation framed with low-skilled manual labour. It is shown that in this occupational lacuna the most typical trigger of converting workers into beggars has to do with the factors primarily related to individual peculiarities rather than to job loss or work discrimination. Such factors include loss of documents, breaking-up relations with close relatives and craving for alcohol – in other words, these are reasons rooted in a specific mindset and a way of life embedded in the social environment of manual work. Finally, it is concluded that mendicancy could be regarded as a temporal (quasi)-occupation for low- and unqualified workers.

Keywords: *mendicancy; church porch; beggars; casual workers; lumpenization of workers; downward occupational mobility; class situation.*

В. Джеффрис

В поисках «реальной утопии»:

Определяя область альтруизма, морали и социальной солидарности

Будущее развитие области альтруизма, морали и социальной солидарности рассматривается сквозь призму модели социологической практики, включающей в себя формулировку «реальных утопий» (Эрик Райт). Описаны положительные и отрицательные формы и последствия данных явлений. Намечены области развития теории и исследовательские перспективы, которые могут способствовать пониманию альтруизма, морали и социальной солидарности и их взаимоотношений.

Ключевые слова: альтруизм; мораль; солидарность; реальная утопия, благо.

V. Jeffries

In search of a «real utopia»:

Formulating the field of altruism, morality and social solidarity

The future development of the field of altruism, morality and social solidarity is considered from the perspective provided by Erik Wright's model of sociological practice involving the formulation of «real utopias». The positive and negative forms and consequences of these phenomena are described. Areas of theoretical development and research that can contribute to the understanding of altruism, morality and social solidarity and their interrelationships are identified.

Keywords: altruism; morality; solidarity; real utopia; good.

О.А. Симонова

Социология эмоций и социология морали:

Моральные эмоции в современном обществе

В статье рассматриваются актуальные направления в современной социологии: социология эмоций и социология морали. Обсуждаются причины возрождения интереса социологов к морали и моральному поведению, которые тесно связаны с исследованием моральных эмоций. Это открывает новые области для сотрудничества социологов и социальных психологов. Автор прослеживает традиции изучения моральных эмоций в социологии и социальной психологии до настоящего времени, делая особый акцент на социологическом исследовании чувства стыда и чувства вины. Автор приходит к выводу, что возрождение социологии морали отчасти связано с бурным развитием социологии эмоций, в которой моральные эмоции исследуются с помощью концепции личностной идентичности.

Ключевые слова: социология эмоций; социология морали; моральные эмоции; моральная идентичность; эмоциональная культура; социология чувства стыда и вины.

O.A. Simonova
**Sociology of emotions and sociology of morality:
Moral emotions in contemporary society**

The article is dedicated to the latest directions in sociology: the sociology of morality and sociology of emotions. The author discusses the causes of the current revival of the sociology of morality which is tightly bound with research of moral emotions. This state of things opens new fields for the cooperation of sociologists and social psychologists. The author also traces the traditions in research of moral emotions in sociology and social psychology with a special focus on sociological research of shame and guilt. Thus the author comes to the conclusion that the renaissance of the sociology of morality is due to rapid growth of the sociology of emotions where moral emotions are studied on the basis of identity theories.

Keywords: sociology of emotions; sociology of morality; moral emotions; moral identity; emotional culture; sociology of shame and guilt.

М.А. Козлова
Культурные модели моральных суждений и оценок, транслируемые учебниками для начальной школы, и их трансформация в постсоветский период

В статье предпринята попытка кросскультурного сравнения контента учебной литературы двух исторических эпох – советского и постсоветского периодов. В фокусе исследования – моральные нормы и образцы поведения, транслируемые учебной книгой младшим школьникам. За основу взята *теория моральных оснований* Дж. Хайдта, в соответствии с которой выделяются смысловые блоки анализа морали. Сравнительный анализ советских и постсоветских учебников продемонстрировал как количественные, так и качественные изменения в системе транслируемых подрастающему поколению моральных норм: спектр действия индивидуализирующих нравственных основ расширяется, а группоориентированных оснований – сужается. Меняются и представляемые в учебниках субъекты трансляции моральных норм: место большой и стабильной социальной общности занимает малая группа – семья; субъекты социализации, в советских учебниках имевшие преимущественно обобщенный характер, в постсоветских – персонифицируются.

Ключевые слова: мораль; моральные основания; начальное образование; учебник; забота; справедливость; лояльность группе.

M.A. Kozlova

Cultural models of moral judgments and assessments, transmitted by student's books for primary school, and their transformation in the post-Soviet period

The article is aimed at searching for principles of cross-cultural comparison of moral systems. We use the anthropologically oriented approach, and undertake a study of the moral guidelines that Russian society translates to the younger generations. The comparative analysis of the Soviet and post-Soviet textbooks has revealed both quantitative and qualitative changes in the moral standards, appraisements and judgments to be translated to children: the representativity of individualizing moral foundations expands while the representativity of those «working for the benefit of the group» shrinks.

Keywords: morality; moral foundations; primary school; textbook; care; justice; in-group loyalty.

Л.М. Баскин

Социобиология: Конфликт парадигм

Конфликт парадигм в социобиологии важен для развития социологической мысли, коль скоро большинство социологов признают существование биологических корней у социального поведения человека. После 40 лет господства теории кин-селекции и итоговой приспособленности, исследования социального поведения у разных типов живых организмов (от бактерий и социальных насекомых до млекопитающих) подтверждают теорию многоуровневого отбора, возвращая нас к новому пониманию теории группового отбора Ч. Дарвина.

Ключевые слова: социобиология; социальное поведение; естественный отбор.

L.M. Baskin

Sociobiology: Conflict of paradigms

A conflict of paradigms in sociobiology is important for sociological thought as the majority of sociologists admit that human social behavior has biological roots. Following 40 years of domination of the theory of kin selection and inclusive fitness, studies of social behavior of various types of species (from bacteria and social insects to mammals) verify the theory of multilevel selection, bringing us back to a new understanding of Ch. Darwin's theory of group selection.

Keywords: sociobiology; social behavior; natural selection.

А.Ю. Долгов
Изучение альтруизма в России в начале XX в.:
Социобиологический аспект

В статье обсуждается социобиологический подход к изучению альтруизма в российской науке в начале XX в. На основе изложенных идей реконструируется традиция отечественной социобиологической мысли. Автор затрагивает проблему биологического объяснения морали и альтруизма в современном контексте, рассматривает недостатки социобиологической модели поведения.

Ключевые слова: альтруизм; эгоизм; мораль; взаимопомощь; социобиология; эволюция.

A. Yu. Dolgov
Russian altruism studies in the early XX century:
Sociobiological aspect

The article discusses the sociobiological approach to altruism studies in Russian science in the early XX century. Based on the outlined ideas the Russian tradition of sociobiological thought is reconstructed. The author discusses the issue of the biological explanation of altruism and morality in modern context and considers limitations of the sociobiological behavior model.

Keywords: altruism; egoism; morality; mutual aid, sociobiology; evolution.

Д.В. Ефременко
Глас эксперта, вопиющего в пустыне:
Реформа РАН и ее последствия в оценках представителей
российского научного сообщества

В статье анализируются данные экспертного опроса, проведенного в июле-августе 2013 г. в связи с объявленной правительством России реформой государственных академий наук. Оценки и прогнозы экспертов соотносятся с фактическим ходом реформы. Высказывается предположение, что изменившееся в 2014 г. международное положение России заставит внести существенные коррективы в планы дальнейшей реорганизации системы управления отечественной наукой.

Ключевые слова: Российская академия наук; научное и экспертное сообщество; реформа системы управления научно-технической деятельностью.

D.V. Efremenko

*The voice of the expert in the wilderness:
Reform of the Russian Academy of Sciences and its outcomes as estimated
by the Russian scientific community*

The article analyzes the expert survey conducted in July-August 2013 in connection with the reform of the Russian state academies of sciences initiated by the government. Experts' estimates and forecasts correlate with the actual course of the reform. It is suggested that Russia's international standing which has undergone changes in 2014 will result in significant adjustments to the plans for further reorganization of the system of management of Russian science.

Keywords: Russian Academy of Sciences; scientific and expert community; reform of the system of management of scientific and technological activities.

В.В. Клочков, С.М. Рождественская
**Социально-экономические аспекты внедрения наукометрии
и конкурентных начал в российской фундаментальной науке**

В статье изложены подходы к анализу и прогнозированию последствий усиления конкуренции в российском научном сообществе и внедрения наукометрических критериев оценки научной деятельности. Проверены гипотезы, касающиеся возможности повышения средней продуктивности работы ученых после отсева «неэффективных» сотрудников и перераспределения ресурсов в пользу «элиты». Особое внимание уделено влиянию конкуренции на поведение ученых, взаимодействие научных школ и социальную ситуацию в научном сообществе.

Ключевые слова: наукометрия; конкуренция; реформа; эффективность; продуктивность; дифференциация; «мейнстрим».

V.V. Klochkov, S.M. Rozhdestvenskaya
*Social-economic aspects of the implementation of scientometrics
and competitive principles in Russian fundamental science*

In the article we offer approaches to the analysis and forecasting of the consequences of competition intensification in the Russian scientific community as well as of the implementation of scientometric criteria of scientists' assessment. The hypotheses of a possibility to increase the mean productivity of scientists after the screening of «low-efficient» researchers and redistribution of resources to the «elite» are verified. Special attention is paid to the effect of competition intensification on scientists' behavior, on the interaction of schools of thought and on the social situation in the scientific community.

Keywords: scientometrics; competition; reform; efficiency; productivity; differentiation; «mainstream».

Е.А. Володарская
Реформа Российской академии наук
как предмет науковедческого анализа

Анализируются направления теоретико-методологического анализа проблемного поля науковедческих дисциплин, в частности социальной психологии науки, ставшие актуальными в связи с осуществлением реформы Российской академии наук. В статье выделяются вопросы межгруппового взаимодействия, коммуникации науки и общества, стратегий переговорного процесса ученых с разными социальными группами, эмоциональной составляющей исследовательского поиска. Обсуждаются характеристики научной популяризации, осуществляемой в СМИ, параметры распространения научного знания. Рассматриваются результаты эмпирического изучения особенностей восприятия инноваций и программ вовлечения молодежи в науку. Обосновывается необходимость изучения коллективных протестных действий в рамках научного сообщества.

Ключевые слова: реформа РАН; науковедение; социальная психология науки; переговорный процесс; стратегии переговоров; эмоциональный интеллект; коммуникация, популяризация науки; поддержка молодых научных кадров; восприятие инноваций; гранты; коллективные действия.

E.A. Volodarskaya
Reform of the Russian Academy of Sciences as an object of analysis
in science studies

The article considers areas of theoretical and methodological analysis of the problem field of science studies disciplines, such as social psychology of science, which became topical in connection with the reform of the Russian Academy of Sciences. The article highlights issues of intergroup interaction, communication of science and society, strategies used by scientists in their negotiations with various social groups, as well as the emotional component of research. Characteristics of scientific popularization, exercised by the media, and parameters of the advancement of scientific knowledge are discussed. The results of the empirical study of the peculiarities of the perception of innovations and programs engaging youth in science are considered. The author justifies the necessity of studying collective protest actions within the scientific community.

Keywords: reform of the Russian Academy of Sciences; science studies, social psychology of science; negotiation process; negotiation strategies; emotional intelligence; communication; popularization of science; support of young scientists; perception of innovation; grants; collective action.

М.В. Загидуллина
«Макдоналдизация» экспертного знания в России:
Преимущества и риски

Статья представляет собой ряд наблюдений над таким явлением, как «макдоналдизация» экспертных оценок. В сфере науки от качества экспертизы научного проекта зависит поддержка действительно активных и успешных ученых, в первую очередь, молодых. Однако существующие системы оценки конкурсных заявок несовершенны и нацелены на достижение порой несовместимых результатов. Методологическим обоснованием системы оценки научных проектов может быть «макдоналдизированный» подход, однако он чреват серьезными рисками.

Ключевые слова: экспертное знание; философия экспертизы; власть экспертов; демократизация экспертизы; «макдоналдизация» экспертизы; интуиция эксперта.

M.V. Zagidullina
«McDonaldization» of expertise in Russia: Advantages and risks

The article presents a number of observations on the phenomenon of the «McDonaldization» of expert assessments. The quality of the scientific assessment of a research project is important with regard to the support of innovations and creativity. However, the existing systems of evaluation of competitive applications are not perfect and are sometimes aimed at achieving non-coherent results. A «McDonaldized» approach can be the methodological basis of the evaluation of scientific projects, but it is fraught with serious risks.

Keywords: expert knowledge; philosophy of expertise; «expert power»; democratization of expertise; «McDonaldization» of expertise; experts' intuition.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- Абрамов Роман Николаевич** – кандидат социологических наук, доцент кафедры анализа социальных институтов факультета социологии Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики
- Аникин Василий Александрович** – кандидат экономических наук, доцент Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института социологии РАН, Москва
- Баскин Леонид Миронович** – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
- Володарская Елена Александровна** – доктор психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра истории организации науки и науковедения Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
- Джеффрис Винсент** – профессор социологии Калифорнийского университета, г. Нортридж, США
- Долгов Александр Юрьевич** – аспирант, младший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН
- Евсеева Ярослава Вячеславовна** – научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН
- Ефременко Дмитрий Валерьевич** – доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН
- Загидуллина Марина Викторовна** – доктор филологических наук, профессор кафедры теории массовых коммуникаций Института гуманитарного образования Челябинского государственного университета, эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Минобрнауки
- Клочков Владислав Валерьевич** – доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экономической динамики и управления инновациями Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

- Николаев Владимир Геннадьевич** – кандидат социологических наук, доцент Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН
- Николаева Ульяна Геннадьевна** – доктор экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
- Покровский Никита Евгеньевич** – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института социологии РАН, член исполнительного комитета Международной социологической ассоциации, президент Сообщества профессиональных социологов России
- Рождественская Софья Михайловна** – магистрант Московского физико-технического института (национального исследовательского университета)
- Сакс Майк** – профессор Университета Саффолка, Великобритания, президент Исследовательского комитета по профессиональным группам Международной социологической ассоциации
- Симонова Ольга Александровна** – кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, и.о. заведующего отделом социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН
- Соловьев Роман Андреевич** – студент Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, сотрудник научно-учебной группы «Профессии в социальном государстве», Москва
- Ядова Майя Андреевна** – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН
- Якимова Екатерина Витальевна** – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН
- Яницкий Олег Николаевич** – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
2013–2014**

Сборник научных трудов

Художник обложки И.А. Михеев

Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова

Корректоры: О.П. Дормидонтова, Н.И. Кузьменко

Гигиеническое заключение
№77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999г.

Подписано к печати 23/IX – 2014 г.

Формат 70×100/16 Бум. офсетная № 1

Печать офсетная Цена свободная

Усл. печ. л. 24,25 Уч.-изд. л. 25,7

Тираж 300 экз. Заказ № 115

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский пр-кт, д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:

Тел. /Факс 8(499) 120–4514

E-mail: inion@bk.ru

E-mail: ani-2000@list.ru

(по вопросам распространения изданий)

Отпечатано в ИНИОН РАН

Нахимовский пр-кт, д. 51/21,

Москва, В-418, ГСП-7, 117997

042(02)9